

ISSN 0132-0637

Октябрь

7

1990

1990

Октябрь



ОКтябрь

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР
ОСНОВАН В МАЕ 1924 ГОДА. С 1925 ГОДА ИЗДАВАЛСЯ
КАК ЖУРНАЛ ВСЕСОЮЗНОЙ АССОЦИАЦИИ ПРОЛЕТАРСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ, С 1934 ГОДА — ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

7

1990

И Ю Л Ь

МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

Общественный совет: А. АДАМОВИЧ, Л. БАТКИН, Ю. БУРТИН,
В. БЫКОВ, Б. ВАСИЛЬЕВ, А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ, И. ВОЛГИН,
А. ГЕЛЬМАН, И. ГЕРАСИМОВ, Л. ГИНЗБУРГ, Д. ГРАНИН,
Ю. КАРЯКИН, Вяч. КОНДРАТЬЕВ, Д. КУГУЛЬТИНОВ, Ю. МОРИЦ,
Р. САГДЕЕВ, А. САЛЫНСКИЙ, Л. САРАСКИНА, Вад. СОКОЛОВ,
В. ТИХОНОВ, Л. ФИЛАТОВ, Ю. ЧЕРНИЧЕНКО, Р. ЩЕДРИН.

В Н О М Е Р Е:

Борис ЕЛЬЦИН.

Исповедь на заданную тему. Отрывок из книги.
Предисловие народного депутата СССР, академика
В. Тихонова

3

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Юрий КАРАБЧИЕВСКИЙ.
Незабвенный Мишуня. Повесть 21

Виктор КРИВУЛИН.
Первая бабочка. Стихи 49

Владимир МАКСИМОВ. Семь дней творения.
Роман. Продолжение 56

Наталья ГОРБАНЕВСКАЯ. И время жить, и время повторять... Стихи	102
Владимир КОРМЕР. Наследство. Роман, Продолжение	109

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

Лев ТИМОФЕЕВ. Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать. Предисловие Ларисы Пияшевой и Василия Селюнина	159
--	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Михаил ЗОЛОТОНОСОВ. Кактопия	192
---	-----

ПО СТРАНИЦАМ КНИГ И ЖУРНАЛОВ

Евг. КАНЧУКОВ, Термин К. ✽ Ольга ПАНЧЕНКО. Не изменяя, изменяться. ✽ Елена СТЕПАНЯН. Воспитать себя свободным	199
--	-----

ОТКЛИК

на книгу Юрия ГЕРТА «Раскрепощение» (Т. Юрьева); на «Отклик» И. Луначарской на очерк В. ХОДАСЕВИЧА «Горький» (Борис Липин)	207
--	-----

И с п о в е д ь на заданную тему

ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ

Слово «перестройка» еще недавно будоражило умы. Облетело весь мир. А ныне как-то незаметно отошло в сторону, отгремело в речах, исчезло с газетных полос.

Рядом с именем ее автора еще недавно стояли слова «гласность», «свобода», «демократия». Уходят и они, стираются от частого употребления, как медные монеты, превратились в обыденные понятия. А в лексиконе реформаторов теперь все чаще появляются термины «блокада», «повышенные цен», «экстремисты», «политические мошенники» и т. п. А может быть, и лидеры?

Речь не о личностях. О переменах целей, мышления, мировоззрения.

Типичный пример — политическая фигура Бориса Ельцина и оценка его личности. Прорвавшись сквозь многослойные ряды уныло-тусклых лиц, он незапланированно возник в высших эшелонах власти. Незапланированно и слишком уверенно. Возмездие последовало немедленно.

Навалились как по команде, толпой на одного. Били беззащитного, били, как и в недалеком прошлом, грубо, безжалостно. Так, чтобы закопать.

Не получилось. А почему? История ведь делается не по велению отдельных личностей. В ней сталкиваются более крупные силы: скопища людей взаимодействующих и противодействующих. Из этих столкновений и получается результат, которого никто не ожидал. Взлет одних означает закат других. И наоборот.

«Популист» — первая кличка, которой наделили Бориса Ельцина его «победители». А так ли уж плох популизм в наше небывало смутное время?

Империя трещит по всем швам и разваливается. Кучка власть имущих полагает, что она продолжает править народом. А ведь власть совсем не такова, какой она представляется правителям. Она такова, какой ее принимает народ. Ему нужен лидер, низвергающий старые, ставшие идеалами идеалы. Народ (пополю) хочет, чтобы его желания и требования громко провозглашались его лидером. Так чем же плох «популист» Борис Ельцин?

«Рвущийся к власти экстремист» — вторая кличка, которой наградили его с высоких трибун.

А разве нынешние правители получили власть изначально, от Бога? Или хотя бы от народа?

Борьба за участие в политической власти, стремление к ней народных лидеров не позор. Это благо, если так хотят люди. А подтверждение тому — феноменальная победа Ельцина в Свердловске и Москве. В его городах. При максимально возможном сопротивлении партийной и государственной машины. Победили там не власть, не агитация, не аппарат. Вопреки им победила Личность. И даже специально не единично избранные три сотни партийных функционеров не сумели предотвратить избрание Ельцина депутатами российского съезда.

Сложный период. Великое противостояние. И порождает он сложные, неоднозначные и противоречивые фигуры. Столкнулись две еще пока равновеликие силы. Трудно предугадать исход. Но так или иначе одной из них придется приспособляться к другой. Мне бы хотелось, чтобы этой другой стала сила, выдвинувшая в свои лидеры Б. Ельцина.

Отрывок из искренней книги Бориса Ельцина «Исповедь на заданную тему», предлагаемый читателю, лишь открывает несколько страниц его биографии и политической деятельности. Полностью книга выходит в этом году в московском независимом издательстве ПИК. Выбор автором сделан не случайно. Новое издательство, стре-

мящееся разрушить издательскую монополию государства, отвечает программе Бориса Ельцина — подлинная свобода предпринимательства, подлинная свобода слова, подлинная демократия.

*Владимир ТИХОНОВ,
народный депутат СССР, академик ВАСХНИЛ*

Хроника выборов

13 декабря 1988 года

Я принял решение. Не знаю, насколько оно правильное. Я буду участвовать в выборах в народные депутаты. И прекрасно представляю себе, что шансы у меня отнюдь не стопроцентные. Закон о выборах дает возможность власти, аппарату держать многое в своих руках. Нужно преодолеть несколько этапов, прежде чем сам народ будет делать свой выбор. Система выдвижения кандидатов, окружные собрания, отсеивающие всех неугодных, избирательные комиссии, захваченные исполкомовскими аппаратчиками, — все это настраивает на грустные размышления. Если я проиграю, если мне не удастся на этих выборах стать депутатом, представляю, с каким восторгом и наслаждением рванется добывать меня партийная номенклатура. Для них это такой прекрасный козырь — народ не захотел, народ не выдвинул, народ провалил... Хотя, конечно же, к народному волеизъявлению те же окружные собрания никакого отношения не имеют. Это ясно всем, начиная от рядового избирателя и заканчивая Горбачевым. Это подпорка под разваливающуюся систему власти, кость, брошенная партийно-бюрократическому аппарату.

Можно, конечно, в выборах и не участвовать, близкие друзья советуют мне отказаться от борьбы, потому что уж слишком в неравных условиях я оказался. Слово «Ельцин» последние полтора года было под запретом, я существовал, и в то же время меня как бы и не было. И естественно, если я вдруг выйду на политическую арену, начну принимать участие во встречах с избирателями, митингах, собраниях и т. д., вся мощнейшая пропагандистская машина, перемешивая ложь, клевету, подтасовки и прочее, обрушится на меня.

И второе. По нынешней выборной системе министры не имеют права быть народными депутатами. И, следовательно, если я буду выбран, мне придется уйти с поста, ну, а дальше — полная неизвестность. Съезд народных депутатов, выбранный по нынешней системе, скорее всего меня провалит при выборах в Верховный Совет СССР, следовательно, в парламенте мне не работать. Передо мной открывается более чем реальная перспектива в лучшем случае стать безработным депутатом. Насколько я знаю, ни один министр не собирается расставаться со своим креслом. Народных депутатов много, а министров мало.

Итак, мне надо решить.

Со всей страны начали поступать телеграммы. Огромные многотысячные коллективы выдвигали меня своим кандидатом. По этим посланиям можно изучать географию Советского Союза.

Предстоящие выборы — это борьба. Изматывающая, нервная, к тому же с извращенными правилами, игра, в которой бьют ниже пояса, набрасываются неожиданно сзади, совершают всякие другие запрещенные, но зато эффективные приемы. Готов ли я, зная о таких условиях, начинать долгий, изнуряющий предвыборный маршрут?..

Я размышляю, сомневаюсь, чуть ли не отговариваю себя, но самое интересное — решение ведь уже давно созрело. Может быть, даже в тот момент, когда я только узнал о возможности таких выборов. Да, конечно, я брошусь в этот сумасшедший водоворот, и вполне возможно, в этот раз сломаю себе голову окончательно, но я иначе не могу.

«Когда началось Ваше становление бунтаря?»
«В кого Ваш характер — в отца или мать?»
Расскажите чуть подробнее о родителях».
«Говорят, что Вы были настоящим спортсменом
и даже играли за команду мастеров... Это слухи
или правда?».

Из записок москвичей во время встреч, митингов,
собраний.

Я родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка Талицкого района Свердловской области, где жили почти все мои предки. Пахали землю, сеяли хлеб, в общем, существовали, как и многие другие.

Отец женился здесь же: был на деревне род Ельциных и род Старыгиных — это фамилия матери. Они поженились, и скоро на свет появился я — их первый ребенок.

Мне рассказывала мама, как меня крестили. Церквушка со священником была одна на всю округу, на несколько деревень. Рождаемость была довольно высокая, крестили один раз в месяц, поэтому этот день был для священника более чем напряженный: родителей, младенцев, народу — полным-полно. Крещение проводилось самым примитивным образом — существовала бадья с некоей святой жидкостью, то есть с водой и какими-то приправами, туда опускали ребенка с головой, потом визжавшего поднимали, крестили, нарекали именем и записывали в церковную книгу. Ну, и, как принято в деревнях, священнику родители подносили стакан бражки, самогона, водки — кто что мог...

Учитывая, что очередь до меня дошла только ко второй половине дня, священник уже с трудом держался на ногах. Мама, Клавдия Васильевна, и отец, Николай Игнатьевич, подали ему меня, священник опустил в эту бадью, а вынуть забыл, давай о чем-то с публикой рассуждать и спорить... Родители были на расстоянии от этой купели, не поняли сначала, в чем дело. А когда поняли, мама, крича, подскочила и поймала меня где-то на дне, вытащила. Откачали... Не хочу сказать, что после этого у меня сложилось какое-то определенное отношение к религии, конечно же, нет. Но тем не менее такой курьезный факт был. Кстати, батюшка сильно не расстроился. Сказал: ну, раз выдержал такое испытание, значит, самый крепкий и нарекается у нас Борисом.

Так я и стал — Борис Николаевич.

Детство было очень тяжелое. Еды не было. Страшные неурожаи. Всех погоняли в колхоз — тогда было поголовное раскулачивание. К тому же кругом орудовали банды, почти каждый день перестрелки, убийства, воровство.

Мы жили бедновато. Домик небольшой, корова. Была лошадь, но и она вскоре пала. Так что пахать было не на чем. Как и все, вступили в колхоз... В 35-м году, когда уже и корова сдохла и стало совсем невмоготу, дед, ему было уже около шестидесяти, начал ходить по домам класть печки. Он, кроме того что пахарем был, умел еще и столярничать, плотничать — в общем, на все руки мастер.

Отец тогда решил все-таки податься куда-то на стройку, чтобы спасти семью. Это был так называемый период индустриализации. Он знал, что рядом, в Пермской области, на строительство Березниковского калийного комбината требуются строители, туда и поехали. Сами запряглись в телегу, побросали последние вещички, что были, и на станцию, до которой шагать 32 километра.

Оказались в Березниках. Отец завербовался на стройку рабочим. Поселили нас в барак, типичный по тем временам, да и сохраняющийся кое-где еще и сегодня: деревянный, дощатый, продуваемый насквозь. Общий коридор и 20 комнатушек, никаких, конечно, удобств, на улице туалет, на улице же и вода из колодца. Дали нам кое-что из вещей, мы купили козу. Уже родился у меня брат, родилась младшая сестренка. Вот мы шестером — вместе с козой — все на полу, прижавшись друг к другу, и спали. С шести лет, собственно, домашнее хозяйство было на мне. И за младшими ребятишками ухаживать — одну в люльке качать, за другим следить, чтобы не нахулиганил, и по хозяйству — картошку сварить, посуду помыть, воды принести...

Мать, которая с детства научилась шить, работала швеей, а отец — рабочим

на стройке. У мамы мягкий, добрый характер, она всем помогала, обшивала всех — кому надо юбку, кому платье, то родным, то соседям. Ночью сядет и шьет. Никаких денег за работу не брала. Просто если кто полбулочки хлеба или еще что-нибудь из еды принесет, на том и спасибо. А у отца характер был крутой, как у деда. Наверное, передалось это и мне.

Постоянно из-за меня у них с мамой случались споры. У отца главным средством воспитания был ремень, и за провинности он меня здорово наказывал. Если что где случилось — или у соседа яблоню испортили, или в школе учительнице немецкого языка насолили, или еще что-нибудь, ни слова не говоря, он брался за ремень. Всегда происходило это молча, только мама плакала, рвалась: «Не тронь!» — а он двери закрое, говорит: «Ложись!» Лежу, рубаха вверх, штаны вниз, надо сказать, основательно он прикладывался... Я, конечно, зубы сожму, ни звука, это его злило, но все-таки мама врывалась, отнимала у него ремень, отталкивала, вставала между нами. В общем, она была вечной защитницей моей.

Отец все время что-то изобретал. Например, мечтал изобрести автомат для кирпичной кладки, рисовал его, чертил, придумывал, высчитывал, опять чертил, это была его какая-то голубая мечта. До сих пор такой автомат никто не изобрел, к сожалению, хотя и сейчас целые институты ломают над этим головы. Он мне все рассказывал, что это будет за автомат, как он будет работать: и кирпич укладывать, и раствор, и затирать, и передвигаться как будет, — все у него было в голове задумано, в общих схемах нарисовано, но в металле осуществить свою идею ему не удалось.

Отец скончался в 72 года, хотя все деды, прадеды жили за девяносто, а маме сейчас 83, она живет с моим братом в Свердловске, а брат работает на стройке рабочим.

Просуществовали мы таким образом в бараке десять лет. Как это ни странно, но народ в таких трудных условиях был как-то дружен. Учитывая, что звукоизоляции... — впрочем, тогда такого слова не знали, а соответственно ее и не было, в общем, если в любой из комнат было веселье — то ли именины, то ли свадьба, то ли еще что-нибудь, заводили патефон, пластинок было две-три на весь барак, как сейчас помню, особенно: «Щорс идет под знаменем, красный командир...», — пел весь барак. Ссоры, разговоры, скандалы, секреты, смех — весь барак слышит, все все знают.

Может, потому мне так ненавистны эти бараки, что до сих пор помню, как тяжело нам жилось. Особенно зимой, когда негде было спрятаться от мороза, — одежды не было, спасала коза. Помню, к ней прижмешься, она теплая, как печка. Она нас спасала и во время всей войны. Все-таки жирное молоко, хотя она и давала меньше литра в день, но детям хватало, чтобы выжить.

Ну, и, конечно, уже тогда подрабатывали. Мы с мамой каждое лето уезжали в какой-нибудь ближайший колхоз: брали несколько гектаров лугов и косили траву, скирдовали — в общем, заготавливали сено, половину колхозу, половину себе. А свою половину продавали, чтобы потом за 100—150 рублей, а то и за двести купить буханку хлеба.

Вот, собственно, так детство и прошло. Довольно безрадостное, ни о каких, конечно, сладостях, деликатесах или о чем-нибудь вроде этого и речи не шло, только бы выжить, выжить и выжить.

Школа. Своей активностью, напористостью я выделялся среди ребят, и так получилось, что с первого класса и до последнего, хотя учился я в разных школах, всегда меня избирали старостой класса. С учебой всегда было все в порядке — одни пятерки, а вот с поведением — тут похвалиться мне труднее, не один раз я был на грани того, что со школой придется распрощаться. Все годы был заводилой, что-нибудь да придумывал.

Скажем, это было в классе пятом, со второго этажа школы, из кабинета вниз все выпрыгнем, классная (ее мы не любили) заходит, а нас нет, класс пустой. Она сразу к дежурному, он говорит: да нет, никто не выходил. Рядом со школой сарайчик был, мы там располагались и друг другу всякие истории рассказывали,

Потом возвращались, а там каждому поставлен кол, прямо так — лист журнальный и кол, кол сверху донизу. Мы — протест. Говорим: давайте спрашивайте нас, за поведение действительно наказывайте, а предмет мы выучили. Приходит директор, устраивает целый консилиум, спрашивают нас часа два. Ну, мы, конечно, все наизусть выучили, кого ни вызывают — все отвечают, даже те, кто неважно учился. В общем, перечеркнули эти колы, но правда, за поведение нам поставили двойки. Случались и, прямо скажем, хулиганские выходки. Мы тогда заведенные в отношении немцев были, а изучали немецкий язык. И нередко просто издевались над учительницей немецкого языка, причем потом-то, когда вырос, мне уж было стыдно: хорошая учительница, умная, знающая, а мы в те времена в знак мальчишеского протеста ее просто мучили. Например, патефонные иголки в стул снизу вбивали, вроде на первый взгляд незаметно, но они торчат. Учительница садилась, раздавался крик. Мы следили, чтобы иголки чуть-чуть торчали, но все равно на них, естественно, не усидишь. Опять скандал, опять педсовет, опять родители.

Или вот еще наши проказы. Речушка была, Зырянка, весной она разливалась и становилась серьезной рекой, по ней сплавляли лес. И мы придумали игру: кто по этому сплавляемому лесу перебежит на другой берег. Бревна шли плотно, так что если все точно рассчитаешь, то шанс перебраться на другой берег был. Хотя ловкость нужна для этого неимоверная. Наступишь на бревно, оно норовит крутануться, а чуть замедлил секунду — уходит вниз, под воду, и нужно быстро-быстро с одного бревна на другое, балансируя, прыгать, передвигаться к берегу. А чуть не рассчитал — и бултых в ледяную воду, а сверху бревна, они не пускают голову над водой поднять; пока сквозь них продерешься, воздух глотнешь, уже и не веришь, что спасешься. Вот такие забавные игры придумывали.

Еще у нас бои проходили — район на район, человек по шестьдесят — сто дралось. Я всегда участвовал в этих боях, хотя и попадало порядочно. Когда стенка на стенку, какой бы ловкий и сильный ни был, все равно в конце концов по голове перепадет. У меня переносица до сих пор, как у боксера: оглоблей саданули. Упал, думал конец, все потемнело в глазах. Но ничего, все-таки очухался, пришел в себя, оттащили меня до дома. До смертельных исходов дело не доходило, мы хоть и с азартом дрались, но все-таки некие рамки соблюдались. Скорее это было спортивное состязание, но на очень жестких условиях.

Однажды меня из школы все-таки выгнали. Это произошло после окончания семилетки. В зале собрались родители, преподаватели, школьники, настроение веселое, приподнятое. Каждому торжественно вручают свидетельство. Все плю по привычному сценарию... И тут вдруг я попросил слово. Почти как на октябрьском Пленуме ЦК. Ни у кого не было сомнений, что я выйду и скажу слова благодарности и все такое прочее, все-таки экзамены сдал отлично, в аттестате одни пятерки, поэтому меня сразу пустили на сцену. Я, конечно, сказал добрые слова тем учителям, которые действительно дали нам немало полезного в жизни, развивали привычку думать, читать. Ну, а дальше я заявляю, что наш классный руководитель не имеет права быть учителем, воспитателем детей — она их калечит.

Учительница была кошмарная. Она могла ударить тяжелой линейкой, могла поставить в угол, могла унижить парня перед девочкой и наоборот. Заставляла у себя дома прибираться. Для ее поросенка по всей округе класс должен был искать пищевые отбросы, ну и так далее... Я этого, конечно, никак не мог стерпеть. Ребята отказывались ей подчиняться, но некоторые все-таки поддавались.

Нороче, на это торжественном собрании я рассказал, как она издевалась над учениками, топтала достоинство ребят, делала все, чтобы унизить любого ребенка — сильного, слабого, среднего, — и с довольно яркими примерами очень резко обрушился на нее. Скандал, переполох. Все мероприятие было сорвано.

На следующий день педсовет, вызвали отца, сказали ему, что свидетельство у меня отбирают, а вручают мне так называемый «волчий билет» — это такой беленький листочек бумажки, где вверху написано, что прослушал семилетку, а внизу — «без права поступления в восьмой класс на территории страны». Отец

пришел домой злой, взялся, как это нередко бывало, за ремень, и вот тут-то я схватил его руку. Первый раз. И сказал: «Все! Дальше я буду воспитывать себя сам». И больше уже никогда я ни в углу не стоял целыми ночами, и ремнем по мне не ходили.

Конечно же, я не согласился с решением педсовета, стал ходить всюду: в районо, гороно... Кажется, тогда первый раз и узнал, что такое горком партии. Я добился создания комиссии, которая проверила работу классного руководителя и отстранила ее от работы в школе. И это абсолютно заслуженно, ей противопоказано было работать с детьми. А мне все-таки выдали свидетельство, хотя среди всех пятерок красовалось «неудовлетворительно» за дисциплину. Я решил в эту школу не возвращаться, поступил в восьмой класс в другую школу, имени Пушкина, о которой у меня до сих пор остались теплые воспоминания: прекрасный коллектив, прекрасный классный руководитель Антонина Павловна Хонина. Вот это действительно была настоящая учеба.

Тогда я начал активно заниматься спортом. Меня сразу увлек волейбол, и я готов был играть целыми днями напролет. Мне нравилось, что мяч слушается меня, что я могу взять в невероятном прыжке самый безнадежный мяч. Одновременно занимался и лыжами, и гимнастикой, и легкой атлетикой, десятиборьем, боксом, борьбой, хотел все охватить, абсолютно все уметь делать. Но в конце концов волейбол пересилил все, и им я уже занялся совсем серьезно. Все время был с мячом, даже вечером, ложась спать: засыпал, а рука все равно оставалась на мяче. Просыпался, и сразу тренировка — сам для себя: то на пальце мяч кручу, то об стенку им, то об пол. У меня нет двух пальцев на левой руке, поэтому трудности с приемом мяча были, я специально отработывал собственный прием, особое положение левой руки, и у меня своеобразный, неклассический прием мяча.

А с потерей двух пальцев случилась вот такая история.

Война, все ребята стремились на фронт, но нас, естественно, не пускали. Мы делали пистолеты, ружья, даже пушку. Решили найти гранаты и разобрать их, чтобы изучить и понять, что там, внутри. Я вызвался проникнуть в церковь (там находился склад военных). Ночью пролез через три полосы колючей проволоки и, пока часовой находился на другой стороне, пропилил решетку в окне, забрался вовнутрь, взял две гранаты РГД-33 с запалами и, к счастью, благополучно (часовой стрелял бы без предупреждения) выбрался обратно. Уехали километров за шестьдесят в лес, решили гранаты разобрать. Ребят все же догадался уговорить отойти метров за сто: бил молотком, стоя на коленях, а гранату положил на камень. А вот запал не вынул, не знал. Взрыв... и пальцев нет. Ребят не тронуло. Пока добирался до города, несколько раз терял сознание. В больнице под расписку отца (началась гангрена) сделали операцию, пальцы отрезали, в школе я появился с перевязанной белой рукой.

Каждое лето я подрабатывал. Но, кроме этого, в летние каникулы организовывал ребят в какое-нибудь путешествие. Причем придумывали что-нибудь особенное: или найти исток какой-то реки, или куда-нибудь на Денежкин камень, или что-нибудь в этом духе. В общем, это сотни километров с рюкзаками, жизнь в тайге по несколько недель.

Так случилось, что после девятого класса мы решили найти, откуда берет свое начало река Яйва. Очень долго поднимались по тайге вверх: по карте мы знали, что исток реки находится около Уральского хребта. То, что взяли с собой из еды, скоро кончилось, питались тем, что находили в лесу, в тайге. Пospели орехи, мы жарили грибы, ели ягоды. Лес уральский очень богатый. Прожить там, конечно, можно какое-то время. Шли долго, уже никаких дорог, ничего, одна тайга... Иногда попадалась какая-нибудь охотничья избушка, там ночевали, а в основном или шалаш строили, или просто под открытым небом.

Нашли исток реки — сероводородный ключ. Обрадовались. Можно было возвращаться. Несколько километров спускались вниз до первой деревушки. К тому моменту уже порядочно выдохлись. Собрали кто что мог — рюкзак, рубашку, ремень, — в общем, все, что было у нас, вошли в избушку, отдали хозяи-

ну, выпросили у него взамен небольшую лодочку, плоскодонку деревянную, и на этой плоскодонке — вниз по реке, сил идти уже не было. Места были красивые, да они и сейчас там прекрасные, люди не смогли все испортить за это время. Плыдем мы, вдруг вверх, в горах, заметили пещеру, решили остановиться, посмотреть. Вошли. Вела-вела она нас, вела и вдруг вывела куда-то в глубь тайги. Туда-сюда, не можем понять, где мы, короче говоря, заблудились, потеряли нашу лодочку. Почти неделю пробродили по тайге, причем ничего с собой не взяли, а тут, к несчастью, оказалось такое болотистое место, лес-подросток, в общем, он немного давал, чтобы хоть чем-то питаться, и совершенно не давал никакой воды. Болотную жижу вместе со мхом складывали в рубашку, отжимали ее, и ту жижу, что текла из рубашки, пили.

В конце концов мы все-таки вышли к реке, нашли нашу плоскодонку, сориентировались, но из-за грязной воды у нас начался брюшной тиф. У всех. Температура — сорок с лишним, у меня тоже, но я на правах, так сказать, организатора держусь. На руках перетаскивал ребят в лодку, уложил на дно, а сам из последних сил пытался не потерять сознание, чтобы лодкой хоть как-то управлять, она шла вниз по течению. У самого оставались силы только подавать ребятам из речки воду, обрызгивать их — было все на жару. Они потеряли сознание, а скоро и я стал впадать в беспамятство. Около одного железнодорожного моста решил, что все равно нас заметят, причалил к берегу и сам рухнул. Нас действительно увидели, подобрали, привезли в город, а уже месяц, как занятия в школе начались, и, конечно, все разыскивали нас.

Мы пролежали в больнице почти три месяца с брюшным тифом. Лекарств особых не было. Ну, а тут десятый класс, последний, выпускной, а я практически ни разу за парту не сел. Но начиная с середины учебного года, то есть с третьей четверти, я начал заниматься. Взял программу десятого класса. Очень много читал и учил, буквально день и ночь. И, когда начались выпускные экзамены, пошел сдавать. А мои друзья, кто со мной участвовал в этом драматическом походе, решили просто десятый класс пропустить.

Пришел в школу сдавать экзамены, а мне говорят, что нет такой формы — не бывает экстерна в выпускном классе и что я могу гулять. Опять пришлось, учитывая, что дорожка уже знакомая, идти по проторенному пути району, горно, исполком, горком. Тогда я уже выступал за сборную города по волейболу. К счастью, знали меня, был чемпионом города среди школьников по нескольким видам спорта, чемпионом области по волейболу. Короче, разрешили сдать экстерном, правда, всех пятерок мне не удалось получить, по двум предметам поставили четверки, по остальным — пятерки. Вот с таким багажом я должен был поступать в институт.

Подростком я мечтал поступить в судостроительный институт, изучал корабли, пытался понять, как они строятся, причем сел за серьезные тома, учебники. Но как-то постепенно привлекла меня профессия строителя, наверное, потому, что я и рабочим уже поработал, и отец строитель, а он к тому моменту кончил курсы мастеров и стал мастером, начальником участка.

Прежде чем поступать в Уральский политехнический институт на строительный факультет, мне предстояло пройти еще один экзамен. Состоял он в том, что мне надо было поехать к деду, ему тогда уже было за семьдесят, это такой внушительный старик, с бородачей, с самобытным умом, так вот он мне сказал: «Я тебя не пущу в строители, если ты сам, своими руками что-нибудь не построишь. А построишь ты мне баньку. Небольшую, во дворе, с предбанничком».

И действительно у нас никогда не было баньки; у соседей была, а у нас нет, все не было возможности построить. А дед продолжает: «Но только так — сделай сруб, крышу, все строить будешь один, стало быть, от начала до конца. За мной только с леспромхозом договориться, чтобы отвели делянку, а дальше опять ты сам — и сосны спилить, и мох заготовить, и обчистить, и обсушить, и все эти бревна на себе перетаскать». А это километра три — туда, к домику, на место, где надо строить баньку. «Сделаешь фундамент и сруб от начала до конца, до верхнего венца. Вот. Я, — говорит — к тебе даже близко не подойду». И действительно ближе чем на десять метров он так и не подошел. Упорный был

такой дед, упрямый, он пальцем не шевельнул, чтобы мне помочь, хотя я, конечно, мучился невероятно. Особенно, когда уже верхние венцы надо было поднимать, тащить, цепляя веревкой, топором аккуратно подработать, выложить венец, на каждом бревне поставить номера, а когда полностью закончил, все надо насыпать, потом заново собирать, уже подкладывая высушенный мох. А весь этот мох нужно было еще проштыковать как следует. Ну, в общем, все лето я трудился, только-только хватило времени на приемные экзамены приехать оттуда — в Свердловск. В конце дед мне сказал серьезно, что экзамен я выдержал и теперь вполне могу поступать на строительный факультет.

Хоть и не готовился я специально из-за того, что эту самую баньку строил, поступил сравнительно легко — две четверки, остальные пятерки. Началась студенческая жизнь, бурная, интересная. С первого курса окунулся в общественную работу. По линии спортивной — председатель спортивного бюро, на мне — организация всех спортивных мероприятий. Волейболом тогда уже занимался на достаточно высоком уровне, стал членом сборной города по волейболу, а через год участвовал в составе сборной Свердловска в играх высшей лиги, где играло 12 лучших команд страны. Все пять лет, пока я был в институте, играл, тренировался, ездил по стране, нагрузки были огромные... Занимались, правда, мы шестое-седьмое место, чемпионами не стали, но все воспринимали нас серьезно.

Волейбол оставил действительно в моей жизни большой след, поскольку я не только играл, но и тренировал потом четыре команды: вторую сборную Уральского политехнического института, женщин, мужчин, — в общем, у меня уходило на волейбол ежедневно часов по шесть и учиться (а поблажен мне никто не делал) приходилось только поздно вечером или ночами, уже тогда я приучил себя мало спать и до сих пор как-то к этому режиму привык и сплю по три с половиной-четыре часа...

До поступления в институт страны я не видел, моря тоже и вообще нигде не был. Поэтому во время летних каникул решил совершить путешествие по стране. Без копейки денег, из одежды только спортивные брюки, спортивные тапочки, рубашка и соломенная шляпа — вот в таком экзотическом виде я покинул Свердловск. Еще, правда, у меня был из искусственной кожи чемоданчик — маленький, буквально сантиметров двадцать на тридцать. Выпускались такие. Там лежала еще одна рубашка, ну, и если что-нибудь удавалось из продуктов где-то заработать, я туда же складывал. Поездка эта, конечно, была совершенно необычной. Со мной сначала поехал однокурсник, но через сутки он уже понял, что ему наше путешествие не осилить, и вернулся обратно. А я поехал дальше.

В основном на крыше вагона, иногда в тамбуре, иногда на подножке, иногда на грузовике. Не раз, конечно, милиция снимала, спрашивают: куда едешь? Я говорю, допустим, в Симферополь, к бабушке. На какой улице проживает? Я всегда знал, что в любом городе есть улица Ленина, поэтому называл безошибочно. И отпускали меня...

А задачу я себе такую поставил: ночь еду, приезжаю в какой-то город — выбирал, естественно, города известные — и осматриваю его целый день, а иногда и два. Ночью где-нибудь — или в парке, или на вокзале — и дальше в путь на крыше вагона. Из каждого нового города писал в институт своим ребятам.

И вот такой у меня получился маршрут: Свердловск — Казань — Москва — Ленинград — снова Москва — Минск — Киев — Запорожье — Симферополь — Евпатория — Ялта — Новороссийск — Сочи — Сухуми — Батуми — Ростов-на-Дону — Волгоград — Саратов — Куйбышев — Златоуст — Челябинск — Свердловск. Этот путь я проделал за два с лишним месяца, приехал весь, конечно, оборванный, спортивные тапочки у меня были без подошв, просто для, так сказать, формы и красоты: идешь на самом деле почти босиком, а всем кажется, что в тапочках. Шляпа тоже не совозь прохудилась, ее пришлось выбросить. Спортивные штаны основательно просвечивали. Когда выезжал, были у меня еще и часы старинные, старые, большие, подарил мне дед. Но эти часы, как и всю одежду, я проиграл в карты. Буквально в первые дни, как только выехал из дома.

Было это так. В тот момент в стране шла амнистия, заключенные возвращались на крышах вагонов, и однажды они ко мне пристали, их было несколько

человек, и говорят: давай играть в «буру». А я знать не знал вообще эти карты, в жизни не играл и сейчас терпеть не могу. Ну, а в такой обстановке не согласиться было нельзя. Они говорят — давай играть на одежду. И очень скоро они меня раздели до трусов. Все выиграли. А в конце говорят: «Играем на твою жизнь. Если ты сейчас проигрываешь, то мы тебя на ходу скидываем с крыши вагона — и все, и привет. Найдем такое место, чтоб ты уже основательно приземлился. А если выиграешь, мы тебе все отдаем». Что дальше произошло, сейчас мне сложно понять: или уже я стал понимать в этой «буре» кое-что, потому как опыт приобрел, постепенно проигрывая то шляпу, то рубашку, то тапочки, то спортивные штаны, или потому, что они вдруг пожалели меня, что-то человеческое проснулось в них, а это были уголовники, выпущенные из колонии, в том числе и убийцы, тогда прошла большая амнистия. В Свердловской области таких колоний порядочно. В общем, я выиграл. До сих пор не могу понять, как это случилось. Все вернули, кроме часов. После этой игры они меня больше уже не трогали, а даже зауважали. Сбегают за кипятком — поделятся. Кое-кто даже кусок хлеба давал. Не доезжая до Москвы, они все разбежались, потому что знали, через столицу им не проехать, потом я ехал на крыше в основном один.

Помню в Запорожье, когда уже совсем оголодал, случайно встретился с одним полковником, он и говорит: «Мне надо поступить в институт, а я ничего, ни бельмеса не понимаю в математике. Давай ты меня по математике поднатаскаешь, так, чтобы я сдал экзамен». Он прошел войну, немало привез, видимо, оттуда, потому что квартирка была — для полковника — богато обставлена. Я поставил ему условие — работать, кроме трех-четырех часов сна, по двадцать часов. Полковник засомневался: выдержим ли? Я говорю — иначе за неделю не подготовиться для поступления. С моей стороны было одно условие — меня кормить. Причем кормить хорошо. Жена его не работала, так что она тут старалась изо всех сил. Он честно выполнил наш договор. Я впервые за все время наелся. И даже прибавил в весе. А полковник оказался человеком настойчивым, с характером, выдержал тот темп занятий, который я ему задал, а потом я узнал, что поступил он в институт, сдал по математике экзамен. А я поехал дальше.

Вот таким необычным оказалось это путешествие. Учеба в институте продолжалась своим чередом. Получал я на экзаменах в основном пятерки, хотя очень много времени отнимали волейбол, тренировки, поездки на соревнования. И никаких, как это теперь бывает, побрякушек за спортивные успехи не было. Пожалуй, даже наоборот, некоторые преподаватели гоняли меня на экзаменах больше других, ревниво относясь к моим спортивным увлечениям и считая, что волейбол отвлекает меня от серьезной науки. Однажды профессор Рагицкий на экзамене по теории пластичности предложил мне ответить сразу, без подготовки. Он говорит: «Товарищ Ельцин, возьмите билет и попробуйте без подготовки, вы у нас спортсмен, чего вам готовиться?» А у всех на столах тетради, записи. Дело в том, что в теории пластичности есть некоторые формулы, которые писать надо не на одной странице, запомнить невозможно. Разрешалось пользоваться учебником и конспектами. Профессор решил поставить надо мной эксперимент. Долго мы с ним сражались. Но поставил он мне все-таки четверку, жалко. Хотя относился ко мне хорошо. Я ему однажды задачку решил, очень трудную, которую у него среди студентов лет десять до меня никто осилить не мог. Поэтому он воспылал ко мне такой любовью. Профессор был человеком необычайно интересным, умным, талантливым, мы относились к нему с огромным уважением. И тем не менее вот так я получил эту злосчастную четверку.

Однажды мой любимый волейбол чуть не свел меня в могилу. В какой-то момент, тренируясь по шесть — восемь часов и занимаясь предметами по ночам — хотелось в зачетке иметь только оценку «отлично», — видимо, я перенапрягся. А тут как назло заболел ангиной, температура сорок, а я все равно пошел на тренировку, ну и сердце не выдержало. Пульс — 150, слабость, меня отвезли в больницу. Сказали — лежать и лежать, тогда есть шанс, что месяца через четыре минимум сердце восстановится, а иначе — порок сердца. Из больницы я сбежал уже через несколько дней, ребята сообрадили мне из простыней что-то типа каната, и я с верхнего этажа спустился и уехал в Березники, к родителям. И там

начал потихоньку восстанавливаться, хотя чуть встанешь — мотает из стороны в сторону, стоишь, а сердце выскакивает. Очень скоро я все-таки стал добираться до спортивного зала, на несколько минут выходил на площадку: пару раз мяч возьмешь — и все, валишься. Меня ребята оттащат к скамейке, и я лежу. Это была тупиковая ситуация, думал, не вырвусь уже, так сердце и останется большим и спорта мне больше не видать. Но все равно стремился только в бой и только вперед. Сначала на площадку на одну минуту выходил, потом на две, на пять и через месяц мог уже отыграть всю игру. Когда вернулся в Свердловск, пришел к врачу, она говорит: «Ну вот, хоть вы и сбегали, но чувствуется, что вы все время лежали, не вставая, сердце у вас сейчас в полном порядке». Надо честно признаться, риск, конечно, был колоссальный, потому что мог сердце погубить навсегда. Но я считал, что надо его не жалеть, а напротив, нагружать как следует и клин клином вышибать.

Диплом пришлось вместо пяти месяцев писать всего один: был все время в разъездах, шло первенство страны, самый его разгар, команда переезжала из города в город. Когда вернулся в Свердловск, остался месяц до защиты. Тема дипломной работы «Телевизионная башня». Тогда их почти не было, поэтому до всего нужно было доходить самому. До сих пор не представляю, как мне это удалось. Столько умственных, физических сил я потратил, это было невероятно. Причем тут и особо помочь-то никто не может, тема новая, никому не известная — чертишь сам, расчеты делаешь сам, все от начала и до конца сам. И все-таки сдал диплом, защитился на «отлично».

Так кончилась моя студенческая жизнь, но мы договорились с нашей группой — очень дружной, сильной, подобрались прекрасные ребята и девочки, — что каждые пять лет будем вместе проводить отпуск. И после 55-го года, когда мы закончили институт, прошло 34 года, и ни разу еще эта традиция не нарушилась! А один раз мы собрались даже с детьми, на эту встречу приехали уже 87 человек. Ни в коем случае не в санатории, а только «диким» образом; мы прошли по тайге, по Уралу, по Золотому Кольцу, однажды купили путевки на пароход — и проехали по Каме, Волге. Другой раз жили в Геленджике, на берегу моря в палаточном городке, однажды плавали по Енисею до острова Диксон. Все время придумывали новые варианты, и всегда было интересно и весело. И до сих пор мы очень дружны, а сейчас готовимся вместе провести свой отпуск в 1990 году. Каждый раз создается оргкомитет, который готовит очередную нашу встречу. Три первые пятилетки я был председателем оргкомитета, а потом, когда стал первым секретарем обкома партии, меня друзья решили от этого освободить, поскольку и так была слишком большая нагрузка.

У нас сложились удивительные, теплые и искренние отношения. И здесь можно привести один факт. Когда произошла драматичная ситуация после октябрьского Пленума ЦК 87-го года, друзья все откликнулись, чтобы поддержать меня. Конечно, это настоящие друзья.

Хроника выборов

19 февраля 1989 года

Начало положено. Мне удалось пройти сито окружного собрания. И теперь только от народа зависит, буду я избран им или нет. Это уже победа. Еще не окончательная, но почти победа.

Меня выдвинули чуть ли не в двухстах округах. И в основном поддержали крупные заводы, предприятия, многотысячные коллективы. Не буду никак комментировать эти факты.

Но эти выдвижения ни о чем еще не говорили. Окружные собрания, которые организует, проводит и держит в своих руках аппарат, позволяя избавляться от любой неподходящей кандидатуры. Большую часть этих собраний составляли так называемые представители трудовых коллективов, в основном партийные секретари, их замы и другие, хорошо, до запугивания проинструктированные члены коллективов. Естественно, управлять такой аудиторией никакого тру-

да не стоило, и со всех уголков страны в адрес Центральной избирательной комиссии летели протесты, в которых сообщалось, что окружные собрания узурпировали у народа право на реальные выборы. Создатели, сценаристы этого спектакля под названием «Выборы народных депутатов СССР» только потирали руки, радуясь, как удачно реализуются их выстраданные задумки.

И все-таки они просчитались. Не везде их план удался. Как-то не сообразили они, что и секретарь парткома может заартачиться и проголосовать по-своему, как совесть подсказывает, и даже послушный член коллектива в бюллетене может оставить совсем не ту кандидатуру, которую от него требовали.

Первое окружное собрание, в котором я решил принять участие, проходило в городе Березники Пермской области. В этом городе я когда-то жил, есть люди, которые помнят меня да и фамилию Ельцин тоже: отец долго проработал здесь. В общем, несколько коллективов города выдвинули меня кандидатом в депутаты. И шанс пройти здесь был большой. Если только партийным органам не удастся полностью задуть окружное собрание.

И я решил сделать не совсем обычный ход. После того как из Москвы улетел последний самолет на Пермь, я вылетел в Ленинград, там уже ждали товарищи, болеющие и переживающие за меня, они перевезли меня на военный аэродром, и здесь тоже были мои, так сказать, бескорыстные помощники. На грузовом винтовом самолете, гремящем и тарахтящем так, что я чуть не оглох, в обнимку то ли с крылатой ракетой, то ли со снарядом я улетел в Пермь. Рано утром мы приземлились, здесь меня уже ждали доверенные лица, и очень скоро я очутился прямо на окружном собрании, успел к самому его началу. Мое появление вызвало шок у организаторов, так как из обкома партии прилететь и что-то изменить уже не успевали. Я выступил со своей программой, ответил на записки, вопросы, все прошло прекрасно, и, когда началось голосование, я, честно говоря, уже не волновался. По всей атмосфере было видно, что мне удастся сегодня преодолеть этот первый барьер на пути к избранию. Получил я подавляющее большинство голосов, можно было возвращаться в Москву.

Дальше начались окружные собрания в столице. Несмотря на свою победу в Березниках, я решил принимать участие в московских территориальных окружных собраниях. Мне хотелось почувствовать их атмосферу, разобраться в механизме влияния власти на людей. Это была для меня прекрасная школа.

Кстати, я специально снимал свою кандидатуру там, где пересекался в одном округе с кем-нибудь из достойных, честных, уважаемых мною людей. Например, в Октябрьском районе баллотировался А. Сахаров, я позвонил ему и сказал, что сниму свою кандидатуру в его пользу. Он, правда, в конце концов был избран через Академию наук СССР, общественную организацию.

Каждое окружное собрание дарило мне какой-то новый опыт. Там, где зал был настроен отчужденно, мне даже было как-то интереснее бороться за него. Я видел, как люди преодолевают свое почти гипнотическое состояние трепета перед руководством и дирижирующим ими президиумом.

Помню окружное собрание в Гагаринском районе столицы. Среди его участников оказались очень сильные кандидаты — писатель и публицист Юрий Черныченко, военный историк, генерал Дмитрий Волкогонов, кинорежиссер Эльдар Рязанов, космонавт Алексей Леонов и другие, всего десять кандидатов. Каждый в своем выступлении попросил собрание зарегистрировать всех десяти кандидатов, чтобы на выборах народ уже сам решил, за кого ему голосовать.

И, поскольку выступление каждого кандидата было мощным, эмоциональным, убедительным, зал начал ломаться, дробиться и в конце концов почти весь был готов отказаться от предоставленного ему права по отсеву неугодных.

Что же тут началось! Как же президиум измывался над людьми, придумывая одну уловку за другой, лишь бы это решение — оставить всех — не прошло. Всегда веселый, довольный и оптимистичный Эльдар Рязанов готов был взорваться от гнева, к микрофону подбегали выборщики и клеймили позором президиум, люди уже почти скандировали: требуем регистрации всех кандидатов. Это издевательство над всеми, борьба зала с проинструктированным, запрограм-

мированным руководством собрания продолжалось до двух часов ночи, и в конце концов люди победили. В избирательные бюллетени были включены все кандидатуры. Я уезжал с этого окружного собрания с облегчением: все-таки справедливость, здравый смысл восторжествовали — и одновременно с тяжелыми чувствами. Какая же страшная, безжалостная машина власти висит над нами! Изофренная и чудовищная конструкция, созданная Сталиным и сталинщиной.

«Скажите, это правда, что после окончания института Вы пошли работать на стройку рабочим? Зачем Вам это надо было?»
«Говорят, что Вас в Свердловске отдавали под суд. Расскажите, как это было».

Из записок москвичей во время встреч, митингов, собраний.

После защиты диплома через час я уже сидел в поезде — ехал в Тбилиси на игры первенства страны. Так получилось, что все лето после института я проездил по соревнованиям: то первенство страны, то вузовский турнир в Ленинграде, то кубок страны в Риге. Вернулся 6 сентября и пошел оформляться на работу, куда меня направили по распределению, в трест «Уралтяжтрубстрой».

Как всякому выпускнику вуза, мне предложили должность мастера на строительстве промышленных объектов. Я сказал, что мастером пока работать не пойду. Когда учился, пришел к выводу, что хотя и сильный состав преподавателей был в Уральском политехническом институте, тем не менее некоторые профессора, доценты — те, кто был оторван от производства, — слишком академично преподавали свои дисциплины, не связывая их с реальной жизнью производства. Поэтому сразу руководить стройкой, людьми, не пощупав все своими руками, я считал большой ошибкой. По крайней мере точно знал, что мне будет очень трудно, если любой бригадир с умыслом или без сможет обвести меня вокруг пальца, поскольку знания его непосредственно связаны с производством.

Поэтому я решил для себя, что год посвящу тому, чтобы освоить 12 строительных специальностей. Каждый месяц — по одной. Месяц я проработал наравне с другими рабочими в бригаде каменщиков, вел кирпичную кладку — сначала простую, потом посложнее.

Работал не по одной смене, а полторы-две для того, чтобы быстрее наработать опыт. Рабочие хоть и посмеивались над жадной молодого специалиста пойти, так сказать, в народ, тем не менее помогали мне, подбадривали, в общем, поддерживали меня.

Месяц я работал, а после этого соответствующая комиссия присваивала какой-то разряд, обычно третий-четвертый. Вскоре я получил профессию каменщика, бетонщика. Очень тяжело мне давалась именно работа бетонщика, хотя я физически вроде крепкий, но по очень узким и высоким лесам быстро бежать с тачкой жидкого бетона очень сложно. Если ее накренить, то сразу центр тяжести перемещается, и несколько раз я вместе с тачкой летел метра три вниз; к счастью, все кончалось благополучно, потом все-таки я и это дело освоил. Месяц возил бетон на автосамосвале ЗИС-585. Кстати, был один момент, когда я воз бетон (прав у меня тогда еще не было), и этот ЗИС — был он не новенький, тысяч триста с лишним уже прошел — заглох точно на переезде железной дороги. Я слышу, идет поезд, причем на хорошем ходу. Переезд был неохранный, свободный. Поезд уже вот-вот должен был подскочить и разнести вдребезги и машину, и меня вместе с ней. Тут я, к счастью, вспомнил о стартере. Когда стартер включишь, то машина как бы дергается. И вот несколько таких буквально лихорадочных рывков, а поезд уже подает сигналы, начинают визжать, скрипеть тормоза, но, чувствую, что ему не затормозить, он уже надвигается на меня всей своей огромной массой. А я все время включаю стартер, дергаю, дергаю машину, и она на несколько сантиметров сошла с рельсов, и поезд, чуть-чуть не задев ее, пронесся мимо...

Я вышел из машины, сел на бровку кювета и долго не мог отдышаться. Потом все-таки довел бетон, рассказал ребятам о том, как чуть не угробился, они говорят: молодец, все правильно делал. Или надо было выскакивать, но тогда

пришлось бы отвечать за машину. Стоит она дорого, а я никаких накоплений не имел. И сейчас не имею. Пять рублей со студенческих лет символически на сберегательной книжке до сих пор у меня лежат. И все.

Затем плотник, столяр, стекольщик, штукатур, маляр, все это, конечно, тяжело было освоить.

Работая машинистом на башенном кране, я пережил еще один эпизод, стоивший мне больших нервов. Строили жилой дом для «Уралхиммаша». Уходя с работы, вроде все проверил, кран обесточил, назывался он БКСМ-5,5А. Но одну операцию я пропустил. Кран должен обязательно крепиться по окончании работы за рельсы специальными зацепами. Этого я не сделал. Или забыл, или еще не изучил, трудно сказать. Жили мы рядом со строящимся домом. Ночью разразился шквал, дождь со страшным ветром. Я проснулся и с ужасом вспомнил про кран. Выглянул в окно, вижу: башенный кран тихо, но движется. В чем я там был, по-моему, в одних трусах, выскочил, быстрее к крану, в темноте нашел рубильник, включил напряжение. Лезу по узенькой металлической лестнице вверх, а кран медленно ползет к концу рельсов. Конечно, грохнулся бы он капитально. Заскочил в кабину, а там тоже темно, ничего не видно, стал лихорадочно думать и правильно сообразил, что надо отпустить с тормоза стрелу. И она сразу повернулась по ветру, перестала парусить, скорость несколько снизилась. Но тем не менее кран все-таки продолжал двигаться. Тогда я включил движение крана в обратную сторону и на полную скорость. И, смотрю, кран начал потихонечку снижать скорость и остановился в нескольких сантиметрах от конца путей. Это был, конечно, жуткий момент. За мной выскочила жена, кричит: слезай, упадет, погибнешь, — а я нет, решил все-таки спасти кран. Остановил эту махину, спустился вниз, установил зацепы. Ну, конечно, уснуть этой ночью мы уже не смогли, успокоиться было трудно. Долго еще мне снились сны, как я лезу по башенному крану вверх и падаю вместе с ним.

Вот так я проработал год и получил 12 рабочих специальностей. Пришел к своему начальнику участка и сказал, что теперь готов работать мастером. Кидали меня на разные объекты. Строил промышленные цехи «Уралхиммаша», железобетонный завод, цехи Верх-Исетского завода, вспомогательные объекты, общежития, жилье, Дворец культуры, детсады, школы, интернаты — в общем много.

Мастером мне работалось довольно легко, хотя, конечно, были различные случаи. Например, пришлось повоевать с выводиловкой, она живуча. К сожалению, строители к этому привыкли. Когда я начал строго обмерять кирпичную кладку — сколько использовано бетона, сколько того, другого, — возникли сложности. Постепенно все-таки люди стали понимать мою правоту, да и рабочая совесть — это не пустой звук. Дело наладилось.

Когда мастером работал, было немало и других непростых, а порой и забавных ситуаций. Например, работали с заключенными. Я сразу решил сломать традицию, когда им выводили такую заработную плату, какую они диктовали, а не ту, что заработана на самом деле. Когда первый месяц закончился, я просчитал объемы и зарплату. Она оказалась в два с лишним раза меньше, чем они привыкли получать.

И вот заходит ко мне в маленькую комнатку мастера такой громила, с топором в руке, поднимает его, заносит надо мной и говорит: «Закроешь наряды так, как полагается? Как до тебя, щенок, всегда закрывали?» Я говорю: «Нет». «Ну тогда, имей в виду, терять мне уже нечего, прибью тебя, и не пикнешь». Я чувствовал по глазам, что он совершенно спокойно грохнет мне по башке, даже не моргнет.

Я мог, конечно, увернуться или попытаться физически с ним как-то справиться, хотя тесно, комнатка маленькая, а топор он уже над моей головой занес. И тогда я решил действовать неожиданно. Голос у меня очень громкий, сильный, да еще в этой комнатке... И я во все горло как рыкну, причем резко, глядя в глаза: «Пошел вон!» Вдруг он опустил топор, выронил его из рук, повернулся и, согнув спину, молча вышел. Какой винтик у него там сработал, трудно сказать.

Кстати говоря, я всю жизнь терпеть не могу брани, в институте даже со мной спорили, употребляю я или нет за целый год хотя бы одно нецензурное слово. И каждый раз я выигрывал. Поэтому я просто не приучен и сейчас никогда не употребляю. То есть сейчас-то тем более.

Начальником участка меня направили на совершенно уникальный объект — камвольный комбинат. Это было огромное семиэтажное здание из смонтированных металлических конструкций, напоминавшее скелет. Стояло оно уже давно, все заржавело, но появилось постановление по развитию легкой промышленности и решили его достроить. Поручили мне этот сложный объект. Жил я в общежитии на Химмаше, утром шел пешком, а это километров, наверное, десять—двенадцать до работы. В шесть утра выходил и обычно где-то к восьми был на работе.

На этом объекте работало до тысячи человек, а когда город помогал, доходило до двух. Практически работа шла круглосуточно. Зимой строили водонапорную башню — бетонную, это вообще уникально, да еще с верхним баком для воды. Бетонирование нельзя было прерывать ни на час, работали с подогревом бетоном, и я сутками не уходил от башни. На этом объекте проработал до подписания акта о сдаче камвольного комбината. А когда все сдали и оборудование начало работать, корпус вдруг стал шататься, и вся эта металлическая машина с железобетонными плитами перекрытий начала «ходить». Пришлось остановить станки. Я сразу — в Политехнический институт к профессору Бычкову. Сделали вместе расчет всех конструкций и пришли к выводу, что в проекте была ошибка — опор плит перекрытий оказалось совершенно недостаточно для полной устойчивости здания. И вторую причину мы нашли — прядильные станки установлены по движению только в одном направлении; когда их включают, то их амплитуда совпадает с амплитудой вибрации корпуса, и он начинает раскачиваться. Этот вопрос решили довольно просто: переставили станки и вибрацию сняли, — а с укреплением опор пришлось повозиться. Надо было вскрыть стыки, армировать, бетонировать и так далее, ну, в общем, намучились изрядно.

Затем меня назначили главным инженером управления № 13. Управляющим был Николай Иванович Ситников — человек оригинальный, мягко говоря; упрямый, злой, и его упрямство доходило иногда до элементарного самодурства. Отношения у нас сложились странные: скажем, он приезжает, шумит. Но если я считал, что прав, не подчинялся, делал по-своему. Это его бесило. Едешь с ним в машине, поспоришь, он останавливает машину где-нибудь на полпути: «Вылезай!» «Не вылезу. Довезите до трамвайной остановки». Стоим полчаса, стоим час, наконец он не выдерживает, поскольку куда-то опаздывает, хлопает дверцей и везет до трамвая. Или, скажем, вызывает к себе, начинает ругать последними словами: такой-рассякой, — что-нибудь не так, хватается за стул, ну, и я тоже, идем друг на друга. Я говорю: «Имейте в виду, если вы сделаете хоть малейшее движение, у меня реакция быстрее, я все равно ударю первый». Вот такие были отношения.

Несколько раз он ставил вопрос в горкоме, чтобы меня сняли с работы, а я уже был начальником управления. С коллективом я неплохо сработался, горком не давал меня уволить, в это время вторым секретарем работал Федор Михайлович Морщаков — человек интересный, умный, и он не раз меня выручал.

Однажды управляющий мне в один год объявил 17 выговоров — это было рекордом. Я 31 декабря собрал все выговора, пришел к нему, хлопнул об стол и сказал: «Только первый выговор в следующем году объявите, и я устрою скандал. Имейте в виду». Второго января я уже имел выговор за то, что мы не работали первого. Первое января — праздник, выходной, но тем не менее, по мнению управляющего, надо было работать. Я решил бороться с этим выговором. Пошел по всем инстанциям. Мне его отменили. И после этого он уже был более осторожен.

Потом он подал на меня в суд. Попытался поймать на неточно сделанной финансовой отчетности. Истцом со стороны треста выступал главный бухгалтер, а я, соответственно, ответчик. Сажу на скамеечке в районном суде, доказываю, что ничего здесь ни подсудного, ни криминального нет. Умный судья, к счастью,

оказался, лет, наверное, сорока — сорока пяти. Он в заключение, когда объявлял решение суда, сказал буквально следующее: «В действиях каждого руководителя может или должна быть доля риска. Главное, чтобы эта доля риска была оправданной. В данном случае в действиях Ельцина риск как раз был оправдан. Поэтому решение суда — Ельцина полностью оправдать, а все издержки суда отнести за счет истца, то есть за счет треста «Южгорстрой». Это был сильный удар и по главному бухгалтеру, и по управляющему, этот суд вдохновил как-то и меня. Правда, главный бухгалтер не забыл свое унижение на суде и, будучи членом парткома треста, попытался мне помешать во время приема в партию.

Среди многочисленных вопросов на парткоме был и такой его вопрос: «На какой странице, в каком томе «Капитала» Маркса говорится о товарно-денежных отношениях?» Я, совершенно точно зная, что он и близко не читал Маркса и, конечно, не знает ни тома, ни страницы и вообще понятия не имеет, что такое товарно-денежные отношения, тут же наобум ответил: «Второй том, страница 387». Причем сказал быстро, не задумываясь. На что он глубококомысленно заметил: «Молодец, хорошо знаешь Маркса». В общем, приняли меня.

Самодурство управляющего продолжалось до тех пор, пока меня не направили на работу главным инженером комбината более крупного, чем его трест.

И еще, пожалуй, стоит вспомнить, как мне объявляли строгий выговор с занесением в учетную карточку по партийной линии на бюро городского комитета партии. Я только что стал начальником стройуправления. До меня начальником был жуткий разгильдяй, пьяница, все, что можно было завалить, он завалил, в том числе и строительство школы-интерната. В сентябре, когда я пришел на его место, шла кладка первого этажа, а должно было быть четыре. То есть, конечно, объект был похоронен заранее, и никакими усилиями его сдать в конце года было нельзя. И вот в начале года в райкоме меня принимают в партию, выдают партийный билет в торжественной обстановке, а на следующий день — бюро горкома партии по итогам года. Вдруг слышу: давайте, чтобы неповадно другим было, объявим Ельцину строгий выговор с занесением в учетную карточку.

Я вышел на трибуну и говорю: «Товарищи члены бюро (а народу было много), поймите: вчера только мне вручили партийный билет. Вот он, еще горячий. И сегодня вы предлагаете вынести мне как коммунисту со стажем всего один день строгий выговор с занесением в учетную карточку за не сдачу интерната. Тут строители есть, они подтвердят, — сдать его было просто невозможно». Нет, уперлись: пусть другим будет неповадно. Ну, Ситников тоже, видимо, сыграл свою роль. Это был серьезный удар.

Я искренне верил в идеалы справедливости, которые несет партия, так же искренне вступал в партию, досконально изучил и устав, и программу, и классиков, перечитал работы Ленина, Маркса, Энгельса. И тут вдруг на горкоме такое произошло... Через год строгий выговор сняли, но в учетной карточке запись оставалась вплоть до обмена партийных документов. Только тогда у меня учетная карточка стала чистой.

Вообще лишь в последнее время мы стали размышлять о негативной роли вмешательства партии в хозяйственные дела. Тогда же и хозяйственники, и тем более партийные работники считали это совершенно в порядке вещей. И я так считал, и для меня было естественно, когда меня вызывали на совещания одновременно в несколько райкомов партии; правда, я пытался увернуться от всех этих заседаний, но то, что они проходили, то, что там с помощью накачек, выговоров и так далее решались многочисленные хозяйственные и прочие проблемы, было сутью существования системы и никаких вопросов или возражений не вызывало. Главное, чтобы не попался какой-нибудь райкомовский аппаратчик-зануда, который своими глупостями или манией величия может сильно испортить жизнь. Помню, у меня произошел конфликт с первым секретарем райкома партии Бобыкиным, тем самым, который затем станет первым секретарем Свердловского обкома партии и на XIX партконференции пошлет записку с нелепым текстом против выступившего в мою защиту свердловчанина Волкова.

Так вот, получаю я телефонограмму от Бобыкина с требованием явиться на совещание к стольким-то часам. Я удивился такому тону, не знаю, как даже точ-

нее назвать — барскому или хамскому, и на телефонограмму не ответил. Вообще же однажды подсчитал, что одновременно меня могут вызвать в 22 организации, начиная от семи райкомов партии и райисполкомов, где мы строили объекты, и заканчивая обкомом партии. Естественно, появиться всюду было невозможно, ну, и где-то мы, созвонившись, переносили встречу, куда-то я посылаю замов, выкручивались, короче, на взаимоприемлемой основе. А тут такой странный командирский тон. Он один раз послал телефонограмму, второй раз, третий. Наконец звонок от него: прошу объяснить, почему не являетесь на совещания, которые проводит первый секретарь районного комитета партии? Я отвечаю: а почему, собственно, я должен являться именно на ваши совещания, если у меня в это время такие же совещания в других райкомах, почему я должен предпочтительно отдавать именно вам, а не кому-либо другому? Он совсем взъерепенился: нет, я докажу, я доберусь, все равно будете ходить! Я говорю: вот уж после таких слов вы никогда меня у себя на совещании не увидите. Так потом и получалось. Ничего он со мной сделать не мог, а, конечно, свое самолюбие ему очень хотелось улажить... Он такой и сейчас.

После работы начальником управления мне предложили должность главного инженера вновь создаваемого крупного домостроительного комбината вместе со своим большим заводом, с многотысячным коллективом, который в дальнейшем все разрастался и разрастался. Скоро начальника комбината отправили на пенсию, а меня назначили на его место. Так, достаточно молодым, в 32 года, я стал руководителем очень крупного комбината.

Сложный был период. Одновременно шло и освоение завода, и внедрение новых технологий, и внедрение поточного скоростного строительства. Провели эксперимент по строительству пятиэтажного дома за пять дней, нам это удалось. Потом попробовали провести другой эксперимент: застраивая микрорайон, башенные краны шли один за другим без демонтажа, пути продолжались к следующему дому, следующему, и так очень много времени экономилось. Были другие технически интересные решения, комбинат начал стабильно выполнять план. Стали шить спецодежду со знаком ДСК — домостроительного комбината, причем шить индивидуально, по размеру каждому рабочему, каждой женщине. Это людям очень нравилось, появилась гордость за свою фирму.

Конечно, тяжело давалось житье в конце года, в конце квартала, когда приходилось практически круглосуточно работать. Часто, именно в ночные смены, я посещал строительные бригады, особенно женские.

Вообще мой стиль работы называли жестким. И это правда. Я требовал от людей четкой дисциплины и выполнения данного слова. Поскольку, уже говорил, бранные слова нигде не употреблял и свой громкий и зычный голос тоже старался на людей не повышать, моими главными аргументами в борьбе за дисциплину были собственная полнейшая отдача работе, постоянная требовательность и контроль, плюс вера людей в справедливость моих действий. Кто лучше работает, тот лучше живет, больше ценится. Хорошая, профессиональная, качественная работа не останется незамеченной, и точно так же не останется незамеченным брак и разгильдяйство. Если дал слово — сдержки, а не сдержал — отвечай перед людьми. Эти ясные, понятные отношения создавали, мне кажется, человеческий, доверительный климат в коллективе.

Скажем, был у нас плотник Михайлишин, прекрасный мастер. Я, например, говорю: выручайте, Василий Михайлович, осталась ночь, за три государственная комиссия дом принимает, двери покрашены, но надо их переставить. Оказалось, что шарниры по халатности поставили на заводе наоборот. С ними, бракоделами, мы потом разберемся. А сейчас надо спасать дело. Говорю: полы покрашены, их нельзя испортить, тут не навалом придется брать, тут аккуратненько, ювелирная работа нужна, и двери не испачкать, и полы, и все сделать, чтобы утречком осталось только шарниры подкрасить чуть-чуть — и все. Вот так я его на ночь работать оставил, а утром, в шесть утра, вернулся. Захожу, он заканчивает последнюю дверь в подъезде. Я захватил с собой из дома транзитный приемник, вручаю ему, мы обнялись, и слов никаких не надо. Ну, разве у него останется чувство какой-то горечи, обиды из-за того, что оставил его работать всю ночь?

Или еще одна критическая ситуация. Когда камвольный комбинат сдавали, вдруг, практически за сутки, выяснилось, что опять-таки из-за разгильдяйства, халатности не построили метров пятьдесят подземного перехода из одного корпуса в другой. Невероятно, но факт. На этот переход существовал отдельный чертеж, ну он и затерялся. Вдруг в последний момент обнаружили, что перехода-то нет! А объект крупнейший, на виду у города, да и для всей страны шесть миллионов метров ткани ежегодно должен выпускать. Тут же собираются лучшие умы стройки, решаем, как точно и четко работу организовать, на все обсуждение тратится буквально полчаса. Все высчитали по минутам, земляные работы со стольких-то до стольких, бетонирование, отделка, сюда перекидывается одна бригада, затем другая. Экскаватор начинает копать траншею, за ним идет следующий, потом следующий. Я на месте, не отхожу ни на минуту. Каждый отвечает за свой участок. Никакой лишней суеты, все организовано предельно точно... Утром, в шесть утра, уже укладывали асфальт на этот проклятый подземный переход, все было готово, мы успели.

Или вот еще, вроде бы мелочь, — приехать в женскую бригаду в ночную смену и вместе с ними поболтать о том о сем, поработать — обоим поклеить, окна покрасить, а поднимало это настроение и мне, и девчатам очень сильно. Да и делу помогло — я узнавал те детали, мелкие вроде бы проблемы, которые, если руководитель не в курсе, перерастали в большие, неразрешимые. Зеркала в женские бытовки, отрезки на платье за хорошую работу, какие-то другие подарки, купленные на профсоюзные, да и бывало на свои деньги, — все это создавало совсем другую атмосферу между начальником и подчиненными.

14 лет проработал на производстве — и вдруг предложение возглавить отдел обкома партии, отдел строительства. Этому предложению не удивился: я постоянно занимался общественной работой. Но согласился без особого желания. Работать начальником комбината у меня получалось: коллектив постоянно выполнял план, в общем, работалось хорошо, да и зарплата была приличная. Сейчас в Верховном Совете я имею зарплату меньше, чем тогда, двадцать лет тому назад. И все-таки пошел. Захотелось попробовать сделать новый шаг. Кажется, я так до сих пор и не могу понять, куда он меня привел.

Хроника выборов

21 февраля 1989 года

Странно, но мне до сих пор не верится, что это случилось. Кандидатом по Московскому национально-территориальному округу зарегистрирован Б. Ельцин. То, чего так не желали, чему с таким отчаянием сопротивлялись аппаратные верхи, произошло.

Вместе со мной в избирательный бюллетень будет включен Ю. Браков, генеральный директор ЗИЛа.

Но по порядку... На окружном собрании меня должны были прокатить. В зале тысяча человек, из них двести представляют десять кандидатов, и восемьсот — тщательно отобранных, проинструментированных, послушных выборщиков.

Всем было известно, чем кончится окружное собрание: аппарат наметил двух кандидатов — Ю. Бракова и космонавта Г. Гречко. У меня была единственная надежда на то, что все-таки удастся переломить зал и зарегистрировать всех, — тогда появлялся реальный шанс. Перед началом собрания все десять претендентов по моей инициативе подписали письмо к участникам собрания с просьбой внести в бюллетени всех кандидатов в депутаты. Надо сказать, все подписывали это обращение с большим удовольствием, никому не хотелось участвовать в спектакле с уже готовым, расписанным финалом. Но по настроению зала я почувствовал: в этот раз этот номер не пройдет, в голове у каждого заучено сидело две фамилии: Гречко, Браков. Опыт прошлых собраний был учтен, неуклюжие бюрократы тоже умеют извлекать уроки из ошибок.

После выступления каждого из кандидатов со своей программой по регла-

менту следовали ответы на письменные вопросы — пять минут и на вопросы с мест — семь минут. Мне пришло более ста письменных вопросов.

Я уже знал, что в зале с заготовленными провокационными вопросами сидят люди и только ждут отмашки организаторов шоу, чтобы «делать дело». И тогда я решил поступить неожиданно. Из всех вопросов, поступивших ко мне, я выбрал в основном самые несправедливые, неприятные, обидные. Обычно все отбирают для своих ответов выигрышные, я решил сделать наоборот.

Начал отвечать на записки: «Почему Вы предали Московскую партийную организацию, струсили, испугались трудностей?», «На каком основании Ваша дочь переехала в новую квартиру?» — и все в том же духе, разве только что не было вопросов про приводы в милицию и про порочащие связи... Но этими ответами я совершенно расстроил планы руководителей мероприятия. Почти все негативные вопросы, которые они планировали задать с мест, уже прозвучали, и на вопросы устные я отвечал легко и спокойно. Я видел, что зал потихонечку начал оттаивать, появились какие-то надежды на незапланированный исход.

Но был у нас запасен еще один сюрприз. Перед началом собрания ко мне подошел космонавт Георгий Гречко и сказал, что хочет снять свою кандидатуру, поскольку считает, что будет правильным, если меня выдвинут кандидатом в депутаты, и вообще сражаться со мной он не хочет. Я говорю: подумайте... Он ответил: «Я твердо решил». Ну, и тогда я попросил, чтобы он взял самоотвод перед самым началом голосования.

Гречко все прекрасно изобразил. Вообще я понял: в нем прекрасный актер умер. Во время всего собрания он переживал, нервничал, всем своим видом показывал, как его волнует реакция выборщиков, ответы, вопросы, борьба за регламент и т. д. И вот наконец перед самым голосованием каждому дается минута, так сказать, последнее слово. Дошла очередь до Гречко. И тут он спокойно подходит к трибуне и произносит: «Прошу снять мою кандидатуру».

Это был, конечно, мощнейший удар по организаторам. У всех, кого проинструктировали голосовать за Бракова и Гречко, как бы появился свободный выбор, теперь можно было отдать свой голос за меня почти с чистой совестью, если будет тайное голосование, а его удалось пробить.

Так и произошло, я набрал больше половины голосов. Все кандидаты меня тепло поздравили. Между всеми нами была дружеская, товарищеская атмосфера, и это тоже во многом повлияло на итоги выборов.

Вообще каждый раз планы моих противников рушатся, потому что они почему-то считают, что кругом одни завистливые и подлые люди. Они все время ставку делают на злых, а их ведь мало. И потому все срывается. Если бы на собрании им удалось набрать только таких, тогда я бы, конечно, проиграл. Но они не смогли по всей Москве найти даже восьмисот подобных им людей. Несчастные...

Начинался новый этап предвыборной кампании. Из-за того, что мои шансы на победу с прохождением очередного барьера увеличивались, стократно росло сопротивление тех, для кого мое избрание явилось бы настоящей катастрофой, крушением веры в незыблемость установленных порядков. То, что эти порядки давно прогнили, их не волновало. Главное — не пустить Ельцина.

Но, кажется, уже было поздно...



Н е з а б в е н н ы й М и ш у н я

ПОВЕСТЬ

1

Она звонит мне в субботу вечером. Мне приятно слышать ее певучий голос, вполне еще, я бы сказал, молодой и только на самых спусках фраз срывающийся в старческое поскрипывание.

— Как ты завтра утром? Я не очень тебя отрываю? Ну вот, хорошо, спасибо. Мы ненадолго. Ничего с собой не бери, я все привезу сама.

Утром мы встречаемся с ней у метро. Я приезжаю минут на десять раньше, но она уже там, сидит на лавочке, еще издали, из окна автобуса, я вижу ее сгорбленную фигуру в сером плаще и огромную сумку рядом. Она улыбается мне радостной, но и сдержанной, но и ущербной улыбкой (другой у нее не бывает с тех самых пор...). Я целую ее чистую мягкую щеку и сажусь рядом.

— Ты давно?

— Нет, полчаса, не больше. Отдохнула. Ты же знаешь, какой я ходок. Ну, так я лучше выйду пораньше, чтоб тебя не задерживать.

Мы немножко беседуем о том о сем, и, отвечая на каждый ее вопрос — как дети, как мама, как на работе, — я успеваю привычно удивиться ее ненавязчивости. Она действительно хочет знать, но никак не станет влиять на мои ответы, а что расскажу, на том и спасибо. И поэтому я говорю охотно, подробно, порой чересчур подробно.

— Ну-ну, слава Богу. Мы сначала побудем у дяди Мишуни, сделаем все, что сможем, потом ходим к дедушке, потом к бабушке, а к тете Полюне уже не пойдем, ты и так потеряешь много времени...

Вставая к автобусу, она с усилием расправляет спину, навсегда согнутую спондилезом, и идет торопливо, почти легко, а я удивляюсь тяжести сумки, просто чудо, как она ее несла.

В автобусе душно, полно народу, и потом, когда мы выходим, полегче, но тоже жарко. Я в одной рубашке, но весь в поту, а она ежится в своем плаще, застегивает его на последнюю пуговицу. Мы входим в ворота, сворачиваем направо и идем по дорожке между оградами, мимо серых, красных и черных камней с русскими и еврейскими буквами. Это новая территория, здесь все вперемежку. Как всегда, когда я попадаю на кладбище, начинается во мне эта внутренняя работа, новая тревожная жизнь. Здесь и особое странное чувство: смерть, ужас, тайна... И еще больше — необходимость особого чувства: вот оно, то самое, перед тобой, что же ты, давай, почувствуй, скорее, острее — смерть, ужас, тайну...

Это новая территория, деревьев здесь мало, редкие пятна тени манят и притягивают и легко, без задержки, почти не дав облегчения, выпускают нас дальше, в открытое пекло.

— Может, ты отдохнешь? — говорит она. — Сумка такая тяжелая.

— Тебе была легкая?

— Ну, я привычная. И меня же везло метро...

Поворот, еще поворот, угловая ограда. Проволокой примотанная калитка, заросли трав и кустов, дешевый серый камень из мраморной крошки...

И как я ни распарен и ни притуплен, а свежий такой холодок пронизывает меня от макушки до пят: я вижу свою могилу. На камне выбита моя фамилия, большими буквами, без единой ошибки, и я с запозданием, сначала естественным, а затем, через мгновение, уже нарочитым, сползаю взглядом на мелкие букочки имени-отчества и дальше, на годы жизни. Нет, там под камнем не я, там мой дядя, Мишуня — Михаил Моисеевич, как звали его чужие. Эта надпись выбита — для чужих... И еще для чужих — не для своих же: «Незабвенному мужу, отцу и бабушке». Кто это придумал? От жены, от дочки, от внучки. Не от меня. Ну что ж, справедливо. Я и должен быть ото всех отдельно. И не потому, что я был ему дальше, это вряд ли, просто отдельно — и все. Значит, дядя Мишуня там, под этим камнем, метра, наверное, полтора, и пятнадцать лет, так что там, под этим камнем? Гнилые доски, кости, остатки истлевшей одежды? Эти мысли не только ужасны, они и бесплодны, и я их с усилием от себя отвожу. А его жена, то есть вдова, стоит здесь рядом со мной, такая картинка, и ее плечи в скользком плаще «болонья» я обнимаю где-то внизу, потому что она опять забыла про свою осанку и, расслабься, согнулась, как пружина, почти под прямым углом.

— Ладно,— говорю я,— тетя Женя, давай работать. А то еще дождь пойдет, вон как парит, ничего не успеет.

Две бутылки краски, кисти, совок, веник, лейку, садовые ножницы — все это мы достаем из сумки, и она еще далеко не пуста.

— Может, ты сначала покушаешь? У меня там курица, и рыбка, и пиво... Ну-ну, ладно, потом, потом.

Мы начинаем работать. Мы ходим к колонке, набираем воду, мы спокойно и деловито протираем ограду и камень, как протирали бы мебель, мы подвязываем кусты, пропалываем грядку, подстригаем ветки чужого, соседского тополя, слегка загораживающие наш памятник. Здесь, у нас, на крохотном квадратике — ботанический сад. Несметное множество различных трав, цветов и кустов, кажется, что все это растет не из земли, а друг над другом, в два или три этажа.

— Ужасно,— говорит она ворчливо,— как у меня здесь запущено! Каждый раз пытаюсь привести в порядок, и все не выходит. Вот это, мне сказали, красивые цветы, я вырвала анютины глазки, посадила их, а они так и не расцвели. А клубника немножко цвела, но ягод не будет, я уверена, потому что мешает вот этот куст, заслоняет солнце, и дождей же сколько времени не было, ну что я поливаю раз в неделю, разве это достаточно? Там у бабушки только одно дерево, зато подметешь — и чисто, аккуратненько, а здесь, у Мишуни, такой беспорядок, как ты считаешь?

Я никак не считаю, ничего не знаю, может, лучше, чтоб было густо, а может, чтоб чисто, кто поймет эту кладбищенскую эстетику?

— По-моему,— говорю я,— все хорошо. Только давай оборвем траву вдоль ограды, чтоб удобнее было красить.

Она с радостью хватается за эту траву — объективно нужное дело.

А потом мы с ней красим в две кисти, я снаружи, она внутри, и она работает быстрее и лучше. Работа нудная и кропотливая, мелкие чугунные завитки, попробуй, заполни их все без пропусков, чтобы пыльно-серое стало блестящим и черным. И халтурить — как-то душа не лежит, невозможно себе позволить. А солнце жарит, прожигает спину. Она сняла наконец свой плащ, осталась в синем сарафане и черной косынке.

— Ой, только бы не было дождя, пропадут все наши труды!

— Ничего,— говорю я,— это битум, сохнет моментально.

Я прохожу еще только три стороны, а она уже закончила и идет мне на помощь.

— Там, внутри, удобней,— оправдывается она,— не надо ходить, только поворачивайся.

А потом мы сидим на соседней чужой скамейке, я сдираю крышку бутылки об острие чужой ограды, пью пиво, посасываю рыбку. А она все поглядывает туда, к нам, хозяйским нетерпеливым взглядом, и порывается встать, и снова садится.

— Все! — говорю я.— Дело сделано. Сегодня уже больше ничего нельзя. Вымажешься да чкреску сожрешь. Успокойся.

Она склоняет набок седую голову, виновато улыбается.

— Ничего получилось? А? Как ты считаешь?

— Хорошо,— говорю я.— Просто х о р о ш о!

И внутренне ежусь от этого слова, отнесенного все-таки, как ни крути, к могиле...

— А верхушки серебряным — это уже потом, как-нибудь я сама...

— Ну что ты, что ты,— вру я великодушно, допивая пиво,— зачем сама, через недельку подъедем...

Она снова улыбается своей узкой, стесненной улыбкой, она благодарна мне за намерение.

Небо между тем с удивительной скоростью заполняется серой массой, и, когда мы доходим с ней до ворот, уже падают первые великанские капли.

Настоящий дождь застает нас в автобусе. Все вышло очень удачно.

— Неудачно вышло,— говорит она, будто мне отвечая,— вся наша работа насмарку.

— Да нет,— говорю я,— ничего подобного, это битум, сохнет моментально...

— И к дедушке не успели, как нехорошо, я и в прошлый раз не была... Может, заедешь ко мне? — спрашивает она безо всякой надежды.— Я сварила такой чудесный борщ, а есть некому, все мои на даче...

Отчего-то я вдруг соглашаюсь.

И вот мы сидим у нее на кухне, я — с огромной тарелкой борща, а она — с каким-то диетическим блюдом из творога, и она наливает мне водки в высокую тонкую рюмку. Я хотел бы сказать ей что-нибудь, что бы ей понравилось, но только не знаю, что же именно, и скажу чужие, пустые слова, и, может быть, так и надо... На губах ее улыбка, а в глазах слезы, она уже заранее предвидит мой тост и как бы произносит его вместе со мной.

— Ну, чтоб все его помнили!

— Пей на здоровье, сыночку. Кто его помнит?

— Как так? Ты его помнишь. Разве этого мало?

— Ах, я... Сколько уже мне осталось... И разве ему от этого легче? Ему все равно...

— Нет! — говорю я как можно весомей и тверже.— Абсолютно не все равно!

— Да что ты, милый, ты что, серьезно?

— Совершенно серьезно! Смерть — это ведь только начало. И сейчас даже самые крупные ученые... И в Америке...

Она ласково смотрит на меня сквозь слезы.

— И ты в это веришь?

— Конечно! — говорю я.— Безусловно, а как же! — И на миг чувствую уютную радость, как если б действительно верил... — И мы нашей памятью ему помогаем, облегчаем его страдания там...

— Да? Ты тоже его иногда вспоминаешь? — Она смотрит мне прямо в глаза.— Ну, какой он был?

— Он был пьяница, бабник, и пустозвон, и немыслимый эгоист, и бездельник и очень меня любил, и я его тоже, и я навсегда перед ним виноват, потому что любил его меньше, чем он меня...

Она не вскрикивает, не хватается за сердце, не закрывает в ужасе глаз, потому что я этого не говорю, я говорю другое:

— Очень часто его вспоминаю. Он был хороший. Если ты не возражаешь, я выпью еще одну.

2

Он был пьяница, бабник и пустозвон, и единственный отчетливый человек в нашем приглушенном, невнятном клане.

По праздникам, когда вся любвеобильная родня, поочередно лизнув и обзав друг друга: Мишуня, Гришуня, Женюся, Кларуна, — рассаживалась для доброжелательной трапезы, он один оставался белой, а вернее, рыжей вороной, центром маленькой опасности, горячей точкой стола. Рыжими, собственно, были только усы, небольшие, жестко-цетинистые, но и лицо его, даже чисто выбритое, всегда сохраняло оранжевый оттенок. Голову он тоже брил наголо, да и усы иногда снимал и тогда, как он сам говорил, на

двадцать лет молодец, но сразу же принимался их снова отращивать, поглядывая в зеркало по нескольку раз на дню. Без усов он становился как бы наг и беспомощен и заметно иначе говорил и даже ходил, но продолжал их снимать время от времени. То была доступная перемена жизни, неопасная и обратимая, и она приятно его щекотала. Вообще всякая внешняя сторона имела для него огромное значение, и слово «красивый» не сходило с языка. Красивый дом, красивая свадьба, красивая женщина, красивая лошадь... (Лошадь в этом ряду не случайна, в молодости он обожал лошадей, был любителем верховой езды и владельцем красивого экипажа). Пожалуй, он и сам был красивым мужчиной, и главным выражением его лица, имевшего много различных выражений, оставалось суровое мужское достоинство. Внутренне именно эта черта была скорее стремлением, нежели качеством, поэтому на всем его поведении лежал налет пародийности, иногда более, иногда менее явный, но никогда не исчезающий полностью. Он легко принимал атмосферу игры и с неизменной серьезностью относился к любой своей роли. А различных ролей он сыграл множество: местечкового богача-гуляки, бедного бродяги на заработках, безотказного подхалима-чиновника, строгого начальника-бюрократа, бесправного пенсионера-сердечника; рыцаря и циника, вора и сыщика, отца и отчима; и, наконец, благочестивого и набожного еврея — и ясноглазого русака-черносотенца. Он везде играл, но нигде не притворялся, все эти склонности и характеры в нем как-то действительно уживались. Он не притворялся, он был слишком серьезен и поэтому никогда до конца серьезно не выглядел, а всегда вот с этим оттенком дурачества, который, по счастью, не все замечали. Это вовсе не значит, что он не шутил сознательно, наоборот, шутил почти постоянно, не остроумно, но громко и радостно и тут же сам смеялся до слез, беззвучно хрипя, гогоча и повизгивая. Но и слушателем был — благодарным, готовым, никогда не приглушал своей реакции, зато часто настолько перебирал, например, раздражался таким неумным ржанием, что рассказчик просто терялся и не знал, куда себя деть, не в силах поверить, что его острота, такая на вид неприметная, вызвала всю эту бурю.

Он всегда был центром маленькой опасности на наших тусклых семейных сборищах. На какой-нибудь дежурный вопрос о давлении, который задавала ему, допустим, жена племянника, он отвечал серьезно, четко и ясно, тщательно выговаривая каждое слово и лишь краснея от распивавшего его смеха: «А это в зависимости от того, кто меряет. Если молоденькая и красивая и есть за что подержаться, тогда не более чем сто шестьдесят. Честное-мое-слово! А в обычный период времени — двести на сто. Так что, если ты мне желаешь здоровья, садись поближе...» И, все аккуратно договорив до конца, тут же взрывался. Он смеялся один, остальные смущались — никогда они так и не устали смущаться: отворачивались, заговаривали о другом, а он еще долго не мог успокоиться, гоготал и вытирал кулаком слезы. Тетя Женя, сидевшая где-нибудь рядом, если не хлопотала на кухне, привычно ворчала: «Мишуня... не стыдно?..» — но он ее так же привычно не слышал. А потом, выпив подряд три-четыре рюмки — «стопки», как он всегда говорил, — вдруг подсаживался к какой-нибудь дальней родственнице, заботливо, по-родственному ее обнимал: «Какая ты сегодня у нас красивенькая», — и, глядишь, просовывал ей руку под мышку. «Да что ты, да нет, да ты не бойся, да я уже никуда не гожусь, честное-мое-слово!..»

Своему брату, всегда приbedнявшемуся, всегда вкрадчиво и бесшумно и тайне от самого себя совершавшему аккуратные свси коммерции, он мог сказать при общем внимании: «Ну что, Гришуня, как на работе? — и больше, предупреждая дежурный ответ: — Тысяч сто у тебя уже есть? Или больше?» И тот спотыкался на первом же слове и сокрушенно качал головой, и все снова смущались, и отворачивались, и переводили разговор на другое, и тетя Женя ворчала, одергивая.

Иногда, если были посторонние гости, садились играть в «пятьсот одно». Он очень волновался, то краснел, то бледнел, и мухлевал явно, почти демонстративно, и уличенный хохотал до стонов и слез, и, резко останавливаясь, переключаясь, вдруг обиженно говорил партнеру: «Все! Я с тобой не играю! ты — Еврей. Ты Еврейский Еврей. А я с Евреями — не играю!» Причем произносил это слово отчетливо, с глубоким, безоговорочным «Е».

Он вообще говорил по-русски четко и ясно, с назойливой канцелярской правильностью, любил передразнивать картавую речь какой-нибудь провин-

циальной «яхны», и когда сам переходил на идиш, то это тоже выглядело, как передразнивание. А когда однажды в году, на пасху, он набрасывал талес, брал в руки тяжелую книгу и читал скороговоркой никому не понятный текст, то казалось, что это русский актер-неудачник в меру сил изображает еврея на молитве.

Дружил он обычно с милиционером или с каким-нибудь средней руки чиновником. То была осторожная, напряженная дружба, и он не обязательно в ней выгадывал, просто ему imponировала близость к власти. Каждая встреча кончалась пьянкой, почти каждая пьянка — сердечным приступом, когда он тяжело стонал, и ругался, и цедил сквозь зубы: «Кончено. Все. Умираю...» Тетя Женя, непрерывно и ровно ворча, стаскивала с него сапоги, снимала сталинский защитный френч и непрменные галифе, так что он оставался в белых кальсонах, и с моей помощью укладывала его в постель. Затем, все так же ворча, вливала с ложечки капли. Ворчание было ее единственным правом в их многолетней семейной жизни.

Мне случалось бывать у него на службе, на некоторых из его многочисленных служб, всех этих ОРСов, УРСов, заготконтор и коопсоюзов. (Все названия учреждений, где он работал, были словно списаны со страниц «Крокодила».) Там он был всегда возбужден до крайности и так озабочен и деловит, как только могут прирожденные бездельники. Он считал на счетах, подписывал бумаги, перекладывал папки, листал календарь, отвечал одновременно сидевшим напротив и в трубку, зажатую между плечом и ухом... Да при том еще френч, галифе, сапоги, бритая голова и короткие усики — типовой бюрократ из фильмов тридцатых годов. «Нет, нет и еще раз нет! Ка-те-горически воз-ражаю. Это не моя кОмпетэнция». С подчиненными он был сух, приветлив и вежлив, с начальством и женщинами — остроумен и прост, то есть шутил через правильные промежутки времени и ржал, гогоча, давясь и повизгивая.

Он любил брать меня с собой на работу после школы, а иногда и вместо школы. «Мой племянник,— говорил он секретарше.— Совершенно верно. Погибшего брата. Да, вылитый. А вы сегодня — просто на ять! Мне бы скинуть полтора десятка... Честное-мое-слово!.. Не горбись!» — И пропускал меня в дверь, вперед, и какое-то время, пока я стоял один в кабинете, он еще оставался в приемной, с лукавым удовольствием наблюдая за моей растерянностью. Впрочем, кабинеты с секретаршами бывали не часто, обычно же это была небольшая каморка, где вдвоем не уместиться, только столик, и стул, и маленький сейф, и фанерная дверь с висячим замком — но всегда отдельное помещение, я не помню, чтобы он работал с кем-нибудь в общей комнате. Он заирал сейф, брал папку с бумагами, накидывал висячий замок, и мы отправлялись на территорию, на какой-нибудь склад готовой продукции, или в пошивочную мастерскую, или в подвал овощехранилища. И опять он меня пропускал вперед и командовал издали: «Направо. Я сказал, направо. Где у тебя право? Не горбись... Здравствуйте. Что хорошего скажете?» Он произносил отчетливо «здрав...», а не «здраст...», как будто читал по складам.

Он был бедным человеком — вот что странно. Он работал порой и на теплых, и на хлебных местах, но как-то ухитрился ничего не скопить, не потому, конечно, что был по-дубовому честен, а потому что боялся и не умел. Со всех многочисленных своих должностей, от начальника отдела до кладовщика, он уходил с выплатой недостающего, не того, что присвоил, а того, что прощляпил.

Объективный его портрет совпадает с любой его фотографией. Бритый череп; лицо прямоугольное, твердое, щеки слегка раздуты; глаза светлые, нос не длинный, но крупный; подбородок заострен и хоть и резко очерчен, но слишком мал, чтобы принадлежать человеку поступка. Жаль, не осталось цветной фотографии, хотя боюсь, что оранжевое свечение, так явственно вроде бы от него исходившее, становилось заметным лишь на фоне окружающей серости...

И вот на протяжении многих лет этот человек и никто другой был мне добрым отцом, и заботливым приятелем, и отважным защитником и избавителем.

3

Вся моя память о наших с ним отношениях — это цепь подарков, сюрпризов и праздников. И первый и, может быть, главный из них — праздник и забавления от театра.

В сорок третьем году в тыловом Челябинске, вскоре после известия о гибели отца (быть может, через год, но так уж мне чудится: вскоре...) главным предметом моей ненависти сделался театр оперетты. Я боялся его и ненавидел больше, чем немцев, которые были все же отвлеченным понятием, хотя и сделали что-то плохое отцу, которого я и вовсе не помнил; больше, чем группу в детском саду, где все же имелись какие-то игры и была одна сердобольная воспитательница, не заставлявшая доедать до конца ту бурду, что вышлескивали в тарелки огромным половником из огромной и страшной кастрюли.

Два раза в неделю театр оперетты становился моей многочасовой тюрьмой, веселым и шумным пытчиком и издевателем. За мной в сад тогда приходила не мама, а тетя Вера, ее подруга, добрая, как теперь я думаю, женщина, но тогда страшившая меня безумно — вечной улыбкой и мягким и ровным голосом. Она брала меня за потную дрожащую руку и вела через дорогу, мимо яркого подъезда, и за угол, и в темный служебный вход, и какими-то крутыми лестницами, выше и выше, и в маленькую дверцу, ведущую не в комнату, а в огромное красное пустое пространство, обрывавшееся круто и далеко вниз из-под узкого и ненадежного барьерчика. Здесь стояло несколько кресел вплотную друг к другу, и на одном уже лежала подушечка, чтоб повыше, на него меня и сажали. Здесь я должен был жить один все то время, пока зал внизу заполнялся людьми, и потом, когда там грохотала музыка, и дальше, когда на сцене кривлялись и прыгали, и до самого конца, до которого я никогда не дотягивал, а мучительно просыпался, весь в слезах, от аккуратных маминых поцелуев.

Артисты театра были нашими знакомыми, мы с ними дружили. Одного я помню довольно отчетливо. На сцене он чаще всего гонялся за теткой с розовым зонтиком (одна из многих театральных нелепостей: зачем зонтик, дождя-то не было?..), она же бегала очень медленно, какими-то дурацкими мелкими шажками, и он, конечно, ее догонял, почему-то, правда, всегда у самого края сцены, и, догнав, не хватал ее и не салил, а ловко становился на одно колено, прямо в чистых голубых полосатых штанах (вообще одет он был идиотски), одну маленькую ручку прижимал к груди, а другой обводил вокруг себя и громко и прогибно орал:

Линь! О! Те! Ве-э!
 Мои мечты
 И в моем сердце
 Царишь только ты.
 Моей любви не отвергай!
 И насладиться счастьем дай!

В жизни он тоже был очень странный, ходил с тонкой загнутой тросточкой и сначала не был нашим близким знакомым, а потом, когда мы с ним подружались, то я перестал его видеть на сцене, то есть, как я теперь понимаю, перестал попадать на те вечера, когда он был занят на сцене...

Но в тот, последний мой вечер в театре я вижу только дядю Мишуню, все остальное уже не имеет значения. В этот раз на сцене было много народу, какие-то резкие, лимонные женщины и в двухцветных, сине-оранжевых штанах, как бы хромые, мужчины. Вся эта масса переливалась справа налево, оставляя полсцены пустой, а затем, в такт грохочущей музыке — обратно, слева направо. Эти волны колыхались у меня в глазах, уже застланных слезами тоски и усталости, как вдруг сзади хлопнула дверь и молча, багровощекий от напряжения, рядом со мной уселся Мишуня, мой любимый дядька, родной человек. Так он сидел какое-то время, как бы вовсе не глядя на меня, только чуть кося, и я тоже молчал, оцепенев от радости. А потом он прорвался, взорвался хохотом, и стал меня мять, целовать и тискать, и унес на руках из этого паскудного места, и больше я сюда никогда не возвращался.

Перемена в моей жизни произошла решающая. Те дни, когда за мной приходила не мама, раньше были моими казнями, а теперь стали моими праздниками. Он входил в раздевалку, громко и четко ступая, весь крупный,

резкий, шумный, напряженный, «ЗдраВствуйте!» — громко говорил воспитательнице, обнимал, целовал меня, укалывая усами и обдирая наждаком щеки, приказывал приглушенным носовым голосом: «Быстро одевайся!» — и при этом заговорщицки косил глазами, и опять разгибался к воспитательнице: «Пр-рошу пр-рошенья! К вам у меня будет серьезный вопрос. Как — мальчик — ест?» И, внимательно выслушав, брал ее за локоть: «Оч-чень вам благодарен!» И улавливал момент, когда она смущалась, и вставлял одну из своих пяти острот, багровея, и сдерживаясь, и прорываясь, и она хихикала и мягчала, и вообще становилась такой, какой никогда не бывала...

Мы ехали с ним на трамвае, не помню, долго ли, коротко ли, и квартиры, где они жили, тоже не помню, а только — тепло и спокойную радость. Тусклый мягкий свет, уютный керосиновый дым; тетя Женя, нежно дующая на блинчик перед тем, как сунуть его мне в рот; мучная затируха в фарфоровой миске, кислая капуста с подсолнечным маслом; и снова Мишуня — пропускающий стопку и торопливо и весело хрустящий луком. «Нет, что ты, Женюся, по единой — и стоп! Будешь меня просить — не стану».

Еда была, безусловно, центральным занятием, и в главном центре этого центра помещалась, конечно же, консервная банка волшебного лилово-синего цвета, овальная, с припаянным сбоку ключиком. Мне разрешалось осторожно повернуть этот ключик, наворачивая на него жестяную ленточку, до тех пор, пока хватало моих сил, дальше доворачивал дядя Мишуня. Сказочный, ни с чем не сравнимый запах выбивался из-под острого, опасного края: американский колбасный фарш... (Смешно, но именно эта гармония: запах, и вкус, и цвет этикетки, и форма банки — как казалась, так и оказалась потом высшей точкой наслаждений для всего моего поколения, той физически ощутимой вершиной счастья, до которой нам больше уже никогда не добраться.)

Иногда заходила Дина-Динуся, моя кузина, их взрослая дочь. Динуся жила отдельно, с мужем, а сюда приходила, чтобы есть блины, читать письма с фронта и плакать. Но прежде чем начать есть и читать, она, еще не снимая пальто, хватала меня, кружила по комнате, смачно целовала в обе щеки и одаривала чем-нибудь, не столь замечательным, но тоже достаточно интересным: куском развесного горького шоколада или горстью цветных шершавых «подушечек». О муже ее говорили «бронь», «инженер» и «побольше бы таких гоев», но при мне он пришел всего однажды. Был он крупный, скуластый, чужой, в очках и, обращаясь ко мне, говорил: «Крестьянин!». «Ну как, крестьянин, ну что ж ты, крестьянин, эх ты, а еще крестьянин!..» Динуся в тот раз писем не читала, хотя блинчики ела. Тетя Женя хлопотала вокруг, не присаживаясь, а дядя Мишуня пил по единой с Динусиным мужем, багровел и хихикал, нервно стучал по столу пальцами, выстреливая ими из сжатого кулака, или вдруг распластывал ладонь на столе в напряженном покое — и вел чужой, несемейный разговор. «По части качества — некомпетентен, но по части стоимости — не могу согласиться...» И таким же я его видел потом в Москве, когда он пил с милиционерами.

По утрам, пока мы собирались и завтракали, тетя Женя что-то быстро ворчала по-еврейски, он отвечал ей коротко и брезгливо — всегда разговаривал по-еврейски с легкой брезгливостью — и заключал: «Говорю тебе, смешной ты человек, я не против, только нервируюем мальчика. Но она на это никогда не пойдет, и будет большая обида...»

И сначала вернулась в Москву тетя Женя, с Динусей и Динусиным мужем, а он остался. Я не помню прощанья, быть может, его и не было, но однажды вечером мы приехали с ним, как обычно, вошли в их комнату — а там никого. Он возился с керосинкой, обжигал руки, матерился, то и дело подходил к буфету, наливал себе стопку, хрустел луком. Предлагал и мне — луку и хлеба: «Закуси, почувствуешь себя мужиком...»

А еще через несколько дней уехал и он. Не прощаясь, уж это я точно помню. Не пришел за мной — вот и все. Оказалось — уехал.

Не стало в городе дяди Мишуни, и жизни не стало. Провал, серая пустота, детский сад, тусклые вечера дома. Какие-то неудобные, ненадежные гости, разговоры и смех как будто сквозь сон. Низкорослый летчик дядя Костя, сперва поразивший мое воображение тем, что летчик, но вскоре разочаровавший полностью, так что я и верить перестал, что летчик, и решил, что пропеллеры у него на погонах — просто так, как у некоторых мальчишек: нашел, прицепил... Потому что оказался он однообразен и глуп. «Дядя

Костя, — спрашивал я, — а самолет, он какой?» «Смотря какой самолет», — отвечал дядя Костя. «Ну, а пушка, — спрашивал я, — а она какая?» «Смотря какая пушка», — отвечал дядя Костя...

Так тянулись месяцы... И вдруг... С ним все было вдруг.

Страшный, заросший длинной щетиной, так что усы и не выделялись, с воспаленными, красными глазами... Вошел в комнату, на мгновение молча застыл у двери, потом схватил меня, поднял на руки и крепко-крепко прижал к себе.

— Ну вот, — бормотал он сквозь смех и слезы, — ну вот, ну вот, чудной ты парень! А ты боялся... А ты боялся... А ты боялся...

Потом отпустил меня, обнял маму.

— Выпить нет у тебя? Ну, давай чаю. Съем быка. А может, найдешь? Ну зайди к соседям.

И уже за стопкой, все-таки как-то нашедшейся, прожевав, проглотив (никогда не разговаривал с наполненным ртом):

— Не поверишь, еду уже неделю. Прямого билета не было, взял до Самары. А там — тысяча и одна ночь. Битых трое суток сидел на вокзале. Еще великое счастье — один, без вещей. Люди падали, теряли сознание. Ни поесть, ни помыться. В уборную очередь. В кассу, к начальнику — смертоубийство. Не знаю, как у меня сердце выдержало. Ну, это уже все позади. Готовь мальчика, время не ждет. Не позднее чем завтра мы отбываем.

Мама слушала, курила, качала головой.

— Неужели специально за ним приехал?

— А то как же? Ну, еще — на тебя поглядеть. Ты такая у нас красивая — все отдать и мало...

Он привез мне удивительный, чудесный гостинец — настоящее печенье фабричной выпечки, в аккуратной целлофановой упаковке. Я долго этим печеньем играл, складывал в домики и колодцы, все никак не решался сломать, откусить. Было оно похоже на то, каким в сказке Пушкина угощалась сварливая старуха, когда стала царицей. Там, правда, сказано было «пряник», но нарисовано уж точно вот это печенье. До сих пор, когда слышу или читаю: «заедает она пряником печатным», — вспоминаю тот самый дядкин подарок: бледно-розовый целлофан, разрывающийся мягко, почти съедобно, и под ним — две колонки почти несъедобных квадратиков, с выпуклым, шершавым и хрупким узором...

4

В то время носильщики были носильщиками, а не возильщиками, как теперь. Никаких тележек, только руки и плечи. Носильщик связывал широким ремнем, снятым прямо тут же с пояса, два тюка или чемодана, вешал их себе на плечо, еще два предмета прихватывал в руки — это был предел его грузоподъемности. Наш носильщик, седой, сутулый мужик в армейской фуражке, был как раз на таком пределе. Он уже достиг середины толпы, половины пути до двери вагона, когда его сбили с ног и стали затаптывать. Дядя Мишуня ждал его в тамбуре, выглядывал из-за чужих плеч и голов, мы с мамой стояли в стороне на платформе. Носильщик нам не был виден, только Мишуня — его огромный, раскрытый в крике рот и перекошенное, как бы сморщившееся лицо. Рев толпы никак не обозначил падения носильщика, оставался таким же ровным, с редкими всплесками, и Мишунин крик был беззвучен на этом фоне. Но зато мамин истошный вопль был услышан не только мною. Подбежала молоденькая милиционерша, спросила, поднесла ко рту свисток, подошла вторая, постарше, спросила, тоже поднесла ко рту свисток. И еще подбежали два или три носильщика, и все они бросились на толпу, свистя, вопя, колошматя кулаками куда попало... Наш носильщик лежал ничком, подвернув руки, наши ободранные чемоданы обжимали ремнем его плечи, один чемодан был у него под грудью, другой свешивался со спины. Один из узлов, неузнаваемо грязный, изодранный и истоптанный, валялся поодаль, второго узла вообще не было.

Носильщика унесли на носилках, чемоданы и узел дядя Мишуня поочередно втащил в вагон, и сразу же толпа с отчаянным ревом бросилась вновь заполнять законное свое пространство.

Мама металась со мной по платформе, и как бы в ответ в окнах вагона метался бритоголовый мо дядька. Наконец чьи-то большие руки цепко и грубо схватили меня и под...ли. Я зорал, но в следующий момент уже упи-

рался животом и руками в остроугольную деревянную раму, а в следующий — сидел на верхней полке на вдвое сложенном Мишунином черном пальто. Он обнял меня, прижал к себе, дернул плохо выбритой жесткой щечкой, обдал знакомым запахом водки и лука, отодвинулся, вынул чистый платок и, хотя он был сам в поту и слезах, стал вытирать не себя, а меня: глаза, щеки, шею, нос...

— Не нервничай, — сказал он, кусая губы. — Ты, главное, только не нервничай. Держись, казак, атаманом будешь. Понял меня? Ну то-то...

На этой полке, на этом пальто я и валялся четверо суток, и четверо суток внизу подо мной, тесно зажатый соседями, сидел и кемарил дядя Мишуня. Ночью я падал ему на голову, днем канючил и рвался к маме и то непрерывно просил еды, то блевал в подставленное им полотенце, от всего отказывался и лежал неподвижно лицом к стене. Он уже тогда был больным человеком, оттого его и не взяли на фронт. (Разумеется, он туда никогда и не рвался.) «Грудная жаба» — два этих загадочных слова как бы вечно витали вокруг него, были как бы приставкой к его имени и присказкой к разговору о нем. И если бы он умер в конце концов от сердечного приступа, я бы мог считать, что внес посильную лепту, что и этот груз — на моей совести, пусть хоть и совсем небольшой своей частью (кто знает какой?..). Но умер он от другого.

5

Москва для меня оказалась поселком, пригородом, почти деревней, с заборами, огородами, собаками на цепи и даже коровами. По этой нашей Москве ходили пешком или ездили на санях и телегах. Там всегда стучали молотки-топоры и зудели и визжали пилы.

Молоток, топор, пила — и дядя Мишуня... Это единство всегда со мной, всю мою жизнь, и всегда так будет, да сколько уж там осталось... Плотницкий инструмент в моей руке — это значит, что и он где-то тут, непременно рядом. Так уж мне суждено, что работа с деревом для меня всегда — спиритический сеанс, и не было случая — поверьте, ни одного! — когда бы простой молоток, обхват его рукоятки, не вызвал из небытия этот голос, скрипучий, насмешливый, назидательный. Этот голос звучал надо мной постоянно, он командовал, он направлял, поучал, он журил, одергивал и ставил на вид — и он никогда, ни в какой момент не бывал мне в тягость. Это странно, в это просто невозможно поверить, в чем тут дело? — спрашиваю я себя, и не знаю, не нахожу ответа. Все его фельдфебельские уроки жизни вспоминаю я не только без всякой досады, я вспоминаю их с наслаждением. И совсем не потому, что, повзрослевший и умный, я теперь понимаю пользу и смысл муштры. Я и теперь не понимаю ни смысла, ни пользы, но его муштру, его наставления я и тогда принимал с радостью.

— Убери голову. Дальше руку. Ближе к концу. Гляди на шляпку... — Новый гвоздь любой толщины и длины он вбивал в доску за три-четыре удара. Старый — неровный, кое-как подправленный, лез напропалую под его молотком, будто кто-то втягивал его изнутри.

— Легче, легче! БЕЗ усилий! НЕ напрягайся! Не ты пилишь — пила пилит... — Казалось, и впрямь, отдерни он руку, и пила будет продолжать пилить так же весело и легко, по щучьему велению.

И вот при таком мастерстве и такой виртуозной легкости он ни разу ничего сложнее забора не выстроил, да и забора не выстроил целиком, разве только кусок: перекладину, несколько досточек... Было бы проще всего сказать, что он не умел ничего заканчивать, но это бы не вполне отвечало истине. Как раз завершить, подправить, докончить — это он мог и даже любил. Не любил же он середины работы, то есть главного, полного ее разворота, где надо было учитывать все элементы, совершать однообразные повторные действия и, главное, держать в уме результат. И поэтому все, что действительно делалось: сарай, сортир, покрытие крыши, пристройка террасы — было сделано не его руками, а руками нанятых мастеров, которым он всегда хорошо помогал, но только в начале или в конце.

Он умел и любил играть в работу, работать он не любил, не умел. Плотник Саня, флегматичный, степенный мужик того же возраста, что и дядя Мишуня, часто выполнявший наши заказы, все никак не мог привыкнуть к его манере.

— Ты Еврей!—вдруг говорил ему дядька, неожиданно появляясь рядом. Саня цепенел и смотрел на него ошалело.— Ты Еврейский Еврей, сразу видать по работе. Разве русские так работают, мать честная! Давай покажу. Разметил? Здесь? Ну, гляди...

И в несколько легких, веселых движений отпиливал, как ножом срезал, аккуратный, ровный кусок доски.

— Гвозди, Еврей, забивать умеешь?— спрашивал дядя Мишуня и всхлипывал: он уже был на грани взрыва.

Он хватал гвоздь, приставлял, наживлял, вцеплял его тремя лихими ударами — и сразу, освободившись, прорывался визгливым и лающим хохотом. Саня стоял, улыбался смущенно, ждал, когда ему отдадут молоток. Дядька забивал еще один гвоздь, хлопал Саню по плечу и говорил, повизгивая от остатков внутреннего, укрощенного смеха:

— Красиво? Ну то-то. Ничего, нэ журысь. Москва тоже не сразу строилась. Давай веселее!

И уходил на другой конец двора — копать ямку под какой-нибудь столбик, который будет вкапывать тот же Саня, разумеется, сперва доведя ее до нужных размеров...

Все свободное время он ходил по двору в сопровождении пухистой, пятнистой Джульбы, которую чудом во время войны сохранила нам добрая соседка-молочница, ходил и неумоимо играл в хозяйство: что-то отрывал, что-то приколачивал, выкапывал, вкапывал, переносил. Всякие монотонные, однообразные движения приводили его в неистовство, вызывали неизбежный сердечный приступ. К примеру, та же пила, любимый его инструмент. Он прекрасно знал все приемы разводки и точки, но ни разу не развел и не наточил. Вот он брал в руки двуручную пилу, которой мы обычно пилили дрова, осматривал зубья, качал головой:

— Трясьца вашей матери! Никуда не годится. Надо точить. Надо точить. Надо точить.

И аккуратно откладывал ее в сторону, как бы для точки. Назавтра мы пилили с ним той же пилой, он ругался, осматривал и снова откладывал. Так повторялось по многу раз. Наконец, он решался, надевал очки, отыскивал треугольный напильник, громко топая, заносил пилу в комнату («в горницу», как он говорил), шумно и подробно снимал со стола клеенку.

— Боже мой, что ты уже придумал?—ужасалась тетя Женя.— Это что, обязательно делать в доме, в сарае нельзя, тебе мало места?

— Не нервничай, Женюся, я тебе все объясню. Нужен! Ровный! Стол!

— Так что, верстак уже не годится? Тебе же Саня специально сделал верстак, ты заплатил ему кучу денег...

— Па-вторяю. Нужен-ровный-стол! А глэйхер ты ш. Ясно? Или неясно?

Она качала головой, вытирала слезы и уходила на кухню.

Он очень серьезно и обстоятельно прилаживал пилу к краю стола, заставлял меня держать то с одной, то с другой стороны, затем наконец проводил напильником по первому, по второму зубу, останавливался, окидывал взглядом весь бесконечный их ряд, хватался за сердце и топал к буфету: принимать рюмку капель Зеленина и стопку лимонной водки.

Затем — не сразу, не в этот день, а попозже, дня через два, через три — я относил пилу в мастерскую Сане, а наточенную Саня уже сам приносил обратно. Дядя Мишуня ее строго осматривал, чуть не каждый зуб пробовал пальцем, впечатление было, что он недоволен и сейчас непременно вернет обратно. Но это он просто играл в инспекцию, тут же хлопал Саню по плечу, жал ему руку, говорил:

— Цены тебе нет. Орел! На-ять, честное-мое-слово.

И тащил его в горницу — отметить событие...

Пилка дров была едва ли не единственной работой, которую он не любил, но делал. Мы с ним долго к этому морально готовились и решались лишь при крайней необходимости, когда дров оставалось на сутки-двое и тетя Женя уже, ворча, надевала ватник. Он обнимал ее, целовал, снимал с нее ватник, надевал его сам и показывал мне головой и руками, что, мол, все, надо, ничего не поделаешь. Мы долго ставили ксзлы, правее, левее, долго выбирали первое б'езвно, тщательно сбивали снег, укладывали. Первый надпил он делал один, без моей помощи, направляя пилу отогнутым пальцем левой руки.

— Давай! — говорил он строго. — Не дергай. Не спеши. Не толкай. Не жми. Тяни. Запомни: пила пилит сама!..

Пила пилила сама, но рука уставала, и, кончая очередное бревно, страшно было подумать, что сейчас же, немедленно придется все начинать сначала. Он чувствовал мою усталость, да и сам уставал, а верней, ему просто надоело, и он устраивал деловой перерыв, переходя от скучного дела к веселому, к одной из своих любимых хозяйственных игр.

— Стоп! — говорил он. — Сейчас ты мне будешь нужен. Повернись к забору. Стоп. Иди. Вперед. Еще. Еще. Стоп. Сможешь влезть? Смо-ожешь! Давай подсажу. Ногу ставь на перекладину. Теперь вторую. Держишься? Крепко? Смотри, отпускаю. Теперь рассказывай, что ты видишь.

За глухим высоким забором был ЖКО — жилищно-коммунальный отдел, как теперь я думаю. Стоя на перекладине, я видел закрытый двор, обитый железом сарай с огромным замком, несколько пар саней, кучи бревен и досок и еще множество разных предметов, засыпанных снегом.

— Доска, — строго приказывал он, — погляди, какая доска.

— Да тут не одна, тут разные доски, большие, маленькие...

— Чудной ты человек. Вот я и спрашиваю: какая доска?

— Ну, разная... доска. Я тебе же сказал.

— Горбыль или тес?

— Не знаю, не видно отсюда.

— Прыгай.

— Что?!

— Пав-торяю. Прыгай. Не нервничай, не ударишься. Под мою ответственность.

Я, конечно, не прыгал, а слезал понемногу, цеплялся руками, упирался коленями и сползал в глубокий снег на той стороне. Меня сразу же охватывало странное, неуютное, тревожное, но и сладкое чувство чужой территории. Даже небо, казалось, здесь было иным — холоднее, темнее, и от каждой точки пространства, от любого предмета исходила неведомая мне опасность. Джульба как бы чувствовала мое состояние и начинала подвывать и легонько потягивать.

— Молчи, дуреха! — сипел ей дядя Мишуня.

Я выбирал доски поменьше, полегче, отдирал их, смерзшиеся, друг от друга и волок по одной к забору, из-за которого он командовал едким шепотом:

— Поднимай! Вер-тикально. Одним концом. Что значит «вертикально»? Так. Поднимай...

Иногда я думаю... Явно несправедливая, но навязчивая и как бы правдоподобная мысль... Он был так ко мне поминутно привязан... Не оттого ли, в частности, что я оставался единственным безотказным его подчиненным? Он ведь был чиновником по природной склонности, даже целым учреждением в миниатюре, и порой мне странно, что он так и не сросся со всеобщей конторской машиной, не добрался даже до средних рангов и пенсий, а при каждой попытке вылетал в сторону и так в конце концов в стороне и остался. Видимо, он и в чиновники играл, как в солдатики, а вокруг-то все были совсем иные, взаврадавшие и страшно серьезные люди...

Он был хорош с этими своими командами: в галифе, в коротких обрезанных валенках — «чоботах», в телогрейке с широким армейским ремнем и в каракулевом треухе с кожаным верхом. То и дело он снимал одну рукавицу, высмаркивался в снег, вытирал ладонью усы. В кармане у него, я знал, всегда был чистый носовой платок, но он берег его для других случаев, для представительства и выхода в свет...

Выход в свет мог быть выходом на работу, или поездкой в командировку, или посещением поликлиники.

В поликлинику мы ходили довольно часто, то я с ним, то он со мной. Детская и взрослая располагались вместе, в одноэтажном доме барачного типа, в небольшом палисадничке, как бы скверике, с деревянными скамейками, гипсовыми пионерами и черным крашеным взрослым Лениным в детский рост.

Там, внутри, он сразу весь напрягался — и дежурный комплимент пожилой регистраторше: «А вы все молодеете, хорошеете...» — выжимал из себя, как

урок, с заметным усилием. Он здоровался с очередью, садился жестко и прямо, покашливал, сжимал и разжимал кулаки, выстреливая напряженными пальцами, и со мной разговаривал гнусавым шепотом, опасливо косясь куда-то в сторону, на одной назойливой интонации.

— Не горбись. Платок. Возьми платок. Повернись налево. Где у тебя лево. Сядь на стул. Встань. Подойди. Почитай, что написано, потом расскажешь.

Я брал платок, поворачивался, садился, вставал, шел читать, что написано. Написано было — и нарисовано — на цветных стеклянных диапозитивах, вставленных в деревянную этажерку, вращающуюся, с лампой внутри. Включаешь свет, смотришь рисунки, прочитываешь, что написано, сверху вниз, поворачиваешь и читаешь дальше. Такие штуки и сейчас еще висят кое-где в поликлиниках, их идея оказалась столь же устойчивой, как форма градусников или цвет больничных листов.

Жили-были Мик и Мак.
Славные братишки.
Кто такие Мик и Мак?
— Плюшевые мишки.

Два плюшевых медвежонка, один хороший, послушный и потому здоровый и бодрый, другой — капризный, непослушный — больной.

Мак не слушался врача —
Вот и тает, как свеча!

Я расстраивался и переходил к другой этажерке, где было показано, как надо мыть фрукты, чтобы остаться в живых после того, как их съешь. Красные яблоки, желтые груши, клубника, вишня и еще ви-но-град — тоже ягоды вроде вишни, но только кучкой, помногу вместе и синеватые, продолговатые, со сладким соком внутри под названием «вино»... Странно, все светящиеся эти картинки вызывали не аппетит, а скорей тошноту и какое-то унылое, болезненное чувство. Оттого ли, что была вокруг поликлиника, запах йода и камфоры, топот сестринских ног или, может, само стеклянное это свечение, исходившее от самых различных предметов, которые по природе своей не должны бы светиться?.. Я этого так до конца и не понял, а пытался понять не раз, потому что и всегда потом, и сейчас с тем же болезненным тошнотатым привкусом воспринимаю любой освещенный изнутри диафильм, не имеет значения, на какую тему и где он висит: на промышленной выставке, в медицинском НИИ, в овощном магазине... И такое же болезненное, садящее чувство вызывает у меня иногда цветной телевизор.

— Встань, пойдди-подыши-свежим-воздухом!

Я шел на улицу, дышал, проходил по скверу. Ленина осторожно обходил стороной — он пугал меня глянцевою своей чернотой, а еще больше своими размерами, напоминая злого карлика из арабских сказок. (Спешу оговориться, что дело не в Ленине, а в свойстве самой скульптуры. Через несколько лет в пионерском лагере я наткнулся на точно такого же Пушкина, тоже черного и ростом с семилетнего мальчика, — и точно так же его испугался, хотя, конечно, сегодня мне ясно, что черный Пушкин — это все же нечто более естественное и менее страшное.) Возвращался я в коридор-ожидально усталый, раздраженный, с одним желанием: поскорее домой. Дядя Мишуна уже был в кабинете и даже уже стоял у двери, готовясь выйти: было слышно, как он время от времени угодливо хохотал-грохотал в ответ на неслышные врачихины шутки-напутствия. Затем вдруг резко распахнулась дверь — вся очередь дожидалась этого момента, но он оказывался всегда неожиданным, — и дядька мой вылетал ко мне, гогоча по инерции, стремительно, в полувоенном френче, в галифе и вычищенных сапогах, вытирая потное, красное лицо чистым носовым платком и бережно неся двумя пальцами свеженький голубой бюллетень...

6

Нижние доски, не такие смерзшиеся, поддавались гораздо легче, и фонарь на столбе, похожий на репродуктор, не пугал уже скрипом и движением теней, я привыкал, входил в азарт — и тут он как раз говорил:

— Молодец. Довольно!

Я возмущался:

— Ты что! Ну вот эти две? Увидишь, какие хорошие, длинные...

— Я сказал: довольно. Положи обратно. Ровней, ровней...

Я был ему невидим из-за забора, но он как бы чувствовал каждое мое движение.

— Ровней, как было. Присыпь снегом. Немного, до утра еще будет сыпать, занесет как положено. Готово? Теперь осмотришь, поищи ящик. Там должен быть ящик, рядом с тобой.

— Чего, зачем?

— Не понял? Я сказал: поищи ящик. Не крути головой во все стороны. Сначала погляди направо. Внимательно. Потом налево...

Я действительно находил ящик, приставлял к забору, а уже его убеленный снегом трюх покачивался над тупыми скосами досок, и еще несколько несложных команд и нетрудных усилий — и вот уже крепкие, надежные руки опускают меня на родную землю...

Новых, м о и х досок нигде не было видно, я растерянно озирался во круг, а он хохотал довольный:

— А-а! Не можешь найти? Ну вот то-то! И никто не найдет! И никто не найдет! И никто не найдет. Ну, еще попробуй, посмотрим, какой ты сыщик. А? Что? Что — как, как! Ловкость рук — и никакого мошенства. Ничего не знаю. Ничего не знаю. Ищи! Ищи!..

И снимал рукавицу, и вытирал счастливые слезы.

Разгадку он оставлял для меня на завтра, когда оказывалось, что только что добытые доски аккуратно сложены под старыми, нашими — тоже украденными в свое время, но настолько давно, что как бы уже не представляли опасности...

Мы возвращались к козлам воодушевленные, пилили весело и легко, и я без конца обсуждал операцию, а он, тоже довольный успехом, а еще больше — моим удовольствием, сохранял то, что должно было быть солидностью, и только время от времени гмыкал и, сдерживая себя, влажно поддакивал:

— Д-да!.. Д-да!.. Н-ну?.. Д-да!..

В следующей перерыв он колол, а я отдыхал. Он колол лихо, с уханьем, с криканьем, и мне очень нравилось это зрелище, и ему было важно, чтобы мне нравилось. Он всегда старался расколоть полено с одного удара, а если не выходило, то непременно оправдывался:

— Сучковатое. Видишь? Вот и вот. А это, брат, уже нешутейное дело, тут просто так, по-дурацки, не выйдет, тут надо с умом. Надо с умом. Поищи-ка клин!

Я искал клин, он вбивал, раскалывал, и с важностью показывал мне разruby сучков, и опять радовался... Опять радовался.

Потом мы относили дрова к поленнице, и он набирал на левую руку огромную кучу, и просил меня подложить еще, и правой успевал подхватить соскользнувшие, и казалось, теперь не донесет ни за что, но он доносил и сразу начинал укладывать, на меня не глядя, лишь спиной воспринимая мое восхищение...

— Все! — говорил он. — Все! Баста! По сто пятьдесят мы сегодня с тобой заработали.

И, уже открыв дверь на веранду, через которую мы проходили в дом, вдруг останавливался и взглядывал мне в глаза.

— Устал?

— Н-нет.

— Замерз?

— Да нет...

— Говори честно. Точно, нет? Тогда у меня будет к тебе серьезное дело. Недолго, не бойся. Четыре минуты — и с плеч долой. Подожди меня здесь.

Тяжелая дверь, отделявшая дом от веранды, обитая синей протертой клеенкой с трещинами и клочьями серой ваты, закрывалась за ним, как казалось, плотно и глухо, но уже через минуту широко распахивалась, и большая раскрытая бочка с кислой капустой выезжала вперед и вздыбливалась над невысоким порогом. Он был уже без шапки и телогрейки, в одном своем старом рабочем френче, склонялся над бочкой, окутанный белым, желтеющим паром, и зыбкий свет отражался в его влажной оранжевой лысине. Из глубины, из заоблачного пространства, доносилось ворчание тети Жени: «На-

пустишь холода... Мишуня... Какой ты!...» И он, поудобней пристраивая руки, отвечал:

— Ничего, Женюся, не нервничай. Это быстро, это один момент, сейчас, мальчик мне тут поможет...

И мне вперед, не глядя, другим голосом:

— Не подходи! Когда будешь нужен — я скажу. Стой, жди приказаний! Крякнув, он переваливал бочку через порог и с разбегу, наклонив, прокатывал дальше, до крышки погреба, успевая крикнуть по дороге:

— Дверь!

Я кидался к двери.

Пол веранды глухо гудел, тяжело прогибался, и на нем оставался гладкий, красивый и стойкий след.

Отдышавшись, он откидывал крышку погреба, закатывал бочку дальше за край, так что днице свешивалось едва не наполовину, осторожно спускался вниз по перекладинам лестницы и оттуда, снизу, говорил мне:

— Теперь давай. Теперь все от тебя зависит. Главное — ничего не делай лишнего. Ты понял меня? Только то, что надо!

Все было на самом-то деле предельно просто. Я должен был всего лишь придерживать верхний край, в то время как он, уперевшись снизу плечом, сталкивал бочку с пола на перекладину. Затем с первой на вторую, потом на третью и так до самого дна погреба. Все было просто, но в любой момент бочка могла на него свалиться целиком, всем своим немислимым весом. Это было настолько возможно, настолько близко, что каждый раз как бы уже и случилось, и тот свой страх я не только что помню, я отчетливо ощущаю его и сейчас. Но дело не только в страхе, тут что-то еще...

Вот он подлезает плечом под круглый, твердый и режущий нижний край, челюсти его сжимаются, лицо искажается, он процеживает сквозь зубы, как бы простанывает:

— Придерживай!

И время для меня останавливается.

Я не знаю, как объяснить, но именно этот момент каждый раз застывает стоп-кадром в моей памяти. Я цепенею над краем бочки, над квадратным провалом, внутренность которого слабо освещается экономной лампочкой, висящей чуть в стороне, ближе к центру веранды; а внутри, с другой стороны бочки, в мягком рембрандтовском полумраке неподвижно светятся красноватая лысина и лицо моего дорогого дядьки, навсегда искаженное взглядом сверху и гримасой усилия. И странно, я ведь знаю, что здесь сейчас ничего не случится. А все-таки именно эта картина — не те, еще его поджидавшие, действительно страшные, а именно эта по неведомой мне причине — теснит мое сердце острой тоской и щемящей жалостью...

7

Я долго думал, что его отношения с женщинами — это что-то вроде строительных его прожектов. Что и здесь дальше глупой детской игры, дальше подкальваний и заходов дело не движется. Это был внешний стиль его жизни, и его разговоры, к примеру, с Дорой Семеновной я никак не отделял от его разговоров с Саней. Те же пять всегда готовых остроумий, те же десять присказок, ну разве что еще в довесок два комплимента да какое-нибудь двусмысленное движение рукой, не жест, а только его начало, опасливое, с оглядкой на тетю Женю...

Дора Семеновна была нашей новой соседкой... Здесь «новой» — не очень точное слово, точнее бы было просто — «соседкой», но так, чтобы «новой» в нем как-то внутри содержалось. Потому что прежде, до Доры Семеновны, никаких соседей никогда у нас не было. Но Дина-Динуся жила отдельно со своим крестьянином, детская комната ее пустовала, и решили по бедности ее продать каким-нибудь порядочным, хорошим евреем. Так у нас появились Дора Семеновна, ее дочка Фаина и кошка Кисачек.

Очень похожие друг на друга, тяжелоногие, крупнозадые, с крашенными короткими волосами, с темноватой, не очень чистой кожей, с настороженным, стервозным выражением лиц, какое часто бывает у одиноких женщин, мать и дочь заполнили собой до отказа не только комнату Динуси, что было естественно, но и все «помещения общего пользования», как выражался дядя Мишуня. Они прибыли из какой-то украинской дыры, сумели

пробиться в Москву и теперь утверждали в ней свое присутствие. Они в принципе не умели разговаривать тихо — и очень слабо, едва-едва, умели разговаривать мирно.

— Не могу понять этих людей! — орала с утра на кухне Дора Семеновна. — Если хочешь взять мою мясорубку — пожалуйста, попроси и бери, мне еще никто не сказал, что я жадная, я еще ни одному человеку не пожалела такого добра. Но зачем брать без спроса, тайком — вот что мне непонятно, вот загадка всей моей жизни, люди добрые, помогите мне ее разгадать! И уж если ты такая, что берешь без спроса, так хоть вымой чисто. Ну, ты не привыкла жить в чистоте, что же делать, так другие привыкли. Да. И им неприятно. Не хочется закрывать шкафчик на ключ, что такое, как с чужими, как мы т д е г о е м, но вот придется. Вот придется...

Мы сидели в своей комнате, как в осаде.

— Ди е р с т? Ты слышишь? — говорила тетя Женя. — И что мне делать с этой сумасшедшей?

— А кой л е р т е! — говорил он. — Убийца! Женюся, не нервничай. Вот ты увидишь, я ее выселю. Как пить дать. Выселю и посажу, она еще у меня поплачет. Я уже говорил на эту тему с Локтевым, все откровенно ему рассказал, он был сам не свой. Сказал, что поможет. Надо будет завтра его пригласить.

— Твой Локтев! — вскидывалась тетя Женя. — Толку от него, как от козла молока. Только корми его и пои. Напьется и все забудет.

— Не нервничай, мы с ним по сто пятьдесят, не больше, честное мое слово. У него гипертония почище моей, вчера при мне вызывали «скорую» прямо на службу...

В это время там, на кухне, происходила перемена. Из комнаты выходила умываться Фаина, и Дора Семеновна, на минуту умолкнувшая, обретала возможность начать сначала:

— Нет, ты подумай, людям трудно спросить!..

— А нечего строить из себя цацу, — подхватывала дочка с готовностью. — Как они к тебе, так и ты к ним. Если бы они к тебе по-хорошему...

— Б а л э б у с т ы м! — жаловалась Дора Семеновна. — Хозяева! А я — ничто, я говно, и меня можно топтать, сколько хочешь. Конечно, если бы в доме у меня был мужчина...

— Ты такая же хозяйка, как и они, и нечего цацкаться. Запереть на замок, заявить в милицию, вызвать инспекцию, написать в газету...

Тетя Женя не выдерживала, выбегала на кухню.

— Как же вам не стыдно, Дора Семеновна? — выкрикивала она сквозь слезы. — С чего это вы взяли, что я брала мясорубку? Ну зачем она мне сдалась, у меня есть своя, вы же знаете, что у меня есть своя, зачем вы придумываете, вы же это все специально придумываете, я боюсь притронуться к вашему шкафчику, пусть бы там лежал миллион золота, я мою пол, так даже тряпкой его не касаюсь, как же вам не стыдно, взрослая женщина...

— Это мне должно быть стыдно?! Мне?! — радостно разворачивалась Дора Семеновна. — Нет, Фаиночка, не уходи, я прошу тебя, послушай, какие бывают люди. Я тебе рассказываю, ты не веришь, так вот убедись своими ушами. Ты слышишь? Мне должно быть стыдно. Ну?! Ха, ха, ха, ха! Просто не знаю, смеяться или плакать. Я вчера утром повернула котлеты, помыла, ты знаешь, я мою чисто, не так, как другие, другие моют в одной воде, и им достаточно, больше не надо, а я мою в трех водах, чтоб ни пятнышка, так я мою. Чисто помыла и поставила к стеночке, вот так, и ушла в вечернюю смену. А сегодня смотрю: что такое? — она стоит вот так. Ну? Как ты думаешь, кто ее так поставил? Господь Бог ее так поставил? Пушкин ее поставил? Кисачек ее поставил? Раскручиваю — так и есть! Жир. Понюхай. Свинина? Свинина! А ка-ак же! А я со свиной в жизни не делаю! Я могу добавить куриное филе, немножко сырой картошки — но не свинину. Нет, я не такая благочестивая, не хочу придумывать, просто я не ем свинину, и все. Мое дело! Так кому должно быть стыдно, а? Конечно, конечно, у нее есть своя мясорубка. Врагам моим... Не мясорубка — одно мученье, она мне сама говорила вот на этом месте. А моя — так это одно удовольствие, и, конечно, люди не дураки, выбирают лучшее...

Дядя Мишуня ходил по комнате, сжимал-разжимал кулаки и скрипел зубами. Наконец он не выдерживал, приоткрывал дверь, говорил жестко:

— Женюся, иди сюда. Иди немедленно, я тебе приказываю. Нечего тебе с ней разговаривать, с ней будут разговаривать там где следует!

Ему ответом была оторопелая пауза, затем рвалась, ударяясь в потолок и стены, новая разъяренная вспышка, но тетя Женя к тому моменту оказывалась уже среди своих, за дверью, качала головой и вытирала слезы.

И вот однажды я зашел случайно на кухню и увидел всех троих в каком-то странном, принужденном согласии. Все они стояли лицом ко мне, как бы позируя для фотографии: в центре дядя Мишуня, тетя Женя справа, слева — Дора Семеновна. Тетю Женю он вяло левой рукой обнимал за плечи, а правой, закинутой за шею Доры Семеновны, живо и грубо мял и тискал ее большую грудь в тонкой бежевой кофте. Она оставалась прямой, застывшей, губы скривились в дурацкую полуулыбку; а тетя Женя смотрела в сторону, пригнала плечи, терзала тряпку и как бы не видела, не догадывалась, ничего не знала о Мишуниной правой руке, и только непременные, всегда готовые слезы текли по ее щекам и капали с носа.

Он что-то тихо бормотал по-еврейски, взглянул на меня мутно, в упор, сказал сквозь зубы: «Вот... мои жены. Это мои любимые жены... Мои женщины... Мои жены...»

И голос его сдавленно и нервно вибрировал, и в такт разжималась и сжималась рука...

Это было весной, а тем же летом, в жаркий день, я зашел в сарай за инструментами и, открыв дверь, почти вплотную столкнулся с полуголой Фаиней, едва не уткнувшись лбом в ее потный живот. В том, что она в курьезном костюме, не было ничего необычного, так она всегда ходила по двору, загорала в шезлонге, играла с Кисачеком. Но что ей было делать в нашем сарае?

— Ах! — тихо вскрикнула она. — Ты меня напугал...

Лицо было красное, в мелких капельках, косоватый коровий взгляд, встрепанные, неопрятные волосы... От нее густо несло потом. Я посторонился, она прошла, тяжело, массивно, наклонив голову.

Что ей было делать в нашем сарае, попробовал бы я зайти в их сарай, сколько бы уже развелось разговоров... И тут мне навстречу вышел дядя Мишуня, тоже потный и раскрасневшийся, его рабочая холщовая куртка, «накидка», как он ее называл, открывала волосатую потную грудь, слипшиеся рыжевато-седые колечки...

Он увидел меня, сказал: «Ой, вейз мир!» — и поднес палец к губам, изображая лукавый страх. Спросил: «Ну, что там? Тетя Женя в горнице?» Я растерянно промолчал. Он похлопал меня по спине, огляделся, вернулся в сарай, прихватил плотницкий ящик, тот самый, за которым я сюда направлялся, кивнул мне, давая, мол, следуй за мной, и в галошах на босу ногу прошлепал на задний двор. Там мы с ним начинали строить беседку, очень нужное и полезное сооружение, окончательный, ожидаемый вид которого не был известен ни мне, ни ему...

8

Все первые послевоенные годы (два, три или пять, не знаю сколько...) спрессовались в моей запоздалой памяти в один непрерывный и плотный год. Я учился во втором и четвертом классе, тетя Женя работала кассиршей в столовой, а также сторожем в ЖКО, а также вообще нигде не работала, Динуся восстанавливалась в институте, расходилась-сходилась с мужем, рожала дочку (как ни странно, мало что изменившую в жизни и характере дяди Мишуни), в Москву наконец возвратилась мама, мы с ней переехали в другую квартиру, в дальний, как раз по диагонали, вполне городской район Москвы, с асфальтом, автобусами и трамваями... И дальше, и дальше дни и события не наращивали, не удлиняли времени, а только лишь увеличивали его плотность в том же объеме. И однажды зимой в какой-то год (уже, быть может, и непригодный для того, чтобы числиться в послевоенных), в воскресенье утром наведавшись в гости, я застал дядю Мишуню в постели, страшного, с обвязанной бинтом головой. Он лежал с закрытыми глазами,

стонал, тетя Женя ставила ему горчичник на сердце. Тут же рядом сидела Дина-Динуся, распустив роскошные рыжие волосы, плакала и упрашивала:

— Папуля, прости ради Бога!

Обнаружилась удивительная история, к счастью, с благополучным, как тогда казалось, концом.

Накануне вечером все услышали вдруг, как кто-то ходит под окнами дома, скрипит снегом, ходит и ходит, по несколько раз повторяя все тот же круг.

— Представляешь? Как привязанный! — сказала тетя Женя. — И главное, Джульба была на улице и не лаяла, ну, такая подлая! Как будто это лучший ее знакомый. Она, конечно, уже старуха и может на своих полаять сослепу, так если ты лаешь уже на своих — полай на чужого, хотя бы на всякий случай!

— Боже, она его вспомнила! — всхлинула Дина. — Я его забыла, а она его вспомнила! И ведь маленькая была, совсем щенок, полгода или, может быть, год, не больше...

— Ой, перестань! — отмахнулась тетя Женя. — Ты так говоришь, как будто ты знаешь.

— Я знаю, мама, я знаю, никаких сомнений!

Со всеми этими всхлипами и перебивами я все же дослушал, и было вот что.

Погасили свет, смотрели в окно, увидели: действительно, ходит мужчина, крупный, но подробнее разглядеть не смогли. Стали кричать: «Кто там, кто там?» — в четыре голоса: Дора Семеновна, тетя Женя, Фаина и дядя Мишуня. Никто не ответил. Тогда Мишуня, мужчина в доме, одновременно удерживаемый и подталкиваемый, отпер наружную дверь и встал на крыльце. Тот уже уходил, приближался к калитке. Мишуня его окликнул.

— Сам не знаю зачем. Мать честная! Убить меня мало.

Тот как раз и попробовал это сделать. «Кто там, стой!» — по-дурацки крикнул Мишуня, и тот сразу обернулся и выстрелил. Выстрелил — самым настоящим образом из самого настоящего пистолета! И исчез, как будто его и не было.

Мишуня припал к косяку, тетя Женя взвыла, голова у него была в крови, но оказалось, прострелено только ухо, как раз по верхнему краю.

— Один сантиметр, — говорил потрясенно дядя Мишуня, — представляешь, сынок, один сантиметр, и ты бы уже меня хоронил. Как пить дать. Честное-мое-слово! Вот судьба! А ты говоришь — не бывает...

— Нет, надо позвать Локтева, — настаивала тетя Женя. — Вы не хотите, так вот я сейчас сама: встану, оденусь и позову.

— Какого Локтева, глупая твоя голова? — оживал сразу же дядя Мишуня. — Локтев уже три года как в Кунцеве, начальником паспортного стола.

— Ай, какая разница, даже лучше. Пусть другой, кто там вместо него?

— Медунов... Ой, сердце!.. Медунов Николай, он же ко мне приходил два раза, ты что, глупенькая, не помнишь?

— Я помню, помню. Я все помню. Последний раз ты еле очухался...

Дядя Мишуня ранен, в него стреляли. Я никак не мог вобрать в себя это событие. Оно было откуда-то не отсюда, из какой-то другой, не нашей жизни. И вообще не из жизни — из книг, из кино. Война уже много лет как кончилась, даже там, далеко-далеко, где на самом деле стреляли, — даже там уже давно не стреляли. Но здесь, в Москве, в нашем дворе, в моего дядьку! И кто был тот человек, и зачем, и за что?

Но Динуся как будто все знала заранее, и она говорила так быстро и так убедительно, всхлипывая, то ли от жалости, то ли от радости, что всем передала свою уверенность. Вне сомнений, это был Андрей Ольховский, ее школьный товарищ, сделавший ей до войны предложение, безумно в нее влюбленный. Всю войну он писал ей страстные письма, и она его обманывала, отвечала, ну как ему было не написать туда... А после войны он служил в Берлине, теперь вернулся и все узнал. Она встретила Тamarку из их класса, Андрей приходил к ней на прошлой неделе, пьяный, расспрашивал о Динусе и все тащил из кобуры пистолет, говорил, что застрелит Динуся и мужа и сам застрелится.

— Боже, Боже! — качала головой тетя Женя. — Но как же так, почему же он в папу, при чем тут папа?

— Он был пьян! — с гордостью сказала Динуся. — Он хотел убить меня или Толю, но он был пьян, не узнал голоса и выстрелил в темноте наугад. И, пожалуйста, ведь все уже обошлось, я прошу, мамуля, ради меня, не надо никому заявлять, ну, пожалуйста, ну папуля, прости ради Бога!..

От этого удивительного происшествия остался у него на ухе надрыв — маленький, на самом-самом верху, кто не знал, мог не заметить. И еще — привычка двумя пальцами трогать его и слегка потирать, как бы проверяя, тут ли он еще, не зарос ли...

А потом, позже, через два года, это раненое ухо он обморозил. Никогда ничего с ним такого не было, по полдня в любые морозы ходил с молотком и пилой по своим владениям, а тут вдруг обморозил, и где? — в городе, пересаживаясь с метро на автобус, за какие-то пять или десять минут. К тому времени старый наш дом снесли и сровняли с землей. Они жили с тетей Женей в отдельной квартире, на скучной и безликой пятиэтажной окраине. Он в тот день был один, в гостях у Динуся, распил с зятем бутылку водки и почти трезвый ехал домой. Такая случилась беда. Ну, конечно, прямо так, что беда, сначала никто не подумал. Мазали салом, мазали йодом, а все не проходит, краснота и корка, болит и чешется. Он пошел к хирургу — его послали к онкологу. Тетя Женя мне позвонила, и я приехал.

Мы вышли с ним по три стопки водки, и он сказал мне:

— Хреновая жизнь. Живешь, живешь, а зачем, непонятно. Помрешь, ничего от тебя не останется. Вот, посмотри, ты у нас во всем разбираешься. Все анализы сделал, и все хорошие, я такого даже не ожидал, только один, говорят, не того-с. Так может у человека в моем возрасте, с грудной жабой, с такой нервотрешкой и который выпил столько водки и обнял столько красивых женщин, может быть один неважнецкий анализ?

И он протянул мне кипу бумажек. Я стал перелистывать и откладывать. Кровь, моча, рентгеноскопия...

— Вот, говорят, вот этот, что ли...

Да, это был именно он. «Атипичные клетки в большом количестве.— Сг». И печать, и подпись.

— Что ты задумался? Плохо мое дело? Конченный я человек, а? Да ты говори прямо, не бойся.

— Ну нет,— проямлил я,— ничего... Конечно, это не вполне нормально... Вообще все правильно, надо лечиться... Чего там... С врачами поговорить...

— А что это значит вот здесь: Сэ-че?

— А, это... Ну... счетчик. Лаборант, что ли. Вот видишь, подпись. Эс-че, счетчик такой-то. Да ты не расстраивайся, ничего страшного.

— Да! Да! Так я и знал! Конченное мое дело. Никчемный я человек. Никудышный я человек...

Это он уже не говорил, а шептал сквозь слезы, почти беззвучно.

А потом — больницы, разговоры с врачами, красивое слово «эпителиома», которое я, чтоб втереться в доверие, старался произносить, как они, небрежно и буднично, и даже с легкой, беспечной улыбкой всезнания.

Мик послушал докторов —
Он и весел и здоров.
Мак не слушался врача —
Вот и тает, как свеча.

Его оперировали, но неудачно, слишком мало отрезали, пожалели ухо. Пошли метастазы в гассеров узел — сплетение лицевых нервов, начались почти постоянные дикие боли. И сердце его, после двух инфарктов дышавшее, как он сам говорил, на ладан и столько раз его подводившее, подводило его и на этот раз, никак не желало отказывать, а желало неутомимо длить его муки до последней меры возможности.

Сначала я ездил по несколько раз в неделю. Привозил лекарства, отвары и травы, в замечательную силу которых, едва услышав, начинал немедленно верить. Но силы никакой в лекарствах не было, с каждым разом ему становилось все хуже и все трудней становилось с ним разговаривать. Он встречал меня, пожалуй, уже и без радости, хотя все еще с нервным нетерпением:

— Заходи, заходи. Давай раздевайся. Садись, ну? Ну что же ты, а? Ну? Что нового? Нет, подожди...

Заставлял тетю Женю налить мне водки. Немедленно.

— Вышей, потом расскажешь. Ты пьешь, а я получаю удовольствие. Видишь, это все, что я еще могу.

Он уже почти не вставал с постели, я подсаживался к нему, жуя капусту, и он брал мою руку в свою, теплую, вялую (та же ли это была рука — всегда напряженная, цепкая, хваткая, диктующая и твердо ведущая?), заглядывал мне прямо в глаза мутным, раздавленным, сумасшедшим взглядом и спрашивал:

— Неужели это все-таки рак?!

И с каждым разом все большего труда стоило мне не отвести глаза, не расслабиться, не кивнуть ему, не сказать:

— Ну, конечно, Господи, а что же еще!

И я стал приезжать все реже и реже, вот уже и не чаще двух раз в месяц, и, прощаясь в коридорчике с тетей Женей, одеваясь, целуя ее дряблую щеку, не промалчивал, а говорил ей: «Ну-ну, держись!»— вот ведь мерзость человеческая, вот ведь подлость... Он был ее единственной вечной любовью, ни Динуся, ни долгожданная внучка в сравнении с ним ничего не значили. И сейчас — оставаться с ним с глазу на глаз, каждую минуту ожидая конца, ворчать на него, когда он стонет и жалуется, — это было невозможно одному человеку, это надо было с кем-то делить, и ясно ведь, с кем... Но я как бы этого ничего не знал, я как бы заведомо был уверен в справедливости принятого порядка: я уезжаю к себе домой, а она остается здесь, вот со всем этим. «Держись!» За что ей было держаться? За него и держалась всю жизнь...

Надо думать, это было не в самый последний приезд, но теперь я вспоминаю его как последний.

Напив меня водкой, накормив ужином, она спросила робко:

— Ты еще посидишь? Я воспользуюсь, сбегаю пока в магазин. Вечером придут колоты морфия, но тогда уже, наверно, Динуся подьедет, а сейчас я быстро, я полчасика...

Он дремал, но как только хлопнула дверь, сразу открыл глаза и сказал отчетливо:

— Ты здесь? Подойди. Сядь. Не на стул, на постель. Ближе. Дай мне руку. Вот так. Слушай. Ты знаешь, кто это сделал?

Я подумал, он бредит. Глаза были мутные.

— Что ты, о чем ты? Хочешь попить?

— Ты вот что. Ты слушай меня внимательно. Ты должен помнить. В меня стреляли тогда во дворе...

— Ну? К чему это ты?

— Дурачок. Дурачок ты. С этого же все началось, глупая твоя голова. Вот...

Он покрутил рукой как бы возле уха, на самом деле — почти не отрывая руки от одеяла, но я его понял.

— Он меня хотел убить — и убил!

— Кто? Андрей? Но ведь он не тебя...

— Какой там Андрей! Никому ни слова. Обещаешь? Как перед Богом? Ну то-то. Это Локтев в меня стрелял. Бывший наш участковый. Хороший мужик, сколько мы с ним выпили, чтоб ему ни дна, ни покрывки. Бандит оказался — первой гильдии. Захотел убить — и убил. И правильно! Конечное дело, пропащий я человек...

Глаза его, мутные от морфия, ошалевшие от боли, были глубоко наполнены слезами, губы двигались скованно. Но он хорошо понимал, что говорит. Я же так растерялся, что утратил бдительность, забыл выдать дежурную дозу, мол, что за бред, почему «убил», ты еще живой, ты еще поживешь, врач говорит... И пару жидких, бессмысленных медицинских подробностей, за которые он охотно ухватится. Я заметил уже с большим опозданием, что он, поглощенный все время одним, он-то бдительности как раз не терял, он поймал меня на слове, верней, на отсутствии слов, и похоже, именно это сейчас переживает, именно этим больше всего и мучится. Но уже как бы шла другая тема, и я позволил себе не отвлекаться.

— Так это не Андрей? Ты точно знаешь? Локтев... Помню. Не может быть! Зачем? За что? Что ты мог ему сделать? Такого страшного, чтобы так...

— Значит, помнишь Локтева? А Ольгу помнишь? Ну вот то-то. А он с ней жил. Ты не знал? Она ему была как жена. Даже больше, ты понял меня? Даже больше! А потом, после той нашей поездки... Ты же ездил со мной, помнишь? Ну вот. Мы тогда уже с ним разошлись, не дружили. Но он-то почувствовал, догадался, мерзавец. Он ей говорил, она мне сама рассказала. Убью, говорит, твоего жидка, так и знай! Ну вот и убил. Нет, антисемитом он не-е был. Антисемитом он не-е был. Это он так, со зла. Горячий был парень... Хотя черт его знает, в душу не влезешь. Ну-ка встань, встань!

Я встал.

— Повернись спиной.

Я повернулся.

— Подойди к буфету.

Я подошел.

— Левей, левей. Видишь ящик?

Я, конечно же, видел ящик.

— Возьми ключ, вставь, отопр.

Ключ от ящика лежал в фарфоровой соуснице, а в ящике, среди фотографий, рецептов, облигаций, авторучек и прочего хлама, я должен был у самой задней стенки найти серебряный сундучок, размером со спичечную коробку, сводчатый, весь в ажурных узорах. В детстве я с ним любил играть, мне казалось, что он, даже если пустой, хранит невидимые сокровища или иглу кощеевой смерти. Оказалось, что нечто в этом роде он теперь и хранил.

В сундучке тоже был свой замочек, но он уже давно не работал, и надо было просто откинуть крышку. Там, под перламутровым гарнитуром — две запонки и булавка на галстук, — лежал бесформенный серый кусочек металла.

— Видишь?

— Вижу.

— Понял?

— Понял. Откуда ты ее взял?

— Из наличника. Ты думал, я такой дурачок? Я потом вышел один на крыльцо, встал, как тогда, поглядел на уровне уха и ножом... Представляешь, если б я на него заявил? Мать честная! Одно мое слово — и он погиб. Восемь лет, как пить, это не меньше... Ну, а я, старый дурак, решил: пронесло, и ладно. А теперь, брат, поздно, он сам уже помер, меня обошел. Сердце было тоже никудышное. И пил, как лошадь. Мне не чета. Я триста грамм — он пол-литра. Я пол-литра — а он семьсот, я семьсот — он литр. Такой был мужик, трясца его матери!..

Он вдруг подтянулся, воспрял духом, что-то впрыснули в него эти воспоминания, может быть, чувство собственной значимости, ощущение, что жил он все же не зря, не впустую, красиво или как-нибудь там еще...

А я сидел, слушал и думал: Ольга и Локтев!.. Вот уж о ком не сказал бы «горячий парень»! Локтев был вялый, сырой, блеклый, хоть и крупный, но какой-то совершенно стертый, если бы не синяя милицейская форма — кажется, растворился бы в воздухе. Пил действительно, но и Мишуня пил, поди разбери, кто больше, кто меньше. Выпив, несколько оживлялся или, вернее, слегка оживал и рассказывал каким-то брезгливым голосом с упорным постоянством одно и то же: как его уважает и ценит начальство, какую он имеет власть на участке и как может арестовать в любой момент кого пожелает. «Кого пожелаю. Вот сейчас укажи — встану, оденусь, пойду и доставлю!» И затем следовала неперемнная шутка: «А могу и тебя!..» Мне кажется, даже дядя Мишуня в конце концов устал восторгаться, качать головой, хохотать и повизгивать и отработывал все это кое-как, невпопад... Локтев. Убить — в это я еще мог бы поверить. Но Ольга... Воистину, чего не бывает на свете!

Мы еще поговорили с ним о нашем прошлом, о той нашей с ним поездке, об Ольге. Он поддакивал, удивлялся, как много я помню, радовался и, быть может, слегка заискивал («Мать честная! Ты же был вот такой шпингалет!») и даже порой, как мог, в полгубы, улыбался. Боль его словно бы вовсе оставила, и я подумал: мало ли что... а вдруг пронесет?..

Пришла тетя Женя, я начал прощаться, сказал ему: «Ну, давай, держись!» — и вышел, и ей сказал в прихожей: «Держись».

И, уже стоя на остановке, в сумерках, один, засыпаемый снегом, стал по-настоящему вспоминать то, что, в сущности, помнил всегда.

9

Тогда тоже была зима, вечер, легкий мороз, снег...

По Москве он таскал меня всюду с собой, но в командировки не брал ни разу, а тут решил почему-то взять. Странно, но я ему не мешал, а скорее, напротив, придавал уверенности. Он ведь был, по сути, одинокий человек, здесь же он знал, что ему обеспечена хотя и бесполезная, и молчаливая, но зато безоговорочная поддержка. Он служил тогда в каком-то снабжении, разъезжал с договорами по Московской области и в тот вечер пришел домой возбужденный, бурлящий изнутри и румяный снаружи.

Как всегда, ничего не сказал сразу, все важное оставил на потом, на сюрприз, выпил водки, похрустел капустой и луком. Я всегда очень хорошо его чувствовал и сейчас знал, что что-то он приберет, но не спрашивал, это было нельзя, мое терпеливое молчание входило в игру, а только ждал и вертелся поблизости. Наконец он меня подозвал, усадил рядом, больно проверил на каждом пальце, коротко ли острижены ногти, велел не горбиться, прислониться к спинке и вдруг, как бы продолжая разговор, спросил:

— Ну так как, банда батьки Кныша, я не понял, ты едешь или не едешь?

Я аж захлебнулся:

— Ты что? Куда?

— Как куда? Разве ж я тебе не говорил? Я тебе говори-ил. Я говори-ил. Я говори-ил...

— Ничего ты не говорил!

— Ну вот, здрастье, имей с тобой дело. Нет, ты не деловой человек. Ты еврей, я с евреями дел не имею...

Наконец, проболтав все свои прибаутки, он сказал ключевые слова:

— В Серпухов!

— Что ты выдумал, — заговорила тетя Женя, — таки едешь?

— Еду! И — не позднее, чем завтра! И мальчика забираю с собой!

— Надолго? Что же ты мне не сказал? Какой ты...

— Не мог, Женюся, пойми меня правильно. Государственной-важности-дело! Точка. Еду надолго. На целые сутки. Заготовь нам, Женюся, побольше еды и как минимум по две бутылки на брата...

Мы вышли с ним из калитки в сумерки, шел легкий снег, он держал меня за руку, в свободной руке он нес чемоданчик, а я — матерчатую сумку с котлетами. Там, конечно, была и другая еда, но больше всего там было котлет, тетя Женя подбрия специально их жарила, держа демонстративно, на видном месте, разобранную, свежевывмытую, свою мясорубку... И поэтому я запомнил именно так: сумка с котлетами. Одеты мы были с ним великолепно. Я — в новых черных валенках с галошами, в кожаном пальто с коричневым мехом, перешитом тетей Женей из старого отцовского; он — в фетровых подшитых бурках, в штатских синих бостоновых брюках, в черном длинном пальто с каракулем и в такой же, кожей обшитой шапке. Он был гладко и подробно выбрит опасной бритвой и даже снял в этот раз усы, так что выглядел странно и непривычно, и, когда разговаривал, верхняя губа, казалось, движется несколько скованно, как бы стесняясь собственной наготы. Он был в веселом, праздничном напряжении, нервно мял мою руку, зачем-то оглядывался и по мере приближения к остановке троллейбуса — а идти было надо минут пятнадцать — становился еще возбужденнее, но и легче, как-то расковывался, освобождался и, казалось мне, на глазах молодел. И — говорил, говорил непрерывно. Рассказал, как в тридцатые годы он жил в Сибири, служил в каком-то продуправлении и каких замечательных имел лошадей, все соседи узнавали его бричку издали, называли ее «тачанка». Но однажды... Мы как раз переходили по мосту через пашу замерзшую, засыпанную снегом речушку. Он и вспомнил и тут же мне рассказал, как однажды ночью он шел зимой через реку от одной за-а-мечательной дивчины. И вышли ему навстречу трое, и как раз на самой середине реки —

а река ба-а-льшущая, не то что эта, с километр как минимум, а то и больше,— и как раз на середине реки раздели. И топал он домой, наверное, час, босиком и в одних кальсонах. Мать честная!

— Как раздели? Ты сам разделся?

— Ну, ясное дело. Окружили с ножами, говорят: «Сымай!» Я и «сымаю». Хотели зарезать, а потом решили, и так замерзну. И хочешь, верь, не хочешь, не верь, даже и не чихнул после этого. Здоровый был, как бугай, не то что сейчас. Воз грузеный поднимал плечом. Подниму, держу, только поплеываю, а кучер колесо меняет. Торопится. Я ему говорю: не спеши, не спеши, делай по правилам... Ну вот, пришел я тогда домой, выпил двести грамм, ноги водкой натер и заснул, как убитый, и встал как ни в чем не бывало — опять казак казаком... Такая история.

— А тетю Женю... — вдруг сказал он тогда с каким-то, как мне показалось, усилием,—тетю Женю я крепко любил и жалел. Она была у меня что надо, все завидовали. Да, любил и жалел... Ну, это уже другой разговор. Не горбись!..

И, словно исполнив долг, освободившись, повеселел и полегчел окончательно.

Я знал, разумеется, что будут сюрпризы, без этого он часа прожить не мог. И все же я здорово растерялся, когда на вокзале чужая женщина, молодая и, как в анекдоте, красивая, русская, радостно бросилась ему на шею.

Он поставил чемодан, расцепил ее руки.

— Тихо, тихо, погляди, погляди...

— Да? — Она опустила руки в зеленых вязаных варежках, отступила на шаг, огляделась, серьезно, испуганно — и тут же улыбнулась облегченной, ясной улыбкой.— А-а! Как хорошо, как хорошо!

На ней было черное пальто в талию, с небольшим черно-бурым воротником, такие же валенки, как у меня, и под цвет зеленым варежкам зеленый платок. Тогда она мне сразу показалась красавицей, я так и подумал этим сказочным словом, впервые приложив его к живой женщине. Теперь, разглядывая ее отсюда, я, пожалуй, этого не нахожу. Но была она, безусловно, живая, свежая и новая, невозможно новая в каждом своем движении. Я подумал тогда, что похожа она на артистку, на какую-то из моих любимых, но не мог понять, на какую именно. Получалось, будто на нескольких сразу: на Орлову, Ладынину, Целиковскую...

С ходу, без паузы, не раздумывая, она сделала шаг ко мне, наклонилась, положила мне на плечи ладони в варежках и крепко поцеловала в щеку.

— Чудный у тебя племянник, Миша,— сказала она.— Похож на тебя? Нет, не похож. Ни капельки! Странно.

— На отца,— сказал он серьезно.— Вылитый. Исключительный был человек! Вот, оставил... Так теперь вдвоем и воюем. Ничего, он у меня казак. Проходи, казак...

Но я не мог сдвинуться с места. На меня впервые нашло то особое, дурное оцепенение, какое потом, в последующей жизни, и детской, и взрослой, повторялось не раз и теперь хорошо мне знакомо. Возникает оно всегда в переходный момент, когда ситуация в чем-то резко меняется: иная обстановка, иные люди, или, скажем, иное значение жестов и слов. Будто ты играл и играл привычную роль, играл, как дышал,— и вдруг мановением чьей-то руки попал в совершенно другую пьесу и отныне, что бы ни сказал и что бы ни сделал, все будет нелепостью и бессмыслицей. И ты об этом не столько знаешь, сколько чувствуешь, как бы физически — телом, спиной... И случись это в пятый, в десятый и сотый раз, ты будешь снова так же нем и бесслен, разве только будешь знать, что это проходит, и ждать, когда, наконец, соизволит пройти...

Но тогда я еще не знал и этого и стоял, беспомощно застыв, замерев, с перехваченным горлом и влажным лбом. Дядя Мишуня прошел вперед по инерции, потом обернулся, взглянул на меня, раскрыл было рот — но мотнул головой и не стал ничего говорить. А она тоже — обернулась, взглянула и то ли по его незаметному знаку, то ли по собственному порыву вдруг быстрым шагом вернулась ко мне: «Ну что ты, милый, пойдем, пойдем...» — положи-

ла мою руку на гиб своей и так, не за руку, а словно бы под руку, мы с ней вошли в вагон, и Мишуня — следом...

Вагон был такой же, как тогда из Челябинска, но только почти пустой. Мы сели втроем у окна за столик, и Ольга села напротив меня, расстегнула пальто, развязала платок. Открылся свитер с большим воротом, мягкой, бархатной черноты, и неожиданно короткие волосы, чуть длинней, чем у Зои Космодемьянской, не темные, но и не очень светлые, красивые — такие, как надо... Она поглядывала то на меня, то в зеркальце, и когда в зеркальце, то все равно на меня, так мне казалось. Улыбнулась — это уже точно мне, тряхнула головой ободряюще-дружески, прикрыв глаза: такая, мол, жизнь, не грусти, все будет в порядке... Потом уставилась на дядю Мишуню, уперев лицо в ладони, а локти в столик. Он усмехнулся, спросил:

— Ну что ты, что ты?

— Ничего, — сказала она, — вот мы и поехали...

Поезд тронулся, стало совсем хорошо.

Дядя Мишуня открыл чемоданчик, достал поллитровку, вытащил из своей сумки сверток с тегижениными еще не остывшими котлетками, и я внутренне дернулся — но только на краткий миг. В этой новой игре были новые правила, я их принимал, и они мне нравились. «Миша» — называла его она и еще иногда говорила «Мишенька», но ни разу не сказала ему «Мишуня», как все, кто в той, другой нашей жизни имел к нему близкое отношение...

И понял я так, что мы с дядей Мишуней на время, на краткую эту поездку отрезаемся, что ли, от старого мира, как пелось в прекрасной песне с непонятным названием. А то, что мы этот старый наш мир предаем, или, иначе говоря, обманываем, — это чувство я тоже в себе ощутил, но и в нем была своя острота и своя особая радость. Мне было интересно, мне было празднично — я тоже как будто вырвался. И так при этом удачно устроился, что на воле, в новой, чужой жизни, с чужими людьми — а все равно под родной, надежной защитой...

Он уже завелся на воспоминания и рассказывал дальше, теперь уже больше ей, как в той же Сибири ехал один зимой через лес. Там было все необходимое, в этом рассказе: глухая ночь, лютый мороз, пугливая лошадь и, конечно, волки.

— Вышли из лесу — впереди, метров двести, не больше, штук пять, честное-мое-слово, лошадь стала, что ты скажешь, шутейное дело! Я взял из саней соломы, хочу поджечь, а она не горит, трясца ее матери, промерзла совсем, только спички трачу. А ружья нет, и один, и дрожу, как цуцик, то ли от холода, то ли от страха. Честно говорю, как перед Богом: напугался крепко. И уже было думаю: все, погиб, конченное, брат, твое дело. Вдруг гляжу — мать честная! Прямо за ними, с той стороны выезжает мне навстречу тройка. Их тут же как вымело. А это Егоров, председатель колхоза, мой знакомый, лихой был мужик, орел, сколько мы с ним... ну, не в этом суть. Подлетели они ко мне, а он ездил с кучером, и возок у него был красивый, как у купца, с крышей и полостью, все отдать — и мало... Приказал он кучеру придержать, а сам из возка смеется: «Что, Моисейч, боишься сибирских волков?» «Да нет, — говорю, — возвращаться надумал, бумаги, дурья голова, забыл...» Ну, он посмеялся еще, но дальше пытать не стал. Привязали мы мою лошадь к его возку, пересел я к нему в тепло, у него там, кстати, нашлось... И доехали мы обратно домой весело, за милую душу... Ну, давай еще по одной. Аминь!

Он резко опрокидывал свой стаканчик, морщился, кричал, краснел, выдыхал... А она пила без усилий, глотками, как воду, и потом улыбалась, и не спешила закусывать, и отщипывала наконец кусочек хлеба, а к котлеткам так и не прикоснулась... Но слушала замечательно хорошо, трясла головой, ужасалась, смеялась... И все время поглядывала на меня, приглашала в свидетели, в соучастники...

И мне было радостно, и мне было весело, и мне было девять лет, и я был влюблен и счастлив.

На вокзале в Серпухове подошел к нам мужик в тулупе, еще издали помаhal рукой в большой рукавице, крикнул хриплым голосом:

— Михал Моисейч! Ольга Иванна!

— Привет, Сергей! — сказал степенно дядя Мишуня. — Не опоздал, молодцом, молодцом.

Сергей подвел нас к саням-розвальням, показавшимся мне огромными.

И была впряжена в них совсем небольшая лошадка, трудно было представить, что она их сдвинет, да еще с нами со всеми. В санях лежала солома, крупная, ломкая, равномерно умятая по решетке днища, и навалены были в кучу тулупы, такие же, как тот, что был на Сергее. Ольга расстелила один тулуп в передке саней, на него мы с ней сели, верней, полулегли, спиной к лошади, а другим укрылись, прижавшись друг к другу.

— Сами будете править, Михал Моисеич? — спросил Сергей.

— А то как же! — ответил мой дядька и принял вожжи. — Это ты здесь без меня казак, а теперь будешь у меня пассажиром.

— Добро, добро, — сказал, усмехаясь, Сергей. — Только лошадь не гоните, Михал Моисеич, она у меня за день сегодня намаялась.

Он лег вдоль саней с моей сторсны, накрылся еще одним тулупом, с головой, так что только ноги торчали в серых огромных валенках, и сразу исчез как одушевленный предмет, стал как бы частью оснастки и упряжи.

А дядя Мишуня не лег и не сел, а немного раздвинул ногами солому, поискал на ощупь опору и встал во весь рост, почти у самого среза, широко, наискось расставив бурки, крикнул «и-эх!», крутнул вожжами — и мы поехали.

Развернулось, отодвинулось и померкло здание вокзала, мы въехали на темную, сельского вида улицу, где не было ни одного фонаря и только редкий огонь в окне высвечивал уплывающие назад заборы и крыши. Мягкий мелкий снег далеко относил движением; перед нашими глазами его было больше, чем падало нам на лица. Брезентовые вожжи мотались над моей головой, сходясь высоко наверху, в руках у дяди Мишуни. Лица его было почти не видно, и я иногда представлял с содроганием, что это не он, другой, чужой... Везет неизвестно куда. Но тут случайный свет из окна обрисовывал безвольный его подбородок, наш фамильный, такой же, как у меня, единственное, в чем мы с ним были похожи, — и мне сразу становилось тепло и уютно, и уже я гордился, что вот он какой, почти чужой, смелый, ловкий, правит лошадьку, и этой грудой дерева, и всеми нами, стоит и не падает... И все занимательные его истории, леса, бандиты, лошади, волки и реки, воспринимавшиеся мной всегда отвлеченно, абстрактно, так что было мне и неважно, что правда, что вымысел, становились теперь, сразу, все скопом осязаемой жизнью и правдой. Да и сам я как будто попал в такую историю, словно он мне ее про меня и рассказывал.

Все казалось сказочно неправдоподобным. Было странно сознавать, что скрипучая эта конструкция движется не безличной мощью мотора, а силой живого существа, почти человека, ну разве что более крупного, более сильного. Колея из-под полоза вылетала близко, почти осязаемо, сани скользили удивительно быстро, и было страшновато от этой бегущей у самых дядькиных ног наждачной поверхности и еще неловко перед несчастной лошадьку, которая вынуждена бегом, бегом тащить неизвестно куда четверых здоровых себе подобных.

И Ольга, странная взрослая женщина и в то же время как бы не очень взрослая, отчего-то была здесь рядом со мной, тесно, вплотную, не отодвигаясь, я почти лежал на ее руке, крепко обнимавшей меня за шею, и поглядывала на меня с умилением.

— Господи, какие глаза, какие ресницы! Миша, Мишенька, слушай, подари мне мальчика!

Ее губы жили и двигались близко, у самого моего лица, слишком близко и слишком крупно, так что я переставал воспринимать ее в целом и не мог временами понять, что происходит, и оценить, хорошо это или плохо. От нее здорово пахло водкой, но это ничуть меня не отталкивало, а даже, быть может, еще больше сближало: этот запах был мне родным, так пахло от дяди Мишуни...

— Подари, Мишенька!

Он слегка приседал то в одну, то в другую сторону, сохраняя равновесие на поворотах и не глядя на нее, мотал головой:

— О-ох, тряся твоей матери, бандитка ты, Ольга. На что он тебе, хулиганка, на что он тебе? Играть? Так он не игрушка. Он не игрушка.

— Нет, я не играть. Я буду за ним ухаживать, кормить-поить, веселить его буду, а вырастет — замуж за него пойду.

— О-ох, мать твою, ну бандитка, ну хулиганка!

— А что? Будет у меня жених во-от с такими ресницами.

И крепко целовала меня в щеку и шептала, касаясь губами уха:

— Не откажешься от меня, возьмешь меня в жены?

И я понимал, что ответа не надо, и все-таки проборматывал еле слышно:

— Возьму...

А дядька мой приседал, и посматривал, и качал головой в досаде и восхищении.

— Бесстыжая все же ты баба, Ольга, креста на тебе нет!

— Ого, креста! На тебе, что ли, есть?

— Мне креста не положено, я некрещеный.

— Ну вот и помалкивай. Не даришь мне мальчишка? Тогда продай.

— Купи, купи. Но имей в виду, миллионов твоих не хватит. Он у меня один на свете, дороже ничего не имею...

— Ладно,— сказала она,— еще поторгуюсь. Ты дорогу-то, Миша, хорошо помнишь, не завезешь нас куда-нибудь спьяну?

— Завезу, а то как же! А тебе-то не все едино?

— О-ох, это правда! Вези, куда хочешь, мне все едино...

И вот, наконец, совершенно случайно один из домов на одной из улиц почему-то вдруг оказался тем самым, куда мы ехали. Сергей вскочил сразу, как будто не спал, молча взял вожжи из рук дяди Мишуни.

— Ну, бывай здоров,— сказал ему дядька.— Спасибо, хороший ты человек. Завтра не нервничай, мы сами дотопаем. Да ты не гляди, что он с виду такой, мы с ним по-военному...

Мы втроем прошли через калитку к дому, а там нас тоже ждали и знали. Старуха хозяйка обняла каждого, умилилась мне, проводила в горницу с уже накрытым белым столом, и Ольга сняла тяжелые валенки и ходила в чулках, бесшумно и мягко ступая, и дядя Мишуня доставал поллитровку... Но я уже плыл куда-то мимо, мимо стола и угла комнаты, к большой, глубокой и теплой кровати, и вот уже засыпал с блаженным предчувствием, что завтра будет еще веселее, еще интересней и праздничней...

А когда проснулся, было светло и не было ни Ольги, ни дяди Мишуни. Она уехала рано утром в Москву (передумала, видно, меня покупать), а он пошел по своим заготовленным учреждениям.

Старуха поила меня жидким чаем и кормила вареньем с каким-то назойливым привкусом. Потом я немного гулял на улице, то есть стоял как дурак у калитки, опасаясь непонятных соседских мальчишек и того, что если уйду, не найду дороги обратно. А потом вернулся дядя Мишуня, деловой, бодрый, но не слишком веселый, и мы снова попили чаю с вареньем, и поели, и угостили старушку котлетами — сколько же их там было! — и пошли на вокзал.

Весь обратный путь был бессмысленно длинным. Однообразные полудеревенские улочки, хмурые прохожие, заплеванной холодной вокзал. В вагоне он все больше молчал, подремывал; я смотрел в окно и изнемогал. Показалось в какой-то момент, что и в самом деле все вчерашнее было сочинено, придумано то ли мной, то ли им. Что не было никакого такого вечера, ни савей, ни Сергея, ни Ольги... Но уже у калитки нашего дома он вдруг остановился, крепко сжал мою руку, так что я едва не заорал от боли, и, приложив палец к губам, сказал:

— Понял?

Я кивнул.

— Ну вот то-то. Ты, брат, у меня молодцом. Выпрямись!

И толкнул калитку.

10

— Ну-ну, расскажи, расскажи еще, сыночку,— говорит она, убирая пустую тарелку и подставляя мне новую, с картошкой, с котлетами, пахнущими совсем, как тогда, словно теми же самыми.

— Не могу больше, все очень вкусно, но просто некуда!

— Ничего, ничего! — выговаривает она строгим, сварливым голосом.— Ты не спеши, я тебя не гоню, ты выйди еще, давай я тебе налью, и закусишь, вот и выйдешь, что ты покушал. Ты кушай и рассказывай. А я буду слушать. Ты так много запомнил. Челябинск, носильщик и как вы пилили дрова... Расскажи еще!

Ну да, Расскажи тебе, думаю я. Нет, уж ты лучше еще поживи, поживи хоть ты...

Я все же пытаюсь добыть хоть что-нибудь, одинаково приятное и ей, и мне, но что-то никак не могу угодить одному из нас, то тому, то другому. И от этих тщетных усилий выплывает совсем уж ненужное, такое, что лучше бы вовсе не помнить.

То я вижу снова — подробно, отчетливо — ту жуткую сцену на кухне. Застывшее, довольное, почти благостное лицо Доры Семеновны; слезы тети Жени, эту тряпку в руках; и надо всем — ошалевшие, мутные, вороватые и жесткие глаза дяди Мишуни...

То как потом, уже после той сцены — то-то было и страшно, что после, — он долбит в их запертую и странно замолкшую дверь:

— А вы мне не плачьтесь, что вы без мужа! Я-то знаю, почему вы без мужа. Погодите, и с вами еще разберутся, кто вы такая!..

А то я вспоминаю его донос, который он все-таки написал — на другого человека, по другому поводу, уже в новом доме... Белый лист, красивый, правильный почерк, равные расстояния между строчками. «Настоящим довожу до Вашего сведения, что гражданин такой-то из квартиры такой-то частным образом нанял электромонтера, который произвел, по всей вероятности... («Вероятности» — писал дядя Мишуня.) Мною лично установлено отсутствие вращения счетчика, ввиду чего в ущерб государству расходуется баснословное количество электроэнергии...»

Так и было написано: «баснословное»... Еле я его уговорил не посылать.

Наконец, я вытаскиваю вроде бы то, что надо. Но опять это связано со мной одним. Да и мелочь, в сущности.

— Помнишь, как он меня кормил по утрам?

— Да-да, ломтики, ломтики!

Он вставал всегда раньше всех, «с петухами»... На самом деле, часов в семь, позже петухов, но уж так ему нравилось говорить и думать. С петухами! Он будил меня и всегда перед школой заставлял съесть хоть один бутерброд. С повидлом, а когда появилась возможность — с маслом.

— Не спеши, — говорил он мне терпеливо. — Не хочешь, не надо. Ей-Богу, никто тебя не заставит. Ты слушай меня и смотри сюда. Что ты видишь? Ну? Что — хлеб, хлеб! Еще раз: что ты видишь? — Б о л ь ш о й к у с о к! Невкусно? Совершенно верно, невкусно. Теперь гляди: фокус-мокус. Берем нож, желательный острый, вот, я только вчера его наточил, разрезаем, еще, теперь поперек, на мелкие ломтики. А теперь — пробуй. Говорю тебе — пробуй! Ну? Вот то-то! А ты мне не верил. А ты не верил... А ты не верил...

Или приносил из сарая яйцо, свежее, только что из-под курицы, протыкал в нем иголкой две аккуратные дырочки, сыпал соль сверху на скорлупу и давал мне пить тонкую теплую струйку. Белка, который был тем хорош, что за ним непременно появлялся желток, для которого надо еще было расширить отверстие, расковырять его, но не слишком сильно, иначе он проглатывался вмг, целиком, не оставляя почти никакого вкуса...

Или картошка... (Все что-то еда и еда.)

— Стой! — говорил он. — Имей терпение. Сейчас я тебе сделаю к в а ц ь. Идет?

Он оставлял в кастрюле большую часть воды, разминал картошку вилкой, потом толкушкой и еще почти всю слитую воду постепенно тоже добавлял обратно. Получалось действительно очень вкусно, потому что, как он любил объяснять, для картошки главное — это крахмал, а он-то как раз с водой и уходит... Я и сейчас своим великовозрастным детям иногда przygotowляю такой же квац и выслушиваю их похвалы с самодовольной улыбкой, молча поминая дядю Мишуню...

Ах да, вот еще, пожалуйста. Это уже с едой не связано. Как он забирал меня из больницы, помнишь, после воспаления легких, и какая-то идиотка врачаха сказала ему, просто чтобы что-то сказать, что мне надо как можно меньше ходить, чтобы не было осложнения на ноги. И он нес меня на руках всю дорогу до дома, то есть сперва до троллейбуса, потом до метро, опять до т, оллейбуса, уже до нашего, и еще от него полтора километра крутых подъемов и спусков — с его-то сердцем!

Да, и еще, и еще, помнишь? Я вывихнул ногу, мне ее вправили, но было здорово больно, я еле терпел. И он со мной просидел всю ночь, расска-

звал всякие свои истории. Я засыпал, а когда просыпался, видел, как он, держась за голову, стонет и качается из стороны в сторону...

Он не выносил физической боли — и не только моей, а вообще чьей бы то ни было. И даже когда наша Джульба, помнишь? В ЖКО завели большую собаку, овчарку, и она ее покусала. Он не мог смотреть, убежал в дом и там с ним случился приступ, едва ли не самый тяжелый...

— Да-да, сыночку, спасибо тебе. — Она уже вся в слезах, трясется. — Вот меня тоже скоро не будет, я лягу туда же, рядом с ним, и я хоть сейчас спокойна, что ты нас помнишь. Вот его вспомнишь и меня немножко, кто знает, может, и правда, нам будет от этого легче?

Кто знает, кто знает? — думаю я. Да никто не знает! Самый умный и самый знающий — как раз и не знает. Мы живем в этом мире, не зная самого главного, и ведь вот молодцы какие — не теряем духа, живем!..

Я прощаюсь, обнимаю ее, целую, говорю ей: «Ну-ну, не кисни, держись...» — и еще, чтобы как-то завершить этот день, кое-что вспоминаю в метро, по дороге домой.

11

Мое последнее воспоминание о дяде Мишуне — последнее живое мое воспоминание — относится к совсем недавнему времени, когда его самого в живых давно уже не было. Так что речь здесь уже не совсем о нем, а скорей обо мне...

Я был вызван — и не вызван, а застигнут на службе и доставлен на сей «Волге» — в одно суровое учреждение для мирной, впрочем, и тихой беседы на сугубо литературные темы. И не в учреждение, а в его филиал, один из бесчисленных, расположенный в совсем постороннем здании, — если есть, разумеется, в нашей стране такие здания, посторонние этому вездесущему ведомству. Сопровождавший меня элегантный и стройный юноша набрал код на двери без вывески, заслонясь от меня другой рукой (я, конечно, от души посмеялся над этой серьезностью, но не в тот момент, потом, через пару недель), и мы с ним проникли в большую прихожую, из которой тянулся узкий коридор с дверьми с обеих сторон. Глухие высокие стены, неяркие лампы; мефистофельский острый профиль из желтой латуни, неожиданный тем, что уж слишком был ожидаем; учебный плакат «Пистолет Макарова» — как разбирать, собирать, заряжать (сразу выплыло змеиное слово «шептало»); и мирная передвижная вешалка из гнutoго дерева, пустая, одиноко застывшая в пустом углу. Я снял и повесил пальто, прошел в конец коридора, вошел в предупредительно раскрытую дверь и там за большим Т-образным столом увидел дядю Мишуно...

Вообще говоря, нечто подобное случалось со мной не раз и прежде. Чаще в кино, но порой и в жизни. Все советские чиновники тридцатых — сороковых были словно пародиями на него, и не те, сатирически изобличенные, пародийные по замыслу авторов, а старательно-серьезные, положительные, деловые и мудрые. Но то ли я давно не встречался с чиновниками, то ли место само, где я находился, и способ, каким я сюда попал, были уж чересчур необычны... То ли допустимость любого исхода, обострявшая до предела, у бездны на краю, воображение и восприятие... Но такого ожившего своего дядьки я со дня его смерти не видел. Тут было так, что любая деталь не опровергала, а дополняла: и рост, и жесты, и вот он заговорил — голос и способ произнесения. Словарь был, конечно, богаче, грамотней, разговор шел на тему, дядьке малодоступную, но все это было как бы неважно, дело было как бы не в этом...

Он выглядел старше как раз на те самые годы, дядьке было бы сейчас примерно столько же. Русский, и даже скорее украинец, но и это сходилось. Дядя Мишуна и был ведь по сути русский и даже скорее украинец. Гладко бритая рыжеватая голова, форма черепа, шеи, размер и форма ушей (отсюда, из безопасного далека, я даже мысленно всматриваюсь, здорово ли левое), широкие плечи в синем бостоне (тот самый костюм, в котором в Серпухов... нет, конечно, бостона теперь не бывает, но нечто подоб-

ное), руки с крепкими туповатыми пальцами, с коротко обрезанными ногтями (может, тоже пилит где-нибудь у себя на даче?). Еще бы светлые бурки... Ног видно не было, и я их легко дорисовал, эти бурки. Это был точный дядя Мишуня, в л и т ы й, как он сам бы сказал. Но, конечно же, поумневший, обученный, которому раз навсегда объяснили, как надо и как не надо. А взамен отняли всю игру, всю необязательность и никчемность, и от этого щеки его стали серыми, а губы сухими и жесткими...

Я так тогда растерялся от этого сходства, что не спросил ни звания, ни фамилии. Так до сих пор и не знаю и только надеюсь — ненасытное мое тщеславие требует, — что хотя бы не ниже майора. А где-то в дальнем уголке души шевелится: полковник! Непременно полковник. Такой пожилой — ну никак не ниже...

Он спрашивал — не враждебно, но кратко и сухо. Я же так расслабился, так расплылся, что сразу наболтал с три короба — и все лишнее, лишнее. Нет, я не рассказал никаких секретов, но только потому, что никаких секретов не знал. И я не назвал ни одной фамилии, потому что он меня ни о ком не спросил. Но я разговаривал, разговаривал, по-домашнему, весело, облегченно: герой, контекст, читатель, писатель, интеллигенция, революция... Вот дурак-то, наверно, думал он, вот лопух-то, с такими только работать. Главное, не оттолкнуть, не спугнуть...

Наконец я остановился, схватил себя за руку, огляделся и подумал оторопело: ну и ну! Как же и жить после этого? Не-ет, чур меня, сказал я себе, чур меня, какое там сходство, это так, с перепугу мне показалось. Если б живой, подлинный дядя Мишуня вот такое долгое время сохранял эту важность, я бы счел, что он окаменел, что он умер. В нем, даже в самом неподвижном, даже в самом надутым, в нем всегда внутри бушевал огонь, и какая-то то ли еврейская, то ли просто дурацкая искра поминутно прошивала его насквозь. Другой, другой!..

Он словно почувствовал, что я ускользаю, встрепенулся, как марсианин Рэя Бредбери, и точным, единственно верным движением вдруг постучал по столу пальцами, выстреливая ими из сжатого кулака; затем, тоже абсолютно правильно, распластал ладонь перед собой на столе и сказал:

— Вы не думайте, я верну!

Это он перед тем спросил рукопись еще не опубликованного романа.

— Я верну! — сказал он и, как и следовало, повторил тем самым, особым, назидательным, просительным-угрожающим тоном с непременно подъемом в конце: — Я верну-у... Я верну-у...

И даже еще пожевал, пошевелил губами, словно добавляя недостающее: «Как пить дать» и «честное-мое-слово...»

Но было поздно.

Было поздно, я уже ускользнул, я уже был не здесь, далеко, со своим настоящим дядей Мишуней, обнимал его и просил прощенья у его небезгрешной, но все же невинной тени.

1984—1986
Москва

Виктор КРИВУЛИН

Первая бабочка

* * *

чешуекрылые книжки взлетали стоймя
прямо в лицо мне летели шурша по траве
теньями своими китайчатыми на подъезде к москве
у железнодорожной насыпи где загорала семья
расстелив одеяло больничного цвета из тех
под какими никак не согреться когда зацвела
черемуха и газету без месяца и числа
ветер гонит за поездом ветер библиотек
накрывает ею как типографским сачком
раннюю бабочку первую — помнишь перепечатанный ДАР
где-то в уральском журнале на землях заволжских болгар
пермяков черемисов еще кого-то о ком
никогда и не слыхивали но чьи стоймя

чешуёкрылые книжки взлетают ранней весной
вдоль дороги в кордоне огражденном тремя
временами глагола, как тюремной стеной
ограждены БУТЬРКИ плывущие в параллель
северной ветке... не лучше ли старый стиль
по которому все еще длится Апрель
пока ты маешься в Мае отыскивая Итиль
на исторической карте среди переименованных городов
где-то-на-линии Царицын — Казань
где переводят Рильке и звучит его ЧАСОСЛОВ
на рассвете по местному радио в дослужебную рань

Голое исполнение

здесь фальшиво

Пошли сначала
торопились перебивали
замолкали когда вползала
золотая змея Рампала
окруженная воздухом зала

придыхательное обрамление
шелест платья

сдержанный кашель
эта пауза это мгновенье
становилось паролем нашим
дальше — голое исполнение
дальше собственно музыка, школа
доведенная до совершенства
до отчаянно чистого соло
здесь была часовенька Женский
монастырь На месте престола —

под органом — пюпитры провод
микрофоны... Теперь отсюда
от начала части, по новой —
но внимательнее: для чуда
здесь почти не дано пустого

незаполненного объема

Лебедь

надо было палками вколачивать латынь
чтобы зелень брызнула из досок
чтоб заговорил пастуший посох
посреди высоких гимназических пустынь

в марте обжигала грамматическая синь
акварельное предчувствие набросок
будущего: на холме, в березах,
ложноримский портик, остальное — сгинь!

забывается ведро с пучками свежих розог
(розоватая у них набрякшая кора)
напрягается преображаясь воздух

дело к Пасхе... недоученный вчера
вспомнился воскрес расправился горацей
заглушая рокот левых демонстраций

С артистическим холодом

высокая комната От потолка до пола
окно откуда видны
крыши и купола

воспоминанье дополнит артистический холод
гусиная кожа с теневой стороны
торса натурщицы. Лия? так ее кажется звали
где она? может быть умерла
или живет в америке... впрочем, одно и то же

здесь еще бесприютней
визжит и крошится постель
ластик дерет бумагу будто пемзой по коже —

и не теплее не чище...

эту пластинку с лютней
помнишь? вечно ее заводили,
пока — и все-таки Лия! — не пробирал до костей

холод высокий, светлый
холод которым жили
глядя на город сверху
приподнятые, чужие

Охота на мамонта

сли совсем откровенно — так не было учителей
племя преподава елей с палками и камнями
разыгрывало охоту, остервенелые, злей
чем грубая шерсть на шее кусачая в холода

кто же сказал, что было тогда теплей?
разгружали дрова, поленья на лед роняли
с пустотелым стуком... Скелеты заснеженных кораблей
Арктически-чистое время Обезлюженные года

выводили на площадь мамонта в космах и колтунах
с непропорционально маленькими глазами
где стоял заполярный космогонический страх
Палки летели камни... что они сделали с нами!

Царица Таиах в Феодосии

вкрапленья камней благородных
в пустую породу стихов
и толпы священных животных
и окрики их пастухов
виссоны и люрексы льются...
волошинская Таиах
оглошшая от многолюдства
от гула в торговых рядах

доставленная на пароходе
(копия — не оригинал)
с египетской тяжестью сходит
на феодосийский причал

ей нравится воздух смертельный
и в греческой лавке еврей
торгующий горстью поддельной
стеклярусных ярких камней

над горсткой портовых рабочих
разметанные листки —
там пышное что-то пророчат
эсеры или большевики

ей нравится это искусство
подделывать завтрашний свет
где голые стены где пусто
и только за стенкой сосед

кашляет и вздыхает
вздыхает и в кашле зайдясь
то кухонный кран открывает
то с миром последнюю связь
щелчком, поворотным движеньем
оборвет — и лежит

Книги и люди

худо, конечно, с какого конца ни возьми
но, может быть, из-за того
полуослепшие книги тоже казались людьми
и скрывали преступное с ними родство

прятали а если за стенкой затихал сосед —
бережно — как шуршит папиросный слой! —
обнажали какой-нибудь порфиросный портрет
полоску с гольбеиновой Пъетой

Монастырь на Карповке

возле храма в ложновизантийском стиле,
где последние полвека теплится кожевенный завод,
горстка иоанниток лица их застыли
словно исподкожно каждую по имени зовет

из дали восстав кронштадтской вечерющей лиловой
тот жестоковыйный поздно призванный протоиерей
что обрушивал на графа льва толстого
львиную тоску по родине по внутренней своей

по скитальческой по древле-северной по скитской
вот и монастырь в изгибе карповки-реки
трудно строился надрывно в ожиданьи близкой
революции погибели распада на куски

сбились кучкой... это нынче день поминования
праздник Иоанна острый ветер вперекор неве
из нечувствия из окаянного окамененья
руки выпростаны коченеют

вечно в меньшинстве

горстка верующих

как бы ни крутилось
колесо гражданской обескровленной судьбы
(возвратят как было отдадут на милость
новоизбранной двадцатке перепогребать гробы)

все равно у входа не по-старчески прямые
даже если и в живых-то не осталось никого
соберутся сгрудятся немотствуют о мире
где развеществляется любое вещество

Для первой буквы

как летописец я ушел
в изготовленье киновари
для Первой буквы где библейский Вол
с евангельским Орлом одно образовали
взмывающее существо
что отрицает собственную тяжесть

я знаю мы не скажем ничего
я знаю и никто уже не скажет
иного чем написано до нас

честнее кисточка — в чернильнице медвяной
раскрывшийся новорожденный глаз
начальной Альфы, первоокеана

откуда всё — от разрушенья Трои
до распаденья на куски
того мегалитического строя
чье населенье как черновики
бесмысленно когда перебелен
первоначальный замысел — УСТАВОМ

ВЫВОДЯТ НАС

Красные руки прачек

красные руки прачек
 плечо гладильщицы ходящее ходуном
 пока влюбляется плачет
 пишет письма и забывается сном
 кадет корабельных курсов

ледовое поле Дымят клепаные утюги
 Океан окутанный паром прачечного искусства
 разглаживается — из-под женской руки
 выходит празднично-белым...

и сергей эйзенштейн в дорежимной матроске похож
 на Цесаревича Алексея —
 те же выутюженные, кроенные врасклёшь
 океанские плоскости как бы рассекшие Тело
 та же царская дрожь

Сто первый завод

прежний мой собеседник, похоже, сбесился
 битый час разворачивал свиток журнальной статьи
 то в litvu заносило его то восточнее daugavpils'a
 проходила граница делила свои-nesvoji

воздух де-лиризованный воздух делирия жолтый
 я дышал им совместно я разве что не демократ
 я могу повторить и за Блоком: задумчиво скрипнули
 болты
 на соседнем заводике — там их, несчастных, доят

нет ни жалости, знаешь, ни даже вины перед ними
 помню школьную практику: мы в механический цех
 приходили вставали к станкам — остается доньше
 этот запах металла на пальцах, эмульсии... эта, на всех
 разделенная радость запретной тишкой пронесенной бутылки
 я могу и продолжить... ну чем еще связаны мы
 с нашей родиной бедной, устроенной как бы для ссылки
 в наказание нам что избегли духовной тюрьмы

Чуть в сторону

какая-нибудь луга или псков
 два-три филолога учитель-самоучка
 незнанием иностранных языков
 терзающий себя — да блоковская тучка
 жемчужная в зените

всё так и движется Автобусы пришли
 с туристами, и вы стоите
 у входа в местный кремль как на краю Земли
 покуда не найдется краевед
 и крадучись пошел похожий на цитату
 перевернутую или нет
 не знает сам — но смотрит виновато

Купеческий дом

полутысяча лет на одну или две
уцелевших кирпичных попытки
жить как люди — не в роскоши не в мотовстве
но и не в непрерывном убытке
просто в собственном доме

где голландская печь изъясняется на изразцах
говорит о хозяйстве охоте полуденной дрёме
о каналах о парусниках об озерах
как бы кукольных как бы карманных

но в огромной стране обязательно сыщется жердь
с вороватой оглядкой: живем-де не в денежных странах
надо всем-де единое Небо единая Смерть!
и замки посшибают и крышу раскатят

на рассвете когда подъезжали под бывшую тверь
долго дергался в окнах поставленный как-то некстати
возле самой дороги (и что в нем теперь?)
двухэтажный купеческий дом без единой
рамы в окнах без двери без кровли...

чем они торговали — пенькою? холстиной?
или мачтовым лесом?.. и что мне до ихней торговли?

Первый псалом

освещенье жестяное Гул не имеющий эха
кто он? Громче Не слышит Ни тени сознания в лице
норный зверь из наборного цеха
с аффрикатами «ш» или «ц»
до полуночи возится — то им кефир из пакета
в дребезжащее блюде плеснул
то присядет на корточки: с к о р о у ж, м и л ы е, л е т о
в о т и в о т п у с к п о й д у... Не имеющий голоса гул

шел церковный заказ Дорогое издание П с а л т и р и
из епархии кто-то звонил поменяли шрифты
За спиною — пока он работал — какие-то люди ходили,
то и дело роняя стальные листы
он сбивался Поставит страницу — разрушит
начинается сызнова Буква большая: Б л а ж е н
м у ж к о т о р ы й н е и д е... Кишеньке свинцовых зверушек
расцарапанных неприрученных фонем

Сестра четвертая

куда ни сунешься — везде журнальное в ч е р а
чего мы ждали? — жизнь перевернется
когда четвертая, из чеховских, сестра
пройдя и лагеря и старость и юродство
таким заговорит кристальным языком
что и не повторить — и только небо ломают
студеные слова несомые тайком
весь век во рту — и век уже на склоне

почти что за бугром... а чтоб казались выше
 соборы вдавленные в холм —
 на них вернут кресты им позолотят крыши
 на них рабочие рассядутся верхом
 вы, муравьиные строительные птицы, —
 прибавишь резкости — отброшенные вдаль
 где мир микроскопически мельчится
 и проясняется настолько что не жаль
 ничуть мне прошлого

Степное число

ну да, из Киева из Харькова а то и
 Херсон совсем уже — являются с винтом
 в затылке: Хлебников, мычание святое
 гомеровских степей, протославянской Трои
 о вечном Юге об овечьем о живом

добро бы только в гости из гимназий
 в именье на каникулы на связь
 фамильную с корнями... нету связи!
 живи себе среди вселенской смази
 «г» фрикативного по-девичьи стыдся

тогда-то и находится учитель
 библиотекарь школьный или так:
 читали вы за н г е з и? а прочтите
 сияет медный таз подвешенный в зените
 каштаны жарят на стальных листах

и в углях синий жар и давленные вишни
 усыпавшие узкий тротуар
 и ход истории где ты уже не лишний
 ты знаешь механизм и то что сроки вышли
 и то что между немцев и татар

качнулся маятник наверх полезла гиря
 а ты хозяин времени, пока
 царит южнороссийское ЧЕТЫРЕ
 священное число с предощущеньем шири
 и вкусом козьего парного молока



Владимир МАКСИМОВ

С е м ь д н е й т в о р е н и я

РОМАН

Среда

ДВОР ПОСРЕДИ НЕБА

I

Жизнь Василия Васильевича текла своим чередом. Неожиданный приезд брата и его внезапное исчезновение не нарушили ее безликого однообразия. С утра до вечера сидел он, сгорбившись, перед лестничным окном второго этажа во флигеле и оттуда — как бы с высоты птичьего полета — печально и трезво оглядывал двор. За вычетом ежемесячной недели запоя Лашков просиживал там ежедневно — зимой и летом. Он подводил итог, зная, что скоро умрет.

По кирпичу, по малому сухарику карниза, по форточной раме он, кажется, мог бы разобрать дом, стоящий напротив, а потом без единой ошибки собрать его вновь. Подноготная каждого жильца была известна Лашкову как своя собственная. С ними вместе он въезжал в этот дом, с ними кого-то крестил, кого-то провожал на кладбище. Реки вина были выпиты и разведены морями пьяных слез, а вот нынче не то что слово молвить, поднести некому. И поэтому сейчас Лашков страшился не смерти, нет, — с мыслью о ней как бы пообвыкся, что ли, — а вот этой давящей отчужденности, общего и молчаливого одиночества. Казалось, какая-то жуткая сила отдирает людей друг от друга, и он, Лашков, подчиняясь ей, тоже с каждым днем уходит в себя, в свою тоску. Порой к горлу его подкатывало дикое, почти звериное желание сопротивляться неизбежному, орать благим матом, колотиться в падучей, кусать землю, но тут же истомное оцепенение наваливалось ему на плечи, и он только надрывно сипел большим горлом:

— На троих бы, что ли?

Водка как бы пропитывала душу, наполняла ее теплом гулкой праздничности, и все кругом вдруг становилось добрым и необыкновенным. В такие дни Лашков стаскивал себя во двор, и там — на лавочке, лавочке, врытой еще им, — возвращался к нему тот покой, то состояние слитности с прошлым, которого ему день ото дня все более доставало. Пенсия сразу обращалась в миллионное состояние, и отставной дворник с трезвой щедростью вываливал рубль за рублем на опохмеление сотоварищей.

Но и в эти вырванные у повседневной тоски дни время от времени хмельная радужная завеса вдруг неожиданно разверзалась, и перед ним, как видение, как черная метина на голубизне минувшего, возникала щуплая фигурка старухи Шоколинист. Все такая же юркая, в темной панаме, надвинутой почти по самые брови, она пробежала мимо него своей утиной походочкой, неизменно бормоча что-то себе под нос. Она собирала просроченные книжки для местной библиотеки. Вот уже двадцать лет она собирала книжки. Из дома в дом, из квартиры в квартиру, по-мышья, стреми-

тельными бросками петляла старуха, и всякий раз, когда они сталкивались, в нем вздрагивала и мгновенно замирала какая-то струна, короткая боль какая-то, и ему становилось не по себе. С годами в нем нарастало предчувствие близкого открытия, даже прозрения, и, главное, Василий Васильевич все более укреплялся в мысли, что оно — это открытие — связано со старухой Шоколинист.

Разве тогда — тридцать лет назад — мог кто-нибудь в доме думать, что уж и в те времена похожая скорее на тень, чем на живое существо, она — его основательница и хозяйка — столько переживет? К тому же Василий Васильевич определенно знал, что ей дано пережить и его, если не самый дом. И во всем этом заключался для старика какой-то почти нездешний смысл.

Последнее время он постоянно думал, думал, пытаясь найти в спутанном клубке событий ту самую нить, от которой все потянулось.

Василий Васильевич начал с самого первого дня.

II

Первым в пятую первоэтажную вселялся Иван Левушкин — молодой еще совсем, крепкощекий рязанец — со своей уже беременной Любой. Чуть навеселе, с расстегнутым на темной от пота груди воротом, он посверкивал озорными глазами в сторону уплотненного еврея — дантиста Меклера — и, ступая прямо по его бараклу, смеялся:

— По Богу надо, по Богу. Не все одним, а другим как же, а? Вот у меня жена на сносях, так что ей, значит, так вот в трухлявом барачке дитю пролетария и на свет выносить?.. Это не потому, что — власть, а по Богу, по Богу... Ничего — сживемся, я — смиренный, а жена у меня — так вроде и нету ее вовсе... И чистая...

Меклер в одном пиджаке поверх майки-сетки стоял на пороге отведенной ему комнаты и, заложив руки за спину, пружинисто покачивался из стороны в сторону.

— Пожалуйста, — говорил он, и низкий голос его слегка подрагивал, — пожалуйста. Разве я возражаю, тем более, что по Богу. — Когда еврей произносил это самое «по Богу», ему даже перехватило дыхание, и у него получилось не «по Богу», а «Богху». — Ваши дети — мои дети. Рот, так сказать, фронт.

Из-за плеча и из-под рук дантиста смотрело на странных гостей несколько пар совершенно одинаковых глаз: коричневых со светлыми ядрами внутри. Глаза качались в такт покачиванию Меклера, и, наверное, никогда еще беззаботный Левушкин не вызывал к себе так много неприязни разом.

— Я — дантист, — сказал Меклер, и светлые ядра в его глазах вдруг утонули в темной ярости коричневых яблок, — дантист, понимаете? — И по тому, как круто поджал он вдруг задрожавший подбородок и как судорожно дернулись желваки под смуглой кожей, было ясно, что ему доставляет удовольствие произнести слово, которого новый сосед не знает и знать не может. — Но мне думается, молодой человек, я вам еще долго не пригожусь.

Глаза, несколько пар глаз, немного покачались, обволакивая всех густой неприязнью, потом дверь захлопнулась, и Левушкин погас, неопределенно вздохнув:

— Белая кость.

Лашков, помогая Ивану втаскивать его нехитрый скарб в освобожденную угловую, с окнами во двор, и до того видел, что хоть и озорует слегка Левушкин, хоть и похохатывает залихватски, не чувствует в этом его веселом мельтешении хозяйской полноты, удовлетворения, нету радости, которая от сердца. То и дело в нем — в его движениях, словах, смехе — сквозила еще не осознанная им самим тревога или, вернее, недовольство.

Уже потом, за полубутылкой, Иван, среди разговора внезапно протрезвев, сказал печально:

— Вот вроде рад, а скусу — нет. Нет его, скусу, и хоть ты волком вой.

Лашков про себя подумал: «Для куражу ломается». А вслух сказал:

— Обживешься, браток. Это всегда так — на новом месте.

— Оно, конечно, — вздохнул тот и задумчиво хрустнул огурцом, — в чужом овине и своя жена слаще, а вот поди ж..

Во время их разговора Люба, бесшумная и улыбочивая, скользила от стола к буфету и от буфета к столу, приправляя свою стряпню певучим московским говорком:

— Кушайте, кушайте, не стесняйтесь.

Было в ней что-то по-кошачьи умиротворяющее. Привлекая жену к себе, Иван любовно гладил ее по устойчиво округленному животу:

— Любонька мне девку родит. Люблю девок. Девка — она покладистей. Девку, да девку, да еще девку. — Здесь он неожиданно помрачнел, сжал зубы, и в нем сразу определился крестьянин, мужик. — А теперь и сына. Чтоб на дантиста обучился... Сына, Люба, чтоб... — Он замолчал и одним махом опрокинул стопку. — Давай, мил друг, «Хазбулата»!

Когда они вышли во двор, было за полночь. Крупные в середине чаши летние звезды, оплывая книзу, мельчали, становились острее и невесомей и отсюда — с земли — походили на чутко прикорнувших птиц. Время от времени то одна, то другая из них испуганно вспархивали со своего места и, перечеркнув пылающим крылом аспидную темень, скрывались где-то за ближними крышами. В соседнем дворе яростно захлебывался граммофон: «Прощай, мой табор, пою в последний раз», и чей-то пьяный тенор тщетно пытался подтянуть: «...дний-и-и рраз-аз».

Друзья сели на лавочку во дворе. Внезапно Иван боднул головой ночь и простонал со сладкой тоской:

— Нынче у нас в Лебедяни гречиха зацветает..

И хотя Лашков ни разу в жизни не видел, как цветет гречиха, и едва ли смог бы отличить ее от проса, душе его передалась эта вот сладостная левушкинская истома, и он почти любовно вздохнул, вторя другу:

— Зацветает...

— И гармонь...

— И гармонь...

— И трава парным молоком пахнет...

— Пахнет.

Они говорили, а звезды все вспархивали и, обжигая темь, падали за ближними крышами. Вспархивали и падали.

Слова, на первый взгляд, были самыми незначительными — о погоде, о житейском, о мелочах разных, — но откровение общности коснулось их, и Лашкову вдруг показалось, сидят они с Иваном вот так уже много-много лет: вспархивают со своего места звезды, сторают в пути и падают вниз, а они сидят; цветет и опадает гречиха, а они сидят; Люба, дочери Любы, дочери дочерей Любы рожают других дочерей, а они сидят под самым куполом неба — в самой середине.

— Одинок тут в городе...

— Привыкнешь...

— Тесно...

— Оботрешься.

— Махорка нынче пошла — ботва.

— Да...

Лунная тень рассекла флигель надвое, поползла по стене, и, будто от ее прикосновения, вспыхнула в крайнем угловом окне лампада, выхватившая из темноты почти бестелесный силуэт старухи Шоколинист. Снизу она прсгладывалась до мучительных подробностей: шевелящийся беззубый рот, яростно заломленные руки и даже, казалось, самые ее зябкие глаза, подернутые испуганием.

— Что за ведьма? — глухо спросил Левушкин и встал, перекрестился и сделал шаг в сторону. — Ишь изголяется... Пойду я... Любка там...

— Хозяйка бывшая... Грехи замаливает. — Лашков тоже встал. — Ладно, покеда. Мне ведь спозаранку.

Он шагнул к себе — в тень флигельных сеней — и впервые в эту минуту почувствовал томительное, словно от удушья, стеснение под сердцем, и тихая тревога вошла в него, чтобы уже срастись с ним навсегда.

III

Старуха Храмова из одиннадцатой добровольно уплотняться отказалась наотрез. Большая, грузная, в засаленном капоте стояла она на поро-

ге кухни и, глядя, как Лашков с водопроводчиком Штабелем перетаскивает мебель из столовой в дочернюю светелку, раздраженно причитала:

— Ведь папа, — у нее это выходило смешно и жалко, — папа, это все знают, много раз сидел в участке... Да, да, — за убеждения... Разве там, — старуха ткнула склерозным пальцем в потолок, — там забыли об этом?.. Разве можно грабить семью знаменитого артиста?.. А Лева, где будет репетировать Лева? Нет, я вас спрашиваю — где? А моя девочка? У девочки такие способности... Пальцы, разве это никому не нужно? Скажите, — она бросилась к участковому Калинину, окаменело замершему на лестничной площадке, — разве это никому не нужно — пальцы? Я вас спрашиваю, где будет она заниматься, где? Конечно, в пивной тишина ни к чему и, простите, в борделе тоже...

Тот лишь поморщился в ответ и заиграл острыми чахоточными скулами. И видно было, что все это ему давным-давно смертельно надоело, что сам он, Калинин, здесь ни при чем и что, наконец, поскорее бы развязаться со всем этим и уйти домой.

За его спиной, подпирая собой гору узлов и укладок, стояли две Горевы: жена, тихая, бесцветная, в мешковатом сером костюме и в парусиновых туфлях на босу ногу, и ее золовка — туго сбитая девка, усмешливо глядящая в мир глазами, подернутыми угарной поволокой.

Сам Алексей Горев — щербатый парень лет тридцати, — скрипя выходящими штиблетами, растерянно утаптывался вокруг участкового и все зачем-то совал ему в его тяжелые руки свой ордер.

— Так ведь я не по своей воле. Мне все равно, где жить, лишь бы — крыша. Я ведь в законном порядке. — Калинин угрюмо отмахивался от него, тогда Горев бросался к жене: — Что же это она, Феня? Мы же по ордеру! — Феня жалобно взглядывала на мужа и молчала, и он уже искал сочувствия у сестры: — Груша, ну, утихомирь ты ее, утихомирь! Вот тебе и справили новоселье. Гражданочка, мы же в законном порядке... Вот и печатать...

Но Храмовой было не до него: старуха расставалась с чем-то таким, с чем ей невозможно было расстаться ни в коем случае, иначе ее жизнь теряла всякий смысл и значение. Она то отрешенно застывала у кухонного окна и потухшими глазами глядела во двор, то кружилась по квартире, таская из столовой и складывая кучей на кухонной плите всякую мелочь — подстаканники, фарфоровые безделушки, семейные альбомы, то вдруг начинала умолять сына:

— Левушка, — он стоял к ней спиной, болезненно морщился и потирал виски, а она тянула его за фалду пиджака, — Левушка! Ты же артист! Ты должен пойти и рассказать обо всем, туда! — Ее палец снова взмывал к потолку. — Во имя дела! Здесь ему дорога каждая вещь!.. Они не имеют права!.. Подумай об Ольге! Что будет с ней!.. С ее пальцами!.. Вспомни, что говорил о ней Танеев!..

Она искала его взгляда, но его глаза ускользали от нее, глаза смотрели куда-то вверх, сквозь стену, сквозь двор и дальше. Сын отдирал ее руки от себя и тихо, словно бы боясь, что его могут услышать, уговаривал:

— Мама, мама, подумай, что ты говоришь? Что случилось? Ничего не случилось. И потом, я согласен спать в коридоре. Пусть Оля живет в моей комнате. Ей там будет покойнее... Мама, ну, что ты с собой делаешь?.. Мама же, наконец!

Храмова вновь сникала, чтобы уже через минуту повиснуть на дочери.

— Вы посмотрите на эти пальцы! — Старуха бережно оглаживала ее почти невесомые ладони. — Нет, вы только посмотрите! Сам Танеев любовался ее пальцами! Оленька, только не надо так улыбаться! Оленька, ну, я прошу тебя, не надо так улыбаться!

Но та не слышала ее. Опершись о косяк входной двери, Ольга медленно раскачивалась из стороны в сторону и улыбалась тихо и празднично. Она стояла прямо против Калинина. Участковый морщился и поигрывал чахоточными скулами, а девушка улыбалась. Он морщился, а девушка улыбалась. Она, конечно, не видела ни самого Калинина, ни того, что стояло за ним, она просто жила, существовала там, где, видно, еще можно было улыбаться, тихо и празднично, но сейчас, при взгляде на них, Лашко-

ву становилось не по себе. В их вызывающей разительности ощущалось какое-то почти жуткое сходство: злость одного и блаженность другой определили недуг, и некуда им было деться, бежать от этого жестокого родства. Так и стояли они, сведенные случаем, друг против друга, на одной лестничной площадке, оставаясь в то же время каждый в своем мире, со своей правдой.

Штабель работал с чисто немецкой уважительностью к вещам. Прежде чем взяться за какой-нибудь предмет, он осторожно опробовал его — выдержит ли? — потом бережно поднимал и размеренно, как бы ступая по льду, переносил в светелку, где все и устанавливалось им по лучшим правилам симметрии. Но старуху Храмову даже эта вот его старательность выводила из себя:

— Кто же ставит стулья на стол, Штабель? Кто же ставит стулья на стол? Твоя мама-немка ставит? Твой папа-немец ставит? Может, дядя-немец ставит? Это же из Гамбурга мебель! Тебе жалованья твоего за всю жизнь не хватит на такой стол! Два не хватит! Три! А ты ставишь стулья. — Она ходила за ним по пятам, серая от бессильного гнева, трясущаяся, и все старалась уколоть его побольней, почувствительней. — Разумеется, что тебе чужие вещи! У тебя ни кола, ни двора, ни родины! Так в котельной, на тряпье и отдашь душу Богу... Ах, Штабель, а я считала тебя порядочным человеком... Все-таки — немец.

Штабель молчал. Штабель умел молчать. Зачем ей — этой потертой московской барыне с ватными щеками — знать, какая дорога пролегла между ним и его родиной? Аккуратно определив на место очередной стул, он вынул из брючного кармана платок и вдумчиво протер им руки. Затем водопроводчик сложил платок вчетверо, сунул его снова в карман и только после этого заговорил:

— Я, мадам, — Штабель взял старуху за плечи, почти без усилия повернул к себе спиной и легонько, но настойчиво стал подталкивать ее ближе к комнате сына, — австриец, мадам. Австриец. Я слюшал вас, теперь ви слюшай меня. Я не знаю, что хочет ваша власть, но я привык уважать всякий власть. Мне говорят: «Штабель, эта нада». И я делаю. Но я не хошью, чтобы рабёшие люди подыхал в котельная. Простите меня, мадам. — Он подвел ее к стулу, повернул снова к себе лицом, тихонько надавил на плечи, и она села, а сев, как-то сразу стихла и вся, будто оплывающая опара, посунулась книзу. А водопроводчик, вернувшись, дотропулся до Левиного плеча. — Лева, уведите сестра себе. Ее нельзя так. Отчень, отчень нельзя.

Лева, испуганно встрепенувшись, неожиданно засуетился, схватил сестру за руку и стал так же тихо, как и прежде старуху, убеждать ее:

— Пойдем, Оля, ты должна пойти. Тебе уже пора отдыхать. И потом мы здесь мешаем.

Улыбаясь, она удивилась:

— Левушка, зачем? Еще рано. А здесь столько солнца. Смотри, сколько. Оно звучит. Слушай — звучит. А у нас эти занавеси. Эти ужасные занавеси. И здесь столько людей. Они будут жить у нас? Что маме нужно от них... И потом эти занавеси. Неужели их нельзя снять?

— Я сниму их. Я выброшу их и открою окна настежь. Пойдем, Оля. Вот так.

Брат потянул ее с собой, и она вяло подалась, не переставая улыбаться и все порываясь с кем-нибудь заговорить. Коридор опустел, и Горевы стали молча и бесшумно вселяться. Алексей и Феня переносили вещи, ступая так, словно в квартире находился покойник. Они как бы стыдились собственной удачи, и только Груша сразу определила себя на новом месте как хозяйка и стала всем своим видом и поведением выказывать, что все здесь принадлежит ей давным-давно и что нужно лишь еще немного подождать, чтобы справедливость окончательно восторжествовала. Она двигалась уверенно, шумно, властно командуя своей бессловесной своячицей и братом:

— Да отодвинь ты, Федосья, стол ихний вот в тот угол. Что тебя, Алексей, пыльным мешком из-за угла вытянули, что ли-ча, двигай его, окаянного. Ишь, расставились...

Василию сразу понравилась эта крепкогрудая, кержацкого вида девушка с сильными, совсем не женскими руками. От нее исходил хозяйствен-

ный запах еще не устоявшегося пота и стирки. Парень обнял было ее в простенке между кухней и чердачным ходом, но она только повела плечами, только повела, но так при этом посмотрела, что он сразу же густо покраснел и смешался. Но, однако, что-то вдруг оттаяло в его душе, встрепенулось, и уже потом, когда Горев поил их — Лашкова, Штабеля и участкового — в ближней пивной теплым кисловатым пивом, он не выдержал-таки, сказал задумчиво:

— А сеструха у тебя, Алексей Михалыч, надо сказать, стоящая. Первый сорт, можно сказать, девка. Одним словом, как говорят, люкас.

Горев поскрипел, утаптываясь на месте торгсиновскими штиблетами, и хмыкнул в кружку:

— Наших — горевских кровей.

Штабель подумал, подтвердил:

— Такой хозяйка в доме, — при этом он многозначительно поднял указательный палец вверх и сделал большие глаза, — о!

Калинин промолчал. Ему, в его положении, давно было не до девок. Участковый тоскливо скучал и от дикой, не по-вешнему устойчивой жары, и от этого теплого кислого пива, и от нудного разговора, которому может не быть конца. Он с упрямой внимательностью вслушивался только в себя, даже, вернее, не в себя, а в свою болезнь. Калинин чувствовал, как она разрастается в нем, оплетая пору за порой, нерв за нервом, и ему иногда казалось, что он слышит даже самое ее движение — шелестящую мелодию постепенной гибели. И поэтому все остальное в мире по сравнению с ней — с этой мелодией — вызывало в нем только скуку, вязкую, будто смола для асфальта. Почти черными зубами участковый лениво отодрал кусок воблы, пожевал, допил кружку и коротко подвел итог встрече:

— По домам.

Ночью хмельному Лашкову снился сон...

Он идет по Сокольников с Грушей под руку. И оба они — сплошное сукно и крепдешин. А деревья, будто летя куда-то, гудят над их головами, пронизанные огнями, и все люди, оборачиваясь, улыбаются им вслед: пара! Лица, лица, они улыбаются им вслед. Сколько лиц! И вдруг его словно обжигает: все, все они, как две капли, схожи с лицом блаженной дурочки Оли Храмовой из одиннадцатой квартиры. Лашков что-то хочет крикнуть им, крикнуть сердито, вызывающе... Но сон смешался...

Пробуждаясь, дворник со злым недоумением подумал: «К чему бы это?» Потом рассудил куда для себя приятственнее: «Может, сон-то в руку?» И еще, но уже не без кокетливого сожаления: «Вроде на ущербе жизнь твоя холостяцкая, Вася?»

IV

В лабиринте бельевых веревок, словно мышь в сетке из-под яиц, металась по двору Сима Цыганкова. Облаву вели два ее брата, оба низколобые, с аспидными челками над сросшимися бровями, вели с пьяной непоследовательностью, и, хотя уже добрая половина белья лежала полувтоптанная в дождевую грязь, Сима все еще ухитрялась ускользать от них, то и дело пытаясь прорваться к воротам. Но всякий раз кто-то из братьев перехватывал ее на полпути, и все повторялось сначала. Братья обкладывали Симу с молчаливым остервенением, как зверя, в полной тишине. Слышен был только их прерывистый хрип да протяжный треск лопающихся веревок.

Василий по опыту знал, что с Цыганковыми лучше одному не связываться. Они переехали недавно в девятую, и первый же их день во дворе ознаменовался громким, чисто вологодским мордобоем со «Скорой помощью» и милицией в заключение. Семейство изуродовало своего соседа, старика-филолога Валова, а заодно и непрошеного воителя за всех обиженных Ваню Левушкина. Уже на другой день сам Цыганков, взяв на себя всю вину, уехал в домзак осаживать установленный кодексом год. Филолог, дав объявление насчет обмена, ночевал у Меклера, а Иван гордо носил по двору свой пробитый череп, наскоро забинтованный ему в «неотложке», и, горячась, возмущенно жаловался каждому встречному-поперечному:

— Это разве по Богу — над стариком среди бела дня измываться? За такое по головке не поглядят. Совесть-то надо иметь, а? Под Богом ходим, а совести — кот наплакал...

Среди Цыганковых Сима выглядела белой вороной. Тоненькая, хрупкая, почти девочка, в застиранном ситчике — белый горошек по голубому фону, — она семеняла двором, потупив глаза, так, будто ступала по битому стеклу, и как бы не пробегала вовсе, а извинялась за все свое непутевое семейство. Но стоило видеть, какими глазами смотрели на нее все холостяки дома да и женатые тоже: Сима была проституткой с лицом иконостасного херувима.

Лашков еще натягивал пиджак, чтобы бежать за уполномоченным, а кто-то уже сверху кричал:

— Ироды! Куда по подзору сапожищами-то! И зачем только принесло вас на нашу голову? Креста на вас нету! По подзору-то, по подзору как, а?

Во дворе Лашков застал уже конец облавы. Тихон все-таки загнал сестру в угол котельной и флигеля. Сима упала, свернулась в клубок, обеими руками прикрыв голову. Обляпанная грязью подошва уже занеслась над ее крапленным ситчиком, но здесь между нею и братом неожиданно вырос Лева Храмов.

— Не смейте ее трогать! Как вам не стыдно бить женщину! — Он махал перед носом Цыганкова бледным тонкопалым кулаком. — Не подходите к ней! Да!

Конечно, это выглядело смешно. Звероподобному Тихону стоило даже не ударить, а просто толкнуть худосочного актера, и без кареты «Скорой помощи» тут бы не обойтись. Тихон остолбенел на минуту, раздумывая, как слон над зайцем: давить или пройти мимо? А когда он все же решил давить и угрюмой глыбой подвинулся к Храмову, на плечо ему легла тяжелая штабелевская рука:

— Слюшай сюда, парень. Ты видишь это. — Отто чуть приподнял сжатый свободной рукою кусок водопроводной трубы. — Ты хочешь получишь пенсия, бей его, не хочешь получишь пенсия, иди домой.

Тихон взглядом исподлобья окинул Штабеля с ног до головы, как бы прикидывая, во сколько обойдется ему драка с дюжим австрийцем, потом коротко переглянулся с братом, тот хмуро кивнул, и они двинулись прочь, и лишь с порога парадного Тихон пьяно погрозил:

— Я тебе, немецкая морда, еще загну салазки!

Штабель лишь усмехнулся одними глазами и, полубокая за плечи актера и Симу, подтолкнул их к котельной.

— Иди, посидайт у меня. У вас есть многой разговоры. Мы, — он указал на Лашкова, — будем курить здесь. Мы будем думать, — он снова кивнул на Лашкова, — много думать. И говорыт, говорыт.

Лашков терпеливо молчал, пока друг его, попыхивая глиняной трубкой, изучал густеющее небо. Василий знал Отто Штабеля: чем дольше тот думает, тем серьезней будет речь.

Дворник встретил австрийца случайно на бирже труда, куда зашел, чтобы найти по просьбе домоуправа дельного истопника-водопроводчика. Штабель приглянулся ему сразу: степенный, обстоятельный — прежде чем сказать, десять раз подумает, — он подкупил дворника именно этой своей обстоятельностью. Казалось бы, не от сладкой жизни идут на биржу, и все-таки, прежде чем согласиться, Отто, мешая русские слова с немецкими, дотошно, врасстяжку выспрашивал его о месте (каков транспорт?), об условиях (как с выходными?), о спецодежде (надолго ли?) и даже о жильцах (что за народ?). И Лашков, вопреки всем традициям того скудного для рабочих рук времени, расхваливал свой товар, старался всюю.

Видел дворник: поставит ему домоуправ за такого водопроводчика, и не одну. Транспорт? Под самым носом. Зарплата? Не обидим. Спецодежда? Не покупимся. Жильцы? Ангелы, а не жильцы.

Вскоре новый истопник занял лашковскую каморку в котельной, а сам дворник вселился в светелку уплотненной модистки Низовцевой во втором этаже флигеля...

Вечер повис над крышами первой, еще неуверенной звездой. Звезда набухла, наливаясь мерцающей голубизной, и в шелест тополей за воротами вплелись два голоса оттуда — из глубины котельной:

— Мать не просыхает. И эти тоже. И все — денег. А я и так им все отдаю... Эх, и зачем только принесло нас сюда — в прорву эту?.. Отобрали

кузню, так что в ней, в кузне-то, и свету только? И так прожили бы. Все здоровые... Там у нас на Волге хорошо, просторно... Завод, завод!.. Вот тебе и завод!..

— Какой ужас, какой ужас! Ужас... Ужас... Милая, милая девочка... Какой ужас! Откуда это, за что это на нас такое?.. Говорите, говорите...

— Для вас ужас, а нам—век жить... Старые люди говорят: за грехи.

— Да кто ж и когда у нас так согрешил, чтоб за это—такое?

— В роду, говорят.

— Боже мой, Боже мой, да в каком же это роду и в каком же это столетии? Девочка, девочка, разве прокричишь тебе душу? Да поверь мне, нет такого рода, племени такого нет, и столетия такого не было. Да если бы и все роды и века мы страшно, чудовищно грешили, нас нужно было бы наказать самое большее—смертью. А ведь это ужас!

Тихо:

— Не надо так.—И еще тише:—Не надо. Всех не пожалеешь. Вот и за меня к чему было заступаться?.. Ведь прибить могли. И—на смерть прибить. Что вам-то?

— Много.

— Это от доброты. Потому вы и слабый... И тихий... от доброты... Добрые—они все слабые.

— Совсем, совсем нет, милая. Это только так кажется... Я всегда буду вас защищать.

Тихо-тихо:

— Защитник.

— Служить вам... Будем жить вместе... Не подумайте плохо... Как брат и сестра...

— Коли вы захотите такого, это я вам рабой буду... И вовсе не надо, чтобы как сестра...

— Девочка, девочка, милая девочка...

— Волосы у вас, как лен, мягкие и ласковые...

Тополя шелестели за воротами, а над миром плыла голубая звезда и эти вот два голоса.

V

Сима сидела на лавочке, болтала ногой и ела хлеб с горчицей, круто посыпанной солью. Наверное, это было куда слаще даровых ресторанных пирогов. Иначе бы она не болтала ногой, сидя на дворовой лавочке, и не смеялась бездумно вот так: поднимая лицо к солнцу, давясь едой и почти задыхаясь.

Штабель-таки недаром больше обычного молчал в тот вечер. Отто не любил слов пустых и необязательных, а потому лишь перед расставанием сказал Лашкову:

— Слушай сюда, Васья. У твоего модистка есть шулян. Скажи мне, Васья; зачем модистка шулян? Два шеловека—один шулян. Карашо. Храмова все равно не пускаит их к себе.

Сказал и сошел вниз, в говорящую темноту. Лашков лишь головой покачал ему вслед: чужак-человек. Об этом чулане шли у них разговоры еще с зимы. Дворник сам присмотрел его для друга у своей соседки. Чуланчик был так себе, не очень, в общем,—три а два,—но удобство его состояло в том, что одной своей стеной туда выпирала чуть ли не на треть квартирная печь. Оборудовать чулан под жилье было делом плевым, ждали только лета, но Штабель взял и перевернул все по-своему. И Лашков в конце концов согласился с ним.

Вот почему сегодня Сима и сидела на лавочке, и болтала ногой, и ела хлеб с горчицей, круто посыпанной солью, и бездумно смеялась, поднимая лицо к солнцу, давясь едой и почти задыхаясь. Симу ожидала комната. Конечно, не Бог весть какая комната могла получиться из бывшего чулана, ну да разве в хоромах дело? Тем более что над будущим ее жилищем колдовало сразу столько народу: трое Горевых, двое Левушкиных, Штабель с Лашковым и ее теперь собственный супруг—Лев Арнольдович Храмов. Правда, он только растерянно и ненужно суетился, не зная, за что ухватиться, но какое это могло иметь сейчас для Симы значение: Сима готовилась комната.

В углу двора, прямо против своего окна, Иван соорудил верстак, и терпкая свежей смолой стружка пела и струилась под его рубанком. И сам он, работая, улыбался чему-то своему, тайному. Казалось, дерево рассказывало плотнику некие удивительные и веселые истории. И желтые филенки для Симиного счастья — одна за одной — строились вдоль стены. И из окна левушкинской комнаты несло за квартал пирогами, и Люба, орумяненная жаром и оттого вдруг похорошевшая, то и дело сновала между домом и флигелем и при этом каждый раз переглядывалась с мужем, и он подмигивал ей, и они не без озорства улыбались друг другу.

Алексей Горев с засученными до локтей рукавами ловко и споро оклеивал бывший чулан васильковым цветом весны, и бессловесная Феня его смотрела на волшебника-мужа снизу вверх почти с благоговением, и клейстерная кисть под ее рукой выписывала диковинные кренделя.

Груша, по-деревенски высоко подоткнув юбку, выгребала последний мусор, и, когда она слишком сильно сгибалась, упругие икры ее начинали едва заметно подрагивать, и сердце Лашкова учащенно дергалось и сладостно замирало где-то под самым горлом.

Работая, они с водопроводчиком стаскивали с чердака бросовую мебель, отдавая ее на поправку в добрые левушкинские руки. Лашков держался ближе к Груше. Та вроде бы и не замечала парня, вроде бы и давала понять, что отношение у нее к нему — со всеми наравне, но сама нет-нет да и отличала его — то полувзглядом, то легкой улыбочкой — от других. Он чувствовал себя на седьмом небе. Солнце заливало двор светом чистой июньской пробы, и в его невесомой благодати все вокруг виделось ему исполненным какого-то особенного замысла.

«Мамочка моя дорогая, что человеку нужно? Самую малость, сущий пустяк. А какая от этого пустяка легкость на душе! Все дадено, все есть, живи!»

Вечером за столом царила великосветская предупредительность. Каждый из гостей хотел показать, что и он не лыком шит и знает толк в правилах хорошего тона и что уж коли и без образований, то с образованными людьми тоже умеет в обществе держаться.

Пили красное и по неполной рюмке, губы вытирали чистыми платками, закусывая, оставляли на тарелке малость: не из голодного края, мол. И в довершение всего в неопикуемой тесноте ухитрились станцевать под «Амурские волны». А перед разгонной Иван Левушкин даже произнес небольшую речь:

— Всегда бы вот так-то, братцы. — Голос его дрогнул. — Живем, как зверье. А все — люди. Я вот думал — сосед. А дантисты, они, выходит, тоже люди.

Прощаясь, гости со значением переглядывались и степенно пожимали молодым руки. Растроганный до слез Лева Храмов от самого порога кричал им в темноте:

— Заходите, непременно заходите, будем очень, очень рады. Всегда запросто. Здесь все ваше!

Лашков пригласил Грушу прогуляться, и та пошла, и сама взяла его под руку, и все было точь-в-точь, как в недавнем его сне: пронизанные огнями сокольнические деревья гудели над их головой, и многие оборачивались им вслед.

Они сели на скамью в темной аллее, и он обнял Грушу и поцеловал. И она не сопротивлялась. И, лишь слегка оправив после этого волосы, спокойно молвила:

— Только сначала, как у людей, — в загс.

Он сказал:

— Конечно. — И еще: — А как же!

И деревья сверху над ними плыли куда-то. А может быть, это плыли вовсе не деревья, а они сами — Лашков и Груша. И скорее всего, что так.

VI

Никишкин въезжал в седьмую, что на втором этаже, к бывшему полковнику и военспецу Козлову поздно вечером под седьмое ноября. Новый жилец был мал ростом, сложение имел субтильное, но мужиком оказался

въядливый и настырным. Еще поднимаясь по лестнице, он дышал норовистым бычком и в предчувствии скандала сладострастно потирал руки:

— А мы тебе пощупаем жабры, господин генерал. — Чин будущему соседу Никишкин накидывал явно куражу ради. — Ты у нас, белый ворон, враз кенарем запоешь. Отжили свое, высосали рабочей кровушки. Вы, товарищ, — тербил он Калинина, — в случае чего свидетелем будете. Не отвертится, не старый режим.

Уполномоченный и ухом не повел. Только этак искоса взглянул на него, и под его серой кожей вздулись и снова обмякли желваки.

Дверь открыл сам хозяин. Несмотря на поздний час, Козлов встретил их не в халате, а в тщательно отутюженной паре военспеца, и меловые усы его, выдержанные в лучших гвардейских традициях, были вызывающе нафабрены.

— Прошу вас, гос... — Хозяин осекся, но тут же вышел из положения: — ...тям здесь всегда рады. Я знаю, — предупредил он взявшегося было за свой планшет Калинина, — вы привели мне соседа. Очень приятно, молодой человек. — Старик учтиво поклонился в сторону Никишкина. — Мне уже сообщил управляющий. Так что, Василий, — он пожал узкими плечами, обращаясь к Лашкову, — тебя напрасно потревожили, дружок.

Едва ли дока и куда въедливей, чем Никишкин, выудил бы из всей безукоризненности хотя бы одну фальшивую ноту, но в том, с какой подчёркнутой вежливостью окружлась хозяйником каждая фраза, и в том, какая учтивость исполняла каждый его жест, сквозило такое высочайшее презрение к новому соседу, даже брезгливость, что и ко всему равнодушный Калинин позволил себе одобрительно усмехнуться.

Обескураженный Никишкин пустился было в амбицию, но старик, устало опустив белые веки, подсек его суету на корню:

— Мне предложили освободить столовую. Но я старик, а старику нужно минимум места, чтобы дожить свое. К тому же я рассчитал домработницу. Поэтому с позволения властей, — он отвесил полупоклон участковому, — я оставляю за собою только кабинет. Остальное — ваше, вместе с мебелировкой... В моем возрасте человеку нужно совсем немного дерева. — Здесь Козлов повернулся к Никишкину, и впервые в его блеклых глазах заплясали насмешливые чертики. — Не так ли, молодой человек?

Тот, казалось, почувствовал издевку, но перспектива занять лишнюю жилплощадь, да еще с полной мебелировкой, подействовала на него убагловывающе.

— Я покуда без семейства, так сказать, для рекогносцировки. — Он мельком взглянул в сторону соседа, как бы проверяя, какое впечатление произвело на того знание им военной терминологии, и, убедившись, что понят правильно, продолжил, и в Никишкинском голосе ощущалось теперь эдакое примирительное размягчение. — Вот, можете проверить. Все в полном ажуре... Нет уж, вы обяжите посмотреть.

— Что вы, что вы, молодой человек, — вяло отвел Козлов от себя протянутые гостем документы, — милости прошу. Располагайтесь, это теперь ваш дом.

Слово «ваш» он произнес с тем особым ударением, от которого всем вдруг стало немного не по себе, и Василий подумал, что при других обстоятельствах Никишкину с бывшим полковником лучше бы не встречаться.

Козлов гостеприимно открыл дверь в столовую и включил свет:

— Прошу вас.

И если новый жилец и насторожился было еще минуту назад, если и собирался снова в щетинистый комок, то здесь, при виде гарнитура резного дерева и почти нетоптанного ковра на паркете, все в нем пришло в прежнее равновесие и даже вызвало жест ответного великодушия.

— Что ж. — как бы в знак классового примирения он протянул Козлову руку, — тогда с праздничком вас, уважаемый гражданин военпец.

— Мой молодой друг, — сказал старик и, уже откровенно издеваясь, убрал руки за спину. — Я — человек глубоко верующий и отмечаю лишь христианские праздники, а также день рождения престолонаследника Алексея Николаевича Романова... Прошу простить.

Развернувшись чисто по-воински, через левое плечо, Козлов показал

гостям спину, скрылся в кабинете и в два оборота ключа отгородил себя от своего будущего соседа раз и навсегда.

— Ишь, гусь! — Никишкин после короткого столбняка снова вошел в раж и вроде даже вознамерился было броситься вслед старику. — Тебя еще, видно, жареный петух в задницу не клевал, господин генерал, тебя...

Участковый устало и зло оборвал его:

— Хватит, не мельтеши. Пошли.

Двор, обрамленный первым снегом и звездами, казался до игрушечности маленьким, затерянным. Лишь разноцветные прямоугольники окон отогревали студеную тишину, и потому сама она казалась разноцветной: у каждого окна своя особенная тишина.

Новый жилец кипятился еще и во дворе:

— Как же, товарищ начальник, ведь сообщить надо. Можно сказать, открытый враг на свободе. Сегодня он мне, а завтра при всем народе скажет.

— И скажет, между прочим, — Калинин прикурил и яростно затянулся. — И, между прочим, при всем народе... А теперь топай...

— Я что-то в толк не возьму, — угрожающе попятился тот, — представитель власти и...

— Топай, говорю... И, смотри, жену береги — сразу все не выкладывай.

— Я...

— Топай.

Это было сказано кратко, тихо, сквозь зубы, но и у Василия, вроде попривыкшего к редким вспышкам своего участкового, вдруг засосало под ложечкой, и его осенило наконец, почему с такой неохотой вспоминает тот свою работу в особом отделе фронта.

Никишкин не посмел отговориться, но даже и в том, как он уходил, будто вбивая каблуками гвозди в снег, чувствовались угроза и предостережение.

Лашков неопределенно вздохнул:

— Загнул старик себе на шею. Этот не спустит.

Красный глазок окурка, описав в темноте дугу, упал в снег и погас.

— Я бы его, конечно, за такие слова сам в расход пустил, — проговорил Калинин, и в голосе его еще дрожало недавнее зло, — но такие хоть подыхать умеют по-людски, такому хоть руку подать не совестно... Ладно, пока.

Он шагнул в ночь — высокий, сторбленный, — и снег оглушительно закрипел под его сапогами, и душу Лашкова неожиданно, впервые, пожалуй, в жизни обожгла простая до жути мысль: «Почему все так? Зачем?»

VII

Где-то под Новый год Калинин снова постучался к дворнику. Вошел, снял шапку, прижался грудью к голландке и долго надрывно кашлял. Потом сказал, не оборачиваясь:

— Глотнуть не найдется чего?

Залпом опорожнив граненый стакан, он только искоса взглянул на предложенный огурец и сел, опустив голову.

— Вот что, Лашков, — с мороза, еще заостренной обычного, лицо его оплывало текучими пятнами, — Цыганкову брать будем. Санкция есть. Родня сработала.

Лашков ждал подвоха: не те люди Цыганковы, чтобы так просто отступить от даровых денег, — не раз замечал он, как братья злорадно переглядывались, сталкиваясь с Храмовым и сестрой, — но такого ему не предвиделось.

— Да за что? — почти крикнул он. — За что?

— Сто пятьдесят пятая статья уголовно-процессуального кодекса, пункт «а»... И, главное, собаки, — стукнул участковый кулаком по столу, — свидетелей нашли! Нашли же! Сучьи дети, попользовались, а теперь копать будут!

— Так ведь замужем она!

— Вот то-то и оно, что не расписаны.

— Может, уехать ей куда?

— На панель? — Он поднял глаза и тут же опустил их. — Это можно, в любом городе спрос есть.

— Да...

Разговор угас. Василий налил себе и тоже выпил. Совсем нечеловеческая тяжесть навалилась ему на плечи, и он не мог, не хотел сейчас встать первым, чтобы пойти туда — к храмовскому чулану. До чулана было всего несколько шагов, но каким немеренно тяжким стало вдруг это расстояние для него. Дорого бы заплатил Лашков за то, чтобы избавиться от необходимости видеть их сегодня, смотреть им в глаза, разговаривать с ними. И от неизбежности предстоящего становилось на душе еще тяжелее и нестерпимее.

Жилистый калининский кулак еще раз поднялся и с силой опустил на клеенку.

— Пошли.

На стук откликнулась Сима.

— Кто?

— Открывай, Цыганкова, — глухо выговорил уполномоченный, — дело есть. Это я, Калинин.

Послышался шепот, тревожный, стремительный, в разных оттенках, затем перебитый волнением полукрик, полустон:

— Сейчас.

Звякнула щеколда, и на пороге, запахнувшись в храмовское пальто, со скорбной вопросительностью замерла перед неурочными гостями Сима Цыганкова: уж кому-кому, а ей не приходилось втолковывать, что ранние визиты участковые наносят не от избытка вежливости.

— Да? — выдохнула она и опять, как эхо, повторила: — Да?

— Вот что, Серафима Цыганкова, — Калинин зачем-то снял шапку и, опустив глаза, начал приглаживать волосы, — придется тебе пройти со мной в отделение. Есть санкция. Вот что.

— Да? — упало у нее сердце, и еще раз, но уже без вопроса, а утвердительно: — Да.

— В чем дело, Александр Петрович? — Из-за Симиного плеча выглянул Лев Храмов. Он лихорадочно натягивал рубаху. — В чем дело?

Сима повернулась к нему, взяла его руку в обе ладони и начала, как больному, гладить ее.

— Я скоро вернусь, Лева. — Голос ее звучал тихо-тихо, и, если бы у нее не дрожал подбородок, можно было подумать, что она совершенно спокойна. — Вот увидишь, я скоро вернусь. Ты ложись, тебе же на репетицию. Только не забудь сходить за батоном... Не надо, Левчик, я только туда и обратно.

Сима попробовала улыбнуться, но вместо улыбки у нее получилась гримаса, кривая и жалкая.

Но тот был уже не в себе.

— Объясните же наконец, за что, Александр Петрович? — стонал он, шаря руками по отворотам калининской шинели. — Кому она опять помещала? Разве можно вот так брать человека неизвестно за что?

— Известно. — Калинин упорно изучал носки своих сапог. — Но тебе, Храмов, я объяснять не буду. Иди к следователю и узнавай сам. Мое дело доставить.

— Тогда я вам ее не отдам! — Лева закрыл Симу собой и раскинул трясущиеся руки. — Не отдам, и все, вы слышите, Александр Петрович!.. Да что же это такое, Господи!.. Ну, дайте мне день или два... Я пойду... Я буду хлопотать... Я все узнаю!..

Участковый надел шапку и, отходя от храмовского порога, устало и хрипло сказал дворнику:

— Иди, зови двух постовых, не драться же мне с ними, в самом деле.

Лашков топтался на месте, не желая перечить, но и не спеша: «Кто знает, может, все еще и обернется по-хорошему?»

— Иди! — повторил уполномоченный, но уж жестче и упрямей.

— Ордер не я подписывал. Бесполезно, Храмов, — бросил он через плечо Лева, — это — закон.

Он вышел во двор, а вслед ему несло испущенное храмовское:

— Да будь они прокляты, такие законы! Будь прокляты люди, которые их написали! Прокляты, прокляты, прокляты!..

Когда Лашков вернулся, флигель был окружен тесным полукольцом жильцов. Чуткий утренний снег скрипел под десятками подошв, а легкий шелест тревожного полуживота плавал над головами:

— Эх-хо-хо, жизнь наша бедовая... Не думали! Девка только-только на ноги встала.

— Хе, хе, хе... За грехи-то отвечать надо. Не перед Богом, так перед нарсудом.

— Родня, говорят, удружила.

— Одно слово — ироды.

— Дела-а.

Между жильцами кружился Иван Левушкин в калошах на босу ногу и пальто, накинута прямо на исподнюю рубаху. Из-под штанины у него торчали тесемки от калысон и тянулись по снегу.

— Что ж это, граждане? Что же это за смертоубийство такое? Рази это по Богу?.. Мы же всем миром можем вступиться... Выше можем пойти. Жили люди тихо-мирно, никому не мешали... Что ж это, братцы?

Люба тянула его за рукав к дому, он, досадуя, вырывался и снова начинал искать поддержки у соседей.

— Леша, — уцепился плотник за Горева, — ты-то на свадьбе у них гулял. Рази кому мешали? Их и нет на дворе словно. Ты партийный, тебе и книги в руки — вступишь. Вступишь, Леша, поймешь совесть.

Но тот, зябко поеживаясь и отводя глаза в сторону, невнятно про-
бормотал:

— Так ведь разберутся, Ваня, не в лесу живем. Ты бы пошел домой, оделся бы... Просквозит...

— А-а-а... — с горькой безнадежностью махнул на него рукой Левушкин и бросился к Штабелю. — Штабель, чего же ты молчишь, Штабель? Трубы винтом гнешь, а здесь нет тебя, а? Как же это, Штабель? Им жить, а их так, а?

Но Штабель молчал: Штабель гнул винтом трубы, власть могла согнуть винтом его — Штабеля.

Цыганковы скучковались особняком ото всех и со злорадным торжеством поглядывали в сторону флигеля в ожидании развязки, а мать их, худая, жилистая баба, общаривая в поисках сочувствия толпу тусклыми щучьими глазами, время от времени взвизгивала пропитым голосом:

— Узнает, стерва, почем кусок ситного! Это ей не с хахалями в ресторане.

У самого входа в сени с деловым видом топтался Никишкин и, ни к кому в отдельности не обращаясь, но, однако же, явно желая оставаться, покуда это возможно, в центре внимания, громкой скороговоркой провозглашал:

— Пресекать надо. Пресекать в корне. Попусти только, на всех домах красные фонари навесят.

А флигель исходил криком. Пока Сима собиралась, Лева стоял на коленях, цеплялся за оборки Симиного платья, судорожно гладил ей ноги, прижимался щекою к ее ладони и говорил, говорил, говорил:

— Девочка, все против вас... Но пойду... Я все равно пойду... Я скажу им... Я все скажу... Мне наплевать на их варварские законы... Вот увидишь, они не посмеют... Не посмеют!

Свободной рукой она ворошила его волосы, и слезы мелкие-мелкие — одна за другой — сбегали по ее щекам и собирались на подбородке.

Постовой осторожно потянул Симу за рукав:

— Хватит.

Сима вздрогнула, напряглась вся, как бы припоминая что-то очень важное для себя, очень обязательное, а потом сложила синими непослушными губами:

— Простите меня, Лев Арнольдович, за все. А ко мне после вас никакая грязь не пристанет. Я теперь чистая. Чистая, и все тут. Но уж, — и лицо ее заострилось, стало чужим и отрешенным, — отольются мои слезы кое-кому.

Храмов рванулся к ней, но уполномоченный, опередив актера, взял

его «на хомут», и он забился пойманной рыбой, захрипел. Постовые подхватили Симу, но она выскользнула у них из рук и вцепилась в Калининна.

— Не трогай его, холуйская морда, не трогай. Бери меня, бей, отмываяй, а его не трогай. Он больной! Он слабый!..

Симу потащили к выходу. Сима упиралась, ее с трудом отрывали от косяков и подоконников, пока наконец не втолкнули в подогнанную для этой цели к самому порогу легковушку, но и там она еще продолжала сопротивляться.

Перед машиной народ раздался, а когда «эмка» выехала за ворота, полукольцо сомкнулось вокруг лежащего на снегу Храмова. Лева утюжил головой снег и стонал, и плакал, и мутные слезы его уходили в снег, не оставляя следов.

— Сима, Сима, девочка, что они сделают с тобой? Что они с тобой сделают?.. Я люблю тебя, девочка!.. Я люблю!.. Я люблю ее, люблю, люблю!

Он дернулся в последний раз и затих, неловко откинув руку за спину. Штабель молча сгреб Леву в охапку и через расступившуюся толпу понес к себе в котельную. А спустя минуту никого, кроме дворника, участкового и Левушкина, во дворе не осталось.

— Ну-ка, вот, — Калинин расстегнул планшет, вынул оттуда четвертную и протянул Ивану, — пошли свою за литровкой, а мы покуда посидим с Лашковым, погреемся.

Сказал и зашелся гулким устойчивым кашлем.

VIII

У этой весны, казалось Василию, был какой-то особый запах, особая легкость и цвет. Все вокруг него выглядело необыкновенно трепетным и словно бы лишенным веса. И сам себе он представлялся со стороны как никогда молодым и удивительно легким. Если бы нынче ему, Василию Лашкову, — час за часом, минута за минутой — вспомнили то, что осталось у него позади, он бы не поверил или, во всяком случае, постарался тут же забыть об этом. Его переполняло острое ощущение новизны происходящего. Какая шахта? Какие пески? Какая там еще голодуха? Сон! Пригрезилось душной ночью! Но даже и не будь это сном, он согласен трижды повторить свою судьбу ради такой весны, да что весны — дня, одного такого дня!

Сидя друг против друга за столиком летнего кафе в Сокольниках, они с Грушей пили пиво и молчали. Где-то за березами, густо обрызганными первой листвой, оркестр тосковал по далекому маньчжурским сопкам, и под его стонущие всплески птицы, с криком взмывая к небу, мгновенно растворялись в пронзительной голубизне.

Пиво упруго пенилось, и сквозь пену, где-то у самых лашковских глаз плавали Грушины руки, схожие с двумя большими белыми рыбами. Он пытался коснуться их, но они ускользали — гибкие и почти неосязаемые. Чуть раскосые глаза ее зовуще мерцали, рассыпаясь в пузырчатой пене на множество голубых капелек.

Груша увещевала его:

— Ну, не балуй, дурачок, ну, не балуй же!

Лашков только смеялся в ответ и молчал. Да и о чем ему оставалось говорить. Все, чем живо было сейчас его сердце, он, сколько ни бейся, не сумел бы облечь в слова. Тридцать три года — это, конечно, не первая молодость, но ведь и ей не восемнадцать, а если еще и впервые, то всегда кажется, что впереди — вечность. У него, как, наверное, и у нее, не обошлось без историй в прошлом. Но разве это имело сейчас какое-нибудь значение! Горький дым удовлетворенного желания лишь слегка опалил их, но не сжег, и, может, только потому они и сберегли себя друг для друга.

Потом он вел ее лесом, лес обступал их все теснее и теснее, пока, наконец, березовый молодняк не отрезал им пути, и тогда Лашков сказал Груше свои первые, не придуманные заранее слова:

— Пойдем туда, — он неопределенно махнул в сторону узенькой просеки в березняке, — туда, где самое небо.

— Дурачок, неба нету.

— А если пойти?

— Дурачок, ты много выпил.

— Я ни капельки не пьяный. Просто я хочу пойти туда. И — с тобой.

— Ну, пошли, дурачок.

— Будем идти, идти, чтобы лес не кончался. Так и пройдем все сто верст до небес и все лесом, лесом...

— А вот он и весь, лес-то, дурачок.

Они вышли к неглубокому оврагу, за которым тянулась парковая изгородь. Василий снял свой новый козержкотовый пиджак и постелил его на траву:

— Давай, Груша, посидим здесь до ночи, а то и до утра.

— Простудимся, дурачок.

Груша все-таки села, а он лег рядом и положил ей голову в колени и стал глядеть над собой. И ему вдруг показалось, будто небо приблизилось к нему настолько, что до него можно дотронуться рукой и написать по нему пальцем, как по запотелому стеклу, любое слово. И он дотронулся и написал, и вышло: «Груша».

— У тебя колени теплые-теплые... И сердце слышно.

— Дурачок...

— Нет, правда.

— Дурачок...

— Груша, что нам жилья ждать? Хватит нам покуда и моих восьми метров, уместимся.

— А дети пойдут?

— До детей-то, эх, сколько времени.

— И года хватит...

— Груша...

— Что, дурачок?

Она наклонилась над ним. И небо исчезло. И он утонул в ее глазах, и она растворилась в нем. И мир вокруг них перестал существовать.

Вставая, она со снисходительной лаской сказала:

— А ты говоришь — дети. — И немного погоды строго добавила: — Только ты не надсмейся надо мной, я — злая.

— Что ты, Груша!

— Все вы так-то поначалу.

— Что ты, Груша!

— Дурачок... Подымайся, домой пора.

— Ко мне?

— К тебе...

— Правда?

— Правда...

В этот день Груша впервые вошла в лашковскую комнату. Вошла, хозяйственно осмотрелась и сразу же засучила рукава.

— Эх, вы, холостяки сычевские. По колено в грязи, а нос — к потолку.

Она хлопотала ухватисто, быстро, со вкусом, но в то же время без суеты. Вещам и предметам как бы передавалась ее собственная жизненная устойчивость, и комната под легкой Грушиной рукой постепенно приобретала домовитую осмысленность. Работая, Груша словно любовалась сама собой со стороны, словно чувствовала, как приятно Василию смотреть на нее сейчас, до того каждое ее движение отмечала царственная законченность. А Василий действительно с деликатной робостью новобрачного следил за ней и улыбался счастливо и виновато.

Лунная полоса скользила по комнате — от двери к печи, а в открытую форточку текла музыка. Василий слышал ее всякий раз, когда Храмовы оставляли свои окна открытыми, но если раньше она звучала для него диковинно и непонятно и вызывала лишь досаду и раздражение, то теперь ему почему-то хотелось заплакать, заплакать просто так, беспричинно.

Груша ушла под утро. После нее остался неистребимый запах стирки и тихие отзвуки ночной музыки.

IX

Они пришли среди ночи в конце мая. Их было трое: бритоголовый в штатском, безликий молчаливый майор и красноармеец с расплывчатым,

будто навсегда заспанным лицом. Бритоголовый бегло окинул лашковскую комнату и, не здороваясь, приказал:

— Пойдем сначала в восьмую — к Козлову, будешь за понятого. Там второй найдется?

Двор и раньше не обходили арестами, но обычно их производила милиция и чаще всего сам Калинин, а здесь дело явно пахло Лубянской. Штатский смотрел на хозяина в упор, не мигая, и сквозило в его чуть насмешливом и едва ли не дружелюбном взгляде что-то такое, от чего Лашков вдруг показался себе маленьким, ничтожным, со всех сторон уязвимым, как в плохоньком окопчике в момент снарядного свиста.

Объяснять, что к чему, Никишкину не пришлось. Едва взглянув на гостей, он напряженно потемнел и соответственным образом весь подобрался, чем сразу как бы приобщи́л себя к тому, что должно сейчас совершиться.

— Сюда, — кивнул Никишкин в глубь коридора. — Спит, голубок.

Он сообщнически скосил глаза в сторону бритоголового, однако тот, проходя вперед, даже не удостоил его взглядом. Но не успел гость сделать и трех шагов, как дверь в кабинете Козлова широко распахнулась и навстречу ему вышел сам хозяин, туго затянутый в свою обычную военспецовскую пару, заправленную в начищенные до зеркального блеска сапоги.

— Прошу вас, господа! — На этот раз старик не осекся и в слове «господа» отчеканил каждый слог, недвусмысленно давая понять тем самым, что он в полной мере отдает себе отчет в предстоящем, но что именно поэтому и не намерен ничем поступиться. — Я готов.

Его тоном, его горьким высокомерием и этой вот иронической обреченностью и определилась атмосфера ареста: гости стали тише, скупее в движениях и разговорах, работая быстро и деловито. И всякий раз, чуть только возникала нужда, штатский обращался к хозяину не иначе, как по имени-отчеству, что уже само по себе должно было отличить в глазах окружающих бывшего полковника и военспеца от простых смертных. И когда Никишкин, с язвительной гримасой разглядывая корешок изъятной книги, вознамерился было высказаться, штатский подошел к нему, молча взял книгу у него из рук, положил на место и одним лишь быстрым, как ожог, взглядом исподлобья заставил его отступить к самой двери и ступешаться.

Пока составлялся акт описи на случай конфискации и майор знакомил понятых с условиями свидетельства, между хозяином и бритоголовым происходил отрывистый, похожий на перестрелку, разговор:

— Что прикажете взять с собой?

— Пару белья.

— И все?

— А больше — зачем?

— Вы так скоры на руку?

— Некогда, Пров Аристархович, некогда.

— Туалетная мелочь?

— Как хотите.

— Туалетные принадлежности?

— Вы же серьезный человек, Пров Аристархович, — тяжело усмехнулся гость, — ну, зачем, скажите, попу гармонь?

— Вам этого, молодой человек, конечно, не понять, вы — матерьялист. Но офицеры русской гвардии стараются умирать, не теряя лица во всех смыслах.

В течение часа все было кончено. Перед тем как выйти, Козлов медленно — вещь за вещь — оглядел комнату, при этом острый кадык его несколько раз дернулся, будто он хотел слотнуть что-то и не мог.

На лестничной площадке штатский кивнул майору:

— Веди, а там, — он указал глазами выше, — я один справлюсь. —

И тут же повернулся к понятным: — А вы за мной, в девятую.

Кровь бросилась Лашкову в голову и застучала в висках: «Не к дурачке же Храмовой!»

Два пролета. Ровно двадцать четыре ступеньки. Минута ходу. Но эта минута, как нить через иглу, проткнула сквозь него такой стремительно жгучий хорост мислей, какого хватило бы ему не на одну бессонную ночь.

Он, конечно, жалел военспеца: безобидный, малость чудаковатый ста-

рик. Дворник мог посочувствовать ему, подивиться его выдержке, в конце концов принять в нем посильное участие, но никогда судьба бывшего полковника не могла иметь к нему такого кровного касательства, как судьба рабочего Алексея Горева. Их мозоли имели одинаковый цвет и запах. Они уже успели съесть достаточно соли и выпить четвертинок под пиво с воблой. Ко всему — им предстояло породниться. Поэтому, когда штатский небрежно этак, носком ботинка постучал в девятую, Лашков впервые ощутил, как, все нарастая, в нем поднимается волна удушливого бешенства и, охваченный почти непреодолимым желанием броситься на бритоголового, подмять под себя его, и его уверенность, и его вот эту по-кошачьи победную усмешку, он отвернулся и схватился за перила, чтобы перебороть искушение.

А тот уже стоял перед Горевым.

— Собирайся, Горев. Разговор к тебе есть и — долгий.

Здесь он вел себя куда свободнее, чем у Кузлова: шумно рылся в комодных ящиках, походя листал и сбрасывал на пол книги с этажерки, мельком с брезгливой небрежностью заглянул в шкаф; потом сел прямо против хозяина и поторопил:

— Живей. Горев, некогда.

Но тот, обуваясь, все никак не мог попасть ногой в ботинок. Ботинок, словно живой, упрямо выскользывает у него из-под ноги.

Феня, прижимаясь к простенку между окон, мелко, всем телом тряслась, а Груша смотрела на брата поверх надвинутого на самые глаза одеяла строго и вроде бы даже осуждающе.

То и дело облизывая сухие губы, Алексей успокаивал жену:

— Разберутся, Феня, разберутся... Ты, главное, держись. А я — скоро... Вот увидишь... Бывает... Разберутся...

Но по тому, как сосредоточенно застегивал Горев пуговицы косоворотки, избегая сестриного взгляда, было видно, что успокаивает он скорее себя, чем жену, и что ему самому в свое скорое возвращение верится мало.

Проснулся Сережка — горевский первенец, но не плакал, а в детском недоумении поочередно рассматривал ночных гостей и обиженно морщил нос. Отец подошел к Сережке и, взъерошив ему волосы, сказал:

— Спи, Серега, в воскресенье в зоопарк пойдем.

Сын проводил его до двери взглядом, окрашенным настороженной вопросительностью. Так дети смотрят на покойников: еще не осознавая, но уже безотчетно чувствуя жуткое таинство происходящего.

Спускаясь по лестнице, Горев обернулся к другу:

— Ты, Вася, тут присмотри за моими. Сочтемся... Гора с горой...

— Брось, какие расчеты?

— Разберутся...

— Разберутся, — согласился Лашков, но, перехватив насмешливый взгляд бритоголового, повторил уже без особой уверенности: — Разберутся...

Ночь пахла дымом остывающих печей и сквозными тополями. За ближними домами, на товарной станции гулко перекликались паровозы. Фонарь над воротами выхватывал у темноты островок мокрой от недавнего дождя мостовой, и вся улица — из конца в конец — была по ранжиру усеяна такими же островками. В их блестящей поверхности, трепетно колеблясь, надламывались тени. Ночь и ночь, как вчера, как позавчера, как в такое же время года пять и десять лет назад, но, когда номерной огонек машины, прерывисто помаячив, растворился по тьме, Василий всем своим существом проникся ощущением какой-то куда более важной для себя и невозвратимой потери, чем просто Алексей Горев.

Никишкин, весь еще в азарте происшедшего, шуршал над лашковским ухом:

— Всех, всех под корень. Выведем. Мы дрались, кровь проливали, а им — не по носу. Не нравится — получай, голубок, девять грамм.

Василию стало трудно дышать. Скажи Никишкин еще хоть слово, дворник, снова охваченный недавним бешенством, наверно, затоптал бы его. Но тот, словно предугадывая недоброе, замолчал, и Лашков шагнул в ночь. Оттуда — со светового островка — сквозь яростное гудение в ушах к нему пробилось Никишкинское приглашение:

— Слышь, Лашков, зашел бы, что ли, как-нибудь, чайку попить! Покалякаем, в лото сыграем.

Василий подумал: «Гад». И не ответил.

Х

Василий потянул на себя входную дверь, и из-под низких сводов бу-тырской приемной обрушилась на него дробная разноголосица людской мешанины. Какая-то властная сила двигала этим разноцветным круговоротом в четырех грязно-серых стенах полуподвального зала, где навряд ли можно было выловить хотя бы одно осмысленное слово или отдельное лицо. Все слова нанизывались, как листья на стержень, на единственную ноту, и все лица имели цельный облик: казалось, сама беда изворачивалась здесь, забранная решетками и кирпичной толщей.

Усиленно работая локтями, Лашков проложил Груше и Фене дорогу к нужному окошку и занял очередь. Пожалуй, только тут, растворясь в стонущей колготне, обе женщины в полной мере осознали случившееся с ними. И если вчера, даже не вчера, а всего час назад, в них тлела надежда, то сейчас от нее не осталось и следа: слишком маленькой и незначительной увиделась им собственная потеря, чтобы о ней пришло в голову кому-либо печься, кроме них самих. Феня, как-то сразу окончательно погаснув, стала еще тише и бесцветней, а Груша, уйдя в себя, внешне обмякла и присмирела.

Впереди Василия стояла женщина в берете и темном шелковом платье, отороченном по воротнику убористыми кружевами: затерянный остров строгой тишины в горестном море сумятицы. Было что-то от иконы в ее простой и величавой законченности. Она спокойно оглядывала зал большими выпуклыми глазами, но в их, казалось бы, навсегда устоявшейся невозмутимости таилось что-то такое, от чего охотников заговаривать с ней находилось мало.

Только соседка женщины по очереди — испитая пигалица в мужском пиджаке, — бегло стреляя по сторонам оголтелыми глазами, верещала рядом с ней:

— Вот попал, черт шелудивый, а я с тремя живи, — и все колготят: хлеба! И иде я его возьму, хлеба-то? Жилы они из меня все вытянули. А я ведь и не в летах вовсе.

Мелкое, опущенное книзу лицо ее напряглось, жилы на птичьей шее вздулись, и можно было подумать, что их из нее действительно долго и старательно вытягивали.

Женщина в берете сказала вполголоса:

— Зачем вы? Не надо. Им там еще тяжелее.

Но та словно только и ждала ответного слова, чтобы дать волю источавшей ее, как ржа бросовое железо, злости:

— Вам оно, конечно, что! В шелках ходить — не волком быть. Руки вон какие непочатые. А вы в мою шкуру влезьте, не таким голосом запоете. Вашим-то и сидеть не в тягость — за свое грызетесь, а мой зачем полез?.. Сладкой жизни захотелось? А она была, да вся вышла...

Соседка коротко, но круто оборвала ее:

— Квартира моя опечатана. Я ночью у знакомых. Так что это платье на мне — единственное... И потом, неужели и в беде вы не можете за быть, у кого чего больше?.. Тогда лучше и не жить вовсе.

— С капиталом-то...

— У меня нет капитала, — внятно сказала женщина в берете, — я — поэт.

— Чтой-то, — растерянно пошарила по ней глазами баба, — это — как?

— Я слагаю стихи, — объяснила женщина и умолкла, и выпуклые глаза ее тронула усталость. — Извините.

— А! — вроде разочарованно протянула пигалица, но, когда смысл сказанного, наконец, дошел до нее, она снова встрепенулась и, неожиданно потомнев, просто, без прежнего раздражения спросила: — А про это вот можете?

Прежде чем ответить, женщина медленно провела рукой по лицу, буд-

то снимая с него не видимый никому покров, и лишь после этого тихо и просто ответила:

— Могу.

И столько вдумчивой уверенности было в ее голосе, столько внутренне-го проникновения, что она сразу же словно огородила себя от царившей вокруг суеты, и все рядом с ней отрешенно затихли, глядя на нее как бы с другого берега.

Дома Василия ждала записка: «Зайди. Есть разговор. Калинин».

Участковый жил напротив, в старом деревянном доме с подпорками по всей лицевой стороне. Когда Лашков вошел, тот, в галифе и тапочках, расхаживал по комнате, на ходу припадая время от времени к литровой эмалированной кружке.

— Садись. — Он пододвинул гостю стул. — Вот, понимаешь, батя са- ла собачьего удружил из деревни... Глотаю. Говорят, помогает... Дрянь такая, что не приведи Господи...

Уже по одному тому, что Калинин против обыкновения начал издале- ка, Василий предположил худое, но, вдруг решившись, бросился, как в омут:

— Ладно, Александр Петрович, что тянуть — выкладывай, не ма- ленькие ведь.

Тот, тяжело крякнув, сел за стол. Отставил кружку в сторону и, с трудом складывая непослушные слова, заговорил:

— Понимаешь, какая штука, Лашков... Как бы это тебе...

— Не тяни душу, Александр Петрович!

— В общем, заходил тут ко мне один, интересовался: кто, мол, да что, мол, ты такое... И в каких, мол, этот самый Лашков отношениях с семьей Горевых... Я ему, конечно, втолковал, что к чему, но, сам по- нимаешь, с ними не поговоришь много...

— Я сам себе хозяин... Я из-под Чарджоу две огнестрельных вывез. Тебе ли меня не знать, Александр Петрович!

Калинин угрюмо засопел:

— Заруби, Лашков, не таких, как ты, нынче к стенке ставят. Там не спрашивают: сколько у тебя огнестрельных, а сколько осколочных? Там спрашивают: где и когда завербован? И знаешь — как?.. Вот то-то.

Василию вдруг вспомнилась та памятная майская ночь, и бритоголо- вый в штатском, и его усмешливое дружелюбие, от которого холодело сердце, и зябкая жуть свела ему спину. Сглатывая горький комок, подсту- пивший к горлу, он сипло спросил участкового, даже, вернее, не его, а себя:

— А как же она? Она — как?

— Ну, скажи: до выяснения, мол... Совсем возьмут — лучше ей бу- дет? Баба она дошлая, поймет.

— А может, пронесет?

Калинин даже сплюнул в сердцах и встал.

— Тогда — пока. Я — тебе не советчик. Только когда пулю будешь у них Христа ради выпрашивать, вспомни этот разговор. Вот что.

Участковый снова заходил по комнате — сухой и взъерошенный, как апрельский дятел, и, хотя был явно раздосадован, не удержался-таки, крикнул дворнику вдогонку:

— Пошевели мозгами, Василий, я тебе не враг!

До позднего вечера просидел Василий на своей койке, стиснув голову руками. «Мамочка моя родная! — думал он. — За что это мне все? Разве мало того, что было? Разве не выстрадал я себе каплю радости? Кому я встал поперек дороги?»

И многое вспомнилось ему тогда: и ночные бдения старухи Шоколи- нист, и храмовская история, и арест Горева, и еще немало другого. И его одолела мучительная мысль о существовании некоего Одного, чьей мсти- тельной волей разрушалось всякое подобие покоя. И Лашкову стало невы- носимо страшно от собственной беспомощности перед Ним. И тягостное опустошение обвалилось в него. И он мутно забылся...

— Сумерничаешь?— Груша вошла, зажгла свет и сразу заполнила комнату собой, запахом стирки и своим уверенным размахом. — Заболел, что ли? — Она села, полубокая его. — Ну, чего стряслось?

Он ткнулся головой в ее теплые колени и тонко, по-детски всхлипнул. Она потеревала его волосы:

— Ну что, что, дурачок? С лишнего всегда на слезу тянет. — Последние слова Груша произнесла без прежней уверенности, словно в предчувствии недоброго. — Пить тебе меньше надо.

Он молвил, как выдохнул после удушья:

— Повременить нам надо... Врозь побыть...

— Зачем? — захлебнулась она. — Как — врозь?

Путаясь и горячась, Лашков передал ей суть своего разговора с участковым. Груша слушала молча, не перебивая. Невидящими глазами всматривалась она в ночь за окном и, казалось, даже не вникала в смысл его речи, но, едва он кончил, резко поднялась.

— Так, Лашков, так, Вася, — отчеканила она. — Так. Выходит, о шкуре своей печешься? А я как? — Она невольно повторила вопрос, заданный им Калинину. — Как я? Поматросил и бросил. Наше вам, мол, с кисточкой? Спасибо, Вася. Только времечко и ждать тебя я не собираюсь... Живи сусликом, а я свою долю найду.

Груша шагнула за порог, Василий было рванулся за ней, но она внезапно обернулась и опалила его взглядом, полным злой горечи.

— Не ходи за мной, Лашков. Теперь хоть брюхом двор вымети, не вернись. Эх ты, красный герой!

Ему показалось, что захлопулась не дверь, а что-то в нем. И наглухо. И надолго.

XI

Левушкин ввалился к дворнику, еле держась на ногах, и прямо с порога бросился целоваться.

— Вася, друг! Хоть одна живая душа на весь ящик... Прости меня, родной... Надрались мы тут нынче с Арнольдичем... Симке-то пять лет дали... Вот оно как получается... Не могу я, не могу, вот тут, — он ткнул себя кулаком под сердце, — саднит... Тоска съела... На Волгу меня артель одна зовет... Поеду!.. Тошно, Вася, то-шно... У волков и то, видно, легче... Прости, родной... Пойдем, мы с Арнольдичем тут сообразили литровку...

Мутные, без проблеска глаза плотника, свинцово отяжелев, воспаленно осоловели, всклокоченная голова вихлялась, и весь он, как бы лишившись основы, на какую нанизано самое существо, держался расслабленно и вяло.

Василий тягостно вздохнул.

— Зачем ты так, Ваня?

— Тошно, родимый, тошно!

— А все — как?

— Всех и жалко... Шерстью людская душа обрастает... Рази это по Богу? Куда деваться?

— Вот, на Волгу тебя зовут, валяй. Может, легче станет. А так ведь и до белой горячки недолго.

Левушкин приложил палец к губам.

— Т-с-с, Вася, сам боюсь... Да ведь одна живем! Пошли, Вася, будь другом, за компанию.

— Пошли...

В храмовском чулане стоял дым коромыслом. За столом, уставленным батареей разномастных бутылок и случайной закуской, одиноко восседал Лева Храмов и, подперев ладонью подбородок, пьяно жаловался самому себе:

— Вот так, Лев Храмов... Они не сверяют любовь по Шекспиру, они сверяют любовь по уголовному кодексу. Им некогда, они спешат... На свете еще очень много чудожного... Какое им дело до тебя, Лев Храмов, а тем более до Шекспира! Из Шекспира не сварить ваксы и не сошьешь сапог... А им нужно только съедобное... Так пусть они сожрут твоё сердце, Лев Храмов! Или, например, душу... — Здесь он встрепенулся навстречу

гостю. — А, Василий, заходите, друг мой, не стесняйтесь... Справляем вот с Иваном Никитичем панихиду по России... Здесь — самодеятельность, наливайте сами.

Втроем они в два приема опорожнили бутылку, и Храмов, выудив из пиджака красненькую, протянул ее Ивану.

— Иван Никитич, не в службу, как говорят, а в дружбу... Я бы и сам, но боюсь — не дойду... Пустая бутылка стала наводить на меня тоску...

Пока Левушкин оборачивался с его десяткой, актер, глядя на дворника полузакрытыми, как у спящей курицы, глазами, выяснял свои отношения с человечеством:

— Понимаете, Лашков, мы с вами, как бы это вам сказать, живем в стоялом оттоке большого течения. Мы соединены с его общим процессом, мы неотъемлемая его часть, но само течение движется, движется, а мы стоим, стоим и — распадается... Вы понимаете, Лашков?

— Да, — согласно вздыхал Лашков, не понимая ни слова.

— Что обрекло нас на это распадение? Сима говорит: грех. Но ведь всякое наказание порождает новый грех. И так — до бесконечности. Простейшая геометрическая прогрессия! Вы понимаете, Лашков?

— Да, — снова вздыхал тот, не вникая в смысл храмовской речи: он пытался стаканом накрыть муху и весь ушел в это занятие. — А как же?

Муха, наконец, попалась и зажужжала, штурмуя граненые стенки. Зло и с каким-то даже мстительным сладострастием Василий подумал: «Покрутись-ка теперь, стерва!» Муха, изнемогая, падала, но сразу же поднималась вновь в тщетных поисках выхода. И Василий опять угрюмо ехидничал, но уже вслух:

— Покрути-ись!..

— Что? — не понял Храмов.

— Это я так, себе.

— А-а... Так вот, Лашков... Постой, с чего же это я начал? Ах да!.. Но, в общем-то, вся эта философия гроша ломаного не стоит... Была Сима, и — негу Симы, вот и вся философия... И родись еще миллион Шекспиров, правы будут не те, кто пишет стихи, а те, кто пишет законы. А пишут их люди мелкие и ничтожные, у которых не страсть, а страстишка, не любовь, а семейная ячейка... Тьфу, слово-то какое выдумали, как у клопов. И кто пишет! Недоучки-семинаристы, без пяти минут адвокаты, юридические изобретатели перпетуум-мобиле... Ты спроси у любого из них: что ты умеешь делать? И он не ответит... Не ответит!.. Они ничего не умеют делать. Они ничего в своей жалкой жизни не сделали руками. Они разжигают в толпе самые низменные страсти, и животный рев этой толпы тешит их неудовлетворенное самолюбие смоковниц... Они говорят: возьми у сытого и насыться, возьми у имущего и оденься, возьми у властвующих и — властвуй... И толпа берет. Толпа в голодной слепоте своей не знает, что хлеба от этого в мире не прибавляется, одежда не вырастает, а власть не становится слаще... Смердяковщина захлестнула Россию. Дорогу его величеству, господину Смердякову... Все можно, все дозволено!.. Фомы Фомичи вышли делать политику... И они еще спалют мир. Вот увидите, Лашков, спалют... Они и законы составляют, исходя из своей житейской скудости... Им плевать на исторический опыт. Двигатель их законов — эмбриональная эмоциональность. Ежели, к примеру, у него геморрой, он обязательно эмиссирует для геморройных какую-нибудь льготу; одна у него жена — пишется закон: «Иметь одну жену и не более»; к детишкам слабость имеет — рожай, бабы, больше; нет детей — культивируй аборт; пьет — гуляй, однава живем; трезвенник — даешь сухой закон!.. А появься у них скопец в главных законодателях, оскопят нацию... Оскопят!.. И что им какая-то Сима Цыганкова! Они людей на миллионы считают...

Постепенно трезвея, Храмов произнес последнюю фразу с широко открытыми глазами, твердо и внятно. Лева словно бы уже сейчас видел воочию все, что предрекал, и Василий, до этого тупо глядевший на обреченную муху, внезапно отряхнулся, проникаясь храмовской горечью. Дворник не то чтобы понял актера, нет, чужие слова, как сухие листья, кружились где-то поверх него, но тон, настроение собеседника передавались ему, и он отрывисто заговорил:

— Я два года по Каракумам басмачей гонял. Вот, — он рванул на се-

бе ворот рубахи, обнажая чуть повыше ключицы два бугристых рубца, — они у меня не купленные. А теперь вроде бы и дышу по особому распоряжению. Это — порядок?

Друзья говорили долго и каждый о своем. Им было не понять друг друга, слишком уж разное представляла перед ними жизнь, но, роднимые болью одного сомнения, они невольно подчинились спасительному инстинкту общности, и потому каждый слушал другого, не перебивая.

Когда вернулся Левушкин, актер, постукивая костяшками пальцев по столу, склонился к Василию:

— Нация гибнет!

А тот упрямо твердил свое:

— Пускай кто хлебнет с мое, а потом лезет мне в душу.

Уже после первой грузно охмелевший плотник уронил голову на стол и, по-детски всхлипывая, затянул:

Бывало, вспашешь пашенку...

Слоткнувшись на второй строке, он умолк и некоторое время сотрясался всем телом, а вслед за этим повторял слова:

Бывало, вспашешь пашенку...

Храмов ласково гладил его по голове, утешал:

— Что же ты плачешь, Иван Никитич? Что же ты плачешь? Ты же класс-гегемон. Все — трое, а ты плачешь. Тебе нужно плясать от радости, петь от счастья. Земля — твоя, небо — твое. Исаакиевский собор — тоже. А ты плачешь, Иван Никитич. Или тебе мало? Исаакия мало? Метрополитен бери. Плачешь? Плачет российский мужик. Раньше от розог, теперь — от тоски. Что же случилось с нами, Иван Никитич? Что?

Василий вливал в себя стакан за стаканом, почти не чувствуя горечи и не пьянея. Только свинцовой тяжестью набухало сердце, и в очугуневшем мозгу лениво ворочалась болезненная мысль: «Что ж, и вправду, случилось? Почему плачем?»

Муха под стеклом наконец упала, перевернулась брюхом кверху и затихла.

В дверь, словно кошка, просительно поскребла Люба:

— Ваня, Ванек, иди домой. Ведь завтра худо тебе будет. Иди, выпись, утром я тебе сама принесу... Дети ведь у тебя, пожалей их хоть.

Иван только невнятно мычал в ответ, а Храмов, еще ворочая языком, пытался его выгородить:

— В чем дело, Любовь Трофимовна, в чем дело? Разве Ивану Никитичу Левушкину нельзя справить поминки по своему отчеству?.. Это даже его обязанность — представлять на похоронах убитой им старушки... Вы лучше зашли бы, Любовь Трофимовна, и украсили наше общество. Скучно без женщины... Скучно без женщины... Скучно и нудно.

Василия потянуло на воздух, он поднялся и вышел к Любе. В темноте они нечаянно столкнулись, и Лашков против воли обхватил Любины плечи и хотел было после первого замешательства уже отпустить ее, но она, по-своему определив его движение, вся подалась к нему и покорно пролепетала:

— Только быстрее...

В этой покорности было что-то отталкивающее, и потому, когда пришло опустошение, он только и мог сказать ей:

— Ладно, иди. Свалится, я его сам приведу.

Люба ушла, а он потащился во флигельный палисадник и лег там, прямо в мокрые от первой росы цветы.

Сквозь горячечную дрему Василий еще слышал, как плотник ползал на карачках под своим окном и стонал:

— Люба, рассолу!

Храмов заученно вторил ему:

— Нация гибнет!

— Любушка, нацеди-и!

— Нация...

— Рассолу-у-у!

Это и было последнее, что дошло до него перед забытьем.

XII

Прижатые низким небом почти к самым крышам, над городом текли птичьих станицы. День — с утра до вечера — захлебывался их гортанным клекотом. Хрупкие листья шелестящими стайками кружились по двору. Лашков смотрел в окно, вслушиваясь во вкрадчивую сентябрьскую поступь, и мутное равнодушие ко всему, словно вода вату, пропитывало его. Дни тянулись медленно и тускло, и он все свободные часы убивал время, играя безо всякого, впрочем, азарта и интереса со Штабелем в подкидного дурака. Мир постепенно обезличивался в его глазах, предметы теряли обособленные черты, все вокруг сливалось в мельтешащий хаос, в котором Штабель становился похожим на бубнового короля, а тополевы лист — на туза пиковой масти. И — наоборот.

Тасуя колоду, водопроводчик жаловался ему:

— Не понимай, что русски за шеловбек? Вшера говорил: «Гдье будит заниматься мюзика мой девошка?» Сегодня — тащиль фотепьяно продаваль...

Только чтобы поддержать разговор, Василий хмуро заметил:

— Жрать-то надо. Музыкой сыт не будешь.

— Рука ест? Голова ест?

— Она, брат, тяжелее туза и валета не держала ни зиму, ни лето.

Из нее работник...

— Продаваль вещь — не ест выход. Продаль вещь, потом — што?

— Папертей у нас, слава Богу, еще в достатке.

— Папьертей?!

— Церковь, в общем.

— Ай, ай, — укоризненно цокнул языком Отто, — некарашо. Дочь великий маэстро — нищий... Совсем некарашо... Она даваль мне красенький, говорил: «Помогай, Штабель, отвозить фортепьяно». Я отказаль. Я не мог. Я смотрел глаза девошки и не мог. Старуха запер девошка, но я сказал: «Нет».

— Так все равно продала. А красенькая — она никогда не в тягость. Прогадал, Штабель.

Водопроводчик сердито поморгал выпуклыми глазами и отбросил от себя колоду.

— Какой — русски люди! Зашем мне красенький? Я не хошу красенький! Отнять у девошка мюзика за красенький. Некарашо, Вася. У тебя добрый душа, Вася, зашем ты так говоришь?.. Ты слышаль, как она кричаль?

— Слыхал.

— У мне теперь полон уший крик... Бедный девошка.

Да, Василий слышал, как неистовствовала закрытая матерью на ключ Оля Храмова, когда из квартиры выносили пианино, но чужая боль, которую он ко всему прочему считал простой барской дурью, не могла сейчас вызвать в нем отзвука: слишком уж сильно оглушила его своя собственная. Дворник отвечал Штабелю, лишь бы не обидеть друга, но смысл разговора едва доходил до него.

Он машинально раскидывал карты на две кучки для новой партии, когда во двор черным жучком вползла новенькая, с иголки, «эмка». Лашков, усмехаясь, смотрел, как «эмка» долго и неуклюже разворачивалась, пытаясь подъехать к самому парадному, но дворовая площадка она-залась мала для ее широких крыльев, и машина, с треском упершись передним колесом во флигельный палисадник, прямо против лашковских окон, заглохла. Дворник бросился к окну — выругать водителя и уже распахнул было оконную створку, но тут же резко поперхнулся: из «эмки» выбралась поддерживанная под локоть в меру лысым и не в меру пьяным комбригом Груша Горева.

Хмельная выше всякого предела, в темном крепдешиновом и явно с чужого плеча платье и туфлях на высоких каблуках, она, пошатываясь, сделала шаг к парадному, но вдруг живо обернулась и схватилась за изгородь палисадника. И высвеченные злой искрой глаза ее приклеили Василия к месту.

— Гляди, Вася, гляди во все зенки свои. Думал, небось, пропаду? Ан вот и не пропала. На машине ездю, шоколадки ем, ликером заливаю.

Не с твоим рылом ко мне соваться. Командиры увиваются, не тебе чета. Я еще на тебя и не так наплюю. Будешь нужники за мной выносить. — Она начала хмельным речитативом, но вскоре голос ее тоскливо надломился и перешел в визгливый крик: — Кусай себе локти, Лашков... Приснилась тебе, шелудивому, такая девка, как я... Не укусишь!

— Аграфена Михайловна, Аграфена Михайловна! — опасно поглядывая по сторонам, отдирая ее от изгороди заметно отрезвевший комбриг. — Ну куда это годится! Такая уважительная женщина и вдруг такое несообразие... Сами пригласили, а теперь... Аграфена Михайловна, я вас прошу...

Растерянным колом комбриг вертелся возле нее, но Груша бесцеремонно стряхивала с себя его руки, и он отступал и, обложенный со всех сторон стрельбой отворяемых форточек и ставен, затравленно озирался.

Выбежала Феня — распатланная и жалкая — и, просительно оглаживая Грушину спину, залепетала стенающей скороговоркой:

— Что же ты с собой делаешь, Груша? Стыд-то какой... Берись за меня, Грушенька, пошли домой... Я тебя чаем напою... Люди ведь смотрят, Груша!

— А что мне люди! — даже не обернувшись в сторону невестки, огрызнулась та. — Я им что, должна, что ли? — Она вызывающе обвела двор мутным, остекленевшим взглядом. — Чего смотрите, как сычи? Ну, кто святой, плюнь на меня... Может, ты Никишкин? Сколько душ еще продал? Может, ты, Цыганкова? Передачки-то родной дочери носишь? Или все к Богу ходишь, как в исполком, — на бедность просить?.. А ты что, старая карга, губами жуешь? Царя обратно дожидаясь, по миру сызнова нас пустить хочешь? На-ка вот шиш с маслом, сдохнешь!

Ставни захлопывались, словно проставляли точки после каждого ее вскрика: в отношении личного нравственного хозяйства во дворе проживало мало любителей гласности.

Стоя у окна, Василий как бы омертвел, будучи не в состоянии сдвинуться с места, уйти от Грушиных слов и глаз, и стыд, жаркий, удушливый стыд упорно заполнял его, и провалиться сквозь землю, умереть он почел бы сейчас за счастье.

Штабель коснулся его плеча.

— Без обиды, Вася. Я пошел. Я сказал ей...

Через минуту Лашков увидел, как, выйдя во двор, водопроводчик подступил к военному, взял его за пуговицу гимнастерки и, накручивая ее, стал чего-то старательно втолковывать собеседнику. Тот возмущенно отстранялся, махал руками и попытался было даже, в свою очередь, нагнать на непрошеного арбитра, но, стиснутый за локоть мертвой штабелевской хваткой, обмяк и нетвердо двинулся к машине. Отто еще с минуту поколдывал у водительского окошка, машина тронулась и, отдавая водопроводчика синей бензиновой гарью, выползла со двора.

Водопроводчик легонько подтолкнул Федосью Гореву к дому, та, не противясь, пошла, а он осторожно взял внезапно затихшую Грушу за плечи, подвел ее к лавочке и усадил рядом с собой. Вначале Груша слушала его лениво и безучастно, потом с видимой неохотой стала отвечать ему, но постепенно, все более и более оживляясь, в конце концов сошлась с собеседником накоротке.

Сумерки придвинулись к лашковскому окну ото всех углов двора, когда Штабель поднялся и взял Грушу за руку, и она послушно пошла с водопроводчиком в котельную. Дворник напряженно следил за ними, еще надеясь в глубине души, что Груша в последний момент раздумает, и вернется, и пойдет домой, но она не раздумала и не вернулась, и широкая штабелевская спина заслонила ее от Лашкова. И теперь уже навсегда.

Он даже зажмурился от тоски, саданувшей его под самое сердце, и, отступив от окна, пластом рухнул на койку. Из соседнего двора, словно из другого мира, прорыдал над ним под трехрядный перебор чей-то дребезжащий тенорок:

Сидит Ваня на печи.
...Курит валеный сапог...

XIII

— Василий, Василий, открой, голубчик! Василий!

Старуха Храмова отчаянно барабанила в заметенное поземкой лашковское окно. Он рванул на себя форточку, и тряское, словно студень, водянистого оттенка лицо соседки замельтешило перед ним:

— Помоги, голубчик, я тебе заплачу... Хорошо заплачу. Я не могу с ней справиться. Ее надо в больницу. За ней сейчас приедут, я звонила. Она кричит и мечется... Там Фенины дети... Они тоже кричат... А я — одна... Помоги, голубчик... Я тебе заплачу.

В одиннадцатой царило столпотворение. С широко раскинутыми руками Ольга Храмова кружилась по квартире и тоненько выкрикивала:

— Я птица, я летаю! Как высоко я летаю! Не мешайте мне! Уйдите все, я — улетаю. — Она, будто слепая, спотыкалась о предметы и вещи, все падало и грохотало вокруг нее. — Я улетаю, не забивайте мне в голову гвозди! Мне больно!..

Из-за закрытой двери горевской комнаты Фенины ребята в два голоса добросовестным ревом подтягивали соседке.

Она даже не взглянула в сторону вошедших, исчезая в бывшей Левиной комнате и снова появляясь на кухне:

— Отдайте мне мое небо, я хочу улететь... Ах, Боже мой, зачем вы отобрали у меня небо? — И вдруг без всякого перехода: — Почему все молчит? Почему все оглохло? — Она прислонилась ухом к старому шкафу, потом к стене, к печи, к входной двери, твердя тревожно и потерянно: — Не звучит!.. Не звучит!.. Не звучит!..

Мать, увязываясь за ней, старалась поймать ее руку и жалобно угаривала:

— Олюшка, цветочек мой, родная моя, все тебе будет, все, что ты захочешь. Только я умоляю тебя, пошли в комнату... Хочешь, я спую тебе, и ты заснешь... Ты же всегда любила, когда я тебе пою... Олюшка, посмотри на маму, я здесь, с тобой... Миленькая, пошли в комнату...

Ольга ускользала от нее, старуха беспокойно оглядывалась на Василия, все еще не решаясь прибегнуть к его помощи, и вновь принималась за причитания:

— Олюшка, доченька, пожалей свою маму, послушай меня!.. Завтра, если хочешь, мы поедem в лес. Ты же любишь бывать в лесу. Олюшка, не разрывай мне сердца, пошли в комнату... Будь умницей. Ты же всегда была умницей. К тебе это так идет...

Рев за горевскими дверями достиг самой высокой ноты.

Сопротивлялась дурочка с отчаянным остервенением. Прежде чем Василий скрутил ее, она ухитрилась расцарапать ему шею, оборвать пиджачные пуговицы и даже дважды укусить его в плечо, но, связанная по рукам и ногам банными полотенцами, Ольга вскоре затихла, лицо ее прояснилось, и только иссиня-белая пена в уголках губ напоминала о недавнем кризисе. Он смотрел на ее изможденное приступом лицо, на глубоко запавшие глазницы, и его с каждым мгновением все более и более охватывала необъяснимая тревога, которая, свернувшись наконец в мысль, озарила душу вещей догадкой: «Мамочка моя родная! Нет человека без своей особой струны. Отними у него эту струну, и останется оболочка немощная и дикая». И Василию сделалось вдруг ошутимо понятным то омертвление, какое постепенно опустошало его в последнее время.

На кухне старуха протянула ему засаленную пятерку.

— Спасибо, голубчик... Господи, и за что только мне наказание в детях такое! Чем я Тебя прогневила?

«А ну тебя к дьяволу с твоей пятеркой», — подумал Василий, но деньги неожиданно даже для самого себя взял и ко всему поблагодарил вежливо:

— Спасибо. Ежели что, так крикните.

Во дворе он лицом к лицу столкнулся слевой. Тот, лихорадочно блестя глазами, вцепился в лацкан его пиджака.

— Как там, Василий Васильевич? Лучше?

— Затихла. Сейчас приедут, возьмут.

Они сели на лавочку. Лева ожесточенно тер виски и, глядя в землю, самоунижался:

— Пойду, пойду сейчас же... Не съест же она меня в самом деле! Я—сын ей! Ну, стану на колени, прощенья попрошу... Ах, Олюшка, как-то ты там?.. — Он порывался встать, но Лашков молча брал его за плечи и усаживал на место. — Я, я во всем виноват! Из-за меня мать продала инструмент. Разве я не знал, что им нечем жить, разве я ничего не мог дать?.. Правда, мне казалось, что у матери еще кое-что есть... но что значит — казалось? Себялюбивый изверг!..

— Сам концы с концами еле сводишь.

— Но ведь я один и потом — мужчина. Ах, как это все нехорошо! За воротами просигналила машина.

— Явились, — сказал, вставая, Лашков и пошел открывать. — Сейчас! — крикнул он, оборачиваясь на пороге к Храмову. — Ты, брат, сиди и не рыпайся, а то, я вижу, как бы еще одну карету вызывать не пришлось.

Двор ожил. В дробной перекличке ставен и форточек закружился в дворовом коробе колготной хоровод.

— За кем это?

— Оля-дурочка буянит.

— Давно пора. Все мозги своей пьяниной проела. Хоть меняйся.

— Да она ж тихая.

— Тихая! Второй день над нами потолок ходуном ходит!

— Совсем еще молоденькая!

— Порченная кровь. Бары... Им и молодость не впрок.

— Шаньпанское-то боком выходит.

— Помилуй ее, Господи! Эх, грехи, грехи наши.

— Дитев со двора уберите, укусит ненароком!

Лева спрятал голову в колени, заткнул уши и некоторое время сидел так, мерно раскачиваясь, потом пружинисто вскочил и выбежал на середину двора.

— Замолчите, вы! — неистово взвизгнул он. — Слышите, замолчите! Иначе я разобью ваши звериные морды, слышите! Пусть хоть кто-нибудь пикнет. Скоты, скоты, скоты. Навозные черви!

Василий еле усадил его снова, он пытался еще что-то крикнуть, но в это время из парадного вынесли Ольгу, покрытую, как покойница, клейменной больничной простыней, и, когда носилки поравнялись с лавочкой, Лева, враз забыв обо всем, судорожно потянулся к сестре.

— Олюшка, как же это ты? Олюшка, а ведь мы с тобой еще в концертах вместе выступать собирались. — Он полпелся за носилками. — А все я, все я... Олюшка-а-а!

Но около машины между ним и носилками встал высокий лопатистообразный блондин, судя по двубортному халату — врач, и, снисходительно пожеывая мясистыми губами, взял актера за пуговицу плаща.

— Вам, милый, не следует здесь находиться. Вы сами на волосок от этого. Максимум покоя, минимум эмоций. Живите под девизом «Хороший аппетит и плохая память». Ей-Богу не прогадаете.

Храмов схватил его за руку.

— Скажите, доктор, она скоро вернется домой? Ах, я так виноват перед ней.

— Кто знает, милый, — потускнел тот, — кто знает. Чудеса не такая уж редкая вещь. — И, уже захлопывая дверцу за собой, добавил: — Только спокойнее. Не заставляйте меня заезжать к вам в гости дважды. У вас еще, милый, добрая половина жизни — впереди... Поехали.

Лева сделал несколько шагов вслед за отъезжавшей каретой, потом, повернувшись, побрел было обратно, но здесь столкнулся со стоявшей все это время за его спиной матерью, и как-то само собой получилось, что он уронил склоненную голову ей на плечо, и оба они тихо и облегченно заплакали.

Лашков, глядя, как Храмовы, взявшись за руки, минули двор и скрылись в парадном подъезде дома, прикинул про себя: «Под дрова чуланчик-то приспособить, что ли?»

XIV

Штабель вошел, шумно поставил на стол полбутылки и, не ожидая приглашения, сел:

— Васья, — голос его был тверд и ясен, — я говорил: без обиды. Ты не хотел Груша, ты — испугал; я — не испугал. Я сказал Груша: «Ставай моя жена». Груша согласил. Теперь ты обижал. — Он укоризненно покачал головой. — Некарашо. Ты мой друзья. Некарашо.

В ответ Лашков, разделивая селедку, кисло промямлил:

— Да что уж теперь делить-то?.. Делить-то теперь нечего.

— Слушай сюда, Васья, — рука водопроводчика накрыла его ладонь, — бывай друзья, помогай мне строить дом. Жена котельной — некарашо...

Лашков знал, о чем пойдет речь. Вот уже с неделю водил Отто во двор деловых гостей: то техника из жакта, то пожарного инспектора, то артельных жучков. Гости добросовестно промеряли угол двора между котельной и стеной соседнего строения, потом спускались к гостеприимному топнику и вскоре выходили оттуда заметно навеселе. А третьего дня от участкового получил дворник уже совсем точные сведения: Штабелю разрешили построить.

«Да, — подумал про себя Лашков, — вот тебе, Василий Васильевич, бабушка, и Юрьев день! Теперь еще и гвоздик в крышечку свою забьешь. И забьешь, Василий Васильевич!»

А вслух сказал:

— Мне не на тебя — на себя обижаться. Что ж мне перед тобой ломаться, скребет на сердце, но это не в счет. Когда начать думаешь?

— Выходной. Твой здоровый.

Лашков, не чувствуя ни вкуса, ни хмеля, в два глотка опорожнил стакан и коротко выдохнул:

— Приду...

Василий никогда еще не видел Ивана таким торжественно серьезным. Будто не траншею под фундамент собирался рыть Левушкин, а уходил в дальнюю-дальнюю и неверную дорогу, из которой хоть и надеялся вернуться, но не наверняка. Закладную пил, как причащался. Прежде чем взяться за лопату, он со строгой лаской оглядел всех и тихо заговорил:

— Божье дело начинаем, братцы, дом. Здесь шутки шутить никак нельзя. Такое дело недоделать — грех. И — тяжкий. — Он перекрестился. — С Богом.

Работал он молча, крепко сжав зубы, ни на лопату не отставая от могучего водопроводчика. Тот лишь побряхтывал, стараясь не уступить дощатому плотнику. Прямо против него, на пороге котельной, Груша чистила картошку. Она чистила ее, сидя на корточках, и Отто, весело орудуя лопатой, цепко ощупывал ее плотные икры взглядом, в котором светилось ласковое довольство. Груша изредка остуживала его деланной укоризной, но позы не меняла, и видно было, что ей нравится эта их безмолвная игра: тридцативосьмилетний Отто Штабель переживал тот счастливый возраст, когда мужчина, особенно если он крепок и покладист вроде него, нравится всем женщинам от пятнадцати до ста.

Василий, глядя на них, не ревновал, нет, обида перегорела в нем, но он все не мог избавиться от ощущения какой-то потери. Потери большой и важной. Ему словно стало вдруг чего-то не хватать для того, чтобы он мог поставить себя сейчас вровень с остальными. И это угнетение не оставляло его до самого вечера.

После того, как пошабашили, Иван в один мах выбрался из траншеи, достал из топливной ямы полено, приискал в сарае две бросовые доски, чуть потесал, чуть построгал, и в три удара молотка вырос перед дворовой скамейкой стол — любо посмотреть. Груша только руками развела:

— К таким бы рукам, Ванечка!.. А я-то думала, где и рассядем-ся-то. Я бы из тебя, родимый, сделала человека.

Иван в ответ только безобидно хохотнул.

— Не обошел Господь. Да и ум, Грушенька, уму — рознь. Есть ум — к делу, а есть объяснительный, и цена им — одинаковая: один делает, другой объясняет, что к чему. А человеком я и так нахожусь, потому как — на двух ногах. Вот и я, не обижайся, выходит во всем твоя неправда.

Последние дневные блики сползали с остывающих крыш. И вечер, тихий, по-июньски умиротворенный, заполнил двор, наливаясь чернильной

густотой. Лица становились все неуловимее и неуловимее. Такие вечера располагают к разговору отвлеченному — без текущих злоб и забот.

Затягиваясь после еды сигаркой, Левушкин мечтательно вздохнул:

— Однако большое это дело — свой дом.

— Да, — веско подтвердил водопроводчик.

Лашков отмолчался.

— Да уж чего лучше? — задумчиво откликнулась Груша. — Своя крыша над головой. Не чужая. Не дареная.

— Дворца не обещаю, — уверенно добавил Левушкин, — но что сто лет простоит — об заклад бьюсь. Такого у тебя и в Вене не было.

Штабель ответил не сразу, а когда ответил, голос его держался на самой глухой ноте:

— Вене мне нишего не билъ. Фронт — билъ. Плен — билъ. Гражданская война — билъ. Вене нишего не билъ.

— И домой не тянет?

— Нет, — твердо сказал Отто. — Нет.

Груша, поеживаясь, засмеялась:

— Чудаки.

— А я вот не могу, — погрустнел Левушкин, — вспомню, волком быть хочется... Все кругом орут друг на дружку, мельтешат без дела... Суета, одно слово. А там — покой. И работа не в работу: одни удовольствия. А тут и земля, я нынче понюхал, прелой рогожей пахнет... Ох ты, Господи! Уеду.

Лашков не выдержал, съязвил:

— А сын? Ведь хотел, как у Меклера, чтоб на дантиста.

— Меклер — он Меклер и есть. Это по его части — в чужую пасть лезть, а у меня Борька к нашему делу будет приучен.

— Чудаки, — опять, но уже не смеясь, поежилась Груша.

Штабель накрыл ее плечи своим пиджаком и встал.

— Ми пошешь спать.

Два темных силуэта слились в один и растворились во тьме.

— Тошно. — Плотник сплюнул на огонек своей сигарки.

Лашков посочувствовал:

— Тошно.

— Уйду я. Только не в деревню. Нету для меня там жизни. Вот

Штабель достроится — и уйду. На заработки подамся. В Крым. Море там... Ты видел море-то хоть?

— Нет, не видал.

— И я не видал. А интерес есть.

— А чего интересу? Вода — и все.

— Поскучнел ты, Вася, нудно с тобой. Ходишь по земле, а за чем?.. Пока.

Иван зло сплюнул и шагнул от стола.

Уронив голову на стол, дворник сидел и думал, и все думы его начинались с левушкинского «Зачем?». Русло воспоминаний расходилось протоками и ручейками, теряясь где-то у самых истоков детства.

Действительно, как и зачем прожил он свои теперешние тридцать девять лет? Куда шел? Чего искал? Плыл ли он хоть раз в жизни против течения? Один раз — в юности, когда ушел из дому на шахту. Все бросил: теплый угол, братнино высокое покровительство и жены его — тихой Марии — заботливый призор. Слесарил. За инструмент брался — сердце пело. В армию шел, будто на именины. Послали в пески — басмачей гнать. Басмач — враг. Значит — бей, значит — дави, значит — не давай пощады. Но в лицо этого врага довелось ему увидеть только однажды. И было тому врагу от силы лет семнадцать. И лежал этот самый враг у его, Василия, ног, простреленный навывлет из его, Василия, карабина. И что-то тогда обуглилось в нем, застыло навсегда. Тупо смотрел он на еще не высохшие капельки пота над безусой губой туркмена и все никак, помнитися, не мог заставить себя отвернуться. Долго еще потом мерещились Василию эти капельки. Демобилизовался он по чистой с изуродованным предплечьем и выбитой в суставе ногой. И какая-то томительная тоска начала грызть его изнутри. В двадцать три определился дворником. Дела не было? Было. Просто подвернулся под руку жактовскому дельцу: метлу — в зубы, бляху — на фартук. Гуляй по двору и — не тужи. Ни мечты позади, ни привя-

занности. Чуть согрело его случайной долей, и от той отказался — хлопоты напугали. А и хлопотам-то тем цена три копейки. Даже меньше...

Ночь зашуршала над лашковским ухом: кто-то брел по двору. Темное пятно двигалось прямо на него, и все явственней, все отчетливей становилось характерное бормотание старухи Шоколинист.

— Хоть гвоздиком пожнвиться, хоть дощечку взять... Антихристы! По щепочке, по камушку свое заберу...

Василий и раньше знал за ней эту слабость — собирать и стаскивать к себе разный хлам, — но только сейчас понял, какая страсть, какая корысть владела постоянно старухой. И ему почему-то сразу вспомнились капельки над безусой губой молоденького туркмена в грязной папахе. И ослепительное мгновение озарило истошным вопросом: «Чего же мы не поделили? Чего?»

XV

Лашков любил ту часть утра, когда солнце еще не поднялось, но все уже полно им. Резкие гудки маневровых паровозов, переключки птиц, цоканье копыт о мостовую — все это слышалось и ощущалось дворником в такое время с оголенной отчетливостью: мир словно бы разговаривал с ним наедине. Участок ему достался небольшой — метров тридцать тротуара и столько же булыжника, управиться со всем хватало и получаса. А потом он садился на лавочку, будто окунался в самую тишину, и обманчивое чувство покоя властно заполняло его. Казалось, ничего никогда не было и ничего никогда не будет, а есть — испокон веков — только эта вот долгая предсолнечная тишина и он — в ней.

Но сегодня, едва Василий отставил метлу, во двор, хозяйственно озираясь, вошел и встал посреди высокий сутулый бородач, судя по разношерстной и трепаной одежде, из пешей и к тому же дальней дороги. Опершись на палку, он чуть постоял, цепко оглядел двор и кивнул Лашкову:

— Здоров, Василий Васильев! Запомятовал, небось?

Лашков даже привстал от неожиданности: Степана Цыганкова можно было разглядеть, как попа, в любой рогожке. Степан пропал тогда же — после Валовской истории — и на восемь лет словно в воду канул. Правда, Калинин когда-то оговорился походя, что, мол, цыганковский батя в домзаке еще срок заработал, и большой, но толком не объяснил, в чем дело, и о Степане вскоре забыли.

— Здоров, — растерянно ткнул ему руку дворник. — Тебя, Степан Трофимыч, уж ты извини, похоронили сто раз. Жена за упокой поминает.

Он узнавал и не узнавал соседа: цыганковская порода сказывалась во всем: в медвежьей могучности, в наспех, зато щедро вырубленном лице, в лопатистой мощи ладони. Но говорил Степан противу обычного уверенно, со вдумчивым проникновением, и глаза его были высвечены изнутри тихим и ровным светом.

— Посижу маненько с тобой, Василий, — проговорил Цыганков, умащивая между ног котомку, — да и ходу. В Москве нашему брату — под замком палаты...

— Что так?

— Паспорт не тот: со статьей.

— Зашел бы к своим. Хоть на день. Я уж участкового-то уломаю.

— Зачем? Похоронили, оно и к лучшему. Живы, небось?

— Все живы вроде... Меньшая только твоя...

— Чего?

— В отсидке.

Степан отнесся к известию с прежней уверенной покорностью, словно все это было ему заранее известно и в свои сроки предусмотрено, а потому не так уж и важно. Он только обхватил ладонями палку и уперся в них подбородком.

— Поутихли?

— Пора. Тихон жену привел. Прибавление ожидается.

— Ишь, ты. — Степан усмешливо прищурился. — Внуком, значит, обзавожусь. Ничего, и без такого деда проживет.

— Может, хоть старуху вызвать?

— Как она?

— В церковь зачатила.

— Что это за дворец такой, — Степан кивнул в сторону уже выросшего на четверть штабелевского строения, — о трех ногах?

— Водопроводчик строится... Женился...

— Вот так-то, Василий Васильев, перетряхнут нас, собьют с панталыку, мы и взбесимся, и мечемся сослепу. Ни Бог, ни черт не разберет: куда летим, чего хотим? А глядишь, и отстаивается все кругом сызнова, входит в свою колею. Людишек рожают, в церкви поют, дома поднимаются — всяк к своей доле приходит. Можно сказать: перенесение святых мощей из кабака в полицию... Старцы говорят, это всегда эдак у нас: верх — сам по себе, низ — сам по себе... И токмо мы — спервоначалу перетряхнутые — уже ни к селу, ни к городу... А другой чудака сел наверху и тешится: распотрошил Рассею. А она, родимая, токмо и сделала, что замутилась, и сызнова текет, как сто лет тому...

— А что же нам-то?

— Да ты меньше думай и не сиди на одном месте. Сколько тебе веку-то! Встал бы, срубил посох поупористей — и айда за Урал али в степи.

И так вдруг легко показалось Василию это сделать, так просто, что он прямо-таки задохнулся неожиданно дареным откровением: «Взять да и впрямь пойти куда-нибудь. Хоть одному, а то и с Левушкиным. Ведь никто тебя, сукиного сына, не держит». Но за последнюю же мысль уцепилось сомнение, следом — другое, третье, и через минуту недавнее воодушевление свое уже виделось ему блажью.

— Куда идти-то? Идти-то некуда. Везде одинаково. Да и теперь много не походишь, враз место найдут.

— Так и там люди живут, и там ума набрать можно. Это токмо малых детей «местом» пугать пристало. Гляди, вот я — весь, не съели же.

— А где же побыл-то, Степан Трофимыч? — Лашков, намеренно ускользая от тяжелого для себя разговора, вцепился в последнюю цыганковскую фразу. — Видать, помяло?

— Побыл. Помяло, — неопределенно откликнулся тот и, словно засыпая, закрыл глаза и клюнул носом. — Всякое было. — Он снова поднял голову и, проникая соседа в упор, суховато отрезал: — Я, Василий Васильев, там людскую душу загубил.

Этой своей резкой откровенностью Цыганков как бы определял, что ему скрывать от людей нечего и что собеседник соответственно может решить для себя, каким образом с ним держаться.

И все, чем переполнился в эту минуту Василий, вылилось у него в тихий вопрос:

— А теперь куда, Степа?

— Лето на ущерб пошло. К теплу пробираться буду. В Кутаиси пезимую али в Батуме.

— Может, зайдешь ко мне, перекусишь, и стопка найдется.

— Не балуюсь после того. — Это Степаново «после того» пронизано было сожалительной горестью, и Лашков вновь, как и давеча, проникся вдруг тяжестью, какую носит по свету этот, еще недавно совсем чужой для него человек. — А харчишки у меня водятся. Я все больше деревнями иду, а там с моими руками не оголодаешь... Не обессудь, не побрезговал бы, сам знаешь, а боюсь... Живут покойно, и слава Богу.

Он тяжело оперся на палку, встал и еще раз оглядел двор.

— Часом и сам себе не веришь, что жил тут, что жена есть, дети, что кузня была. Вроде и не было ничего такого, и вроде живу я странником — Божьим человеком — сколько земле сроку. Чудно!

Сила, куда более властная, чем простое людское расположение, толкнула их друг к другу, и они обнялись. И, как насмерть обиженным детям, стало им от этого объятия, хоть и на короткое мгновение, но теплее и просторнее на свете.

Степан — высокий и размашистый — шагнул на тротуар, и будто подстерегавшее странника под ноги ему из-за крыш выкатилось солнце.

XVI

Дом водопроводчика поднимался как на дрожжах: ряд за рядом, ряд за рядом, и — честь честью — из первосортного огнеупора, в два с половиной кирпича и вдобавок ко всему «под расшивку».

Сходил Иван на соседнюю стройку пару раз, перекинулся словом с мастерами, постоял у одного-другого за подручного, и — радуйся, Отто Штабель! — двинулось вверх его жильё от ловкой левушкинской руки. Водопроводчик только улыбался и удивленно качал головой, стоя подручным около него. Василий внизу готовил раствор, и Левушкин смотрел на друга сверху и подмигивал, и подсобнику передавалась эта его стремительная легкость, с какой покорял тот любое дело.

Лева Храмов, напросившийся водоносом, обхватив коленку, сидел на лавочке и ошарашенно покачивался в такт Ивановым движениям.

— Иван Кириллыч, — вдруг сказал он, и голос его был настоен торгом и удивлением, — Иван Кириллыч, ведь это же симфония, а не просто работа! Ведь твоим рукам памятник нужно поставить. Я не шучу, Иван Кириллыч, честно слово, не шучу. У тебя будто машинки волшебные вместо рук: что захочешь, то и сделают.

— А что, — довольно хмыкнул польщенный плотник, — и за мое почтение, и сделают.

— В тебе же, наверное, Микеланджело умирает, Иван Кириллыч, Челлини!

Левушкин не понял, но почувствовал, что опять-таки хвалят, и потому движения его стали еще более законченны и ловки.

— Куда нам до заграничных, — между делом пококетничал он, — куда нам в лаптях до них в калошах. Мы так, або не обвалилось. — И, осклабившись Груше, хлопотавшей вокруг стола, лихо спрыгнул с лесов. — Перекур с дремотой!

Но не успели они рассесться, как во дворе в сопровождении участкового и пожарника с портфелем появился Никишкин. Он шел прямо к строению, шел, будто полководец на смотре — на шаг впереди сопровождавших, шел, припечатывая каблуками землю, и каждый его шаг предвещал угрозу и вызов, и колючие глаза были исполнены решимости.

— Да, — обескураженно почесал в затылке Василий, — летит птица.

Штабель поднялся и, выйдя навстречу гостям, встал между ними и домом.

— Я слушаю вас.

Левушкин осторожно отстранил встревоженно застывшую на месте Грушу и тоже вышел из-за стола.

— Что этот ворон надумал? Тута все по закону. Не подкopaешься.

Никишкин едва лишь краем глаза окинул водопроводчика с головы до ног и, поворачиваясь поочередно то к пожарному, то к участковому, будто только эти двое и были здесь стоящими собеседниками, заговорил:

— Вчерась вечером сам промерял: ровно шесть метров. На цельный метр больше, чем в разрешении. С умыслом — несознательность. Хапнуть все норовят лишнего, а на других плевать. Вот я, к примеру, сараяшку хочу поставить для всякой там шурум-бурум. Чего же рядом с выгребной ямой я ее ставить буду?

Он выложил свою претензию единым духом и лишь после этого удостоил штабелевское воинство взглядом, исполненным победного вызова.

При гробовом молчании испитой пожарник с вихляющимися ногами, болтавшимися в его кирзовых, не по размеру сапогах, как колотушки в ступах, раскрыл блинообразный портфельчик, вынул оттуда рулетку и старательно промерил фасадную сторону цоколя.

— Шесть метров! — неожиданно басом изрек он. — Ровно шесть.

Василий увидел, как воловья шея водопроводчика наливается кровью и пудовые с ржавым отливом кулаки его набухают тяжестью. Дворник уже дернулся было, чтобы удержать друга, но плечи Отто неожиданно поникли, а сам он мешковато обмяк, низко опустил голову и, неуклюже повернувшись, вяло потащился к котельной.

Иван застонал протяжно, боднул воздух и двинулся к Никишкину.

— Ржа ты, ржа, — захлебываясь, говорил он при этом, и слезы текли по запыленным щекам его и оставляли на них светлые борозды, — проедаешь жись, и нет на тебя порухи... Какая такая зверюга и от какого-токого шелудивого пса рожала тебя?.. Дай я плюну на тебя, чтоб издох ты, пес!.. Что же ты нам век заедаешь?..

Плотник схватил его за грудки, тот беспомощно замахал руками, пы-

таясь вырваться, и неизвестно, чем бы это все кончилось, если бы Калинин не втиснул меж ними руку и не развел бы их.

— Хватит. Ты, Левушкин, сядь—остудись. А ты,—он встал лицом к лицу с Никишкиным,—иди домой. Мы тут без тебя кончим. Я за твои кости не ответчик.

Никишкин для престижу немного еще потоптался на месте, поерзал злыми глазами по сторонам, но, видимо, память о крутом калининском норове еще не выветрилась у него из головы, и потому перечить он поостерегся. Но последнее слово, не сдержался, оставил-таки за собой:

— Щей домзаковских не хлебал, Левушкин? У меня свидетели есть. Я—с заслугами. Мы стихии не дадим разбушеваться. Вы вот,—он ткнул пальцем в пожарника,—свидетелем будете. Он меня за грудки брал!..

Пожарник обескураженно хлопал кроличьими глазами и все оборачивался, ища поддержки, к участковому и шепеляво повторял на разные лады:

— Александр Петрович!.. Ну, Александр Петрович!.. Эх, Александр Петрович!..

— А!—поморщился в ответ участковый и тут же показал Никишкину спину, чем как бы окончательно выключил его из общего разговора.— Вот что, ребяташки,—он бросил планшет на стол и сел,—ломать так и так придется: противопожарная безопасность. Дурить нечего, кладка свежая, одну стену разобрать—на день работы. А тому гоголю я еще вставлю фитилек в одно место.

— Александр Петрович,—взвился Иван,—в переборке ли дело? Скусу не осталось. Будто дерьмом облил... И-э-э-э!—Он отчаянно взмахнул рукой и придвинулся к Лашкову.—Вася, будь другом, дай пятерку.

Василий обшарил карманы и вместе с серебром и медью наскреб около трех рублей.

— Вот, все тут... Может, не надо, а, Иван?.. Опять ведь до зеленых чертей нахлебаетесь... А на тебя вся надежда.

— И напьюсь! И до зеленых!—Иван сгреб деньги и поднялся.— Да рази эдакая гнида даст веку Штабелю? Завтрева ему нужник пондравится на дворе изобразить, и снова ломай? Нет на эти дела Левушкина.

— погоди,—остановил плотника участковый и, отстегнув планшет, вынул оттуда и положил перед ним пятерку.— Растравишься только на трояк-то, исподнюю загонишь. Бери, бери, за тобой не останетса. Только, советую, носи домой. Целей будет.

Левушкин сделал неопределенный жест, что-то среднее между «сами с усами» и «была не была», и исчез за воротами.

Участковый с пасмурным сожалением усмехнулся ему вслед и зашпешил:

— Вот что, Лашков, пока Штабель очухается, ты начни. Позже я приду—помогу. Через день-другой стена новее новой будет... Пошли, Константин Иванович!—кивнул он бессловесному пожарнику.— Докладывай по начальству: порядок.

Вечером к Василию прибежала Люба.

— Иди, зовет. И что мне с ним делать, ума не приложу. Втемяшил себе в голову: уйду да уйду. Уже и вещи собрал в ящик, Господи! Пропадет ведь! Сопеться. А как я тут с двумя-то?.. Борьке опять же в школу нынче. Мука мне с ним, мука. Ты уж, Вася, расстарайся. Он любит тебя, слушает. Говорит: «Один человек, и тот Вася...»

Плотник ждал его, одетый по-дорожному, сидя на краешке сундука, котомка и ящик с инструментами стояли у него между ног.

— Садись, Василь Васильич,—церемонно пригласил он, кивая в сторону чуть початой четвертинки на столе.— У меня к тебе недолгий разговор есть.— Судя по всему, Иван хоть и был выпивши, но в меру, и намерения имел серьезные.— Давай по чуть-чуть перед моей дорогой и боле ни-ни. Дорога, говорят, трезвых любит.

— Ванечка,—гнусаво запричитала Люба,—одумайся, дети. Куда я с ними одна? Что тебя несет? Или я чем не угодила тебе? Ванечка!

Левушкин словно бы и не слышал жены, словно ее и не было в комнате вовсе. Старательно обнюхивая луковичную головку, он обстоятельно втолковывал другу:

— За сына боюсь, Василь Васильич, за Борьку. В школу ему нынче. Со шпаной не связался бы. Может, возьмешь заботу, присмотришь, напишишь. Коли что, и поперек спины нелишне, а? А то ить вон у Федосии-то сбежал, сукин сын, и до се нету. Будь другом, а?

— Я-то, конечно, со всей душой, — пробовал остудить плотника Василий, — только, может, это все зазря, может, на боковую лучше! Утро-то, оно вечера мудренее.

— Василь Васильич! — строго молвил тот, и встал, и напрягся, как рассерженный конь. — Я тебе как наилучшему растоварищу свою душу выкладаю, а ты мне соску суешь, будто я теля. Рази это по Богу?

Стало ясно, что Левушкин решением своим уже не поступится, и тогда, стараясь уйти от Любиного почти нищенского заискивания, он сказал:

— К Штабелю его приставлю, пусть присматривается. Штабель, сам знаешь, петуха на гармошке играть выучит. Да и я не оставлю.

— Ну, вот, — с удовлетворительной вдумчивостью проговорил плотник и взялся за мешок, — теперь и у меня душа на месте... Проводи меня, брат, до ворот... Ну, пока, жена! Не хорони поперед времени. Срок выйдет — сам помру. Скоро буду. С гостинцами.

— Ванечка, родимай, — запричитала было Люба, — не забудь, не брось нас, кормилец!..

Но Иван сразу же оборвал ее:

— Будя. За мной не тащись, дома и попрощаемся.

Он слегка обнял ее и тут же оттолкнул от себя.

— Будя. — Иван подошел к пологу, за которым спали ребятишки, отдернул его, взглянул и снова закрыл. — Сахаром не балуй — самые года золотушные. Пошли, Василь Васильич!

У ворот Левушкин вскинул мешок на плечо и протянул дворнику руку.

— Бывай здоров, Василий Васильевич, передай Штабелю — не осилил, мол, ушел. Да и сматывал бы он лучше удочки до дому. Не будет из этого рая ни...

Он грязно выругался и пропал в ночи, но когда Василий повернулся было идти домой, тьма прокричала ему левушкинским голосом:

— А ить, брат, про твое с Любкой мне все ведомо, ага!

XVII

В первые дни война не имела отличительных знаков и запаха. Ничто, казалось, не нарушало размеренного ритма жизни, а лишь скучнее сделались движения, тише — слова, темнее — одежда. Но уже к концу недели дворовая тишина дала трещину. В девятой заголосила Цыганиха: мобилизовывались оба — Тихон и Семен.

И сразу же пошли взрывать, как хлопушки, окна и двери:

— Берут, что ли?

— Берут.

— И женатого?

— Обоих.

— Помыкают бабы горя.

— Всем достанется.

— Говорят, скоро кончим.

— «Говорят»! Полоцк сдали!

— Из стратегических соображений.

— Досоображаются до самой Москвы.

— А орет-то, орет, словно хоронит!

— Твоего возьмут, не так еще взвоешь.

— У мово — белый билет.

— Фотокарточка в аппарат не влазиет или как?

— Склероз у него.

— Ха-ха, это с чего же?

— Просквозило после бани, да?

— Дьяволы! Креста на вас нету! У людей беда, а вы базар развели.

— Сама ж их кляла.

— Нынче токмо и помнить, кто кого клял...

У военных сборов — короткие сроки. Уже через час цыганковское се-

мейство в полном составе с плачем и шумом выкатило во двор. Братья были заметно во хмелю и настроены недобро. Тихон едва из парадного вышел, как сразу нацелился в сторону штабелевского дома и старательно, будто по зыбким кочкам, переставляя ноги, двинулся туда через весь двор. Остановясь перед порогом, он широко расставился и после убористого мата в шесть этажей начал:

— Ну что, немецкая рожа, дождался своего часу? Пустили нашему брату за нашенский же хлебушек кровя? Да и мы нынче у вас такую пустим — красильню открывай. Сто лет в красных сподниках мужики ходить будут. Открой-ка разок пасть, я у те клыки-то пересчитаю!

Штабелевская дверь открылась, и на пороге появился хозяин со своей неизменной трубочкой в зубах.

— Я слушаю тебя. — Он стоял перед Тихоном, глубоко засунув руки в карманы штанов и часто-часто посасывая трубочку. — Говори.

— Как живешь, хотел узнать, господин Гитлер, почему Расеей торгуешь? — Растерявшийся было Цыганков, почуяв за плечом братенино дыхание, снова входил в раж. — Может, по целковому за пуд? Али больше? Я тебе напоследок полный расчет сведу. — Он почти упал на водопроводчика всей своей громадой, но тут же грузно надломился, повисая запястьями на штабелевских руках. — А-а-а!

Они стояли теперь глаза в глаза, и водопроводчик цедил в лицо Тихону свою ненависть.

— Слушай сюда, Цыганьковъ. Ти имель кузня, я — нишего. Ти убивать люди, я — воевалъ за Россию. Ти — ривач, я — рабочий. Кто Гитлер? Я — Гитлер? Нет, ти Гитлер. — Он отпустил Цыганкова и снова глубоко засунул руки в карманы, все еще часто-часто посасывая угасшую трубочку. — Оставляй минья в покой.

Жена Тихона, вся в темно-желтых крапленых пятнах после родов, повисла на рукаве мужа.

— Брось, Тишенька, уймись. Они же, супостаты, все заодно, так и смотрят, как бы со свету сжить нас. Ишь, расставились.

Она ненавидяще зыркнула в сторону стоявшей за спиной водопроводчика Груши, но та и глазом не повела: она-то знала, что ее Отто постоит за себя.

Цыганковская поросль подняла дикий, ни с чем не сообразный вопей, и Тихон, облепленный, как слон сывками, обеими женщинами, все еще ярясь и матерясь, пошел к воротам. Так они и выкатились со двора: клубок ругательств и крика.

.....

В день, когда первые газетные кресты перечертили оконные стекла, к Василию постучался старший сын Меклера, Миша.

— Вас просит зайти папа. — Темно-желтые глаза парнишки смотрели на дворника не по-детски печально и строго. — Папа уходит на фронт.

Меклеры сидели вокруг уставленного случайной едой стола и молчали. Никто ничего не ел, все смотрели на своего главу, а тот, в свою очередь, глядел на всех. Было в этой говорящей тишине что-то гнетущее, но в то же время торжественное. Время от времени кое-кто перекидывался парой коротких, выражающих только суть мысли слов. И снова наступала тишина.

Василию освободили стул, он сел; хозяин сам налил ему рюмку водки и пододвинул закуску.

— Как видишь, Василий, так и не пришлось мне сделать тебе пролет. Теперь мне придется все делать наоборот. Зато столько работы будет потом. — Меклер пробовал шутить, но от шуток его за версту несло кладыбищем. — Сколько работы! Миша, наконец, получит свой велосипед. А Майя — куклу, которая сама спит.

Любые слова сочувствия в этой комнате были излишни, даже больше того — пусты, но этикет обязывал.

— Наши, говорят, румынскую границу перешли. Глядишь, и до войны-то не доедете, Осип Ильич.

— Твоим бы детям, Василий, — меклеровские глаза насмешливо посветлели и стали совсем желтыми, — да столько дороги до клада.

Лашкову налили снова, но уже одному, и дворник понял, что здесь —

в этой тишине — он случайный и только терпимый гость и что ему лучше уйти и оставить их наедине со своей бедой.

Он заторопился:

— Спасибо за угощение, Осип Ильич. Если что по какому делу, так я всегда от души. Пускай только Рахиль Григорьевна поκληчет.

— Будь здоров, Василий! — сказал Меклер-старший, и несколько пар совершенно одинаковых глаз, соглашаясь с ним, опустились долу.

Василий пошел к двери, и его провожало молчание — долгое и глубокое.

В эту же ночь Лашкова разбудил участковый:

— Вставай. — Калинин был непривычно для себя взбудоражен. — Живо к Штабелю!

«Что еще стряслось? — гадал, одеваясь, дворник. — Обокрали? Или Груша что натворила? С нее станется. На барахолке с утра до ночи торчит, а теперь за это дело ой-ой-ой!»

Желтый прямоугольник света от распахнутых дверей штабелевского жилища выхватывал из темноты переднюю часть потрепанного «газика». Шофер-военный сонно поклевывал над баранкой носом.

Штабель с помятым ото сна лицом мучительно вчитывался в какую-то бумагу, а молоденький, видно, даже еще и не брившийся ни разу лейтенантик нетерпеливо топтался на пороге.

— Нам еще в два места, гражданин Штабель. — Лейтенантик говорил внушительным басом, то и дело сверял свои часы на металлической браслетке со штабелевскими ходиками и с достоинством покашливал в ладошку; в общем, всю старался выглядеть как можно более деловым. — Все равно: указ есть указ. Наше с вами дело — подчиняться. Мера эта временная и на ваших гражданских правах не отражается.

Водопроводчик не слышал его. Он с усилием морщил лоб, вдумываясь в смысл того, что лежало перед ним, и вполголоса бормотал:

— Я воевал за Советский власть... Я имел рана... Херсонь... Уральск... Зашем я ест виноват за Гитлер?.. Зашем мне надо уезжал от моя жена, от мой дом?

— Ваша жена, — пробовал пробиться к его сознанию лейтенант, — может выбирать: ехать или ждать вас здесь. Вы сообщите ей об этом из отведенного вам местожительства.

При упоминании о жене Штабель встрепенулся:

— Ньет! Она уехал рожаль деревня. Не надо беспокоиль. Зашем? Я хошу здоровый ребьенка. — Он вскочил и начал лихорадочно собираться. — Што я могу взять себе дорога?

— Лишь самое необходимое. Это — временная мера. В целях вашей же безопасности. Скоро вы вернетесь.

— Да, да, — машинально ответил ему водопроводчик, как бы припоминая, куда могло запропасться это «самое необходимое» и что оно вообще обозначает. Он неуклюже двинулся по комнате, хватаясь то за одно, то за другое. Но вдруг в отчаянии махнул рукой. — Я не буду нишего брать. Я поезжал так.

— Как хотите, — с готовностью воспринял лейтенантик и уступил Штабелю дорогу впереди себя. — Это просто короткая военная необходимость.

Садясь в машину, Отто сказал Лашкову:

— Вася, скажи Грюша, я скоро, очень скоро буду дома. Грюша не надо волнений. Я буду напсайт скоро письмо...

Лейтенантик, окинув подозрительно молчаливый двор, доверительно, как единственному человеку, с которым они — посвященные в святая святых государственной политики — могут сейчас понять друг друга, посоветовал участковому:

— В случае разговоров соответственно объясните населению.

— А! — неопределенно махнул Калинин рукой. — Ерунда.

Удивленные глаза лейтенантика поплыли в ночь, и вскоре «газик» с водопроводчиком Отто Штабелем сигналил где-то у ближнего поворота.

— Александр Петрович? — только и нашелся сказать ошеломленный дворник.

— Указ, — немногословно объяснил тот. — Лиц немецкого происхождения выселить в определенные места жительства.

— Австриец он, Александр Петрович, австриец, и в паспорте он на австрийца записан.

— Это, Лашков, одно и то же. Гитлер тоже — австриец... А в общем-то б...во, конечно. — Лицо Калинина трудно было разглядеть в темноте, но по тому, как уполномоченный прерывисто и гулко дышал, чувствовалось его жгучее ожесточение. — На-ко вот, передай Аграфене. Там все в целости.

Он тырком сунул Василию ключи от штабелевского дома, и уже в который раз между ними легла ночь.

XVIII

Участковый сидел у раскаленной добела времянки в комнате дворника, отогревал посиневшие руки и хрипло раздумывал вслух:

— Его, черта, голыми руками не возьмешь. Да и кто ее знает, может, померещилось Федосье. С голодухи-то оно и не такое померещится. Оперативников просить? А вдруг там нет никакого Цыганкова, а если и был, то второй раз на одно место не придет? Значит, сядем в калошу, Лашков. Вот она, какая штука. Куда ни кинь, всюду «пусто-пусто»... Придется все-таки нам с тобой вдвоем попробовать... Оружием владеешь?

— Вторую группу не деревянным пугачом заработал.

— Пистолет я тебе дам. Припас. Однако это на всякий случай, его надо живьем брать. Иначе — пропали карточки. Да и подельников его — ищи-свищи, вот что.

Но сколько Калинин ни тщился разазартиться, сколько ни ерзал в нагущем возбуждении по табурету, от Василия не ускользнуло его внутреннее беспокойство. И в том, как он чаще обычного кашлял, и в том, как нервно и резко похрустывал костяшками пальцев, и в том, наконец, как постепенно все удлинял он задумчивые паузы между фразами, сквозило какое-то сомнение, болезненная червоточина какая-то. Уполномоченный даже и не говорил, а скорее допрашивал самого себя.

Дело между тем представлялось ясным. Третьего дня ограбили домоуправление, взяли около трехсот хлебных и продовольственных карточек. Собственно, история эта целиком лежала на совести оперативников, и Калинин мог спокойно есть свой хлеб, но сегодня утром Федосья Горева побожилась ему, что видела Семена Цыганкова на Преображенском рынке, а еще раньше, с неделю примерно тому, поднимаясь развешивать странное, столкнулась со старой Цыганихой на чердачной площадке, и та вроде бы несла узел с бельем, из которого торчала дужка чайника. К тому же новая соседка Цыганковых, учительница Хлебникова, заметила как-то о своих соседях, что, мол, живут они не по военному времени сытно.

О розыске дезертира Семена Цыганкова участковому было сообщено еще с осени. Теперь же одному ему ведомыми комбинациями Калинин на свой страх и риск установил связь между этими, казалось, совершенно разрозненными фактами и приготовился дать бой. Еще в ту пору, после ареста Симы, участковый поклялся вывести это семейство со своего участка, но сейчас, когда — и ему это было известно наверняка — один из Цыганковых у него на мушке, он досадливо морщился и все удлинял задумчивые паузы между фразами.

— Своих я всех перетряхнул... С пристрастием... Карася, Змея Горыныча, Боксера, Меркула, Серого... Знаю я их: будь рыло в пуху, кто-нибудь да раскололся бы... Больше некому — он... И, однако, сам я хочу ему в очи глянуть... И гляну... Только живьем надо, живьем...

Встал и потянулся за шинелью, но, и одеваясь, все еще как бы раздумывал и даже застыл на мгновение полуодетый, но потом скулы его решительно вздулись и он взялся за дверь:

— Значит, так, Лашков, блокируешь крышу двадцать седьмого, а я отсюда его на тебя загонять стану. — И все же на пороге участковый опять обернулся и опять замялся в нерешительности. — А может, плюнуть, Лашков? Пускай оперативники расхлебывают. Что мы его, будто зверя, обкладываем?

Но последние слова донеслись уже из сеней: Калинин все же не смог перебороть искушения и вернуться обратно.

Во дворе они разделились, и Василий, зябко ощущая в кармане ватника холод пистолетной рукоятки, двинулся к соседнему дому. Крыши обоих домов смыкались и поэтому представляли собой удобное во всех отношениях убежище для человека, у которого временные разногласия с правосудием.

Лашков забрался на чердак и стал ждать. Там — за стеклами выводного окна, под низким январским небом — раскинулся город. Трудно было поверить, что за этим хаотически темным нагромождением жестяных крыльев таится жизнь. И Лашков подумал, что вот живет он в своем дворе, никуда не выезжая столько лет, и все-таки успел узнать много такого, чего раньше не знал. Люди рождались и умирали, людей куда-то уводили такие же, им подобные люди, люди влюблялись и сходили с ума. И все это было при нем, на его глазах. Но ведь многого ему и не удалось увидеть. Большую часть жизни люди старались провести наедине с собой или с близкими. Выходит, ему, Василию Лашкову, не хватило бы и пяти жизней, чтобы узнать все об одном лишь дворе. А сколько их, таких дворов, в городе, в стране, в мире, наконец! И на все дворы — одно-единственное небо. И разве трудно хоть однажды сразу всем вместе посмотреть вверх, чтобы вот так же, как сейчас он, Лашков, пронзающе ощутить тоску по доброму слову и родной душе?

Последнюю его мысль перебил крик, отрывистый и резкий:

— Стой-и-й!

И сразу же соседняя крыша загрохотала под подошвами кованных сапог. Лашков, спустив предохранитель, выскочил наружу, уперся ногой в железный сток и дал предупредительный выстрел. С непривычки остро отдалось в плече, и рука, будто отсиженная, зашлась игольчатой истомой. Крыша на мгновение утихла, но только на мгновение, затем топот снова обрушил тишину, и смутный силуэт стал приближаться к Лашкову. Он выстрелил еще раз и подумал: «Ну куда прет, черт?»

— Стой, пристрелю! — Калининская хрипотца дробью рассыпалась в морозном воздухе.

Беспорядочный грохот затих, шаги беглеца приобрели хрупкую отчетливость: раз... два... три... четыре... И вдруг из-за железного гребня выплеснулся резкий полукрик-полустон, как будто человек задохнулся в ужасе, и следом за этим оттуда, снизу, донесся грузный шлепок, похожий на звонкую пощечину.

На душе у Василия вдруг сделалось жутко и пусто. Ситуацию он прикинул мгновенно: к двум этим домам одним своим водостоком примыкал третий, выходящий лицевой стороной на соседнюю — параллельную — улицу. Правда, до него был просвет метра полтора, может быть, немногим более. Ребятня иногда прыгала на спор оттуда сюда, но только летом, зимой такой трюк наверняка оказался бы последним для любого исполнителя. Об этом знали и Лашков, и участковый, но не брали этого варианта в расчет. Соломинка пришлась впору лишь цыганковскому страху. Но она, как и все соломинки вообще, не спасла его. Поэтому, когда они сошлись на стыке двух крыш, им не надо было ничего объяснять друг другу.

Во дворе Калинин безучастно сказал дворнику:

— Добеги до отделения, скажи, пускай едут с экспертом и каретой, а я у тебя покуда погреюсь. Зябко чтой-то мне.

Сказал и пошел и странно уж очень пошел, словно тень, одновременно зыбко и порывисто.

Василий вернулся минут через пятнадцать, но, едва перешагнув порог, замер, и на полуслове осекся, и почувствовал, как у него холодеют кончики пальцев и вязкая тошнота подступает к горлу.

Участковый словно бы спал или вслушивался во что-то, приложив ухо к столу. Но по тому, как беспомощно свисали вдоль колен его руки, по бесформенности губ и тому особенному безмолвию в комнате, которое сопутствует смерти, можно было судить о случившемся. Тоненькая багровая струйка из-под виска лужицей собралась около откатившейся в сторону шапки и уже окрасила кончик ворса.

Выражение лица у Калинина было мягким и чуть озадаченным, словно в мгновение, навсегда отделившее его от жизни, он успел удивиться, что все это так легко и просто.

XIX

Лева Храмов лежал, обложенный со всех сторон подушками, и оттуда, из пуховой глубины, вещал дворнику:

— Мы слабы в своих желаниях. Нам всего подавай сейчас, немедленно, еще при жизни. А когда нам отказывают в этом, мы в конце концов стараемся удовлетворить свои страсти силой. И так из поколения в поколение, из века в век льется кровь, а идеалы, ради которых якобы льется эта кровь — увьи! — остаются идеалами. Переделить добытое, конечно, куда легче, чем умножить его. И к тому же для этого требуются терпение и труд. А терпения-то и нет, и работать не хочется. И пошло: «Бей, громи, однаво живем!» Ты понимаешь меня, Лашков?

Дворник поспешно соглашался. Дворнику было все равно. Он слушал актера из жалости, чтобы хоть как-то облегчить ему существование. Храмовский организм уже не реагировал на морфий, и в бесконечных разговорах Лева изо всех сил старался утолить боль. Саркома день ото дня укорачивала его дорогу к смерти. Лашков часами просиживал около дивана больного, и более благодарного слушателя для своих пространных монологов тому нечего было и желать.

Старуха с сыном уже давно перебрались во флигель, обменявшись с модисткой Низовцевой, разумеется, не без придачи. Сама Храмова не то чтобы опустила, но стала в силу обстоятельств проще, трезвее смотреть на вещи. Схоронив дочь, она поступила санитаркой в больницу, и с тех пор дворник стал бывать у них запросто, как старый и добрый знакомый.

С Левой их роднило гложащее чувство обреченности, сознание своего близкого конца. Они не слушали, а только слышали друг друга, но оглушенное словами, потоками слов, одиночество призрачно отодвигалось, временно даруя им иллюзию полноты существования. Каждый из них был нужен, необходим другому, и еще неизвестно, кто кому более.

Тонкие, с синеватым налетом пальцы актера нервно теребили кромку одеяла. Возбуждаясь, он бледнел, глаза западали еще глубже, и частая изморось выступала у него над верхней губой.

— Нам все надо начинать сначала, Лашков, понимаешь, сначала? Иначе кровь никогда не кончится, иначе мы снова заберемся на деревья. Мы должны, понимаешь, должны научиться мыслить тысячелетиями, а не собственным человеческим веком. Надо приучиться радоваться счастью и благодарственно потомки и приучить себя трудиться ради этого... Трудиться, Лашков, трудиться! И хватит с нас болтунов, хватит с нас господ Опискиных, возомнивших себя могучими деятелями... При входе в жизнь надо спрашивать у человека: «А что ты умеешь делать сам? Делать непосредственно руками или талантом? Хлеб, дома, книги, искусство?» Надо работать, работать! И красота восторжествует! Восторжествует! Ты понимаешь меня, Лашков?

Лашков поддакивал, но думал о своем и даже ухитрялся краем уха вслушиваться в тихий разговор на кухне, где Храмова прощалась с доктором.

Она. — Может быть, ему все-таки лучше в больницу?

Он. — Как знаете, матушка, как знаете, только я не советую. Да-с.

Она. — Неужели мне даже не надеяться?

Он. — Эх, матушка, мы с вами одной ногой там, так что уж нам-то возвышающим обманом тешиться?

Она. — Вместо него хоть сейчас...

Он. — Ах, как нас с вами приучили, друг мой, в свое время к красивым жестам! Не надо, матушка. Не те времена... А в больницу, что ж, можно и в больницу, да не с его нервной машиной в наших казенных больницах лежать... Сами понимаете, наследственность... Ну, а вот от этого увольте, друг мой, совсем ни к кому-с. Да-с... До свидания.

Грохнула входная дверь, и было слышно, как старуха грузно опустилась на стул и зачихла. А Лева, тем временем все более возбуждаясь, силился перекричать боль:

— Но чтобы начать, нужен художник, художник, не то что мы, пигмеи. Нужен гигант, который придет и скажет: все — люди, все — братья. Но как он это скажет!.. Ах, как он это скажет!.. Об этом многие говорили. Христос говорил и много, много других... Но не так, не так!.. Надо проще и понятней... Ах, как это нужно сказать... Чтобы в каждого проникло... Чтобы каждый вдруг тяжело заболел этим и сам стал драться за свое выздоровление... Да, да, это должно быть, как инфекция... Все, все, чтоб вдруг сразу увидели себя сами... Увидели, и заплакали, и обнялись бы... И сказали: «Начнем все сначала»... Художник нужен... Художник только сможет организовать гармонию... Одним словом... Одним-единственным словом... Он найдет его, найдет! Оно будет простое, как дыхание... Пони-маешь меня, Лашков?

Актёр задыхался. Произнося последние слова, он оторвал голову от подушки, напрягся весь, но тут же обмяк и в изнеможении закрыл глаза. Через минуту дыхание его выровнялось и белое от возбуждения лицо приняло свой обычный землистый оттенок: Лева спал.

Василий поправил на нем одеяло и вышел на кухню. Старуха Храмова, безучастно глядя впереди себя, сидела у плиты. Она даже не заметила его, не шелохнулась. Он сказал:

— Заснул.

— А? — вскинулась она.

— Заснул, говорю.

— А-а...

Храмова застыла в прежней позе, и, выходя в сени, Василий подумал, что это, наверное, не так просто: пережить своих детей.

XX

Лашков сидел под грибком в левушкинском палисаднике, и плотник тягуче выводил перед ним одну и ту же мелодию:

Я еще молодая девчонка.
Но душе моей тысячу лет...

Гармошку он держал, словно чужую, — на краю коленки и, уставившись в дождливое небо оловянными от хмеля глазами, упрямо твердил:

Я еще молодая девчонка.
Но душе моей тысячу лет...

Грибок протекал, мутные мартовские капли, разбиваясь о его лоб и переносицу, стекали по щекам, и потому казалось, что Иван плакал. Но это только казалось. В действительности же он был просто матёро и глухо пьян. С Василием плотник обычно не говорил. Все у них за двадцать с лишком лет знакомства было переговорено и передумано. Они изъяснялись на языке знаков. Плотник, к примеру, откидывал мизинец в сторону и поднимал большой палец вверх и вопросительно смотрел на друга. Тот молча кивал, и оба начинали выворачивать карманы. После трех-четырёх таких сеансов дружба упивались до плотного одурения, и Левушкин хватался за свою затрепанную трехрядку. Играл он на ней всякую всячину ровно по куплету. Гармошку эту Иван приобрел лет десять назад, во время своих постоянных странствий «за длинным рублем», и с тех пор не расставался с нею.

В комнату Люба их по обыкновению не пустила, и они пили здесь, под грибком, и мутный мартовский снег оплывал над ними, и все у них было позади: молодость, надежды, жизнь, да и, собственно, разве подходило называть жизнью цепь всплесков боли и отчаяния? Нет, не саднила больше у Ивана душа, даже привычка говорить по «Богу» давно забылась. Он словно оброс весь дикой и непробиваемой глухотой ко всему, и ничто больше не могло вывести его из этого мертвого равновесия.

Небо над ними набухало сырой тяжестью, все вокруг, сплюснутое ею, как бы втискивалось в землю, и казалось, там — за серой толщей — уже давно ничего нет: ни солнца, ни звезд, ни самого неба, а есть только пусто-та — мутная и липкая, как этот дождь.

Тусклая, как старая щука, Люба — голова дынькой, облепленная грязно-седой паклицей, — зыркала на них из-за окна без искры света глазами, и иступленное бормотание ее карабкалось через форточку во двор.

Но ей, ее осатанелой злобе не под силу было пробиться в обуглившуюся до дна Иванову душу.

Когда плотник в третий раз стал проделывать свою пальцевую манипуляцию, во двор с низко опущенной головой вошел Никишкин в торопливом сопровождении всхлипывающей «половины». Шел он против обыкновения медленно, ступая тяжело и неуверенно. За годы он сильно оматерел и раздался вширь. Капитанские погоны ладно вливались в его подобрешшие плечи. Поравнявшись с палисадником, Никишкин неожиданно вскинулся.

— Это что же такое, а? — Набрякшие Никишкинские щеки, матово синев, тряслись. — Это как же понимать прикажете, а?.. Такой день, а, такой день, а вы здесь водку жрете! Да вас, сучьи дети, да вас... — Он задышался и, кинувшись к Лашкову, схватил его за плечи и начал бешено трясти. — Где флаг? Где флаг? Вражья твоя душа, я тебя спрашиваю! — Он вдруг отпустил дворника и затрясся, зашелся в плаче. — Сукины дети!.. Сукины дети!.. Маша, Маша! — Никишкин повис на жене. — Какие муки он за всю эту шантрапу принял, какие муки!.. Он их из грязи, из навоза вытащил, в люди вывел, а они водку жрут!.. Лакают!.. — Никишкин снова встrepенулся и снова кинулся к Лашкову. — Гнида, гнида ты! Да я тебя враз шлепну! — Его подрагивающие пальцы уже ерзали по пуговице на заднем кармане галифе. — Грязь!.. Чуешь?

И, как Василий ни был пьян, понял, что смерть и впрямь щекочет его под носом; недаром все сокольническое жулье икало от одного имени начальника режима Бутырской тюрьмы Никишкина. Но вдруг вялая левушкинская рука оттолкнула дворника в сторону, и сам плотник встал впереди, заслонив его от соседа, и брошенная им с размаху наземь гармошка коротко рыданула.

— А ты меня, — тихо и как бы даже просительно начал Иван, — меня хлопни из своего пугача. — Но постепенно лицо его наливалось кровью, и вскоре он уже почти кричал в лицо оторопевшему Никишкину: — На, хлопни! Я ее — жизни — не видал да и не увижу боле. Так зачем она мне — жисть? Ты ее с казенными щами сожрал... Я сына хотел на дантиста выучить, а где он, сын, а! И по твоей милости... Я весь век свой по расейским пристаням горе мыкаю... Из-за тебя, собака! Так на — хлопни. — Он рванул на себе ворот косоворотки. — Что же ты?

Жидковат был на душу начальник режима, не выдержал натиска, взял тоном ниже:

— Ну, ну, не очень ты распоясывайся. В случае лишний карцер у меня и для твоей милости найдется. Налюту зенки, несут черт-те знает что. Я еще с тобой в другом месте поговорю. — И, уже отходя, бросил через плечо Лашкову: — Траур, черт, траур. Чтоб флаг у меня одним мигом был вывешен. Проверю. — И пошел. — Вражье племя...

Левушкин схватил с земли гармошку и, уже совсем издеваясь, прогорланил ему вслед:

Как у наших у ворот
Все идет наоборот:
Воспитательный народ
Жрет дерьмо и не блюет.

— На-кось, выкуси!

XXI

Раньше — до болезни — Василий Васильевич не замечал множества самых занятных вещей: вот хотя бы солнца. Оно существовало для него в будничной слитности со всем окружающим, такое же привычное, как дождь, ветер, воздух. Но с недавних пор оно стало жить своей, отдельной от него — Лашкова — жизнью. Солнце теперь можно было услышать, ощутить обонянием и даже потрогать на ощупь. Солнце работало и уставало. Солнце с удивительной целесообразностью передвигалось с места на место. Солнце радовалось и негодовало. У солнца имелись друзья и враги. А Василий Васильевич оставался в стороне, отделенный от всей этой благодати смертной чертой болезни.

Василий Васильевич словно открывал для себя мир заново. Казалось, не было в этом дворе места, не знакомого ему до мельчайших подробностей, но предметы и вещи, существуя теперь сами по себе, вне его, начали

представать перед ним теми же, что и в младенчестве, загадками. Вот вроде в котельной Василий Васильевич провел чуть не четвертую часть жизни и, можно сказать, сросся с запахами ржавчины и теплого шлака, а сейчас она темнеет прямо против его окна, таинственная и зовущая, как вход в преисподнюю. Как ни странно, но старик с остротой первооткрывателя вновь и вновь осмысливал вроде бы сотни, тысячи раз усвоенные понятия: «забор», «дерево», «мячик». И каждое из них впервые открывало ему свои удивительно простые тайны.

«Но ведь всегда, всегда было так, — рассуждал он. — Неужели нужна смерть, чтобы заметить, почувять все это?» И ему стало не по себе. И, как обычно в таких случаях, он потащился вниз, во двор, чтобы замаять, заглушить в ходьбе, в случайном разговоре внезапно подступившую к сердцу жуть.

Во дворе около колонки, слегка подрагивая, урчал бульдозер. Бульдозерист — долговязый парень в берете и брезентовой робе — мыл под крапом резиновый сапог. В блистающем зеркале голенища плыло небо.

— Опять копать? — опускаясь на скамью прямо против парня, спросил Лашков, спросил не ради любопытства, а так, чтобы завязать хоть какое-то подобие беседы. — Пятый раз...

Бульдозерист не оторвался от своего занятия и даже не взглянул в его сторону. Он только мотнул головой в угол двора, где лепилась к котельной заброшенная хибара Штабеля, и деловито пояснил:

— Вон тот «колизей» сносить буду. Конторе кирпич нужен. Вот так, старик.

У Лашкова сразу же отпала всякая охота к разговору. Домишко этот о двух окнах он считал частью себя самого. Вместе со Штабелем и Ваней Левушкиным Василий Васильевич вложил в него не только труд, но и частичку того, что остается после. После тревог и забот, после будней и праздников, после войн и замирений. Но вот пришел этот деловой сопляк в брезентовой робе, и ему наплевать на водопроводчика Штабеля и на его хибару. Ему дела нет до того, что останется после испитого старика на лавочке. Конторе нужен кирпич, и какие еще там могут быть тары-бары.

— Ну-ка, папаша, — парень одним махом оказался у руля, — осадил назад, а то задену невзначай.

Машина вздрогнула и, медленно разворачиваясь, пошла стальным крылом скребка прямо на цель. Мимо Лашкова проплыл капот, потом распахнутая настесь кабина и в ее прямоугольнике — резиновый сапог, в дымящемся зеркале которого высыхало небо.

Дом умирал, словно живое существо. Когда скребок нижней бритвенной кромкой врезался ему в цоколь, он, едва заметное пошатываясь, удержался. Но бульдозерист чуть потянул на себя рычаг, стальное лезвие вошло еще глубже, и дом наконец надломился и рухнул, вобрав в себя кровлю. И только грязно-белая пыль костром взметнулась над ним к такой же, как и тридцать лет назад, по-июньски высокой и праздничной голубизне.

XXII

Василий Васильевич вышел из пивной в том благостном расположении духа, какое охватывает всякого сильно пьющего человека сразу же после опохмеления. Все виделось ему до смешного простым и предельно понятным: прошлое и будущее, добро и зло.

Он долго и с пьяным сочувствием следил, как на углу Рыбинского проезда поджарый, крепкого вида старик в парусиновой кепке приставал к прохожим. Цепкими корявыми пальцами старик хватал то одного, то другого за локоть и начинал со стереотипной фразы:

— У нас в Череповце...

Все испуганно шарахались от него, видно, полагая его за пьяного или сумасшедшего. Да и не до чужой нужды, когда своей по горло. Кое-кто, правда, советовал ему:

— Ты, папаша, того, поспал бы часок-другой, что ли?

Старик только отмахивался от них и снова пускался в свое лихорадочное кружение:

— У нас в Череповце...

И все повторялось сначала. Постовой от продмага, наблюдая за стариковыми восьмерками, уже начал было проявлять умеренную, впрочем, нервозность, когда Лашков решил спасти череповецкого горемыку от неминуемой каталажки.

«Подумаешь, — заранее утешил он себя, — ну, дам ему рубль, ну, два, выпьет старик, прояснится и пойдет своей дорогой».

Но, видно, что-то в Василии Васильевиче не соответствовало для того, старик лишь скользнул по его лицу своими круглыми блестящими глазами и пошел себе мимо. Лашков добродушно окликнул его:

— Ну, что там у вас в Череповце, выкладывай.

Старик обернулся, сурово посмотрел на дворника потемневшими глазами, но вдруг жестяные морщины его немного обмякли, и он, бесшабашно махнув рукой, мол, была не была, вцепился в его локоть.

— У нас в Череповце, понимаешь, дорогой товарищ, никакой правды нету...

И старик, как примерно и ожидалось, поведал Лашкову древнюю байку: «Осудили шурина-сапожника ни за что, ни про что, а шурина инвалид, от войны пострадал, ко всему шесть душ детей — мал мала меньше. Говорят: кожа, а там и кожи-то было — на головки безногому!» И так далее, и в том же духе. Старик рассказывал все это со множеством подробностей, снабжал каждую из них соответствующей справкой или свидетельством. Потом он с час порол и о своих заслугах, вроде: «В гражданскую тифью переболел и вообще — боролся».

В заключение старик поставил вопрос ребром:

— Так ты мне скажи, столичный ты человек, есть у нас в Череповце правда аль нету?

И сила его убежденности была такова, что Василий Васильевич, хотя и не понял из рассказанного ровным счетом ничего, должен был согласиться:

— Нету.

Старик облегченно вздохнул, щербато заулыбался, встал.

— Ты прости, дорогой товарищ, ты мне спервоначалу показался... Как бы это... Железа в тебе маловато, что ли. В общем, виду этакого усидчивого в твоей конфигурации нету. А вот теперь вижу — промашку дал. Умственно ты обо всем рассудил, и за это тебе, дорогой товарищ, благодарствую. В Череповце будешь, Федора Терентьева Михеева спроси, любая собака знает. Чайку попьем, белой головкой закусим.

«Ну, проси же, проси — не откажу!» — посмеивался про себя Лашков, а вслух подбодрял:

— Поистратился, видно, дорога-то дальняя?

Тот неожиданно посуровел и назидательно объяснил дворнику:

— Я, дорогой товарищ, есть мастеровой, а мастеровые без денег не бывают. Денег у меня хватит, и тебе занять могу, без отдачи.

Лашков был озадачен, но позиций не сдал:

— Наверное, и не знаешь, куда ткнуться? Москва, брат, она хитрых любит.

Старик вытянул из кармана пачку квитанций «Мосгорсправки» и, любовно перелистывая ее у него перед носом, объяснил:

— А вот здесь у меня вся Москва в кармане, а насчет хитрости, так я не токмо палец, гвоздь вершковый перекушу по надобности... В общем, покеда. Благодарствую на душевном разговоре.

И старик бодро зашагал вдоль тротуара по направлению к Сокольникам. Спокойно так, по-хозяйски зашагал. А Василий Васильевич вдруг подумал, что хорошо бы сейчас догнать старика и рассказать ему все о себе, о своем дворе, о Штабелях и о старухе Шоколинист, и еще о многом, многом другом. И еще подумал он, что оно-то, самое доброе — храмовское слово, которое все на свете может переменить заново и ходит, наверное, в каждом человеке по свету, раз вот так легко он — Лашков — смог сейчас облегчить старика. И ему вдруг стало не по себе от этой пронзительной догадки, и он не выдержал, зашел в ближнюю скупку, и снял с себя пиджак, и бросил его на прилавок:

— Сколько не жалко?..

XXIII

Душной июльской ночью Лашкова разбудил стук в окно. Он приник к стеклу — глазам не поверил, и сердце зашлось удушливым жаром: Штабель.

Прежде чем обняться, друзья в нерешительности пошарили друг друга руками, словно проверяли обоюдную осязаемость, а потом долго не могли разомкнуть плеч.

— Да, — сказал Лашков.

— Да, — сказал Штабель.

И снова повторились:

— Да.

— Да.

И каждое их «да» вбирало в себя дни и годы, дожди и солнце, общие радости, и общие обиды, и еще много такого, что можно лишь ощутить, но никак не высказать.

Потом они сидели за столом, и Штабель, вдумчиво потирая ладонью чернильное пятно на клеенке и вглядываясь в Лашкова, теми же спокойными, только поубавившими блеска глазами, говорил:

— И ест влясть, и ест порьядок. Я высегда уважалъ влясть и порьядок. Но дивенадцать лет ни ест порьядок. Я бросиль тайга, я бросиль семья... Да, да, я жениль... Тайга я бросиль семья... Да, да, я жениль... Тайга трудно без семья... У меня диеты. Я не хотель им тайга. Я пришель сказать влясть: дивенадцать лет не ест порьядок. Я верю влясть. Я верю всякий влясть. Влясть — порьядок. Мои диеты тайга не ест порьядок.

Лашков смотрел на друга и удивлялся его внешней живучести. Водопроводчик даже и не изменился вовсе, только немного одрябла шея да плечи по-стариковски чуть вогнулись вперед, однако не потеряли при этом обычной своей упругости. Правда, в том, как дрожали его мясистые пальцы, обхватывая лафитник, чувствовалось, что и для него годы не прошли даром.

О многом хотел рассказать дворник Штабелю, очень о многом, но хоть и прошло столько лет, новости его оказались не длиннее воробьиного носа.

Груша? Ну, что же Груша! Выкидыш у нее после того случился. Погоревала, погоревала да и успокоилась, к Фене перебралась. Живет, сильно прихварывает. Иван? Так что ж Иван! Пьет. Вербует. Сын с малолетства в колонии. Актер? Помер, брат, актер и давно. Калинин?.. В общем, нету больше Калинина. Меклер? Жив Меклер. Коронки ставит. И протезы тоже.

Василий Васильевич осекся: в распахнутое окно вошел и заполнил комнату знакомый никишкинский говорок. Он струился сверху, из дома напротив:

— Что такое труд? Труд, я спрашиваю, что такое, сукины дети? Труд есть дело чего, а? Чего, я вас спрашиваю, паразитское племя? Дело чести. И еще чего? Молчите, преступные выродки? Дело доблести и героизма. Кто не работает, тот — что? Вот я тебя, рыжая скотина, спрашиваю? Тот не ест. А вы чего? Чего вы? Вы не работать? Ветрогоны мечены! Так я вас приведу к исполнению. У меня на всех трюмов* хватит. Всех приведу к исполнению...

В утренней полной благодати голос этот казался до неправдоподобия нелепым.

— Чито это? — тревожно спросил Штабель.

Лашков хмуро усмехнулся.

— Твой крестный балует. Тронут малость. В начальстве жил, а нынче вот... Всякое утро, чуть свет, упражнение производит перед окошком. Когда что, а больше — это вот. С других улиц дворники слушать приходят. Есть любители.

Штабель сказал:

— Да.

И снова это «да» определило для них обоих очень многое.

А Никишкин вещал с высоты:

* Трюм — карцер (жаргон)

— Какие песни ты поешь, сучий выродок, какие песни, я тебя спрашиваю? «Мурку» поешь? «Течет речка» поешь? «Есть у меня шубка»? И опять же «За кирпичной стеной»? О тебе, шаромыжнике, я заботу имею, а ты всякое дерьмо поешь? Паек получаешь? Матрас есть? В баню водят? А? А ты чего поешь? А пять суток на «строгом» не хочешь? И я тебе туда Кумача дам Лебедева. И чтобы назубок. Ясно?

Штабель встал:

— Надо шагаль.

— Я провожу.

— Не надо, Вася, ошень не надо.

Они еще долго препирались, хотя оба заранее знали, что пойдут вдвоем. После, когда друзья шли рассветными улицами к центру, Василий Васильевич убеждал водопроводчика:

— Ты, главное, стой на одном: не хочу — и баста. Нету такого закону. От войны и след простыл. Гитлера черви съели, а людей с детьми держут. Это не иначе местная власть темнит.

Но стоило Штабелю исчезнуть за дверями тяжелого, как глыба при дороге, здания, сердце у него остренько екнуло.

Они договорились встретиться там, где расстались, — на углу около табачного киоска. Лашков бесцельно побродил по улицам, вернулся, и снова побродил, и снова вернулся: Штабеля не было. Василий Васильевич поговорил с киоскером о том о сем и для поддержания коммерции — одну за другой — купил у него пять пачек «Беломора». Штабеля не было. Не было его и через час, и через два.

Закрывая ларек, киоскер посмотрел на него подозрительно и особенно долго копался с пломбирровкой.

В здании постепенно стали слепнуть окна: одно, другое, третье... Лашков наблюдал за ними и успокаивал себя: «Вот здесь... Вот здесь... Вот здесь...» Но Штабель все не приходил. И когда где-то, под самой крышей, исчез последний светлый квадрат, он только и подумал: «Вот и все».

XXIV

Как-то на исходе лета к Василию Васильевичу нагрянул совсем уже неожиданный гость. Первое, что пришло ему в похмельную голову, когда он открыл дверь, было короткое, как выстрел, озарение: «Папаня!» До того поразительным оказалось сходство. Но уже через минуту память поставила все на свои места: «Петёк!». Внезапный визит забытого уже почти брата не то чтобы удивил Василия Васильевича, он давно перестал чему-либо удивляться, а несколько озадачил: «Чего это его принесло? Перед смертью, что ли?» Но следом за этим сквозь темную дрему, какой с каждым годом все глуше затягивалась его душа, возникло в нем удушливой спазмой давнее, из самой глубины прошлого тепло. И он, помогая брату стянуть с себя плащ, все никак не мог сложить сколько-нибудь вразумительного разговора и только повторял расслабленно:

— Садись, Петек, садись... Сейчас сообразим кой-чего... Как знал, оставил с вечера... Садись...

Суетясь вокруг стола, Василий Васильевич краем глаза следил за гостем, с ревнивою пристрастностью отмечая в нем черты и черточки, несвойственные тому в молодости, нажитые похода, привнесенные со стороны. Почему-то именно сейчас, через много лет разлуки, Василий Васильевич по-настоящему ощутил, какой невозвратимой потерей стало для него все связанное с родным домом. И день, который оказался для него под отчей крышей последним, выявил себя в его памяти с почти осязаемой отчетливостью.

Тогда, сразу же после демобилизации, он заехал в Узловск безо всякого, впрочем, намерения там остаться. Просто хотелось ему, перед тем как отправиться за лучшей долей, в последний раз взглянуть на близкое сердцу пепелище.

Облепленный со всех сторон племянниками, сидел Василий в красном углу, и Мария, выделяя его из всех гостей, подкладывала и подкладывала ему все лучшее, что было в ее запасах. Глядя на быстрые руки невестки, бесшумно скользящие над столом, Василий по их натруженной огрубелости безошибочно определил, во сколько обходится ей благополучие и гостепри-

имство мужниного дома: «Не задаром ты, Мария Ильинична, здесь свой хлеб ешь, ой не задаром!»

После третьей гость Петра, Илья Парфеныч Махоткин, заметно охмелев, подступился к гостю с разговором:

— В песках, значит, воевал? Чтой-то тебя туда загнали, или ты там потерял что? Да еще и обижаешься, что зацепили тебя ненароком? А коли б он — азиат энтот — пришел к тебе свои порядки устанавливать, ты бы ему что, хлеб-соль поднес заместо пули?.. То-то и оно. Винта у вас — у Лашковых — какого-то главного не хватает. Все норовите белый свет разукрашивать, а свой огород бурьяном зарастает... Вы бы его с огорода и начинали разукрашивать. А то далеко тянетесь, рук, пожалуй, не хватит...

— Папаня, — жалобно отнеслась к нему Мария, умоляюще складывая руки перед собой, — не надо, папаня... Человек с дороги... И ранетый он... Не надо, папаня...

— Ладно, ладно, — неожиданно подобрел Махоткин и любовно засветился в сторону дочери, — и пошутить не дозволяется рабочему человеку. Ишь, заступница — Матерь Божия... Ну, ну, не буду больше. Налей-ка нам еще по одной, помиримся...

— Подожди, тестек дорогой, — длиннопалая ладонь Петра тяжело накрывала стакан перед собой, — рановато нам мириться. Сначала выясним, куда клонишь, за какую программу стоишь. По-твоему выходит, мировая революция у тебя разрешения должна спрашивать, идти ей или останавливаться? Так, что ли?

— А у кого же ей спрашивать? — Махоткин снова напрягся и потемнел. — Коли для меня ее делали, значит, у меня. Вот я ей и говорю: хватит, охолодись, неуязка вышла. Не хочу больше. Проку никакого нету. Надзиратели только сменились. Да прежний-то надзиратель хоть, Царство ему Небесное, дело знал. А теперя все вроде тебя глоткой норовят. И все учеными словами себя обзывают. Раньше шкодник, нынче — мархист, кому ноздри рвали за разбойный промысел — уже кспририатор, лодырь с ярманки — в революции перьвый человек, а я, как сидел в забое, так и сижу, только получать втрое меньше стал. Потому как развелось вас, дармоедов, — дальше некуда. — Он грузно поднялся и слегка обмяк, повернувшись к дочери. — Жаль мне тебя, матушка, сгоришь ты коло сыча этого, не за понюх сгоришь. Только я сторона — сама выбрала. Прощевайте, растоварищи-комиссары...

Тягостное, прерываемое только редкими всхлипами Марии молчание, возникшее в доме сразу же после ухода Махоткина, объяснило Василию в сути происшедшего куда больше, чем все слова, которые Петр, ища у него сочувствия, сказал вслед за этим. С обстоятельной поспешностью тот долго толковал ему о классовой борьбе, о пролетарской солидарности, о революционном правосознании, но слова брата не вызвали в нем ни отклика, ни сочувствия, потому что те вопросы, какими озадачил его Махоткин, Василий уже задал себе там, в песках, над распластанным перед ним телом едва оперившегося туркмена.

— Не знаю, Петек, может, твоя правда. — Он тоже встал и подался к выходу. — Только кровь у всех одинаковая, сколько хошь лей, добра не будет. Крик один будет и беда, да такая, что и тыщу лет не расхлебать. Не держи на меня сердца, я сам по себе хочу, чтобы, как у людей: кто как, а я навоевался.

Резко отворотившись от него, Петр как бы раз и навсегда разгородил мир между ними на две половины и дал понять, что продолжать беседу более не намерен...

Теперь, глядя на брата, Василий Васильевич не испытывал по отношению к нему ни злорадства, ни мстительного упрека, скорее даже сочувствовал ему и печалился за него сердцем. Но слишком уж нестерпимо больно прошла по его судьбе та беспощадная сила, какую Петр сейчас олицетворял, чтобы он мог вызвать в себе хоть сколько-нибудь искреннее чувство родства к гостю. «Вы грызлись, а чубы-то, браток, у нас трещали, да». Не сдержавшись, Василий Васильевич укорил было гостя за горько и пусто прожитую свою жизнь, но поддержки не нашел, а поэтому сразу же сник и замкнулся: «Что, в самом деле, счета сводить! Какая уж там его вина! Да и нет ни за кем никакой вины вовсе. Один бес всех попутал».

Чтобы хоть как-то исправить свою оплошность, Василий Васильевич

предложил выпить еще, и, не ожидая ответа, кинулся в магазин, и вскоре возвратился с бутылкой красного, но дома брата уже не застал, отчего на душе у него сделалось вконец тускло и пакостно: «Значит, не судьба нам сойтись. Так, видно, тому и быть. Один, Вася, помирать будешь, один, да!»

XXV

Грушу хоронили поздней осенью, когда на землю и крыши легла первая изморозь. Двор, сдавленный со всех сторон студеным небом, казался Лашкову каменным мешком, в котором горела посреди желтая свечка гробовой крышки. Она горела тихо, но властно, и не было в мире силы, чтобы погасить ее.

Потом от двери парадного, мимо нее, молчаливыми рыбами поплыли тени. Они плыли по двору, и не было их плаванью ни конца, ни края. Вслед за теньями из парадного стали выбираться голоса, но и они не согрели холодного дворового колодца.

Грушу вынесли, и она замерла на чьих-то плечах прямо против своей крышки. Из окна, сверху, Василий Васильевич видел ее всю — всю с головы до ног ничью, принадлежащую только себе. Вокруг нее сомкнулось кольцо лиц. Он узнал их всех. Цыганиха и Храмова, Иван Левушкин и его Люба, Никишкин со всем семейством. Меклер и Феня Горева. Они стояли и молчали вокруг нее, и она как бы возносилась над ними и прощала их.

Тишина все сгущалась, стягивая нервную тетиву до отказа, и вот не выдержала — оборвалась — таки: заплакала младшая девочка Никишкиных — Светлана. И, как от искры, все во дворе пришло в движение. Лица закачались в плаче. Но это был плач не над ней — над Грушей. Так плачут о живых, а не о мертвых. Они, это чувствовал, знал Лашков, выливали в плаче всю ту кровоточащую боль, какую обросла его собственная душа перед прощанием с землей и небом.

«Что мы нашли, придя сюда? — думал он их мыслями. — Радость? Надежду? Веру? Вот, ты, Цыганиха, растерявшая все? Ты, Левушкин? Где твой сын-дантист? Ты, безумный Никишкин? Что мы принесли сюда? Добро? Тепло? Свет? Кому? Меклеру? Храмовой? Козлову? Нет, мы ничего не принесли, но все потеряли. Себя, душу свою. Все, все потеряли. А зачем? Зачем? Ведь в каждом из нас жило доброе слово и, может быть, живет еще. Живет! Лева знал, что говорил: «Плачьте, плачьте, люди, у слезы тоже сила есть!»

Василий Васильевич даже подался весь вперед и вдруг увидел в глубине двора, там, где когда-то стоял штабелевский дом, старуху Шоколист. Черная и крохотная, она стояла, беззвучно шевеля губами, и постепенно вырастала, увеличивалась в его глазах, пока не заняла неба перед ним, и он рухнул на подоконник, и, наверное, только земля слышала его последний хрип:

— Господи-и-и...

(Продолжение следует).

И время жить, и время повторять...

* * *

Как будто ни слова, а все же, а все ж,
а все ж таки месяца миска
с туманного неба, слышав галдеж,
ко мне наклоняется низко.

Как будто под утро стоит тишина,
но — чуткое ухо на стреме —
с туманного неба сползает луна
к моей разговорчивой дреме.

Как будто — а все ж, молчи не молчи,
одна я, глуха и безлика,
во всей молчаливой и спящей ночи
виновница плача и крика.

* * *

Скоро и ты полюбишь
Гонг ото сна и ко сну,
бревенчатую простуду,
век своих желтизну.

под лампочкой перегорающей,
мигающей светлячком.

Скоро и ты приляжешь
на каменный пол ничком

Скоро и ты ответишь
за себя и перед собой,
почти покой обретая,
почти отвергая покой.

* * *

Господи Иисусе, Пресвятая Богородица,
что за народ от нас народится?
Как свернутый в трубочку листок смородины,
гонимый ветром через колдобины,
через овраги и буераки,
где подвывают одни собаки.

Что за народец, что за отечество
и что за новое человечество?
Как перестоявшая, запрошлогодня
верба виленская, богоугодная,
верба раскрашенная, верба сухая,
песок лепестков на меня осыпая...

* * *

Все на свете — вдруг,
мимо цели, в цель ли,
в яблочко ли, в круг,
друг мой Боттичелли.

Крепче кистью вдарь
одеревенелой,
отплеснется дань
пенною Венерой.

Все на свете — блиц,
и шалеют блицы
над толпой без лиц
во дворце Уффици.
Сознавая риск
спин изображенья,
щелкает турист
до изнеможенья.

Все на свете — свет,
верно, друг мой Сандро?
В свете — дар и цвет,
только тьма бездарна,
как толкучка в зале,
и бесцветна тьма,
как моя, в Казани,
темная тюрьма.

* * *

И слабость — как сила, а сила — как снег
на теплой, на слабой ладони,
как бедного сердца бессмысленный бег
в международном вагоне.

И слабость — как бледный подснежник сквозь наст,
а сила — как скользкая насыпь,
как мокрая осыпь, как осень без нас,
без памяти слабости нашей.

* * *

Хотела только вымолвить: «Пари
пушинкой в теплых сумерках эфира,
счастливым светлячком в ладони мира,
горящим перышком угаснувшей зари...»

Но краткий дождь меня охолодил,
и плакала я, обнимая стенку,
прислушиваясь мокрому оттенку
на розе ветра веемых ветрил.

Куда меня ты занесла, метель
дождя, и солнца, и волны воздушной,
удар грозы среди долины душной,
и ливень, как лунатик, непослушный,
в разгар луны вцепившийся в постель?

Я обломаю когти о камень
классическую четкую рустовку
и смертный час возьму на изготовку,
как тот солдатик милую винтовку,
скуластым глазом прислоняясь к ней,

* * *

Сбейте оковы — сбили оковы.
Дайте мне волю — не дали.
Выдали крепко четыре подковы,
словно четыре медали:

за оборону, за взятие, за
труд, за победу. Колоду
выдолбить, и пятаки на глаза:
«Я научу вас свободу...»

* * *

Умереть — это вывернуть глобус и жить на изнанке,
это стать антиподами пота земного и чада,
это больше не каяться, и закоснеть в незнании,
и забыть различать, кто сестра, и любовник, и чадо.

Умереть — это просто, как спичка, летящая с моста,
уплывает в Атлантику, хоть бы упала в Вилейку...
Кто не умер, еще не умеет, и все понимает непросто,
и подносит ко рту то дырявый стакан, то худую жалейку.

* * *

В слабую горсть алкоголика
пала золотая глава.
Карма рекламного ролика
ровно, спокойно и голенько
с главного входа всплыла.

И, непоены, некормлены,
злей венецейского льва,
ржут по-над Сулою комони,
плачет о берег: «О, горе мне!» —
как Ярославна, волна.

Как шестикрылая Глория
крыльями о купола,
провинциального говора
горлица широкогорлая
выплыла сквозь рупора.

Льна ли Непрядва неровная,
облачная ль пелена
по двору одурью вздрогнула?
Или в ворота за дровнями
ржавая правда всплыла?

* * *

Я не сумею объяснить, почему
белые ночи — не белые рукава
ночной рубашки, занесенной в тюрьму
статьями семьдесят и семьдесят два.

Я не сумею объясниться, почему
серые клетки платят за ночлег,
заночевав на щите и под ключом
и ежечасно пускаясь в побег.

Я не пущусь ничего объяснять
ни изнутри, ни, что проще, во сне.
Рубашку снять и на решетке распять,
спиной голою к цементной стене.

* * *

Господи, Господи, ночь и туман
на них опустились.
Господи, что даровал ты нам,
кроме бессилья?
Кроме свободы голос срывать:
«Вольна Польска!»
и сквозь кордоны атаковать
двери посольства.

Крик мой, хрип мой жалок и тих:
«Сестры и братья!»
Видно, Господь чересчур возлюбил
эту равнину.
Видно, у Господа Бога для них
— то же, что Сыну, —
нету иных проявлений любви,
кроме распятия.

* * *

Водитель, водитель, пора выходить,
моторный вагон обвила повитель,
и нежить уже начала наводить
волнистую тень на деповский плетень.

Пока не расколется проезжий патруль
сиреною бывшей окраины тишь,
ты спишь. Как постелишь — руками на руль
и голову на руки, — так и поспишь.

Что снится тебе? Польшанье ль дуги
на резких скрещеньях давешних лет,
иль срезанный чисто обрубок ноги,
или на расстрел уходящий поэт?

Да что бы ни снилось, какой бы ни сон,
ацетиленом — и вся недолга.
А новенький катит на круг-стадион.
Ваганьково. Хорошевка. Бега.

* * *

<p>Опять на открытой площадке под голову ветер подставь шелуханье шин по брусчатке загробная милая явь, загробная нежная злоба на ближнего и на себя завейки тепла и озноба кошачьи по сердцу скребя</p>	<p>сладко ли Наталья в засвятах¹ за занавесом за виском в Европе газонов несмятых зазнобою собственных снов занозюю собственных слов скользнуть не коснувшись газона большая и бóльшая зона развязыванье узлов</p>
--	---

* * *

Агнешке Холланд²

Это позже, льдисто-неистов,
Блок напишет: «Эх, эх, без креста!»
А пока — детский жар у бомбистов,
небо чисто, и совесть чиста.

А пока из горячки девичьей
еще пышет скончавшийся век,
даже желтый дом — идиличней,
чем Казанский не Ноев ковчег.

Ах, бомбисты, идеалисты,
террористы, боевики,
кабы знать вам, какую карту
(с ностальгией по Первому марту)
вы сдаете миру с руки...
Ночь мутна и рассветы мглысты
над простором полярной реки.

* * *

На стыке вагона с инерцией ветра,
на стыке воздушных путей и стальных
одна одинокая черная ветка,
свисая с небес, ударяет под дых.

На стыке природы в лице непогоды
и мира в обличье катящихся рельс
она ударяет, как в прежние годы
ударил бы целый завиденный лес.

И, вдвое согнувшись под этим ударом,
до птичьего свиста давленья поддав,
душа машиниста, и свистом и паром
клубясь, поднимает на воздух состав.

¹ Засвяты — zaswiaty — тот свет (польск.).

² После просмотра фильма Агнешки Холланд «История одного снаряда» — о польских боевиках-революционерах начала века.

* * *

Снова и берег, и ветер —
 больше, чем просто слова.
 Стой, на обочине вереск.
 Здравствуй, трава-милова.

Бьет в набегающий берег
 из-под подошвы волна.
 Ночь лилову перебелил,
 выворотит наизна...

...анку, и вдох перебитый
 выдохом на валуны

ляжет под круглой орбитой
 незаходящей волны.

Здравствуйте, коли не снитесь,
 ветер, и берег, и мох,
 Свислочь, и Невеж, и Свитезь,
 Нива и Свирь... Новый вдох,

выхода не находящий,
 ляжет лиловой плевой
 в бронхи, и сломится хрящик,
 северный и болевой.

* * *

Стапливается в комок
 и растаивает в воду,
 выбрав гибель, но свободу
 загребаемый в скребок

грязный прошлогсдний снег,
 в прошлом бывший
 белым снегом,
 разлученный с черным небом
 и с полозьями саней

Санта-Клауса в ту ночь
 над вселенною беззвездной
 и над стенкою промерзлой
 участковой КПЗ

Ленинградского района
 нашей родины Москва,
 где дыхание снежинками
 смерзалось по вискам.

* * *

Иногда,
 иногда я понимаю,
 понимаю, что они были правы —
 доктора из Малого Кропоткинского переулка.¹
 И, верно, ведь надо быть сумасшедшим,
 чтобы исправлять нравы,
 да еще не ради славы
 и не ради теплого места придурка.

А иногда,
 иногда я опять не понимаю,
 как могли они думать, что навечно останутся правы —
 доктора в халатах поверх гимнастеров,
 что не наступят иные нравы,
 иные времена — нет, не расправы,
 а правды, разгоняющей безумный морок.

* * *

Оглодыши зимней травы,
 смороженной и клочковатой,
 нечистой сморщенной ватой
 у заиндевелой Москвы —

реки не шуршат на ветру,
 а вроде ворчат недовольно:
 и холодно им, и больно —
 дай стебельки разотру.

К дискуссии о статистике

Не будем спорить. Лишний миллион
 заслуженных, замученных, забытых —
 всего лишь цифра. И мильон слезинок
 не слился, и не вызвал наводнения,

¹ В Малом Кропоткинском переулке находится Институт судебно-психиатрической экспертизы МВД (Институт им. Сербского).

и не оттаял вечной мерзлоты.
 Допустим, этот миллион имен
 История накопит и предъявит,
 но кто же в четырех столицах мира
 прочтет подобный телефонной книжке
 по весу и по скуке этот том.
 Кто это купит? На костяшках счетов
 махнуть и сбросить. Миллион слезинок,
 а не оттаял вечной мерзлоты.

* * *

Не Летний сад, не Зимнюю канавку —
 осеннюю расплывчатую смазь
 сквозь залитые дождичком очки.
 Воспоминание подобно томагавку:
 оно взлетает с пишущей руки
 и возвратится, в переплет вонзаясь,

когда уже ни правку, ни поправку
 не вставить в чисто набранную вязь,
 не заменить ни рифмы, ни строки,
 ни заголовка. Но зато и за доставку
 не платится. Как по воде круги,
 оно и транспорт для себя, и связь.

И, не вставая в очередь к прилавку
 почтамтскому, в космическую грязь
 без адреса, сложивши в голубки,
 без имени метну и, засмеясь
 сквозь слезы — дождевые ручейки,
 той, что не ржавеет, не сдам на переплавку.

* * *

И, эту мелодию запев,
 мы не сочинили к ней припева,
 а как повели нас на расстрел,
 стало нам уже не до того,
 под стеною стали мы, вспотев,
 и стена за нами запотела,
 и дрожащий дымчатый рассвет
 озарял чужое торжество.

Но эта мелодия взошла
 радугой на сером небосводе,
 стебельком, ломающим асфальт,
 дождичком в беспамятный четверг,
 и скатилась пуля из ствола
 крупною слезою о свободе,
 и душа из ребер понеслась,
 пятаком подпрыгивая, вверх.

* * *

Ничто не повторится. Никогда.
 Но в каждом новом — привкус повторенья,
 и пишущееся стихотворенье —
 как со шаргалки. Черная вода

в чернильнице наводит подозренье,
 что вложен был хороший кус труда,
 что промывалась тяжкая руда
 и острое прищуривалось зренье.

Но глаз, глядящий в дальний Арзамас,
заплыл слезою. Кто-то пьет за нас
170 лет, а мы чужим похмельем
полны, в давнопрошедшую тетрадь
заглядываем, списываем, кленм...
И время жить, и время повторять.

* * *

Милый, милый, не назвать,
не позвать, не произнести,
и в гранитную кровать
клочьями ложится весть.

и сквозь утренний галдеж
не докрикнешь, не доплачешь.

Милый, милый, не придешь,
не приснишься, не прискачешь,

Милый, милый, ты — один,
а меня, прости, так много,
как в кудрях моих седин
и как ангелов у Бога.

* * *

Назначь мне свиданье
на Севере диком,
где вьюга рыдает
в просторе безликом,

на старом Арбате,
где новые ЗИСы
летят на закате
бесшумно, как крысы.

где вечной зимою,
не тронуты тленом,
на метр под землю
полено с поленом,

Назначь мне свиданье
под пальмой горячей,
где нас поджидает
Судьба, а не случай,

ряды над рядами
промерзлые трупы.
Назначь мне свиданье
на сходке тергруппы,

ступенька в застенок
и пуля в затылок.
Назначь мне свиданье
в двадцатом столетье.

* * *

Но песнь — не в том, чтоб спеть
про степь да степь кругом и дальше,
а чтобы молвить: «Передай же
поклон...», — распластывая песть¹

в ладонь, сводимый конь
закинет голову на гриву,
и полнолуние к приливу
ковыльному прильнет, не тронь

крыла души-щегла,
взлетающей — взлетающего
наружу из глухого чрева,
туда, где дальняя легла

доро-о-о...женька до ро-
кового в поле перепутья,
чтобы самой ли спотыкнуться,
коню ли подшибить крыло.

¹ Песть — piesc — кулак (польск.).

Н а с л е д с т в о

Р О М А Н

XXIII. В подполье

Муравьев был убит почти сразу же по возвращении из Лондона двумя выстрелами в голову на улице, недалеко от дома, где он квартировал. Следствие велось скверно, и полиции не удалось установить ничего определенного.

Для русских жителей городка эта смерть была сигналом к бегству, один за другим они начали разъезжаться из Н. Довольно быстро получили разрешение и уехали в Россию Вельде, исчез в неизвестном направлении Проровнер, хотя говорили, что полиция взяла с него подписку о невыезде, подевались куда-то Эльза и седой лейтенант Ашмарин. Прочие, даже из совсем не знавших Муравьева, тоже уезжали или собирались уехать при первой возможности. Театр, в котором ставили пьесу Аннинного немца, перестал функционировать еще раньше. Не тронулись с места только семейство Анны Новиковой да капитан, который совсем спился и попрошайничал теперь около пивнушек; Анна из милости подкармливала его.

Отец Иван Кузнецов тоже подался прочь из городка, тем более что паства его сократилась до ничтожного числа и ему нужно было все равно изыскивать себе какие-то источники существования. На скудные свои сбережения он двинулся в Париж, отчасти надеясь найти место, а отчасти — завязать новые связи с тем, чтобы все-таки выполнить свой план. Ему, однако, не могли помочь ничем. Мест не было, волна экономической депрессии уже поднималась, епархиальное начальство и прочие организации, куда он обращался, осаждали безработные. Все знакомые, которых он просил о помощи, сами едва сводили концы с концами. Выйти на нужных людей с целью исполнения плана ему также не удалось: или эти люди боялись его, подозревая в нем провокатора, связанного с «делом Муравьева», или он боялся их, боялся, что, попавши к ним в руки, не сумеет выкрутиться. Ему советовали ехать куда-нибудь на Балканы или на Север — считалось, что окраинные страны меньше затронуты кризисом и там легче устроиться.

После долгих колебаний отец Иван выбрал Литву, где знал настоятеля вильнюсского православного монастыря. Да, здесь было как будто потише. Отца Ивана приняли хорошо, настоятель был милый человек, обитель крохотная, и отец Иван прижился в ней, хотя положение его в течение всего времени оставалось немного двойственным. Так как он не был официально разведен и жена его, по-видимому, была жива, высокое начальство сомневалось, можно ли ему разрешить принять монашеский постриг. Последние пять лет он исполнял обязанности монастырского эконома.

14 июня 1940 года отец Иван был по делам в Каунасе. Весть о вторжении не была для него неожиданной, — все давно предполагали, что это рано или поздно случится, — но ясного представления о том, что надлежит делать в такой ситуации, у него не было. Знакомый католический патер дал ему мирской костюм, самолично подрезал бороду и ниспадавшие прежде до плеч волосы. Железная дорога, утверждали, была уже бло-

кирована. Запрятав остатки волос поглубже под шляпу, отец Иван двое суток добирался домой на попутных грузовиках или пешком, далеко обходя маячившие там и сям на дорогах патрули. Не зная, объявлен или нет в Вильне комендантский час, он рассудил, что разумнее войти в город утром, и провел ночь в поле, километрах в трех от города, в копне свежего сена. Несмотря на усталость, он не мог сразу заснуть и, потеряв счет времени, лежал, глядя в бездонное, усыпанное звездами небо. На душе у него было до удивления хорошо: прячась и скрываясь весь день, он совсем не испытывал страха, действуя скорее инстинктивно, и теперь вдруг ощутил, что вопреки всему здравому смыслу даже рад: мечта его так или иначе сбывалась! Ему было только стыдно, что он так эгоистичен в обстоятельствах, которые всем вокруг, наверное, обещали немало хлопот и горя.

Наутро он вошел в город, пытаясь на лицах встречных прочесть отпечаток случившегося, но, кроме некоторой суety горожан и присутствия патрулей, не нашел ничего особенного, — быть может, потому, что сам был слишком возбужден. Только у базара волновался народ; из разговоров в толпе отец Иван опять не понял, закрыли сегодняшнюю торговлю или собирались закрыть. Выйдя на улицу, где был его монастырь, отец Иван еще издали увидел возле ограды вереницу крытых военных машин и движение солдат во дворе подле церкви и жилых построек. На противоположной монастырю улице стояли люди, очевидно, отогнанные подальше от ограды. Отец Иван сам остановился, но не подошел ближе, опасаясь привлечь к себе внимание или быть узнанным. Прохожие говорили, что в монастыре, оказывается, обыск. Тогда отец Иван повернул в боковой переулок, решив зайти сперва к знакомому русскому прихожанину. Тот подтвердил ему, что в монастыре еще ночью начался обыск, что троих уже увели, в том числе и настоятеля, и что будто бы искали и отца Ивана. Старик-хозяин полагал, что возвращаться туда не следует. Отец Иван и сам думал так же. Он сбрил наголо усы и бороду, замечая в зеркале, как удлинняется его нос и скашивается назад подбородок; старик коротко постриг его, дал ему кепку вместо шляпы и записку к литовцу-рыбаку, жившему на побережье. Там, помогая литовцу смолить лодку и чинить сети, отец Иван провел три тихие недели, пока в ближайшей деревне не появилась постоянная застава и пограничники не стали обшаривать берег метр за метром. Вернувшись в город, отец Иван обнаружил, что тот знакомый его арестован. Другие, к кому он заходил, были напуганы и ждали арестов тоже. Монастырь еще существовал, но был взят под стражу, к нему подпускали только старушек, приносящих монахам кое-какую еду. Ходили слухи, что каждый день оттуда забирают одного-двух человек. Отцу Ивану советовали немедленно скрыться из города: о нем якобы уже спрашивали у вызывавшихся на допрос в НКВД. Считалось, что лучше всего попробовать просочиться в центральную Россию, разумеется, в обход контрольно-пропускных пунктов; кому-то уже удалось так сделать. Здесь оставаться было опасно — каждый человек слишком был на виду, а положение еще долго могло быть напряженным. Поговаривали, что в некоторых местах красным оказывают вооруженное сопротивление и они, в свою очередь, усиливают репрессии.

Отцу Ивану собрали на дорогу немного советских денег, еды, снабдили его сменой белья, портфелем и плащом, с которыми он стал похож на заурядного советского хозяйственника, какие уже появились в городе. Ни документа, ни хотя бы справки, однако, достать ему не смогли. Проводником должен был служить родственник одного из прихожан — заядлый охотник.

Ночью отец Иван перешел бывшую границу Союза, едва не наравшись на еще не снятый сторожевой пост. Он шел всю ночь, не останавливаясь, параллельно железной дороге, лесом, напролом, огибая спящие хутора и селенья, и надеялся, что отмахал к восходу солнца километров тридцать. Он продолжал идти все утро и лишь около одиннадцати сделал маленький привал, выйдя к реке. Мост охранялся. Отец Иван прошел по берегу, разделся, связал вещи в узелок, переплыл на другую сторону и снова поспешно углубился в лес. Никакой погоня не было слышно, и на встречу не попадалось ни единой души. Только время от времени за перелеском проносились поезда, однажды он услышал детские голоса, до-

носившиеся из домика зрителя, а еще однажды с опушки леса увидел пароконную упряжку. После полудня пришлось сделать еще крюк и пересечь железнодорожную линию, чтобы обойти мелькнувшую в конце просеки деревню. С утра было солнечно, теперь сделалось свежо и пасмурно, но отец Иван все равно шел совершенно мокрый от пота, задыхаясь и ловя лесной воздух, который совсем не остужал легких и сердца. Несколько раз он присаживался немного просохнуть, затем вскакивал и снова бежал вперед. Ему хотелось прилечь, осмотреться, вдохнуть запах родной земли, приласкать какую-нибудь травинку, сказать: «Ну, вот я и дома». Он спрашивал себя также: не лучше ли ему сейчас выспаться где-нибудь в густом кустарнике, с тем чтобы идти свободней ночью, но тут же решил двигаться дальше, помня наказания уходить, не мешкая, от запретной зоны и боясь, что если он приляжет, то не сможет уже подняться и на него, спящего, наткнутся люди. Он не мог заставить себя остановиться. Он по-прежнему не чувствовал особого страха, а скоро и вообще утратил способность ощущать что-либо, шагая в дымчатом туманном лесу, как лунатик, машинально уклоняясь от веток и сучьев, обходя болотца, перепрыгивая через поваленные стволы деревьев или канавы. Опять проглянуло солнце, стоявшее теперь совсем низко над лесом. Отец Иван изнемог, не выдержал, прошел проселочной дорогой вдоль полотна, и почти сразу же его догнала полуторка, шума которой он не расслышал, потому что задремал на ходу и очнулся, лишь когда шофер, молодой парень, притормозив, крикнул ему: «Эй, отец, в Молодечно, что ли, плетешься? Садись, подвезу!» Усилием воли отец Иван убедил себя, что шофер, назвавший его «отцом», не имел в виду священнического сана. Сообразив, что отказ удивил бы шофера более всего, отец Иван прошептал про себя «Господи, помилуй» и забрался в душную, теплую кабину. Шофер оказался доброжелательно словоохотлив и с ходу начал рассказывать о себе, братьях, о своих и братьевых возлюбленных, которых они возили в этот лес якобы за грибами, показывал ему разные памятные полянки, опушки, приметные столбики, где он ... на все вопросы к отцу Ивану, опережая его, отвечал сам и поинтересовался насчет чего-то такого, про что ответить заведомо было бы трудно, тогда, когда отец Иван, укачавшись, уже засыпал. Бормотнув в полусне что-то неразборчивое, отец Иван уснул по-настоящему и проснулся темным вечером перед вокзалом на станции Молодечно.

Вокзал был до отказа забит людьми, которые кричали, бранились, метались в разных направлениях, толкали друг друга чемоданами и узлами, спали тяжелым сном, обняв детей, или тревожно бодрствовали, сидя на вещах, усталые, с воспаленными глазами. Войдя сюда и в первые мгновения задохнувшись от гвалта и густого вокзального запаха, отец Иван затем отчего-то успокоился. Несмотря на крики, ругань и толчею, эти люди, каких он давно не видел, внушали ему доверие и нравились. Пробившись к расписанию, отец Иван долго изучал его, с благоговейным трепетом произнося забытые названия городов и вдруг ощущая — впервые в жизни — всю полноту свободы выбора. Потом ощущение свободы пропало: он понял, что лучше всего ему ехать в Ленинград, там должен же был остаться хоть кто-нибудь из знакомых, а может быть, и бывшая его попадья с сыновьями.

Отец Иван попал в Ленинград на вторые сутки, ранним утром, и ехал через весь город на Васильевский остров, туда, где жил прежде, в переполненном трамвае, прижатый к двум молодцам, судя по разговору — сотрудникам какого-то физического института. Сотрудники беседовали о своих экспериментах, об интригах в их заведении и о танцах. Их институт был охвачен эпидемией танцев, и они ехали так рано и везли с собой патефон, чтобы успеть немного потанцевать с сослуживицами у себя в лаборатории до начала работы.

На 7-й Василеостровской линии все, как ни странно, было по-старому, и дом оказался на месте, и даже, к величайшему изумлению отца Ивана, дверь ему открыла сама попадья, жившая все в той же квартире, правда, давно уже, конечно, «уплотненной» — с соседями. Соседей отец Иван увидел сразу, они все высунулись в прихожую посмотреть, кто явился к ним в такую рань, и перед ними попадья ничем не выдала себя.

Только на пороге она ахнула, узнав воскресшего из небытия своего мужа, сказала: «Господи, спаси и помилуй», — но тут же взяла себя в руки, спросила нарочно громко, чтобы слышали соседи: «Сколько же лет мы с тобой не виделись? Лет семь, я думаю?» — и повела его в комнату, тесно уставленную вещами, из которых многие отец Иван с умилением сейчас же припомнил.

Жена служила корректором в медицинском издательстве. Она позволила домой своей начальнице и сказала, что неожиданно к ней приехал родственник из Ростова-на-Дону, поэтому она немного задержится. Отец Иван стал описывать обстоятельства своего возвращения. Жена как будто не очень испугалась, отнеслась ко всему даже с некоторым юмором. Она вообще сильно изменилась по сравнению с той, какую отец Иван ее помнил, стала сдержанной, ровной, было видно, что у нее выработался характер. И о себе, и о всех их близких она рассказывала так же ровно и просто. Родители отца Ивана жили последние годы как раз в Ростове-на-Дону. Мать умерла пять лет назад, отец был еще жив, но был очень плох. Этот год он уже не мог писать сам, и отвечала на письма женщина, которая ухаживала за ним. Старший из сыновей недавно развелся, женился второй раз, и они с женой уехали в город Горький, на стройку, зарабатывать деньги, а также потому, что здесь, в Ленинграде, он оставил комнату первой жене и жить ему с новой женой было негде. Младший жил тут же, с матерью. Три года назад он тоже собрался жениться на дочери одного старого большевика, но не успел. Большевика забрали и, вероятно, уже расстреляли. Семейство было сослано в Казахстан. Сына, по счастью, не тронули, теперь он поехал их навестить, а может быть, даже, если удастся, жениться на ссыльной своей невесте, хотя делать этого наверняка не следовало. Бабушка Катя, мать жены, умерла в 33-м году. Сама бывшая попадья была уж много лет как замужем за восточным человеком, профессором-историком. У профессора была другая квартира — точнее, две комнаты в коммунальной, тоже уплотненной квартире, принадлежавшей еще его родителям, но там жила, кроме него, еще незамужняя его сестра, а оставшееся место занимали книги. Переехать туда и оставить сыну эту комнату возможности не было. О знакомых, судьбу которых попытался выяснить отец Иван, жена почти ничего сообщить не могла. Круг знакомств у нее переменялся, и прежних, особенно из клира, она никого не встречала, слышала только о некоторых, что они умерли или арестованы.

Жене надо было идти на работу. Нынче начались большие строгости с опозданиями, за опоздания отдавали под суд и сажали. Она простилась с отцом Иваном до вечера, оставила ему еду и ключи, инструкцию, как обращаться с замками, наказала поменьше общаться с соседями и ни с кем не заговаривать, если он выйдет на улицу; соседей же предупредила, что у нее дня на два остановится родственник из Ростова.

Отец Иван вновь принялся рассматривать комнату, которая прежде считалась у них столовой: громоздкий резной буфет из жениного наследства, такой же обеденный стол, многочисленные развешанные повсюду фотографические портреты родителей жены, маленькие фотографии детей, каких-то еще незнакомых ему лиц, несколько старых литографий. В уголке, на стенке книжного шкафа, он удивленно заметил фотографию себя самого, снятого еще до пострижения, а поодаль фотографию, изображавшую Сталина, разжигающего трубку. Отец Иван подошел к туалетному столику с трюмо — жена купила его в год их свадьбы — разложить безделушки, флакончики и коробочки, которые так любила жена, и увидел вдруг среди них какие-то подаренные им самим. В комнате было много книг — кроме шкафа, еще стеллажи и полки. Книги были все новые, советские, из старой библиотеки, кажется, ничего не осталось. Отец Иван вытащил наугад одну — роман «Бруски» — и прилег на узкую кушетку, на узорные подушечки, вышитые, наверное, еще бабушкой Катей, но не смог вчитаться. Он подумал, что теперь хорошо бы уснуть и проспять до самого вечера, до прихода жены. На минуту-другую ему и в самом деле почудилось, что он засыпает, но едва он сказал себе об этом, как сон тут же отлетел. Отец Иван вскочил, накинул плащ и, провозившись изрядно с квартирными замками — соседи уже разошлись и не могли ему помочь, — вышел на улицу.

Долгое время он шел бесцельно, узнавая город, старые улицы, площади, дома, вспоминая то, что было у него когда-то связано с ними, пытаясь понять, в чем они изменились, читал пестревшие плакаты, афиши, подходил к витринам, но лишь украдкой смотрел на людей, боясь своим разглядыванием привлечь к себе их внимание. День был ветреный, моросило. Отец Иван зашагал быстрее. У него возникла мысль зайти в какую-нибудь из знакомых церквей. Он пошел к той, в которой начинал когда-то служить, к Литейному. Она стояла обшарпанная и явно уже давно была закрыта. Отец Иван обошел еще несколько окрестных, но все они были закрыты и заколочены тоже. С некоторых сорваны кресты. В двух помещались учреждения. Отец Иван, разволновавшись, пустился вперед, наугад. По сторонам он смотрел теперь только для того, чтобы увидеть какой-то еще храм, о существовании которого он, быть может, забыл. Наконец, уже на Охте, он увидел церковь, возле которой толпился народ. Она была открыта, отец Иван стал протискиваться к двери, соображая, какой сегодня день и какой должен быть праздник, — все числа и дни у него перепутались. Он не пробился вперед и застрял недалеко от входа, у загончика, где продавали свечи. Отсюда ему почти не было видно священников и дьякона, он слышал только их голоса. По голосам ему не удавалось определить, знает он их или нет. Он дождался «отпуста» и стал в очередь приложиться к кресту, надеясь, что, подойдя ближе, увидит знакомые лица, и вместе с тем боясь, что сам будет преждевременно узнан. Но священники были незнакомые.

Он вышел из храма с таким чувством, как будто пережил некое необычайное потрясение. Сердце его колотилось, он вынужден был присесть на каменную ограду. Смысл того, что он чувствовал, был неясен. Отец Иван сидел так, приходя в себя, до тех пор, пока, переодевшись, из боковой двери храма не вышел старший священник. Отец Иван подумал было подойти к нему и спросить о ком-нибудь из тех, кто был прежде, но у священника было замкнутое лицо, и отец Иван испугался. Зато он вдруг вспомнил, что здесь же, на Охте, раньше жил его приятель, в собственном домике. Там было еще такое крыльцо под навесом, с прихотливой резьбой. Поплутав по улицам, отец Иван нашел-таки этот дом, освещенный и черный, с осыпавшейся резьбой. На стук открыла баба, по лицу — подозрительная и хитрая. Отец Иван спросил бывшего владельца. Баба, оторопев, воззрилась на него, такого оборота не ожидала даже она. Отец Иван стоял, покорно опустив руки, понимая, что получилась крупная промашка. «Уж двадцать лет как не живет!» — сказала баба и с силой захлопнула дверь.

Вечером они обсуждали положение с женой и восточным профессором. Профессор выказал при появлении отца Ивана истинно буддийское спокойствие и полагал, что разумнее всего отцу Ивану в создавшейся ситуации немедленно написать заявление в соответствующие органы и честно все рассказать о себе. Вины на нем нет, в сущности, никакой, и он вполне может рассчитывать на снисхождение. Отец Иван сказал, что не исключает такой возможности, но сначала все же хотел бы найти кого-нибудь из своих, церковных. Они стали обдумывать и это. Обращаться в адресный стол было, безусловно, опасно. Там могли насторожиться, что кто-то разыскивает священников. Поход к местному епископу также грозил неприятностями; кроме всего прочего, можно было подвести и его, дом его наверняка находился под наблюдением. О канцелярии же и говорить было нечего.

Жене наконец пришло в голову, что в Москве у нее есть подруга, Варвара Николаевна Зайцева. Ее муж стал видным советским строителем, и люди они были очень обеспеченные, однако Варвара Николаевна, несмотря на положение, которое занял ее муж, несмотря на то, что сама сделала «госпожой министершей», сохранила — с детства — религиозность и, особенно не скрывая, поддерживала отношения с духовенством. Не тратя времени даром, бывшая попадья села писать рекомендательное письмо.

Отец Иван переночевал у восточного профессора, в его комнате, походяй даже не на библиотеку, а на разоренное книгохранилище, — книг было столько, что они никак не умещались уже на полках и в шкафах, а стопками, кипами и грудками выше человеческого роста подымались от

пола, образуя перед каждым шкафом как бы еще один шкаф, так что к самому шкафу и подступиться было нельзя. Между грудями оставлены были только узкие извилистые лазы и выкроено место для кушетки, а письменный стол давно был уже завален рухнувшей на него горою. Привести все это в порядок сил у профессора не хватало. Отцу Ивану постелили на полу в одном из лазов, но, хотя спать поначалу было неудобно, запах книжной пыли действовал умиротворяюще, и отец Иван впервые за эти дни спал спокойно. Утром он выехал в Москву.

Варвара Николаевна была женщина светская, умная и не из трусливых. Отец Иван поведал ей о себе все без утайки. Она приняла его поступки и его обращение к ней как должное, как будто иначе и быть не могло. Она не смутилась ни на минуту, пристыдила его, когда он попросил прощения, что подвергает ее риску, затем подошла к нему под благословение, сама крепко поцеловала его, сказав:

— Вы мужественный человек. Не сомневайтесь, все правильно. Вы здесь очень, очень нужны. Люди нуждаются в вашей помощи, ждут ее. Время, конечно, страшно тяжелое. Наших почти никого не осталось. Сотни и тысячи в лагерях. Многих уж нет в живых. Мы, оставшиеся, должны сберечь свет Христовой Церкви в этих новых ужасных гонениях. Тьма подступает со всех сторон, но Свет светит во тьме. Несите этот Свет. Мы сделаем для вас все. Найдем вам убежище. Ничего не бойтесь, предателей среди нас нет. Поддерживайте людей, укрепляйте их веру, наставляйте их во взаимной любви, будьте им духовным руководителем. Исполняйте то, к чему вы призваны Господом.

По этим ее словам, а потом — проживши у нее неделю — по разнообразным являвшимся к ней посетителям, иногда таинственным, быстро исчезающим, по невольным услышанным намекам и обрывкам разговоров отец Иван догадался, что имеет дело скорей всего с целой общиной. Через несколько дней Варвара Николаевна, с которой отец Иван много беседовал и которая прониклась к нему, по-видимому, все большим доверием, рассказала ему обо всем сама.

Это действительно была христианская община, вернее, уже остатки общины, возникшей еще до революции вокруг одного священника, о котором отец Иван слышал, но познакомиться с ним не успел, — человека выдающегося, глубоко духовного и одновременно с наклонностью к философии, человека широких, открытых взглядов и огромного личного обаяния. Его теперь давно не было в живых. Он был арестован первый раз еще в двадцать третьем году, ненадолго выпущен и арестован снова. В двадцать восьмом году он умер в ссылке, в Зырянском крае. Его духовные дети, общинники, свято хранили его память и выстояли среди всех невзгод, поддерживая друг друга и стараясь жить по тем правилам, которые он им когда-то преподавал. У основателя было несколько преемников из его друзей, из близких общине духовных лиц. Двое из общинников сами приняли сан, уже после революции. Все это также были люди незаурядные. К несчастью, их тоже почти никого уже не осталось. О смерти некоторых было известно достоверно, другие просто сгнули без следа. Но кое-кто из духовного звания все же еще ходил на свободе, а кое-кто жил — как понял отец Иван — на нелегальном положении; так предстояло жить и ему самому. Из общинников-мирян тоже недосчитывалось уже многих — арестованных, умерших своей смертью или отпавших-таки от общины в силу разных причин. Зато прибавились и новые — главным образом из подросших детей общинников, но также и из посторонних, из обращенных каким-либо общинником знакомых, или даже из людей, вдруг встретившихся кому-то совсем случайно, но обнаруживших тяготение к Церкви и учению Христа, постепенно прилепившихся к общине и ставших ее полноправными членами. Некоторые из «первых» общинников стали ныне людьми известными и заслуженными. Один был астроном, избранный недавно в Академию наук, хотя прежде его критиковали в печати за «идеалистические тенденции». Другой был народный артист, орденосец и даже депутат. Власти были осведомлены, что он верующий, но смотрели на это сквозь пальцы. Он, разумеется, не афишировал своих связей с общиной, и многие новообращенные не догадывались о его прошлом, он был теперь просто «старым приятелем Варвары Николаевны», но кое

в чем он им помогал и даже выручал, кого мог, из беды, пользуясь своей популярностью. Он приходил при отце Иване к Варваре Николаевне, и она познакомила их, не говоря, впрочем, артисту всего. Выражение сановника, озабоченного тысячами неотложных и важных дел, вдруг исчезло с лица этого человека, сменившись выражением малость суеверной богобоязненности — как у кающегося купца или кулака-мироеда (их он обычно и играл у себя в театре или в кино), — но в течение вечера поминутно возникало опять. Кроме артиста и астронома, были и еще люди с положением, правда, менее известные, кто-то из научных работников, несколько художников. Но душой — в той мере, в какой общинная жизнь еще теплилась, — были, конечно, не эти люди сами по себе, а их жены.

Отец Иван провел у Варвары Николаевны неделю с лишним, отдыхая после пережитого в ее большой богатой квартире. Муж ее по случайной возможности на второй день отбыл в командировку. Отец Иван продолжал быть для большинства гостей Варвары Николаевны «родственником ленинградской Кузнецовой». Но долго оставаться здесь было неудобно. Отца Ивана поместили к одинокой набожной старушке, жившей на окраине в собственном доме. Соседям старушка объяснила, что сдала жильцу угол. Стараясь жить, как обычный жилец, — их полно было во всех соседних домах, — отец Иван уходил из дому рано утром, будто бы на службу, трясся в битком набитом трамвае, приходил к Варваре Николаевне, а вечером, попозже, возвращался к старушке.

В один из таких дней Варвара Николаевна предупредила его, чтобы он ждал гостя. Уже затемно молодой человек, доверенный Варвары Николаевны, привел гостя. То был епископ Ермоген. Аскетический дух, усугубленный подпольным положением, в котором епископ жил уже многие годы, сиял в его чертах страшным испепеляющим светом. Он долго разговаривал с отцом Иваном, рассказывая скупно о себе и больше выпрашивая, отчего у отца Ивана создалось убеждение, что епископ о нем все достаточно хорошо уже знает, что, вероятней всего, по каким-то тайным каналам о нем уже были наведены справки, и эта встреча нужна епископу, чтобы самому увидеть: годится ли отец Иван для дела?

Епископ привез с собой облачение для себя и для отца Ивана и богослужебные книги. Позвав старушку и молодого человека, они вместе отслужили вечерню. Отец Иван не помнил, как они допели «Ныне отпускаеши раба твоего», не помнил, как они снова уединились. Черный, нестерпимый свет сжигал его.

— Надо сохранить силы, — говорил епископ. — Выстоять. Мы — католическая Церковь. Сберечь ростки. Настают, может быть, последние времена. «И освобождены были четыре Ангела, приговоренные на час и день, и месяц и год, для того чтобы умертвить третью часть людей». Война полыхает на Западе. Она уже близко. Государство должно будет опереться на Церковь. Без нее народ ему не поднять. Мы должны быть готовы...

С этих пор отец Иван начал свершать у старушки ночные богослужения, на которые приезжал кто-нибудь из общинников.

Вскоре, однако, соседи донесли, что у старушки живет без прописки жилец. Отцу Ивану пришлось сменить убежище и затем в течение месяца менять еще не однажды. Он ночевал теперь иногда у совсем незнакомых ему людей, утром за ним приходили и переводили его на новую квартиру. Он чувствовал, что производит на хозяев такое же впечатление, какое епископ Ермоген произвел на него самого. Два или три раза он ночевал в мастерских у художников, среди нагромождения холстов, укрытых мокрыми тряпками скульптур на вертящихся станках, реалистических заказных портретов стахановцев и робких композиций, выполненных «для себя» или оставшихся от времен «мира искусства» и кубизма. Выправить ему какие-нибудь документы Варваре Николаевне никак не удавалось.

В конце месяца ему нашли подходящую квартиру за городом, Варвара Николаевна сама отвезла его туда. Дом большой, крепкий, на высоком фундаменте, обшитый досками, стоял не в самой деревне, а на отшибе, перед неглубокой, широкой ложбиной, за которой начинался лес. Дом был одноэтажный, но с утепленной мансардой, где и предстояло жить отцу Ивану. Хозяева не принадлежали общине, но были люди верующие и верные. Детей у них не было. Помимо них, в доме жила еще сестра

хозяйки, переехавшая сюда с Украины, где незадолго перед тем ее муж и все его родственники были раскулачены и посажены, а маленький сын среди всех треволнений и мытарств умер. От этого она была немного не в себе, но вообще была женщина незлая и, как и сами хозяева, надежная.

Отца Ивана поселили в мансарде. Он полностью перешел на ночной образ жизни: ночью выходил во двор посидеть на завалинке, подышать свежим воздухом, днем спал или читал наверху. Там же по ночам он служил Литургию, на которую из города приезжали его прихожане.

Среди новых прихожан отца Ивана была одна старушка, существо милое и трогательное. Сразу же полюбив отца Ивана, она нежно заботилась о нем, всегда привозила ему из города чего-нибудь, как она говорила, «вкусненького» и обязательно новую книгу, «чтобы он не скучал». Она и сама на удивление много читала. «У меня и запрещенные книги есть, — как-то сказала она отцу Ивану. — Страшные, запрещенные книги. Ну, тебе так и быть привезу. Чтоб ты знал, какие вещи на свете бывают». В следующий визит она привезла ему незнамо как попавший ей томик Ницше, прибавив: «Ох, издрожалась вся, пока везла. Насилу доехала»¹. Ее муж и десятилетний внучок развлекались тем, что подкладывали ей в тумбочку атеистические брошюры, а также различные полунаучные издания с иллюстрациями, особенно по биологии. И то и другое приводило ее в ужас, но любопытство брало верх, она их прочитывала или просматривала, и прочитанное или увиденное (например, фотография дождевого червя под микроскопом) преобразилось у нее в удивительные фантастические картины. «Вот, пишут, — как-то сказала она, — что теперь доктора человеку голову отрежут, а голова-то отдельно в сосуде у них и живет... Я вот что думаю: когда я помру, пусть и мне так сделают. Отрежут голову, голова-то, глядишь, еще и поживет. Я и посмотрю еще маленько, как оно и что...»

Однажды она сказала отцу Ивану:

— Вот, говорят, что дворяне плохие люди. Что они и в паровозах людей сжигали, и красные звезды на спинах вырезывали. Может, и так. А только я тебе по секрету скажу, что не все. Вот моя Натальюшка, невестка, самого что ни на есть дворянского рода, из князей, а какой душевный человек. Добрая какая, ласковая. Хотя в церковь и не ходит, а понимает. Девочку чужую воспитывает с малых лет как свою родную. Лучше, чем о сыне, заботится. И девочка-то какая милая выросла, умница. Только вот нервная очень. Из князей Х-овских моя Натальюшка. Может, слышал?

Отец Иван не сразу решился нарушить конспирацию, потом все-таки не выдержал, и ликующая старушка повезла от него привет своей невестке. Какое-то время они обменивались поклонами и короткими записками; к зиме отец Иван стал изредка выбираться в город, и они условились, что он зайдет к Наталье Михайловне домой.

Они встретились так, словно были знакомы не три дня двенадцать лет назад, а всю жизнь, чуть не с детства. Быть может, сообщено это чувство было с самого начала присутствием девочки. Наталья Михайловна улучила момент сказать отцу Ивану, чья это дочь, сделал ему знак не вести при ней разговор о прошлом. Отец Иван, ошарашенный, долго приглядывался к девочке, милой, серьезной, воспитанной, но, видно, почувшавшей что-то и никак не желавшей уходить. Бабушка, сопровождавшая сюда отца Ивана, почти что силой тянула ее вон из дома, к себе на Спиридоновку. Девочка упрямылась и выдумывала разные предлоги, чтоб задержаться еще. В конце концов они ушли.

— Так вон оно что, вон оно что, — все приговаривал после их ухода отец Иван. — Вот, значит, как оно бывает. Значит, вот чья это дочь. Понятно, понятно. Но, позвольте, значит, ведь это так же дочь?..

— Этого я не могу вам сказать. Мне самой на этот счет ничего сказано не было, — отвечала ему Наталья Михайловна.

— Понятно, понятно, — опять начал приговаривать отец Иван, жалея, что все же не разглядел девочку как следует.

Они вспоминали свою первую встречу в Германии, всех знакомых,

¹ Эта книга, действительно, до сих пор не выдается в общедоступных библиотеках, но старушка, конечно, имела в виду не только это.

рассказывали друг другу о себе. Тут отцу Ивану пришла мысль, что он и сам должен был принять какое-то участие в девочке, и он сказал об этом Наталье Михайловне.

Наталья Михайловна твердо сказала: нет, не надо.

— Не надо. Она и так немного неуравновешенна. Я боюсь, как бы это не выбило ее из колеи еще больше.

— Вы боитесь, что я на нелегальном положении? — спросил отец Иван, хотя и предполагал, что дело не только в этом.

— Да, и этого боюсь тоже. Но больше всего боюсь, что не впрок ей будет ваше духовное спасение. Такое ведь бывает, отец Иван, вы сами знаете, что так бывает.

— Она похожа на мать?

— Нет, что вы! — запротестовала Наталья Михайловна. — Хотя ту я в молодости ведь совсем не знала... Но насколько я ее себе тогдашней представляю. Иногда, конечно, напоминает, жестом каким-нибудь, голосом, интонацией. Это ведь передается... А так нет, вовсе не то... Вы знаете, — сказала она, вдруг устыдившись, — я вот что подумала... Если хотите, поговорите с ней. Может быть, это и будет ей полезно.

— Нет, нет, вы были правы, — сказал отец Иван. — Лучше не надо.

— Ее теперь ведь вряд ли удержишь. Я вижу, что она почуяла в вас что-то. Или бабушка не утерпела и шепнула ей. Я, правда, просила ее этого не делать. Но наша бабушка уж совсем без ума от вас. Святой, говорит, вы человек. Может, вы и в самом деле святой? Хоть посмотреть-то на святого, посидеть раз в жизни со святым.

Отец Иван укоризненно глянул на нее. Наталья Михайловна вспыхнула:

— Ох, извините меня, ради Бога. Я со своим сыном и сама стала такой воинствующей материалисткой, что дальше прямо ехать некуда... А может, вы и вправду святой? Как странно, Господи, — задумчиво сказала она. — Ведь вас эти люди действительно почитают святым, да? Вы там и чудеса какие-то уже совершаете. Бабушка рассказывала тут одну историю. Я только не запомнила всего, потому что никак не связывала с вами сначала. Рыбу какую-то вы ее послали купить, не помните? Она сказала, что никакой рыбы теперь и в помине нет, кроме селедки, а вы сказали, что обязательно будет. И точно, в магазинах не было ничего, а на базаре один-единственный мужик продавал рыбу. У бабушки и еще продолжение было, только ей внучок с дедом не дали дорассказать, засмеяли бедняжку... Скажите, что ж, остальные там тоже так к вам относятся?

— К счастью, не все, наверное. Нехорошо это. Соблазн. Большой соблазн от этого может произойти, — огорчился отец Иван.

— Соблазн для иудеев, для еллинов безумие, — вспомнила Наталья Михайловна. — Забыла только, к чему это относится. У меня теперь и Библии-то нет. Я тут как-то хотела почитать, так бабушка свою не дает, даже мне. Куда наша делась, ума не приложу. За всеми этими переездами да передрыгами...

— Вам трудно приходилось?

— Да, нелегко. С двумя детьми все-таки... Быт тут тяжелый. Сейчас как-то полегче стало, дети выросли, да и вообще жизнь успокоилась... вроде бы. А первые годы, особенно когда с отцом это случилось, было скверно. Одни очереди чего стоят. Часами ведь, бывало, стоишь, с ночи, чуть ли не сутками. В мороз, в дождь, все равно стоишь... А тут еще скотина такая наглая из магазина выйдет, кричит: «Не стойте, хлеба сегодня не будет!» Ну и идешь домой, плачешь... Но я все равно не жалела, что я здесь. Даже о Канарских островах не вспоминала, не говоря уж о Германии. А отца, отца все равно не тронуть — он тут как белая ворона был, так что лучше, что я оказалась с ним рядом. А сейчас вообще привыкла, втянулась. Даже нравится.

— А-а, вот видите, вот видите, — очень тихо, покраснев, сказал отец Иван. — И мне тоже. Мне тоже здесь нравится! Люди нравятся, молодежь. Их энтузиазм нравится. Все веселье, здоровье. Я ведь их вижу — в электричках, на улицах... А быт, что ж? Быт — дело поправимое, наживное. Я ведь всегда хотел вернуться сюда... — Он помрачнел. — Знаете, я ведь по своей сути самый заурядный человек. Правильней сказать —

простой мужик. Я хотел бы жить самой обыкновенной жизнью... вместе с ними, со всеми.

— Это сложно, — заметила Наталья Михайловна.

— А я хотел бы. Я бы смог. Ходить на службу, быть каким-нибудь инженером или слесарем, выпивать после работы, спорить о футболе, даже перекинуться в карты, как они в пригородной электричке. Я думаю: неужели все это обречено? Неужели и вправду эта война, которая, утверждают, близко, означает конец? Я не думаю, что это так, что наступают последние дни. Я знаю, здесь много накопилось греха, много несправедливого, ужасного. Знаю, что нет ни одной семьи, где не пострадал бы кто-нибудь, отец или сын. Но это пройдет, я верю. Сейчас ведь везде так. Мир проходит такую полосу. В Германии, в Италии, всюду одинаково. Но это пройдет. Начнется нормальная жизнь... Как я хотел бы жить нормальной, обыкновенной жизнью, со всеми... И вместо того я — как призрак. Появляюсь, исчезаю. Монах не монах, поп не поп. Бороды нет, затылок стриженный, нос длинный, все никак не могу привыкнуть. Не женат, не разведен. Есть дети, нет детей. Призрак, чистый призрак. — Он перевел дыхание, но успокоиться не мог и возобновил: — И для этих моих я тоже призрак. Они славные, добрые люди. Заботятся обо мне, рискуют ради меня. Я их люблю. Но я для них призрак. Они живут обычной жизнью, радуются ей — я за это на них не в обиде, наоборот, я одобряю их в этом. Только у них есть в этой жизни тайна... И эта тайна — я. А я не создан для того, чтобы быть тайной, олицетворять собой тайну. Может быть, это оттого, что я не чувствую себя ей сопричастным? Может быть, мне просто не дано веры? Господи, помоги моему неверию!.. Но я хотел бы жить другой, обычной жизнью.

— Наверное, в вас совсем нет честолюбия, — сказала Наталья Михайловна.

— Не знаю. Я, пожалуй, тот самый еллин, которого вы помянули. Мне тяжело, что я так обманываю людей. И моих, и вообще всех вокруг. Моих особенно. Они ждут от меня чудес. У них у самих все время какие-то вещие сны, знамения. И у меня, глядя на них, тоже, знаете ли, начались какие-то видения, во всем мне стали чудиться тайные знаки... Вот сегодня, например, я вам сразу не сказал, когда вспоминали про знакомых. А мне померещилось, что по дороге к вам я встретил, знаете кого? — Проровнера! Помните такого? Стоял в заграничном пальто, клетчатом, возле гостиницы «Националь». Маленький такой, еще, кажется, подсох. Он-то меня, скорей всего, не узнал. Я без бороды, все-таки узнать трудно. Он только окинул меня таким высокомерным взглядом, потому что я очень уж на него уставился, и он, видно, старался вспомнить, кто я. Если, конечно, это и в самом деле он. Но это для меня даже сейчас неважно: он или всего лишь похож на него...

— Еще бы не помнить, — остановила его Наталья Михайловна. — Андрей Генрихович тогда, еще в N, почему-то был уверен, что Проровнер — советский разведчик. Испугался страшно. Все требовал, чтобы мы немедленно уехали. Не знаю, на чем основывалась его уверенность. Никаких доказательств у него, разумеется, не было. Хотя они с первых дней было понравились друг другу. Возможно, Проровнер намекнул ему как-то или проболтался. Не думаю, впрочем. Вернее, пожалуй, что в Андрее Генриховиче выиграло его юдофобство. Но он, особенно после того, как убили Дмитрия Николаевича, клялся, что сомнений у него нет.

Отец Иван обрадовался:

— Вот видите! Это и впрямь что-то объясняет. Что? А то, что едва этот человек глянул на меня, так я сразу почему-то подумал, что этот взгляд может означать только одно: пойди и немедленно все расскажи о себе!

— Куда пойдешь? — не поняла Наталья Михайловна.

— Как куда? Туда... в органы, как это у вас называется. Ну, чтоб я пошел в органы и, не усугубляя дальше свою вину, признался, кто я и что я.

— Господи! — воскликнула Наталья Михайловна. — Если б вы жили другой жизнью, я сказала бы, что вам надо просто-напросто отдохнуть. Поехать в дом отдыха куда-нибудь... Видите, я еще не потеряла способности шутить. А ведь правда, вас надо куда-нибудь пристроить, чтоб вы

могли сменить обстановку. Не в дом отдыха, разумеется, а к кому-то на дачу, что ли. Не под Москвой, а где-нибудь на Юге, скажем. Хотите в Крым? У меня у знакомых есть там домик. Они добрые люди и вас примут.

— Нет, это невозможно, — вздохнул отец Иван. — Говорят, прятаться лучше всего в Москве. Я же совсем без документов. А в маленьком городе человек весь как на ладони. Мне обещают достать документы, но теперь с этим, говорят, стало очень трудно.

— Что же делать, что же делать? — заметалась Наталья Михайловна.

— Да вы не беспокойтесь, — стал утешать он ее. — Это ведь так все, химеры. Я никуда, конечно, не пойду. Хотя я часто об этом думаю. На мне люди. Я не могу их подвести. Нет, я бы их и не подвел. Я бы никого не назвал, даже под пытками. Я не боюсь лагерей, выдержу и пытки. Если б просто мучили и ни о чем не спрашивали. Плохо, что душу выматывать будут. Я ведь для них тоже буду призраком. Мученик, герой, борец за веру. Будут доискиваться тайны. Им ведь не нужны настоящему те люди, которых они будут заставлять меня выдать. Им нужна тайна, неведомое. И опять будет комедия, обман. Они-то мне не поверят, что я этой тайной не обладаю...

XXIV. Попутчик сексуальной революции

Лев Владимирович был дома. Более того, он в этот сравнительно ранний час — как с порога заметил Мелик — уже успел выпить. Он был, конечно, не один, на вешалке висели мужское и женское пальто, и он ждал еще кого-то. Увидя Мелика вместо этого еще-кого-то, он от неожиданности вздрогнул и несколько мгновений стоял, сомневаясь, пустить его или нет. Затем какое-то соображение пришло в его нетрезвую голову, он расцвел и даже заторопил входить. Дверь в его комнату была открыта (и в комнату соседа-шофера тоже), слышалась негромкая музыка.

— Что это у тебя, прием? — спросил Мелик.

Лев Владимирович не ответил и только слегка подтолкнул его сзади коленом. В комнате на диване сидела девица лет двадцати двух, с пышно взбитой прической или в парике (Мелик сразу не разобрал), в платье, явно сшитом на заказ и по моде, но очень скверно, в каком-нибудь второразрядном ателье. Она могла бы сойти за хорошенькую, если б не надутое, глупо-спесивое, неприступное и нелюбезное выражение, которое она придавала своему лицу. На руках ее были кольца, но дряннее, чем у инженерши в лаборатории. Тут же на диване, однако на некотором расстоянии от нее, обретался незнакомый Мелику джентльмен лет сорока, светлый блондин, почти альбинос, с гладко зачесанными назад волосами и стальными глазами, молодцеватый, подтянутый, в хорошем сером костюме, белой крахмальной рубашке и при галстук; разве что узелочек галстука был по нынешним временам немного маловат, не более ногтя.

Лев Владимирович представил им Мелика, еще раз исподтишка подтолкнул его.

— Вот, прошу любить и жаловать. Это наш богослов, великий церковник! — объявил он.

— Ну, какой уж я богослов, — вдруг смутился Мелик, что его так аттестовали перед незнакомым человеком. — Какие уж теперь богословы. Ведь Бог же умер...

Лев Владимирович сбоку вытаращился на него. Белоголовый благожелательно протянул руку, весело и смело глядя Мелику прямо в глаза. Рукопожатие было коротким и сильным, но фамилию свою он не назвал.

— Это вы хорошо сказали: «Бог умер». — Белоголовый мягко и приветливо улыбнулся. — За границей сейчас много об этом говорят. Одни говорят: «Бог умер», другие: «Его убил человек». Это специалист в данном вопросе, но слежу за дискуссией с интересом. А вы, Лев Владимирович, — живо повернулся он, — видите, вы были не правы, говоря, что наша молодежь нынче тянется к религии. — В доказательство он показал рукой на Мелика. — Вот, религиозные ценности не имеют хождения в ее среде. То, что наблюдается у некоторой небольшой ее части, — это лишь временное влияние моды. Давайте стакан Валерию Александровичу и льда захватите.

Они пили виски. Пузатая бутылка стояла на журнальном столике, на письменном столе крутился магнитофон.

Лев Владимирович, недовольный, вышел на кухню. Мелику, хотя белоголовый и причислил его к молодежи, будучи сам вряд ли старше него, было приятно, что тот так зацепил Льва Владимировича.

Они выпили, причем белоголовый налил Мелику почти полный стакан. Лев Владимирович остался стоять, так как место его занял Мелик, и немного пританцовывал под музыку, но как-то нервно.

— Нет, все-таки это вы не правы, — попытавшись быть непринужденным, воскликнул Лев Владимирович. — Это разные стороны одной и той же эдиповой ситуации. Люди убили своего отца. И вот один хочет поскорее забыть об этом. Другой, помоложе, наоборот, интересуется, спрашивает: а кто был мой отец? Третий говорит: у меня не было никакого отца, я родился от обезьяны. Правда, Галочка? — заискивающе обратился он к девице.

Та сидела, однако, как истукан и отказывалась пить, говоря грубо и низко: «Желудок болит». Белоголовый снисходительно усмехнулся:

— Но ведь его действительно не было!

Теперь девица криво улыбнулась. Мелик понял, что они здесь уже давно изгибаются один перед другим, чтоб заслужить ее одобрение, и, кажется, она отдаёт предпочтение белоголовому.

Лев Владимирович горячился:

— Быть может, Его и в самом деле не было. Не это сейчас важно. Важно, что Он присутствовал в культуре, которой мы сформированы. А у нас всегда присутствовало чувство вины, чувство стыда.

— Какого стыда, Лев Владимирович? — удивился белоголовый.

— Например, в сексуальной форме! — торжествовал Лев Владимирович. — Он преодолевается только теперь в результате сексуальной революции, которая разворачивается сейчас во всем мире и рождает новый строй чувственного восприятия, ведущий к радикальному преодолению эдиповой ситуации!

— Да, это поразительная вещь, — согласился белоголовый. — За границей видишь все эти журналы, которые продаются в киосках, эти filmy. Есть специальные магазины секса. Прямо в открытую показывают, ничего не стесняются! Наш сослуживец долго прожил в Бельгии, рассказывает: еду в электричке, было мало народу, молодые люди, лет пятнадцать, прямо при мне начинают... Я, говорит, на станции вышел, а что делать?..

Девица ханжески закивала головой.

— Нет, вы не правы! — закричал Лев Владимирович. — Сексуальная революция — это не только западное явление! У нас она уже произошла, а ее начало совпало по времени с началом революции социальной! Ведь сексуальная революция означает прежде всего распад патриархальной семейной ячейки, уничтожение замкнутых кланов, различных барьеров между слоями общества, освобождение женщины! Радикализм нравственный и радикализм политический неотделимы друг от друга! Помните, как у Карла Маркса в «Коммунистическом манифесте»? А ваши жены и так проститутки! Вы нас обвиняете, что мы хотим обобществить жен, а ваши жены и так проститутки! Отрицание оппозицией морали существующего общества позитивно, поскольку оно предвещает новую культуру, которая воплотит в себе гуманистические идеалы, преданные старой культурой! Предвещает возникновение морали, способной подготовить человека к свободе! Новый строй чувственного восприятия, который рождается на наших глазах, выражает очищение жизненных инстинктов от агрессивности и чувства вины. Его утверждение на Западе в масштабе всего общества способствовало бы возникновению насущной потребности в уничтожении несправедливости и нищеты.

— У нас это уже осуществилось, — уточнил белоголовый.

— Конечно, конечно, — заспешил Лев Владимирович, дрожащей рукой наливая стаканы. — Но процесс продолжается! — Он вдохновенно поднял стакан. (Мелик его таким еще ни разу не видел.) — Процесс, при котором жизненные инстинкты найдут повсюду свое окончательное рациональное выражение в планировании общественно необходимого внутри различных отраслей производства, в установлении первоочередности це-

лей и в выборе не только того, что производить, но и в какой форме. Раскрепощенное сознание будет содействовать такому прогрессу науки и техники, который позволит, используя возможности формы и содержания, вскрывать и реализовывать способности людей и вещей, облегчать и украшать жизнь. В дальнейшем техника обнаружит тенденцию к превращению в искусство, а искусство — к тому, чтобы формировать действительность. Тогда наконец станет несущественной противоположность между воображением и разумом, большей и меньшей одаренностью, поэтическим и научным мышлением. Утвердится новый Принцип реальности, согласно которому новое чувственное восприятие и освобожденный научный интеллект объединятся в создании эстетической морали! Это будет восприятие мужчин и женщин, которым не приходится более стыдиться себя, поскольку они преодолели чувство вины; они научились не отождествлять себя с лжеотцами, создававшими Освенцим и Вьетнам, камеры пыток всех мирских и церковных охранок, гетто и мемориальные храмы корпораций, а потом смирявшимися со всем этим и забывавшими обо всем этом, веря, по Гегелю, что все действительное разумно!.. Если когда-нибудь мужчины и женщины в своих поступках и в своих мыслях освободятся от такого отождествления, они разорвут цепь, связывающую отцов и детей из поколения в поколение. Им не нужно будет испускать преступления против человечности, но они должны будут освободиться, чтобы остановить эти преступления и предотвратить их в дальнейшем!

В невероятном волнении, весь дрожа и приплясывая на своих худых, уже старческих ногах, он с трудом, расплескивая недопитое виски, поставил стакан на книжную полку и обеими руками попытался расстегнуть тугой ворот рубахи. Наконец ему это удалось, пуговица отлетела, он подрастпустил галстук, злобно посмотрел на девку, которая, пожалуй что, переместилась теперь ближе к белоголовому, чем минутой раньше, и, напрягшись, продолжал:

— Новый строй чувственного восприятия становится, следовательно, вопросом практики, складываясь в борьбе против насилия и эксплуатации, за принципиально новые пути и формы жизни, когда полностью отвергается установившаяся система с ее моралью и культурой и утверждается право строить общество, где ликвидация бедности и тяжкого труда ведет к созданию мира, в котором чувственное и веселое, спокойное и прекрасное делаются формами существования, а значит, и Формой — Формой с большой буквы — самого общества!

— Да-а, — вздохнул белоголовый, обращая свой открытый и дружеский взгляд то на Мелика, то на девку, — когда бываешь за границей, видишь всю бесчеловечность угнетения, присущего капиталистическому строю. Богатство соседствует с нищетой. В городах невозможно дышать...

— Сейчас, сейчас, — перебил его Лев Владимирович. — Вы не дали мне кончить, я сейчас кончу. Мне важна эта мысль. Я хотел сказать, что идея прекрасного выражает сущность эстетической морали, подводя общий знаменатель под эстетическое и политическое! (Теперь он обращался уже к Мелику.) Прекрасное как объект желаний принадлежит к сфере первичных инстинктов — Эроса и Танатоса. Мифы связывают воедино два враждебных начала — наслаждение и ужас. Красота обладает властью пресекать агрессию, красота сковывает и расслабляет агрессора... Красота спасет мир.

Те двое вели свою бессловесную игру: девка была тайно возбуждена и, пытаясь удержать свое ханжеское выражение, дико косила глазами в сторону белоголового, который не пускал еще в ход руки, но незаметно терся об нее плечом, локтем и коленом. Тем не менее собранность его была такова, что едва Лев Владимирович сделал паузу, как он сказал:

— Красота — это не только красота женщины или художественного произведения. Это также красота революции, массового революционного действия. Поскольку рабочий класс по-прежнему занимает ключевые позиции в процессе производства, является массовой силой и несет в капиталистических странах бремя эксплуатации, он остается историческим агентом революции. — Сказав это и бросив на них открытый и смелый взор, он вновь грациозно подвернул свой ладный корпус к девке.

— Интересно, — сказал Мелик, борясь с чувством симпатии к белоголовому.

Лев Владимирович махнул на Мелика рукой и встал в позу, декламируя:

— Прекрасная Медуза превращает в камень всякого, кто взглянет на нее. Посейдон, лазурновоусый бог, возлежал с нею на мягком лугу, в постели из весенних цветов. И вот она убита Персеем, и из ее обезглавленного тела появляется на свет крылатый конь Пегас — символ поэтического воображения! Это ли не родство ужасного, священного и поэтического, но также и красоты, и чувственной радости?.. Что ты понимаешь в этом, ублоудок?

Спohватившись, он вдруг быстро выскочил из комнаты, все еще шутовски приплясывая, как мальчик. Через мгновение он появился снова и из коридора поманил Мелика пальцем. Белоголовый и Мелик, взглянув друг на друга, рассмеялись.

— Что за человек? — спросил Мелик; выходя ко Льву Владимировичу. — Литературовед какой-нибудь, партийный, да?

Тот нетерпеливо и заговорщицки поманил его еще дальше, на кухню.

— Есть хочешь? Возьми там, за окошком, есть колбаса. Пойщи чего-нибудь. Слушай, только знаешь что, позвони-ка сначала девкам.

— Каким девкам?!

— Каким-нибудь, какая разница! — Он раздраженно закипел. — Ты что, не видишь, что нужны девки? У тебя же есть девки. Звони! Я своим не могу дозвониться, никого не застану, черт побери! Звони, не валяй дурака. Сейчас еще люди придут, Валечка твоя. Но этого мало, надо сегодня погулять как следует. В ресторанчик сходим, столик закажем...

— Значит, Валю ты уже успел, сука, — с натугой сообразил Мелик, совершенно ошеломленный всем поведением Льва Владимировича сегодня. — Но у меня все равно нет денег.

— Твою мать! — закричал тот театральным шепотом. — Успел, не успел! При чем здесь деньги! Будешь жрать на мои!

— А как же приглашать, если мы уйдем? — глупо спросил Мелик.

— Бог мой, какой ты все-таки болван! Пригласи туда или здесь посидят, подождут. Я могу посидеть, их встретить, а вы вперед пойдете. Звони, звони, меньше разговаривай.

— Да я уже звонил сегодня, — уперся Мелик. — Никого нет дома. Рано еще.

— Кому ты звонил? Тогда было рано, а теперь уже почти два.

Мелик вдруг сообразил, что Лев Владимирович, конечно, только лишь ради этого и впустил его: хотел обеспечить девками себя и каких-то еще своих приятелей, которые должны будут скоро прийти: пообещал им, что будут девки, а у самого сорвалось.

— А что это за человек? — уже холодным тоном повторил Мелик.

— О, это человек что надо, — хвастливо сказал Лев Владимирович, но хитро прищурился. — А девку видал? Между прочим, целка. Только врет все. Говорит: документы потеряла. Из дому ушла. Врет.

— Что-то странное у тебя сегодня настроение, — сказал Мелик. — Революция, Посейдон, целки... Ты и правда так думаешь?..

— А что тебе сделал плохого Посейдон? Посейдон, лазурновоусый бог, лежал с нею...

— Это повторение, — сказал Мелик.

— А ты — м... Тоже хорош. Бог у него, видите ли, умер. Сука! За чем тогда лезешь?! Ну, звони же. — Лев Владимирович искательно приложил руку к груди. — Звони, сегодня нужно выпить, есть повод.

Мелик разом вспомнил, зачем его посылал сюда сумасшедший.

— А что за повод? — торопливо спросил он.

Лев Владимирович погрозил пальцем:

— Тебе этого знать не дано. Видишь, выискался!

— С Танькой, что ли, опять сошелся? Решил на радостях гулять напоследок?

Лев Владимирович сделал какую-то рожу, но не успел ответить: в дверь начали трезвонить, балуясь, без передышки. Он бросился открывать.

Вошли сразу четверо, шумно и пьяно приветствуя его и белоголового, тоже высунувшегося из комнаты. Как и обещал Лев Владимирович, среди

них была Валя, на которой Мелик два года назад подумывал жениться, чтобы принять сан. Увидев Мелика, она изобразила крайнее удивление, пьяный восторг и, подбежав к нему, широко обняла и стала целовать его мокрыми толстыми губами. От нее сразу пахло водкой, духами, потом, но также и еще чем-то весенним, загородным. За нею была еще какая-то незнакомая девка, за нею два мужика: один — пожилой, возраста Льва Владимировича, коренастый и лысый, другой — несколько моложе, в спортивном пиджачке, с лицом отставного боксера, гангстерской, выдвинутой вперед челюстью, коротко остриженным прямым, посеребренным сединой затылком. Этот был, похоже, трезвей остальных, и фамилию его Мелик разобрал сразу, потому что мельком слышал ее однажды, — прошлый раз находясь у Льва Владимировича, — Понсов.

Лев Владимирович суетливо носился туда-сюда, принося им стаканы, стулья и доставая теперь откуда-то коньячок, консервы и другую закусь. Все было страшно возбуждено и весело, будто после какого-то удачно закончившегося дня, хотя при внимательном рассмотрении — немного утомлены, особенно вторая девица: вид у нее был опухший, помятый, лицо — брезгливое и неприязненное. Не лучше выглядел и лысый. Он, правда, пытался смеяться (обнаружилось, что все зубы у него во рту золотые) и рассказывать дальше про то, про что начал, вероятней всего, уже давно и про своего сына, Васюху, и про своих внуков — это был нежный отец и дед, но у него только что случился шейный прострел, он не мог повернуть голову вправо, резкое движение причиняло ему боль. Они все четверо были где-то за городом, — как понял Мелик из их отрывочных восклицаний, — лысого с золотыми зубами продуло; Понсов вел машину. Он и сейчас стал было отказываться пить, ссылаясь, что он за рулем, но лысый почти скомандовал, охая, хватаясь за шею и пытаясь скрипеть своими золотыми зубами:

— Пей! Как-нибудь доедем. Сам шоферил, знаю. Здесь два шага.

Тот осклабился на эту начальственную ласку; налил себе коньяку по-простому, сразу полный стакан, и выпил его затем в несколько глотков, как водку или воду, запрокинув голову и двигая своим мужественным кадыком.

Белоголовый дружески улыбался им всем.

— Ой, намучилась я сегодня! — шепнула Валя, по-хозяйски управляясь с магнитофоном, а затем подсаживаясь к Мелику и касаясь своими мокрыми губами его уха.

Мелик услышал, как начальник с золотыми зубами спрашивает Льва Владимировича: кто это? — и как Лев Владимирович поспешно объясняет: это мой приятель, свой парень, он сейчас еще девочек приведет, только только звонили. Тому, впрочем, было уже все равно: он держался за шею и кричал, пропуская рюмку за рюмкой в надежде унять боль. Лишь мысль о Васюхе поддерживала его: Васюха был военный переводчик и пока что гнил где-то в тропической Африке, но денег у него было уже на две «Волги», и папаша предрекал ему будущность консула.

— А где вы были-то? — спросил Мелик, отодвигаясь из опасения раздражить понапрасну чужих.

Она бегло взглянула на него:

— Да так... Но история, я тебе скажу, первый раз я в такую попадаю... Я с этой дурой так намучилась, так намучилась. — Она показала на свою товарку, которая сидела на диване, опустив глаза, пунцовая и свирепая, рядом с той, первой девицей, Галочкой.

Эта, хотя они, как две капли воды, были похожи друг на друга, одинаково причесаны и в платьях одного покроя, была шокирована таким соседством или вообще всей компанией и впала в свое прежнее истуканское состояние, презрительно корчась на заляпанные грязью лакированные сапоги соседки.

— Это Тамарка, мы в техникуме вместе учились, — не унималась бывшая меликова невеста, — в общегитии вместе жили, койки рядом. Ну, мы-то давали шороху, и пили, и... все такое, а Тамарка ни-ни, невинность блюла, в институт поступила. Все в Москве хотела остаться. Как будто в Москве иначе остаться нельзя. Я вон шесть лет без прописки живу — и ничего! Замуж она все хотела выйти. Вот, познакомилась с парнем, ей уже кончается срок, кончает она институт. Она все тянула, не давала

ему. Теперь срок кончается. Она вроде подпустила его, только, говорит, осторожно, я девушка. А он говорит: ах, ты девушка? так иди ты отсюда на х..., ты мне не нужна такая! Что за парень, не пойму, м... такой? Испугался, что ли, чего? Может, импотент, испугался, что не справится? Ты не знаешь? Теперь что характерно. Эта пришла ко мне сегодня в слезах: давай, говорит, помоги, у нас с ним сегодня последнее свидание, упростила его, говорит. Сказала, что, мол, пошутила. Давай, говорит, надо мужика найти, до семи часов время. В семь он с работы приходит. Я звонить сразу туда-сюда, ей ведь тоже просто с улицы не возьмешь, заботится, еще крик подымет, подцепит еще чего-нибудь. Никого нет! Утро, что сделаешь, все служат. Хорошо догадалась Левке позвонить, а у него как раз эти сидят, за город по делам на машине собираются. Ну мы сюда, ну и поехали, познакомились. Он ее в лесочке и трахнул. — Она кивнула на Понсова. — Теперь она того в два счета охомукает.

— Хм, а вдруг, наоборот, нет?

— Я тебе точно говорю. Я его видала. Тухлый м... Он сам ни разу не нюхал.

— А кто этот Понсов, шофер? — уклонился от спора Мелик.

— Нет, что ты, он научный работник, — с уважением сказала она. — С шофером она бы не стала.

— А по какому поводу такое веселье-то? — снова спросил Мелик теперь уже у нее.

Она явно была в курсе чего-то, но промолчала, лишь посмотрела, как показалось Мелику, немного странно и даже сделала движение, чтобы уйти. Мелик удержал ее за руку, сдавив, усадил опять. Посмотрел, но все по-прежнему почтительно слушали лысого, который сквозь стиснутые золотые зубы, не останавливаясь, продолжал бубнить про Васюху, а заодно и про себя, и про свою жену, Настеньку, плечом к плечу прошедшую с ним всю войну. Только Лев Владимирович как будто был слегка обеспокоен таким долгим меликовым разговором и последней пантомимой.

— Я где только не был, — продолжал рассказывать лысый, побагровевший от водки (теперь пили экспортную «Столичную») и от боли. Глазки его совершенно уже заплыли. — Я перед войной уже консулом был в Болгарии... И Васюха через три года будет консул и советник! Васюха не подкачает! Я и на Севере был, с документами «Красной звезды», уполномоченным был, обоюднополномоченным. В торошение попал. Знаете, что такое торошение? Лед вот такой вот, как гора! Расскажу потом. Я много чего повидал. Васюхе легче. Я в тридцать седьмом году был кто? Я был завгар, заведующим гаражом, в Кременчуге. Но я не только завгар был, я был в Бюро горкома партии уже. Получал большие по тем временам деньги. — Он самодовольно ухмыльнулся. — Копейки, конечно! Но тогда из моих друзей столько никто не получал! И вот меня вызывают, езжай, говорят, в Москву, в школу... О-о-о!.. — Забывшись, он неудачно дернул шей и, стеная, повалился на диван.

— Ай-я-яй! Ай-я-яй! — бросился к нему Лев Владимирович. — Давайте, потрите себе шею змеиной мазью! Выпросалом, у меня есть, все сразу пройдет. Послушайтесь моего совета, голубчик. Вон Валечка вам натрет. Сразу полегчает. Валечка, голубчик, натри ему шею, поработай, поработай, душенька! Идите в ту комнату, там будет удобней!

Двусмысленно подмигивая остальным, он почти насильно выпроводил ее из комнаты вслед за проковылявшим лысым и удовлетворенный сел на ее место рядом с Меликом.

Мелик, однако, был не слишком сердит на Льва Владимировича и скорее только для порядка сказал: ну и сволочь же ты! От выпитого и съеденного он размягчел и почему-то принял все происшедшее как должное. Все эти люди нравились ему, ему нравилась и открытость белоголового, и грубая мужественность Понсова, и даже чадолюбие лысого с золотыми зубами, вначале показавшееся ему отвратительным, теперь оказалось приятным тоже. Они ели, пили, е... девок, зарабатывали деньги, служили. У них не было проблем — они делали все, что он должен был бы не принимать на дух (и всегда говорил себе, что не принимает), но сейчас он ничего не мог с собой поделать. Он обязан был бы возмутиться, назвать их дерьмом, мешанами, возразить в конце концов на их пошлые разглагольствования о сексуальной революции, о нищем Западе, о не зря прожитой жизни, их

бездуховность могла бы внушить ему омерзение. Он знал, что ему следовало чувствовать все это, и не чувствовал ничего. Зависть к ним, к их здоровой, сытой, практичной жизни одолела его. Ему вдруг захотелось жить так же. Ему тотчас же сделалось стыдно, что он такой драный, небритый перед этими людьми, что он так жадно пьет эти дорогие валютные напитки, давая повод подозревать, что вот, дескать, он никогда такого не пил и дорвался на дармовщинку. Он подумал также, что вообще не должен пить сейчас слишком много: после пива — водку; его всегда от этого развизит, и здесь он может осрамиться. Сразу же он заметил, что и в самом деле уже почти пьян и сейчас, когда он сидит спокойно, в глазах у него двоится.

Белоголовый меж тем налил ему снова своею крепкой рукой полный стакан, правда, сильно перелив через край. Мелик обрадовался, что и этот, значит, наконец закосел тоже.

— Спасибо, я пропущу, — отказался Мелик.

— Это уже никуда не годится, — сказал белоголовый и, доверительно наклонясь в меликову сторону, ободрил: — Пейте, никого не бойтесь, здесь все свои.

— Пей, ты же отличный малый! — похвалил и Понсов.

Мелик пригубил, потом под взглядом белоголового, поднатужась и подавляя судорогу, глотнул сразу много: до конца допить порошу у него не хватило, и остатки пролились ему на рубашку.

— Вот это по-нашему! — рывкнул Понсов.

— Пойду позвоню, — сказал Мелик.

— Вот-вот, иди звони, — захихикал Лев Владимирович.

Стараясь идти тверже и сохранить координацию движений, зная, что все на него смотрят, Мелик прошел в коридор и, притворив за собой дверь, стоял какое-то время, прислонясь к стене, чтобы прийти в себя.

— Все-таки я напился. Больше нельзя, — попытался убедить он себя.

Осторожно он подергал дверь в шоферскую комнату — там было заперто.

Он долго мочился, веря, что это поможет ему отрезветь, и ощущая, как растет в нем довольство собой: что он так хорошо и по-умному сегодня ведет себя. Затем вышел на кухню к телефону, поискал по карманам записную книжку и с неприятным удивлением обнаружил, что ее нет, но не мог вспомнить, забыл он ее дома или у Петровского, не помнил, доставал ли ее, когда звонил из лаборатории. Это было дурно, хотя и не слишком: ничего особенного в книжке не было, там было все вперемежку и перепутано, и все секретные телефоны он записывал особым, известным только ему мнемоническим способом по одной цифре на разных листках среди других номеров. Он не стал никому звонить и вернулся в комнату.

Там теперь пели. Вернее, пел Понсов, широко раскрывая пасть и далеко книзу свешивая свою гангстерскую челюсть:

Здравствуй, русское по-о-оле.
Я твой то-о-о-о-онкий каласок!

Белоголовый улыбался, не раскрывая рта. Лев Владимирович, играя роль горохового шута, нарочито фальшивя, тоненько подтягивал. Мелик с сомнением посмотрел на мощный прямой затылок главного певца: уж очень не похоже было это на колосок.

— Давай с нами! — крикнул Понсов, раздувая грудь. — «И скажу не тая, ты атчизна мая-я-я...»

— Когда бываешь за границей, — обратился белоголовый к своей даме, — очень чувствуешь, что нет ничего лучше отчизны, родины.

(«Разведчик, наверняка разведчик», — подумал Мелик.)

— А вот англичане или немцы этого совсем не чувствуют, — подтвердил Понсов, прерывая пение. — У них по-другому... «Спаемте-е-е, друзья, ведь завтра в пах-о-од»... Пой, что ты не поешь, пой! Пей и пой! — захохотал он, радуясь своей шутке.

Мелику налили еще. Забыв о своем решении, Мелик выпил и набросился на закуску, хватая прямо руками шпроты и грибы и роняя их себе на колени. С набитым ртом он попытался даже петь, но тоже никак

не мог подстроиться и отчаянно врал. Сперва он стеснялся и пел тихо, затем, чтобы переорать Понсова, взял в полный голос.

С этого момента в сознании у него начались некоторые выпадения, то, что в медицине называется «состояние отсутствия», *absence*. Какие-то отрезки времени сократились буквально до точки. Петь, вероятно, быстро кончили (во всяком случае, Мелику так казалось, что быстро), потому что ни в одной песне больше ни одного куплета не знали. Сам же он очутился (он не помнил, как) около второй девицы, а впоследствии около Понсова. Быть может, на какое-то время в комнате появились Валя и лысый с золотыми зубами, но затем они исчезли опять. Девицу Мелик расспрашивал о ее взглядах на жизнь, и она ему отвечала что-то вроде того, что «девушка должна быть самостоятельной» (эту фразу он запомнил), и он давал ей свой телефон; а к Понсову он пересел, чтобы поинтересоваться, кто же они такие, но разговор непонятно как перескочил на него самого (Мелика), и Мелик взахлеб врал Понсову, что работает старшим инженером, ведущим группы в Комитете стандартизации и готовит диссертацию. Он вошел даже в какие-то стандартизаторские тонкости; копируя Петровского, ругал постановку дела в Комитете и, кажется, мешал Понсову тоже рассказать что-то интересное про автомобиль. Откуда взялся автомобиль, Мелик совершенно не представлял и не знал вообще: в этот момент был разговор про автомобиль или в другой. Засели в памяти только две или три фразы. Понсов почему-то стал рассказывать, как на комитетской машине водитель с места на ста метрах развил скорость до ста шестидесяти километров в час!

— Наверное, на сплошной пробуксовке шел, — предположил белоголовый.

— Каучук, — сказал Понсов.

Видимо, за этими разговорами Мелик не пил и немного опомнился — дальше пошел более или менее связный отрывок. Мелик пересел ко Льву Владимировичу и благодушно спросил:

— Так по какому случаю пьянка-то? Что за люди, расскажи.

Но Лев Владимирович не понял его настроения:

— Тебе-то что? Ты пьешь и пей. Закусывай лучше.

— Так, может, ты действительно женишься? Я бы тебя поздравил.

— Да кто тебе сказал, что я женюсь? Ты что, рехнулся?!

— Кто да кто. Люди сказали.

— Вот б..., рехнулся!

Понсов со своей мужественной хрипотцой деловито и строго спросил:

— Что это ты беспокоишь хозяина?

— Нет, это мы так, о своем, — постарался успокоить его Мелик, чувствуя одновременно, как энтузиазм его по отношению к этим людям вдруг испаряется; ему захотелось теперь как-то все же возразить им, хотя бы Льву Владимировичу. — Ну хорошо, — обратился он к нему, — а вот что, что ты тут говорил?..

— А что я говорил?

— О революции, о форме... Ты что, сам, что ли, рехнулся? Я от тебя таких речей никогда не слышал. Ты что, в самом деле так думаешь? Движения народных масс и так далее?..

Лев Владимирович высокомерно, орлом глянул на него, вздернув голову и раздувши ноздри:

— Да, я в самом деле так думаю. Я в этом абсолютно уверен!

Мелик внутренне заметался, ища доводы.

— Послушай, — прошептал он, — но какая же на х... революция? Какие народные массы? Ведь революция — это надо выходить на площадь? Теперь танки. Дави — и все тут. Армия. Теперь армия делает революцию. Танки. Давят танками. Вот недавние примеры, пожалуйста, сколько угодно.

— Какие танки, при чем здесь танки? — зашипел Лев Владимирович. — Что ты ко мне сегодня пристал, как банный лист к ж...? Ты мне надоел, понимаешь, не хочешь сидеть спокойно, уйди. Я тебя ведь не трогаю, и ты меня не трогай. Умей вести себя.

— Нет, погоди, — сказал Мелик, выбирая способ пнуть его по сильнее, но в последующий момент вместо того шагнул к белоголовому. — Из-

вините, — дотронулся он до его плеча. — Вот вы сказали давеча насчет капитализма, народных масс. Вы что, в самом деле так думаете?

Это было не очень удачно: белоголовый как раз в это время возобновил свои маневры с девицей и бросил на Мелика взгляд, пожалуй, менее дружелюбный, чем раньше; тем более что значительного продвижения вперед не добился. Он, однако, нашел в себе силы сдержанно улыбнуться углом тонкого рта; да, он убежден в этом.

— Но ведь теперь же танки, танки решают дело! — закричал Мелик. — Какие могут быть революции?!

Белоголовый пронзил его молниеносным стальным взглядом и сдвинул светлые брови:

— Танки необходимы для защиты демократии от угрозы фашизма!

— Вы что там о танках? — расслышал Понсов, также успевший уже изрядно поднабраться и сам пересевший на диван обласкать девицу, которой он оказал сегодня такую услугу. Теперь она возмущенно отвергала его приставания.

— О танках! — обернулся к нему за спасением Мелик.

— А что танки? В танке хорошо, — заметил Понсов, придавая своему непослушному лицу значительное фельдфебельское выражение. — Смотришь в триплекс, все видно. Хорошо... У нас как было. Эшелон до Кенигсберга. По прибытии выстроили. Две тысячи! И после выстроили. Восемьдесят человек! Это считая штаб, обоз, лазарет. Вот так. Фильтр. Алгебра Буля. Сетью потом в канале рыбу ловили. Половина рыбы, половина покойников.

Рассказ в целом был непонятен. Непонятно было, что особенно хорошего можно увидеть через танковый триплекс и к чему надо отнести исчисление убитых при штурме города Кенигсберга и алгебру Буля. Поэтому белоголовый спросил:

— Ты разве в танковых частях был?

— Нет, мы на броне, — искренне удивился их недогадливости ветеран. — Я же говорю, что в танке хорошо, сидишь, в триплекс смотришь. А вот ты на броне попробуй попрыгай, вот это да! Обратная связь — фюить! Фид бэк. Всю задницу отобьешь, извините за выражение. Котин¹ свое дело знал точно... Между прочим, — он поднял заскорузлый со следами вьезшегося машинного масла палец, — очень старик поддерживал кибернетику. Генерал Аксельбантов к нему в свое время пришел, говорит: «Либо ты нас, говорит, поддерживаешь, либо!» — Он брякнул тяжелым кулаком по хлипкому журнальному столику. — Они тогда и написали в ЦК бумагу — «Кибернетику на службу коммунизму». До этого один еврей написал «Кибернетика — наука мракобесов», а они, значит, написали «на службу коммунизму». Вот так, — отчески заключил он, собирая кожу в фельдфебельские складки. — Порождающая модель второго рода. Наум Хомский. Мы с Леторослевым тогда тоже готовили кой-какой материал.

Услышав о Леторослеве, Мелик произвольно сделал стойку:

— А вы знаете Леторослева?

— Еще бы! Пятнадцать лет потратил. Вон виски седые. Как за ребенком. Конченный человек. Неуправляемая система. Обратная связь — фюить! Циклофрения. Период регрессии. Начинает генерить, идет вразнос. До чего дошло. Секретную тетрадь из Первого отдела унес. Мне девчонка из Первого отдела звонит, плачет, ушел, говорит, тетрадь унес. Я говорю: я с ним больше не работаю. Ну, девка неплохая, решил помочь. Я знаю, где его ловить. В машину — и на шоссе! Он всегда по шоссе ходит. Выйдет на прямую и прет. Как танк! А потом домой ночью на поливочной, на грузовиках возвращается, часам к двум, к трем. Интегратор!

— По какому же шоссе он ходит? — неизвестно зачем поинтересовался белоголовый.

— А это уж по какому придется, когда по Можайскому, когда по Рязанке, когда еще по какому. Два раза подряд по одному не ходит. Я и взял сперва по Щелковскому, потом вижу — не то! Разворачиваюсь, гоню по Дмитровскому. Думаю, далеко он еще не ушел. Вижу: точно, вот он голубчик! Догнал, говорю: садись. Побледнел, но сел. Пошупал, тет-

¹ Конструктор танков.

радь при нем. В полдесятого девочку уже отпустили. Я же ее домой и отвез.

Рассказ опять был отчасти диковатым. Белоголовый заерзал, потом осведомился:

— Ну, и как?

Понсов негромко заржал:

— О'кей! Нет, от таких, как Сергей Александрович Леторослев, надо держаться подальше! На хрен, извините за выражение, он мне нужен! Диссер я защитил. Что, я так и буду всю жизнь этого психа спасать да выручать? А он еще на меня телеги писать будет! Нет уж, дудки!

— Они все психованные,—подал хмельной голос Лев Владимирович.—И Танька, моя бывшая жена, психованная, и теща психованная...

— Они родственники?—Белоголовый, окончательно утративший свое веселое и ровное расположение духа и тоже боровшийся с хмелем, попытался бесстрастно поднять бровь.

— Танька воспитывалась с ним одно время. У его матери. Его мать бывшая графиня. Три карты, три карты, три карты!—запел Лев Владимирович.—Сумасшедшая старуха!

— Наталья Михайловна не сумасшедшая,—вступился Мелик.

— Как же не сумасшедшая, когда сидит в сумасшедшем доме?

— Она же не виновата, она хотела покончить с собой, а ее откачали и отвезли в сумасшедший дом. Не по своей же воле она там сидит.

Понсов опять мрачно заржал:

— По своей воле никто не сидит!

— Да, такие люди чувствуют, что не нужны здесь, и сами уходят из жизни,—обретши на миг ясное свое выражение, изрек белоголовый. Кажется, он готов был прибавить: и это замечательно!—но, будучи все же человеком осмотрительным, сдержался.

— Это уж точно так,—нахально поддакнул Лев Владимирович.

Мелик вспыхнул, ощутив наконец, как в нем подымается то негодование, которое должно было быть с самого начала.

— Вот как? Вот как вы рассуждаете?—закричал он, выбегая на середину комнаты.—Уходят из жизни, потому что не нужны тут? Хорошенькое дело! А как же им еще быть, если они не хотят здесь жить? Ведь вы же их не отпускаете!—еще более дерзко закричал он.—Они бы и рады выбраться отсюда иным путем, да ведь ничего не сделаешь!

— Евреев отпускают,—коротко бросил белоголовый.

— Прямой канал,—Понсов перевел сказанное на свой птичий язык.—Хочешь ехать, езжай. Не задерживаем. Ты же еврей?

— Я не еврей,—торопливо отрезал Мелик.—Зачем же я буду уезжать? Мне и здесь хорошо.—Его опять затрясло, как ночью.—У меня здесь друзья, я здесь родился, вырос... Но... но это очень разумная мера. Очень разумная... Только как же на это решились? Это же невозможно. Это же разрушит систему!

— Как же, разрушишь ее!—загоготал Понсов.—Ее многие вроде тебя хотели разрушить, да ничего не выходит!

— Разрушит, обязательно разрушит!—решился подзуживать Мелик.

Возможно, он добавил еще что-то и как-то еще ему ответил Понсов или даже была целая перебранка, но он не был уверен в этом точно. Он только почувствовал вдруг, как что-то такое неуловимо изменилось в окружающем пространстве, что-то треснуло и сдвинулось, и он не знал, действительно ли это вовне или внутри него самого. Воздух как будто уплотнился настолько, что стало трудно дышать, и вместе с тем сила тяжести словно бы перестала действовать на предметы, они поднялись со своих мест и поплыли. Он помнил, что так было с ним однажды в детстве, и только не мог восстановить точной картины. В памяти были уже сплошные провалы; как и тогда, в детстве, остались только какие-то не связанные меж собою фрагменты.

Он еще более или менее помнил самое начало того, что произошло дальше у Льва Владимировича: после каких-то его слов белоголовый будто сперва испугался, а затем взял себя в руки и, совсем побелев от ненависти, вскочил и двинулся к нему, по пути беззвучно приказывая что-то Льву Владимировичу.

Но Понсов опередил его. Подскочив к Мелику, он рванул его за ру-

ку, разворачивая лицом к себе, и левой снизу несильно — видно, только, чтоб напугать, — саданул его в пах. Мелик не успел отшатнуться.

— Не нравится тебе здесь?! — спросил, страшно выпячивая челюсть, Понсов. — Пошел на х... отсюда!

— В чем дело? — крикнул и Мелик, стараясь не поддаваться страху, отталкивая его и с ужасом краем глаза замечая приближение белоголового. Несколько мгновений они топтались, вцепившись друг в друга, причем Понсов спьяну безуспешно пытался поймать его руку и выкрутить ее, пока белоголовый не ударил ребром ладони им по рукам и не втиснул между ними свое плечо.

— Уходите вон, и немедленно! — разъяренно рывкнул он Мелику в самое лицо.

— Нет, вы подождите, вы меня не поняли! — попробовал сопротивляться Мелик, совсем теряя голову.

— Уходите отсюда вон!

— Вы меня не так поняли! Хорошо, я уйду, уйду, но я хотел бы вам сказать...

— Пошел на х... отсюда! — захрипел Понсов, стараясь отодвинуть товарища.

Сзади в это время как будто появился лысый с его золотыми зубами, и Мелик бросился к нему, сбивчиво объясняя ему что-то, но сознание его уже помутилось, он не мог вразумительно сказать ни слова, его колотила дрожь, он, кажется, плакал, общая картина в памяти совсем распалась на мелкие куски. Он воспринимал лишь какие-то несвязные отрывки: багровое, перекошенное от боли и злости лицо лысого, который тоже требовал, чтобы он убирался вон, испуганную Валю, выскочившую из ванной комнаты и пытающуюся утихомирить их, Льва Владимировича, делавшего вид, что он бессмысленно пьян, и бродившего вокруг них по комнате, налевая, с широкой блаженной улыбкой. Ему представлялось, что сам он упирался и растолковывал свою позицию белоголовому и Понсову довольно долгое время, и что они тоже были в конце концов совершенно пьяны и все качались и как бы плавали по комнате, и что они будто бы даже помирились и Мелик с Понсовым пожали друг другу руки.

Потом его, вероятно, все-таки вывели в коридор, одели и захлопнули дверь в комнату. Рядом с ним оказался Лев Владимирович, который взял на себя миссию довыпроводить его из квартиры, но Мелик снова заартачился, вырвался от него и, как был в пальто, обтирая стены, пробежал на кухню.

— Сейчас я уйду, позвоню только и уйду, — опускаясь на пол рядом с телефоном, говорил он Льву Владимировичу, который, по-прежнему бессмысленно смеясь, делал вид, что шалит, и не давал ему набрать номер, тотчас же нажимая на рычаг. Лев Владимирович наконец плюнул и оставил его в покое, и Мелик стал звонить всем подряд. Никто нигде не брал трубку, или он попадал не туда, но даже, возможно, он говорил с кем-то, во всяком случае, звук собственного нерасчлененного бормотания остался у него в памяти, как и ощущение унижительной беспомощности. Потом он, должно быть, уснул, сидя на полу. Сквозь сон ему стало мерещиться, что девки уходят, а все высыпали в коридор и уговаривают их остаться. Он поднялся и, едва не падая, ввалился в прихожую. Так оно и было: возмущенные девицы истерично отбивались там от наседавших на них мужиков.

— А, ты все еще здесь?! — завопил Понсов, бросаясь к нему и снова норовя снизу ударить его.

— Я не хочу тебя бить! — закричал и Мелик. — Мне противно тебя бить!

— Исусик! — заорал Понсов, но его уже оттаскивали обратно.

— Слушай, иди Бога ради, — умоляюще попросил Лев Владимирович, прикрывая глаза рукой. — Надоело. Я устал, понимаешь? Я устал. — Лицо его было совершенно мертвым.

Мелик проснулся на лавочке в каком-то дворике наискось от дома Льва Владимировича. Было уже темно, зажгли фонари. В голове его гудело. Некоторое время он тупо сидел, приходя в себя. Постепенно разрозненные видения стали возникать в его раскальвающейся памяти и вместе с ними — безысходная ярость. Он пошарил глазами по земле, отыски-

вая обломок какой-нибудь водопроводной трубы или камень и воображая, как он сейчас ворвется наверх ко Льву Владимировичу и начнет бить их там всех насмерть, одного за другим. Ничего подходящего, однако, вокруг не находилось, Мелик в изнеможении откинулся опять на спинку лавочки, борясь с искушением улечься совсем. Наверное, он опять задремал. Вдруг раздалось возбужденные нетрезвые голоса: прошли три неясные тени, поддерживая одна другую, оступаясь и раскачиваясь от одного тротуара к другому. Мелик узнал их, замер, но не тронулся с места. Затем он выбежал на мостовую и долго вглядывался им вслед. Их нигде не было видно. Он бросился наверх, ко Льву Владимировичу. На лестнице было наблевано. Сам с трудом удерживая приступ рвоты, задыхаясь, он одолел подъем. Долго никто не открывал, и он уже решил, что из квартиры ушли все, и повернулся, чтобы идти, когда за дверью раздалось шарканье. Открыла Валентина: сонная и слабая, она еле двигалась.

— Это опять ты, — вяло сказала она. — Чего тебе? Все уже ушли.

Он сделал вид, что не знает этого и, отстранив ее, рывком распахнул дверь в комнату. Там на диване навзничь с мертвенно бледным закинутым лицом спал только Лев Владимирович. В шоферской комнате, видно, спала сама Валентина.

— Чего тебе? — повторила она. — Все ушли. И выпить нечего.

— Мне надо позвонить, — сказал Мелик.

Она равнодушно прошла в шоферскую комнату и повалилась на кровать. Мелик снова пробежал на кухню и сел, как прежде, на пол у телефона. Он должен был позвонить Тане Манн. Память вдруг отказала, и он несколько раз сбился, набирая номер. Наконец он попал точно, и она была дома.

— Таня, Танечка! — крикнул он ей. — Ты знаешь, у меня удивительное событие в жизни! Я, кажется, нашел своего отца! Таня, как я жалею, что на тебе не женился! Все было бы по-другому!

Она что-то щебетала ему в ответ и не была рассержена.

— Таня, но я звоню тебе по делу, — сказал он. — Мне нужно разыскать Леторослева.

XXV. Нападение бесов

Вирхов провел у нее два дня почти целиком, и на следующий день они встретились опять, часов около двенадцати.

Таня уже поднялась с одра болезни, но выглядела еще бледной и слабой. С утра она была в церкви: как они и условились, Вирхов ждал ее на улице возле метро. День был снова теплый, солнечный, лишь немного по сравнению со вчерашним задувал ветер.

— Вот я и причастилась наконец, — сказала она, подходя. — Как хорошо! Церковь Всех Святых, и все они были передо мной на большой иконе — и Владимир, и Серафим, и Сергей, и так радостно было увидеть в их толпе и Михаила Тверского, и Филиппа Московского, и Бориса и Глеба. Славные люди! Я вспомнила, как в их день семь лет назад я была здесь же и как было хорошо, только не причастилась. — Она приложила руки к груди, побледнев на мгновение еще больше. — Я не могла тогда... Это был темный для меня год... Нет, нет, я не буду сейчас вспоминать об этом! Сегодня говорить об этом было бы кощунственно. — Она сделала над собою усилие и улыбнулась. — Сегодня хорошо! Вы замечали, что тут можно говорить только «хорошо» и «хорошо весьма». Тут подходят их — извне пусти! — слова, наши не подходят.

Они медленно шли вдоль немногочленной Ордынки в сторону канала. Она взяла его под руку, как ему показалось, слегка прижавшись к нему, опустив голову вниз. Вирхов сверху нежно взирал на нее.

— Скажите, Таня, — спросил он, — вы очень несчастны?

— Я?! — воскликнула она. — Я?! — Возмущенно она обернула лицо к нему. Оно у нее, как всегда, на какую-то минуту помертвело, затем вспыхнуло снова. — Это совсем не те, мирские слова, — сказала она. — А у меня, у меня удивительное свойство. Я — как для опытов — нарочно сделанная тварь. Я действительно ничего не могу без них. Как тряпка, как чучело валится на землю тряпками... Счастливыми и сильными на земле называют странных людей, которые могут и сами. Могут мни-

мой силой, составленной из обмана, наглости, то есть *praesumptio* и прочего, что там у них полагается. А *praesumptio*—это, да будет вам известно, грех *per excessum* против надежды. Так у Фомы. Мне же остается надежда... Да, в моей жизни были и ад, и ощущение настоящего полного конца... Но смотрите, вот это, разве не тот самый преображенный мир?

(Вирхов уже знал про Фому: весь вчерашний день она рассказывала без устали ему о «*Summae*», «*saligia*» и прочем тому подобном.)

Они проходили в это время переулком мимо небольшого дворика, замкнутого сзади и с двух сторон глухими брандмауэрами кирпичных старых домов и открытого на улицу. Треснувший и подпертый балками двухэтажный особнячок стоял в углу двора. Здесь, верно, были какие-нибудь сараи или еще один деревянный особнячок; их обгоревшие остатки дотлевали в большом прогоревшем костре; землю для газона уже привезли, но не успели еще раскидать по пепелищу, и она лежала черной разбегенной машинами кучей. Здесь же, у стены, увитой сухой и грязной по весне лозой дикого винограда, сохранилась скамеечка, узкая доска на двух врытых столбушках.

— А меня город раздражает, — сказал Вирхов.

Они прошли по битым кирпичам к скамеечке и сели. Здесь было тихо, ветра совсем не чувствовалось.

— Нет, — твердо сказала она. — Здесь тоже преображенный мир. Смотрите, какой садик в переулке — ведь это рай, видите, совсем рай! А как он может быть не раем! Кирпичи, стена, город, пыль, скамейка... Ну что бывает страшнее для тех, бедных, кто видит все это... как в зеркале? Вы ведь знаете эту мистику зеркала? — (Вирхов кивнул, хотя не имел понятия, в чем там дело.) — И для меня бывало, — продолжала она с силой, — что это не мир, а чучело мира. Для меня, несколько лет назад. Не дай Бог, чтобы вам досталось это хоть на час! Не дай Бог, и не попусти Бог, — она перекрестилась, — ведь мы сами всегда можем, если нас оставят, этого добиться. Да и добиваться не нужно — сказать «хочу так», а не «воля Твоя», и — пожалуйста, дальше все недолго, оно само скользит тяжестью вниз... Но вы ведь знаете, вы, конечно же, знаете, и я так хочу, чтобы вы всегда знали тот мир, который видели о н и. Но ведь вы понимаете, какой ценой все это берется? Смотрите, не забудьте, пожалуйста. Ведь что за Царствие внутри нас, если мы не видим его во всем? Где Бог — там рай, где нету — там неизвестно что. Потому так и страшен (обманом) бывает теперешний город. Но ведь и лес, и луг, и что хочешь будет страшнее без Бога...

Она с выражением ужаса перекрестилась снова и вдруг окинула его подозрительным взглядом:

— Вы улыбаетесь?! Вам это кажется смешным, сентиментальным, вы боитесь аффектации? А вот я, — она тряхнула головой, — я сама не боюсь аффектации, такой! Это долго объяснять, но коротко понять, если хотите понять, конечно. Но при всей моей многолетней брани против именно душевности, хаоса, нелепых прыжков, я этого, такого, в общем не боюсь!

Увлечшись, она забирала все выше и последние слова выкрикнула уже совсем громко, звенящим, дрожащим голосом. Дети, которые появились в эту минуту во дворе, таща откуда-то от магазина поломанные деревянные ящики, чтобы разжечь костер, остановились, глядя на нее. Вирхов мягко попросил одними губами: тише, тише. Внезапно у нее на глазах выступили слезы.

— Ах, вы, как мама! — прошептала она. — Маму тоже всегда шокирует, когда я говорю. Дома она может кричать на меня, не переставая, но на улице следует говорить тихо. Неужели вы, как они?! Как мама, как Ольга? Они всегда мне говорили, что надо полечить нервы. Как я хорошо все это знаю! Не будьте таким! Очень прошу вас...

— Что вы, Таня, что вы, — растерянно уговаривал он ее. — Я вовсе не имел в виду... помешать вам говорить. Просто, чтоб не смущать детей...

— Если б вы только знали, — сказала она, смахивая слезы. — Было время, когда я плакала целые годы напролет... Это началось тогда, я вам рассказывала. До этого все было светлым, было детство, была тетя, Наташа была тогда еще совсем другая — радостная, была бабушка, не моя бабушка, а Сергея, Наташиного сына, много хорошего было, я вам расска-

зывала... А потом все провалилось... Этот человек, он был женат... Он и сейчас женат. Недавно они даже приглашали меня в гости. Вот это было бы мило! Как по-светски — так это у них называется! — сидеть и болтать с женой человека, который пытался тебя — простите — соблазнить и от которого у тебя могли бы быть дети!

Вирхов посмотрел с любопытством: как это — пытался соблазнить и могли бы быть дети? Значит, все-таки соблазнил или нет? Она, кажется, догадалась.

— У него ничего не получилось... простите. (Вирхова, как и прежде, лишь восхитила непринужденность, с которою она это сказала.) — Он хотел уйти ко мне от жены. Он был так влюблен. Он был уже взрослый человек, после фронта. Я думала: вот талантливый человек, я могу ему помочь. Мы встречались у тети, в ее комнатке. Тете казалось, что так будет правильно. Она с утра уходила на работу, у меня были ключи. Но он потом вдруг испугался. Я не должна была говорить о его жене! А что я могла о ней говорить? Я только сказала ему, что у каждого человека должна быть одна жена: *one man — one wife*. Она, конечно, удерживала его, наверное, Бог знает что ему обо мне говорила. Она звонила маме, беспокоилась о моем здоровье. Говорила, что может найти врача для меня. И мама, разумеется, с ней мило беседовала и даже восхищалась ею. Они вместе ходили к этому врачу советоваться насчет меня. А маме самой нужно было лечиться. Истерия — ведь это болезнь. Она и сейчас больна, по-настоящему больна, она только этого не понимает. К счастью, тогда все это быстро кончилось. У маминного мужа, Михаила Михайловича, начались новые неприятности, его снова могли посадить, и все от нас отвернулись. Это был пятидесятилетний год. И этот человек тоже испугался. Он старался не подавать виду, приходил еще некоторое время, мы с ним были еще несколько раз у тети, но я видела, что он боится... Я тогда уехала куда глаза глядят. Жила совсем одна в Ленинграде. Вы любите этот город? В нем есть мистическая сила, но темная, больная. У меня там были удивительные ночи, какие-то звуки, голоса, видения... Боже, как там бывало страшно... Нет, нет, я не могу вам этого сказать! Я не стану вам рассказывать!.. Я пыталась, конечно, и там жить, как все... За мной ухаживал один военный. Я даже подумывала, не выйти ли мне за него замуж. Это был уже взрослый человек, вдовец, почти седой, немножко старомодный даже. Приносил цветы, целовал руку... Я заставляла себя... Я тогда упала на колени и сказала: «А ведь я в Бога верую...» Он был очень возмущен. Но я больше не могла.

Она съезжилась в своем стареньком кожаном пальто, сунув руки в рукава, как в муфту, и придвигалась как будто ближе к Вирхову, который опять боролся с желанием обнять ее за плечи.

— Я возвратилась в Москву, — вздохнув, продолжала она, — и здесь все закрутилось снова. Мама, Ольга... Ах, как они вцепились в меня, как они радовались! Мама кричала, что меня надо посадить в сумасшедший дом и что меня надо лечить принудительно, если я не хочу сама... Она всегда хотела выдать меня замуж. Сталин как раз умер, мама с Михаилом Михайловичем зажили хорошо, появились деньги, Михаил Михайлович на время пошел в гору. Дома стало бывать много народу. Мама все надеялась, что я «подыщу» себе кого-то, — так это, кажется, у них называется. Все были какие-то сговоры, какие-то прямо заговоры, тайные телефонные звонки, какие-то подстроенные встречи, с кем-то меня все хотели оставить одну... Боже мой, как Ольга в этот раз снова напомнила мне все это! Все, все тогда полностью, совсем было враждебно мне! То есть не я была враждебна, я хотела и могла — даже лучше, по совести сказать, чем теперь. — в каждом из них видеть «образ и подобие», а они не могли меня принять. И очень точно, очень верно («по-мирски», но ведь верно, у них все верно — «разум разумных») видели меня насквозь. Знаете, они как будто видели пустое, неживленное и не объясненное Богом, нечто такое дрожащее и жалкое... Я и в этот раз с Ольгой всплакнула... Отчего? — сама не знаю. Отчасти — о «мире», отчасти — она просто какое-то наводит поле (как ведьма, упаси Господь), и все как-то мешается и дрожит, как бы узор дрожит и хочет не-быть. С нею я всегда разрывалась между попыткой не сказать «рака» и, кстати, не обидеть ее — ты, мол, «от мира сего» и водишь-

ся со всякой швалью, а я вот «неоскверненный от мира» — и каким-то мистическим ощущением, как от запаха, — не могу вместиť!

— Вы, наверное, все-таки принимаете все это слишком близко к сердцу, — повторил свое Вирхов, ощущая в то же время, насколько ему понятен ужас, который должна была пережить тогда эта хорошенькая, утонченная, неопытная девушка, брошенная в мир, где каждый встречный думал, наверное, лишь про то, как быстрее изнасиловать ее. Страх, которого она не умела скрывать, должен был провоцировать с их стороны жестокость. Вспомнил он и себя в юности — долго не покидавшее его ощущение своей собственной слабости, постоянного стыда, глупости своих поступков и болезненности видений. Несомненно, она чувствовала в себе то же самое. — Вы совсем замерзли, — нежно сказал он ей, осмеливаясь наконец чуть-чуть приобнять ее. — Пойдемте погреемся. Вам нужно быть осторожнее после гриппа. Сейчас ведь, говорят, после него всякие осложнения.

Ребятишкам тем временем удалось распалить костер, и самый маленький и пряткий из них то и дело бегал на улицу за угол, приволакивая очередной ящик. Другие двое, найдя где-то здесь же несколько старых гнилых картофелин, пекли их, насадивши на проволоку и сунув в самое жаркое пламя. Вирхов и Таня стали поодаль.

— Нет, вы не правы, — возразила она, подставляя руки огню. — Я же не сказала в опрометчивости моей: всякий человек — ложь. Нет, всякий человек — человек под этой ложью, и эта правда реальней всего. Тут важно видеть Иова (не потенциального, а реального), под всеми Мап видеть ребенка, скажем, или больного в ту минуту, когда он цепляется, цепляется... и... — вот он, вот ужас, а больше ничего нет...

— Так поэтому, наверно, и нужно быть к ним снисходительней, — вставил Вирхов.

— О Господи, — перебила она, — как из мирских черт я ненавижу эту! Ведь сказано: «Выговори ему!» То есть прямо скажи (а не «отчитай», конечно), хоть с мирской точки зрения это смешно, конечно, и ты же будешь дурак. Если покается — прости, вот именно! А нет — пусть будет как в з р о с л ы й, другого закона, мирской, непонимающий, то есть как язычник и мытарь. Почему эти слова понимают как «отвернись от него»? Будь, наоборот, вежлив, и кроток, и терпи, и тут именно — давай ему, не отворачивайся, и прочее, только знай наперед, что он — и з э т и х, и не лезь. Овцы среди волков, а не другой породы волки — вот кто мы такие! И как хорошо, что эта глава, десятая, вся об одном, о том, что миру не вместить овец, кончается словами про м е ч! И как плохо, что эти слова про меч читают и помнят отдельно. И получается, что меч у о в ц ы, а не п р о т и в о в ц ы, или, точнее, не разделение овец и не овец. Отнюдь не по вине и не по желанию самих овец!

Перемазавшиеся сажей дети, обжигаясь, давясь и отплеываясь, ели обугленную картошку и сумрачно смотрели на них. От костра пекло ноги ниже коленей. Вирхов и Таня отошли поодаль.

— Вы не простудитесь? — заботливо спросил Вирхов, опять колеблясь, не обнять ли ее.

— Бог даст, ничего, — сказала она, нетерпеливо продолжая о своем. — У святого старца Епифания есть слова: «Или беги, удаляйся от людей, или иди с людьми, делая из себя юродивого». Хорошие слова! Фуга! — как сказал бы мой любимый Фома... Я чувствую, что вы это еще не вполне понимаете. Вы еще этого не п о л у ч и л и.

— Почему? — обиделся Вирхов, хотя и в самом деле не был точно уверен, «получил» или нет.

— О вас еще слишком хорошо говорят, — пояснила она. — Дамы, наши милые снобы и прочие. Ду р а к ли вы для них? И не боитесь ли вы, что нет? А ведь рано или поздно придется! — Она подняла голову и просветленным взором окинула все вокруг. — Я же, — сказала она, — радуюсь и веселюсь не столько по поводу награды, прижизненной и незаслуженной (Вирхов не понял, о какой награде речь), сколько от того, что наконец все встало на место — «берегитесь людей», «берегитесь злых псов». Нет, псы, как и обрезание, тут не важно. Или там не «псы», а «делатели»? — ладно, не важно. Но вот беречься людей, не говоря им «рака», этому я научилась, это я получила. Научиться нельзя, — это получают. Не «бояться» — души погубить они не могут — и не «презирать», конечно, — еще чего! —

а именно беречься, как в моей любимой главе от Матфея. Бойтесь, когда люди будут говорить о вас хорошо! А о вас уж очень хорошо говорили. И Ольга вам дифирамбы пела, и даже Лев Владимирович восхищался вами и говорил, какой вы милый молодой человек... Это все очень нехорошо...

Вирхову, однако, вопреки тому, что она проповедовала, было ужасно приятно услышать, что кто-то о нем хорошо отозвался и даже восхищался им. Но еще приятней ему было от сознания того, что он с нею, по-видимому, он в какой-то мере нравится ей. То, что он заслужил внимание такой женщины, о которой он столько слышал, красивой, взрослой и умной, подымало его в собственных глазах; о нем, несомненно, должны были говорить еще больше. Он представил себе, как встречает, идя с Таней по улице, Ольгу, Льва Владимировича или кого-нибудь еще из их общих знакомых. Правда, его отчасти смущало, что она немного в возрасте, но, с другой стороны, в этом заключался определенный шарм, и, конечно, ее достоинства, ее талантливость, ее знания, ее ум, ее смелость, понимание жизни, которому ему необходимо было у нее научиться для своего сочинительства, перевешивали все остальное. Она была самой женственной, самой изысканной из женщин, которых он встречал, в этом смысле рядом с нею просто нельзя было никого даже поставить близко, — он не уставал перечислять себе ее качества, чтобы совсем подавить внутренние свои же возражения: морщинки, полноватость и тому подобное, что могло явиться его развращенному воображению. Нет, он должен был — выражаясь ее языком — благодарить Бога за то, что ему послали такой подарок, должен был изо всех сил держаться за нее, дабы избавиться от всех своих комплексов неполноценности разом.

Они отошли от костра и вернулись на свою лавочку. Опасаясь в эти минуты утратить ее расположение (из-за того, что бывший ее муж хорошо говорил о нем), Вирхов поспешил перевести разговор на другую тему.

— А как вы относитесь к проблеме отъезда? — спросил он. — Помоему, без евреев здесь будет скучно.

— Я уже несколько дней думаю об этом, — сказала она. — Мы с Митей Каганом много говорим об этом. Он у меня тоже часто бывает. (Вирхова больно кольнуло это «тоже».) Он и Турчинский. Это приятель Хазины, вы его знаете, да? Очень светлые ребята, просто прелесть. Они собираются уехать?

— Митя?! Он же говорил, что Россия — вторая родина для евреев.

— Ну, а теперь он хочет вернуться на свою первую родину. Это резонно, — возразила она, но не без улыбки. — Они пришли ко мне вчера после вашего ухода посоветоваться.

— А вы... не хотели бы уехать?

— Как я могу? Мама умрет, если я даже в шутку зайкнусь об этом. Да и зачем мне? Мне остался один путь — монастырь. Ах, если бы вы знали, как я жду этого. Как избавления!

— Да, кстати, — вспомнил Вирхов. — А этот иностранец, который был у отца Владимира? Мне показалось, что он тогда заинтересовался вами как-то особенно. Он что, правда, монах, из ордена? Чуть ли не иезуит? Или об этом нельзя говорить?

— Нет, что вы! — воскликнула она. — Кто вам сказал? Нет, мои дорогие иезуиты не такие. Я вам потом расскажу, какие они. А это несчастный, одинокий человек. Он приехал туристом. Он наполовину русский, вернее, еврей. Его отец был когда-то знаком с моей мамой. Григорий Григорьевич в детстве, по-видимому, слышал нашу с мамой фамилию и теперь сразу обрадовался. Бедняга, он не имел понятия, что такое моя мама. Ужасно неловко получилось. Я раза два приглашала его к нам, так мама устроила такой скандал! Ушла из дому на целый день, хотела даже остаться ночевать у знакомых! Ужасно было, ужасно!

— У вас, стало быть, матушкина фамилия?

— Да, правильной сказать, одного из ее мужей, который был у нее в ранней молодости, но, кажется, не моего отца. Мама так не любит говорить о том времени! По некоторым признакам я, правда, склонна думать, что мама тогда придерживалась несколько более свободных взглядов... Она чуть ли не танцевала в кабаре! И, конечно, не одного мужа имела. Она долго жила за границей... Странно, что и Наташа тоже не любит гово-

речь о том времени. Вернее, как раз очень понятно: эти темные годы остались для них непреодоленными. Мнимость тех лет еще сидит у них внутри. Разве Наташа поступила бы так, если б сумела преодолеть в себе все то? У меня иначе. Все нелепое, смешное, шестовское¹ в моей жизни стало теперь единственно реальным. Не единственно «запомнившимся», а настоящим, чем-то, что есть «на самом деле». Прочее и было мнимостью... Значит, было одно, более реальное — просьба, то есть надежда, и вверх! Иначе не за что было бы им меня вытащить. Но что мне делать с милым моим Григорьем Григорьевичем, сама не знаю. К Наташе в больницу его ведь не поведешь. Ну, да ничего, теперь должен вот-вот приехать Андрей Генрихович, первый муж Наташи. Он любит поговорить, хотя при мне Наташа никогда не давала ему развернуться... А откуда же вы решили, что Григорий Григорьевич иезуит?

— Мне сказал Мелик. Он, правда, не сказал определенно, я так понял. Может быть, я ошибся...

— Да, а вы знаете, что у Мелика нашелся отец! Я так рада за него! Он позвонил мне вчера совершенно пьяный и сказал. Трудно было разобрать, что он там лопочет, но я поняла.

— Странно, — поморщился Вирхов. — Он мне звонил сегодня утром, но ничего не сказал...

— Не так уж странно, — спокойно возразила она. — Ведь я ему как сестра почти.

— М-да, — сказал Вирхов. — Лучше бы он у него теперь нашелся где-нибудь в Израиле. А кто же его отец?

— Я не поняла, он был такой пьяный. Но от такого известия протительно и напиться... Господи, помоги ему!.. Я часто молюсь за него. Как знать, может быть, это мои молитвы были услышаны. Я даже думаю — да простится мне, — что все это время я и держала его, не давала ему упасть своей молитвой. Мы не виделись иногда годами, но я всегда знала, каким-то нюхом чувствовала, что с ним в эту минуту. Он бывал очень слаб. И я всегда думала о нем и молилась за него... Ах, чувствуете ли вы — как нас держат, как будто чудом держат в воздухе или — ведут за руку? Или еще — как будто висит на дереве гнездо. В общем, два ощущения — не дают упасть и держат, — не дают толкаться в темноте, сбиваться с дороги. Но ведь это в долг!

Высокое эхо ее звенящего голоса замерло где-то в отдалении, отразившись от каменных стен. Детям наскучило играть с костром, и они убежали, пошвыряв в него на прощание камнями. Слабое пламя взметнулось и быстро потухло под ветром, закрутившим по пустырю тоненькую струйку дыма. Сразу сделалось холоднее, хотя сюда, до скамейки, жар, конечно, все равно не доходил и прежде.

— Безотцовщина — тяжелая вещь, — сказал Вирхов, ощущая потребность исповедоваться. — Смотрите, у наших ведь почти ни у кого нет отцов. Ни у вас, ни у меня. Я ведь тоже моего отца почти не помню. Моего отца посадили в тридцатом году, когда ему было двадцать два года. Не знаю, за что посадили, семейные легенды на этот счет расходятся. Скорей всего за какую-нибудь ерунду. Ему и дали-то немного — всего три года, но по пятьдесят восьмой. Бабушка говорила, что его подзаложил приятель. Не знаю, так ли это... Отца потом выпустили, определили ему «минус шесть»², мать за него вышла замуж в самом тридцать седьмом году. Не думаю, чтобы они понимали этот шаг как героический, как у жен декабристов. Просто не представляли себе еще разворота событий. Считали, что вот-вот отцу разрешат вернуться в Москву, все будет в порядке. Остались отцовские письма, я их недавно у бабки читал, по письмам хорошо это видно. Ну вот, а вместо того стало раскручиваться все это. У бабки сохранилась отцова трудовая книжка, еще не такая, как теперь, а на оберточной такой скверной бумаге со щепками. Там хорошо видно: «уволен по сокращению штатов», «уволен по сокращению штатов». Здесь, в центральной России, устроиться явно уже было невозможно, их так и отодвигало постепенно на восток, все дальше в Сибирь. Я родился уже под Красноярском, в таком местечке, где и сейчас, говорят, нет ничего, кроме лагерей. Отец

¹ То есть увиденное с точки зрения философа Льва Шестова.

² То есть запретили проживать в шести крупнейших городах.

умер в сорок третьем году, здоровье, видно, было уже подорвано окончательно... А мать так и осталась в Сибири...

Они сидели некоторое время молча. Она начала вдруг читать стихи, Марину Цветаеву, читала внезапно осевшим, прерывающимся голосом, со слезами на глазах:

Мне все равно каких среди лиц
Ощетиниваться львом пленным...

— Господи, — сказала она, прочтя еще несколько стихотворений и совсем расстроившись, — как это отвратительно, что люди, которые прежде не пускали ее на порог, смеялись над нею, теперь пишут о ней статьи, воспоминания, анализируют, восхищаются!..

От холода и горя она совсем побледнела. Вирхов обнял ее за плечи, прижал к себе, другою рукою стиснув ее заледеневшие пальцы.

— Да, да, это так, — шептал он, не зная, как лучше ее утешить и доказать ей, что действительно понимает ее и сам думает так же.

Еще несколько минут они провели неподвижно, он все прижимал ее к себе, стараясь делать это нежнее и необиднее. Вдруг он заметил, что она не сопротивляется этому, вернее, сопротивляется, но не так, как могла бы. Тогда, уже не таясь, он обхватил ее обеими руками, придвигаясь вплотную к ней, приближая свое лицо к ее волосам, вдыхая ее запах и стараясь обраться ее лицом к себе. Она по-прежнему немного упиралась, но не так, как могла бы. Он услышал, как дыхание ее изменилось, она задыхалась чаще. Платок ее давно уже съехал назад. Вирхов поцеловал ее волосы, она отворачивала и прятала лицо. Он все-таки повернул ее к себе, но поцеловал не в губы, а неловко в лоб, в холодные щеки. Глаза ее были закрыты, лицо теперь поднято вверх. Он поцеловал еще. Прижался щекой к ее щеке. Отстранился, посмотрел на нее. У нее был такой вид, как будто ей было плохо с сердцем.

— Вам не плохо? — участливо и робко спросил он.

Не открывая глаз, она взяла его руку и положила к себе на грудь под пальто. Стараясь не оскорбить ее, он стал тихо гладить ее грудь, нащупывая через платье и понемногу сжимая все сильнее и откровеннее. Она трепетала и подавалась к нему всем телом, часто-часто дыша.

Наконец она очнулась и отстранила его руку. Открыв глаза и отодвинувшись от него, она застегнула пальто, поправила платок. Слабо улыбнулась Вирхову.

— Вот и я подверглась нападению бесов, — сказала она.

XXVI. Возвращение

Проровнер действительно много лет работал на советскую разведку. Первое поручение он выполнил еще в 1922 году в Париже. Старый, еще петербургский знакомый, о котором Проровнер примерно знал, что он давно большевик и играет какую-то заметную роль в новой России, а здесь, в Париже, находится в служебной командировке, попросил его оказать дружескую услугу: оставить в нужном месте, на бульваре, на лавочке, газетный сверток. Через пару месяцев тот же знакомый, снова вернувшийся в командировку, попросил его о том же самом, но был готов уже оплатить работу. Проровнер отказывался, но, находясь в трудном положении, напоследок согласился. Ко всему прочему у него на руках был тогда двухлетний сын, оставленный ему беспутной матерью-немкой. Чтобы обеспечить себя и ребенка, Проровнер выполнил еще несколько подобных же несложных поручений, получая за это небольшие суммы, а затем и сам проявил инициативу, рассказав своему знакомому про одну белогвардейскую организацию, о делах которой был хорошо осведомлен, имея там друзей. Его работодатель просил уточнить некоторые сведения. Они долго беседовали в тот раз о том, каких убеждений придерживается Проровнер, и Проровнер говорил ему, что всегда, в сущности, был близок к марксизму, особенно же теперь, столкнувшись с западным буржуазным миром. Знакомый хвалил его, сказал, что в Москве уже знают о нем, что грехи его прощены, и если он захочет, то всегда сможет вернуться в Россию, чтобы зажечь спокойной и счастливой жизнью. Проровнер выяснил все что

мог об этой организации, для чего ему понадобилось еще ближе сойтись с ее членами и фактически примкнуть к ней, так что он выполнял уже и их поручения и тоже получал за это кое-какие, хотя и меньшие, суммы — организация все-таки была ничтожной. Затем он установил связи еще с некоторыми такими же организациями и кружками, регулярно поставляя данные о них сначала этому своему знакомому, а потом, когда того отозвали, другому человеку. С этим он работал уже более или менее четко — по заданиям, как настоящий резидент. Дружеских отношений не было, человек этот рассматривал себя, казалось, лишь как связного между резидентурой и Москвой. С третьим, сменившим его, уже точно было так. Его прислали, чтобы передать в ведение Проровнера еще какие-то явки, сообщить ему условные коды. Всякая доморощенность кончилась, но это было и кстати, потому что в это время Проровнер почувствовал себя впервые под подозрением: он допустил осечку, обнаружив вдруг в разговоре с главой своей организации, что знает то, о чем знать ему не полагалось. Тут же стало известно, что его домашние встречи со знакомым большевиком были кем-то замечены. Проровнеру удалось выкрутиться, но с организацией пришлось порвать. С согласия Центра он перебрался в Берлин, а затем в Н. Задачей, поставленной ему, было изучение внутреннего состояния НСДАП, а позже, когда представилась возможность работать в патентном бюро, изучение промышленной структуры района. Организация лейтенанта Ашмарина явилась для него просто счастливой находкой — с точки зрения основных задач участие в такой организации обеспечивало хорошую «крышу». Одобрив этот шаг, Москва недучла природной активности своего резидента, а также общего низкого уровня членов организации. Проровнера буквально вынесло наверх — в теоретики Движения, остаться рядовым участником, скромным исполнителем он не мог.

Расследуя убийство Муравьева, полиция вплотную заинтересовалась и личностью ведущего теоретика. Проровнеру ничего не оставалось, как бежать. С этого времени он жил под чужой фамилией, вернее, под разными фамилиями, часто меняя страны, города и профессии, но не теряя связей с Центром. Несколько раз он обращался с просьбой разрешить ему вернуться в Россию, нервы его порою уже не выдерживали, но Москва все откладывала его возвращение, оправдывая свой отказ усложнением международной обстановки и необходимостью присутствия столь опытного и знающего человека, каким был Проровнер, на месте событий. В Москве соглашались только поспособствовать переброске сына, жившего большей частью отдельно от отца, нередко в другой стране, у получужих людей или в каких-нибудь пансионатах. Мальчик между тем подрастал; не видя отца, он совсем утратил к нему нежные чувства и не понимал, зачем ему нужно ни с того ни с сего ехать в Россию. Отец, естественно, не имел права сказать ему всего. Потом мальчик достиг совершеннолетия, и этот вопрос отпал сам собой. Отцу приходилось все глубже уходить в подполье, и скоро связь между ними прервалась.

В 1940 году на след Проровнера напала германская контрразведка. Остаться в Европе долее было абсолютно невозможно, оккупированные и неоккупированные страны кишели немецкими агентами, Проровнера везде слишком хорошо уже знали, и Центр наконец-то дал команду возвращаться, обеспечив необходимый канал. В составе швейцарской профсоюзной делегации под именем Рувима Алвеза Проровнер благополучно проехал границу Советского Союза и через сутки очутился в Москве. Ехали молча, почти никто из членов делегации не знал друг друга, делегация была, кажется, более чем наполовину составлена из людей типа Проровнера, эмигрантов из разных стран. В Москву они прибыли ночью, их встречали как делегацию и с вокзала отвезли в гостиницу «Националь».

Утром он долго сидел у себя в номере, не выходя, и ждал звонка. Он вообще чувствовал себя немного обиженным: ему представлялось, что они могли бы встретить его и иначе. Телефон молчал. Проровнер спустился в кафе, позавтракал, вернулся в номер, тщетно подождал еще, оделся потеплее и вышел на улицу, вдыхая давно забытый морозный воздух и изумленно уставясь на подновленный Кремль и парадную гостиницу наискосок.

Здесь-то, пока он стоял и раздумывал, что ему делать и куда обратиться, на него и наткнулся отец Иван Кузнецов. Проровнер не узнал его, он был только встревожен, что какой-то прохожий на улице так приглядывается к нему. Лицо отца Ивана чуть-чуть напомнило ему что-то, но он не остыл еще от своего побега и с ужасом прежде всего подумал о вездесущей немецкой агентуре. Он впился глазами в прохожего, стараясь заставить этого человека открыться и мучительно соображая, не следует ли тотчас идти за ним, чтобы немедленно разоблачить его, если он и впрямь агент. Страх получить пулю в лоб, когда все, по сути дела, для него уже кончилось, а еще больше страх с самого начала сделать что-нибудь не так в стране, нравы которой он плохо себе представлял, удержали его на месте. Человек уходил, не оборачиваясь. Проровнер еще глядел ему вслед, когда кто-то окликнул по-русски: «Господин Алвез!»

Рядом были двое молодых людей в штатском, но чем-то одинаковых, розовощеких с мороза, шапки-ушанки были лихо сдвинуты у них набок. Проровнер облегченно засмеялся, проникаясь мгновенной братской нежностью к этим молодым людям и пытаясь пожать им руки.

— Вас ждут, — коротко сказали они ему, держа руки в карманах и кивком указывая, где его ждут. — Подъезд восьмой, там вас встретят.

Проровнер предпологал, что они будут его сопровождать, но они отошли прочь и тут же исчезли, зайдя за какой-то автобус, стоявший у тротуара. Проровнер увидел в этом разумную предосторожность и был даже рад, что здесь работают так аккуратно и чисто.

Окрыленный, он скорым шагом двинулся в указанном направлении, вверх по заснеженному Театральному проезду, радостно улыбаясь встречным москвичам, шуряя на зимнее солнце, забытые столбушки дыма из труб и рисуя себе предстоящую встречу. Возле полуподвального рестораника на Лубянской площади ему показалось, что те молодые люди мелькнули где-то сзади, но он сейчас же обратил внимание, что и другие прохожие были чем-то похожи на тех молодых людей — в таких же длинных черных пальто и шапках-ушанках чуть набекрень, — и не стал задерживаться, чтобы определить: идут за ним те или нет.

Он увидел, что это точно были те, уже у самого подъезда. Молодые люди перестали скрываться и вошли в подъезд за ним следом. Проровнер достал свой заграничный паспорт, но молодые люди, вероятно, шепнули часовому, что этот человек — с ними, и провели Проровнера через обширный вестибюль опять на улицу. Проровнер успел заметить глухой двор, часового с внутренней стороны под аркой, еще одного у невзрачной дверцы, куда они вошли. Внутри неожиданно оказалось всего лишь небольшое помещение без окон. Здесь находились двое в форме, с револьверами в кобурах (Проровнер не разбирался в знаках отличия), и сейчас же через другую дверь вошел третий, который был старше остальных по возрасту и, наверное, по званию. Он спросил Проровнера: «Оружие есть?» Проровнер, ласково улыбнувшись ему, ответил, что, конечно, нет, но военный все равно сказал ему поднять руки, похлопал по бедрам, ощупал полы пальто. Затем жестом, без улыбки показал, что можно идти. Вместе со своими сопровождающими Проровнер вышел в ту дверь, откуда входил строгий военный. Гуськом они стали подниматься по узкой лестнице с железными перилами, которая прежде явно была черной лестницей какого-то жилого дома. На каждой площадке две двери вели в бывшие квартиры, и Проровнеру вдруг стало не по себе, когда он вспомнил, как боялся, ребенком живя в таком же доме, выходить на черную лестницу. «Нет, нет, все правильно, — успокоил он себя. — Это разумная предосторожность. Это для безопасности. Не надо, чтоб меня кто-нибудь видел покамест».

Запыхавшись, он добрался с своими провожатыми до пятого этажа. Дверь в квартиру налево щелкнула как будто сама собой и растворилась. За нею сидел на стуле солдат, но как он догадался, что они идут именно сюда, Проровнер не понял. Дальше, однако, была не квартира, а длинный, уходивший куда-то в бесконечность, плохо освещенный коридор с бесчисленными обитыми дерматином дверьми по обе стороны. Тут не было ни души. Все так же гуськом они прошли вперед и приостановились подле одной из дверей. Первый провожатый скрылся за нею и, как видно, доложил о прибытии. «Входите», — коротко пригласил он.

В комнате спиной к окну за пустым столом сидел человек в гимнастерке, похожий по лицу на прибалта — какой-нибудь латыш или в этом роде. Проровнер шагнул к нему, готовясь протянуть руку. «Снимайте пальто, вешайте сюда», — правильно, разве что немного тщательно выговорил тот, не вставая и не здороваясь. Один из провожатых принял у Проровнера пальто, одновременно помешав ему подойти к столу. Меж ними возникла как бы некоторая неловкость. Проровнер не понял, случайно это или нарочно. «Садитесь сюда», — показал провожатый на стул посреди комнаты. Проровнер сел. Провожатые вышли. Латыш ковырялся, вставляя папиросу в мундштук. Проровнер, за эти годы научась терпению, ждал, с мягкой, растроганной улыбкой глядя на него.

В комнате стояли железный сейф с вешалкой, где, кроме проровнеровского пальто, висела еще шинель хозяина, грубый канцелярский шкаф, маленький столик у стены справа, там же два стула. Рядом со шкафом имелась еще одна дверь. Сейчас она с тихим шелестом (дерматинная обивка елозила по паркету) раскрылась, в комнату, осторожно ступая, вошел новый молодой человек с папкой под мышкой и уселся за маленьким столиком, чуть позади Проровнера. Проровнер лишь краем глаза мог видеть его склоненную над чистыми листами бумаги преждевременную плешь, окаймленную шапкой еще буйных, наверное, жестких на ощупь кудрей.

— Итак, — начал латыш, глубоко затянувшись и весь окутываясь сизым дымом по мере того, как говорил, — господин Рувим Алвез, какова цель вашего приезда в Советский Союз? Я полагаю, мы можем общаться без переводчика, не так ли?

Проровнер от удовольствия хохотнул. Ему показалось, что человек за столом, произнося эту тираду, слегка ухмыльнулся. Проровнер привскочил, чтобы подойти к столу, пожать этому человеку руку, может быть, обняться с ним по-братски, так как предполагал, что это и есть тот самый Дед, с которыми они, не видя никогда друг друга в глаза, столько лет работали, можно сказать, душа в душу.

Но человек за столом предостерегающе поднял руку.

— Сидите спокойно. Я повторяю свой вопрос. Вы меня хорошо понимаете без переводчика?

Проровнер растерянно кивнул.

— Так какова же цель вашего приезда в СССР?

— Разве вам это неизвестно? — обиженно спросил Проровнер.

— Вопросы задаем здесь мы, — отрезал латыш.

— Извините меня, — заволновался Проровнер. — Тут какое-то недоумение. Ах, нет, впрочем, я понимаю. Так нужно... Тогда начнем с того, что моя настоящая фамилия Проровнер...

Он подумал, что не стоит им говорить, что на самом деле он грек, а Проровнером стал тогда, когда, выполняя одно деликатное поручение, должен был проникнуть в ряды еврейского «Бунда».

— Вы что же, жили и под другими фамилиями?

— Конечно, — не без гордости сказал Проровнер.

— Перечислите, под какими фамилиями вы жили.

Проровнер начал перечислять.

— Ну что ж, — сказал латыш, когда он кончил. — Господин Алвез, он же Проровнер, он же Борисов, он же Шмитт и так далее, будет хорошо, если и на другие вопросы вы ответите столь же откровенно.

— Конечно, как же иначе, — чистосердечно сказал Проровнер.

— Род ваших занятий?

Проровнер опять был немного сбит с толку.

— Право, я даже не знаю, что ответить. Вам ведь, наверное, лучше знать... А так, я менял столько профессий, что все и не упомнишь. По образованию я юрист и работал чаще всего в каких-то смежных... сферах.

— Перечислите.

Проровнер покорно принялся перечислять. Молодой человек поспешно записывал, перо его скрипело, луч зимнего солнца трепетал на длинной и узкой — ко лбу от темени — плечи.

— Хорошо-о, — протянул латыш. — А почему вы так часто меняли занятия?

— Потому что я должен был часто перебираться с места на место.

— Назовите эти места.

Проровнер терпеливо стал называть города и страны, где он побывал, стараясь ничего не пропустить, так как при педантизме латыша это могло бы привести к дополнительным недоразумениям. Молодой человек сильным голосом попросил его говорить помедленнее. Когда Проровнер кончил, латыш спросил:

— Чем были вызваны эти перемещения?

Проровнер против воли начал слегка сердиться, процедура утомляла его, хотя он повторял себе, что это, конечно, необходимо.

— Вы прекрасно знаете, чем эти перемещения были вызваны!

— Чем? — поднял брови латыш.

— Тем, что я выполнял ваши же, простите, поручения!

— Мои? Я не давал вам никаких поручений.

— Ну, я, конечно, не знаю, ваши или чьи-то еще, но факт остается фактом! Разумеется, я здесь не был и лично с тем, кто ставил мне задачи, не знаком, но дела-то это не меняет!

— Интересно, — усмехнулся латыш, жуя мундштук.

Молодой человек позади оторвался от своей писанины и стал смотреть на допрашиваемого.

— Послушайте, — загорячился Проровнер. — Так все-таки нельзя! Я понимаю, что нужны проверки, это так. Но ведь я столько пережил, я так устал. Я устал, понимаете? Я уж не говорю, что я не ждал такой встречи. Я не считал себя героем, но положила руку на сердце я немало сделал. Проверяйте, спрашивайте, но зачем этот тон? Можно бы ведь как-то и по-человечески! Если в отношении меня есть какие-то подозрения, то не надо было звать меня сюда, в Союз. Бросили бы там. Через два дня меня бы уже сцапало гестапо. Там свои методы.

Проровнер вдруг подумал, что поэтому-то скорей всего ему и приказали вернуться. Он понял, что зарпортовался, и умолк.

— Выпейте воды, успокойтесь, — сказал латыш, наливая ему воды из стоявшего на подоконнике мутного желтого графина.

Проровнер поборол брезгливость и выпил.

— Итак, вы утверждаете, что кто-то отсюда давал вам какие-то задания? — спросил латыш. — Кто именно?

— Вы сами понимаете, что я не могу этого знать!

— Но у вас должны были быть какие-то шифры, коды, должны были быть связные, пароли.

— Конечно, так оно и было.

— Расскажите об этой стороне вашей деятельности.

Проровнер замаялся.

— Видите ли, — сказал он, — я не вполне уверен, что имею право рассказывать об этом... Есть же определенные правила... Я ведь, по сути дела, даже не знаю, кто вы такой...

— Старший следователь Иванов, — не моргнув глазом соврал латыш.

Проровнер снисходительно рассмеялся.

— Ну вот, видите! Нет, при такой постановке я чувствую, что не могу, не вправе ничего рассказывать вам.

— Вы что, отказываетесь отвечать?

— Да, решительно отказываюсь!.. Разумеется, до тех пор, пока мне не будут даны гарантии, что я говорю с полномочным лицом...

— Какие же вам нужны гарантии?

Проровнер стал размышлять: действительно, какие могут быть гарантии, раз он не знает ни одного реального человека — одни лишь клички, шифры, адреса и пароли. Единственным реальным человеком был петербургский знакомый, с которого началась его разведчицкая карьера. Но Проровнер тут же решил не называть его сразу: если уж эти люди вознамерились вначале проверить его, то лучше было бы продемонстрировать перед ними твердость, чтобы они не заподозрили, что и там, за границей, он поддавался столь же легко. Поэтому он вновь наотрез отказался отве-

чать, пока не будут даны гарантии: в конце концов они и сами должны были догадаться, кого к нему привести.

— Советую вам подумать, — сказал латыш, собираясь, по-видимому, прекратить допрос.

— Хорошо, — тотчас же сказал Проровнер. — Я прошу вас пригласить сюда товарища Раткевича.

— Да, мы его пригласим, — без выражения откликнулся латыш...

Двое солдат в гимнастерках повели Проровнера назад по коридору на черную лестницу. С площадки повернули не вниз, как ожидал Проровнер, а вверх, и сердце его радостно забилося, он сказал себе: унижительная процедура кончилась, его ведут к начальству, где он и встретится со своим покровителем. Они поднялись на самый верх. Здесь была глухая площадка с единственной дверью, обитой не дерматином, а железом. Щелчком (Проровнер опять не уловил отчего) дверь открылась. За нею снова был бесконечный коридор с бесчисленными дверями, и эти двери также были обиты не дерматином. По коридору в противоположных направлениях мерным шагом шли двое солдат, останавливаясь у каждой двери. Это была тюрьма.

Проровнера повели сперва в каморку у входа, там заставили раздеться и обыскали уже основательно, а потом — в единственную камеру.

Камера была крошечной, три метра на два, довольно высокой, но темной. Окошко под потолком, кроме решетки, было забрано снаружи еще наклонным щитком, опиравшимся на нижний карниз. Проровнер не верил случившемуся. Стоя внизу под окошком и машинально рассматривая, что это там такое за ним устроено, — он не знал, что изобретение называлось «ежовский козырек», или «намордник», — Проровнер подумал, что тот факт, что его отвели сюда, а не в подвал, конечно же, свидетельствует о хорошем к нему отношении. Нужно было просто потерпеть еще немного, если уж у этого государства, пребывающего в постоянном напряжении всех своих сил, в постоянной борьбе, такие суровые обычаи.

Вечером, когда ему выдали пальто и шапку и повели на прогулку — на крышу! — Проровнер окончательно удостоверился в правильности своих рассуждений. Сквозь частую сетку и щели меж щитами ограждения он глядел на переливающуюся огнями Москву, и душа его замирала от нежности, от любви к этому городу, к тем людям, огоньки в домах которых он сейчас видел, к часовым, чьи простые и твердые русские лица вдруг озарял внезапный городской всполох. Уснул он почти счастливым.

Наутро его вызвали к латышу. Тот повторил те же самые вопросы, неторопливо, без раздражения. Проровнер так же наружно спокойно отвечал, внутренне весь дрожа от нетерпения, когда же откроется боковая дверь и войдет его знакомый.

Наконец латыш сделал паузу, подойдя к вопросу о полномочиях. Как и накануне в начале допроса, он долго возился с мундштуком, не сводя глаз с Проровнера. Тот почувствовал: сейчас!

— Расскажите подробнее о ваших связях с врагом народа Раткевичем, — предложил латыш.

Проровнер ощутил резкую, непреодолимую слабость. Рассказы, слухи и газетные сообщения о московских процессах над оппозицией, над бывшими большевиками, которые оказались врагами народа, об их страшных признаниях мигом вспомнились ему. Он вдруг понял, что сейчас упадет на колени, будет плакать, будет умолять латыша верить ему, что он не знает ничего, что двадцать почти лет работал с одной мыслью — послужить Родине, работал в страшных условиях, и то, что происходит сейчас, — чудовищное недоразумение, так нельзя поступать; даже если этот человек оказался врагом народа, то он, Проровнер, здесь ни при чем, он давно уже работал не с ним, а с другими.

Быть может, он даже говорил латышу все это, быть может, даже ползал на коленях и целовал ему руки — он не помнил. Сознание его помутилось, он очутился на полу, лежа, латыш лил на него из мутного графина воду.

Латыш с молодым человеком помогли ему сесть. Некоторое время он сидел, то и дело теряя равновесие, они стояли сзади, а он цеплялся за их руки, чтоб не упасть. Потом истерика началась снова, он уже ничего

не говорил, только рыдал, ощущая, как тело его словно разрывается на части, и не мог остановиться. Латышу пришлось свернуть допрос.

Вечером, во время прогулки, над городом была пурга. У Проровнера болело все тело и раскатывалась голова. Ночью он почти не спал, только забывался коротким кошмарным сном, и утром у латыша снова едва держался на стуле.

Тем не менее он попытался внутренне собраться, извинился за свой вид и сказал:

— Я прошу вас поверить мне, что уже свыше пятнадцати лет я не имею никаких контактов с врагом народа Раткевичем. Последний раз мы виделись с ним в октябре двадцать пятого года. С тех пор всю мою работу из Центра координировал человек под условной кличкой Дед.

— Вы сами знаете, что такого человека не существует, — возразил латыш.

— Возможно, возможно, — с отчаянием воскликнул Проровнер. — Это мог быть, так сказать, собирательный персонаж. Но ведь кто-то существовал! Должны же где-то храниться мои сюда шифровки, копии ваших шифровок ко мне! Должны же быть материалы, связанные с моей работой! Или их нет? — с ужасом закричал он, спохватываясь вдруг, что совсем не представляет себе, как работает Разведывательное управление и не уничтожаются ли ради секретности все материалы, едва только непосредственная нужда в них отпадает.

Латыш задумчиво молчал. Потом, вздохнув, предложил:

— Расскажите подробнее о своих связях с преступной бандой Раткевича-Деда.

Проровнеру было уже так плохо физически, что он даже не удивился, он почти был готов к этому. Он тихо сидел, свесив голову и уронив на худые колени руки. Никаких определенных мыслей у него не было, слов тоже. В голове была горячая пустота, как с похмелья.

Следователь хладнокровно ждал. Молодой человек поерзывал в своем углу. Проровнер все молчал. Время от времени ему начинало казаться, что долее молчать неудобно, но он никак не мог подобрать слов, язык не ворочался у него во рту. Проровнер вскидывал голову, открывал рот, пытаясь заговорить, и не в силах вымолвить ни звука опять погружался в странное свое почти дремотное оцепенение.

Скоро латышу это надоело, и он сказал не без иронии:

— Ну так, и...

Проровнер вяло встрепенулся, зачем-то оглядываясь вокруг и непроизвольно ощупывая себя.

— Хорошо, — медленно, с трудом произнес он, пытаясь разжечь в себе надежду, — я вам расскажу всю свою жизнь с самого начала...

— Валайте, — непроницаемо сказал латыш.

Проровнер начал рассказывать с самого детства, с отрочества не для того, чтобы как-то разжалобить слушателей (в его детстве не было ничего особенно страшного), а для того, чтобы заставить их себе поверить, чтобы перевести разговор на человеческий язык, чтобы закрепить тот непрочный психологический контакт между собой и ими, который — он чувствовал — уже возник. Его прерывали лишь для уточнения каких-нибудь дат, но не просили излагать покороче. Латыш слушал с удовольствием, внимательно, и Проровнер, увлекшись, рассказывал уже совсем ненужные истории, семейные сценки, описывал гимназических учителей, университетских профессоров и тому подобное. Допросы продолжались теперь весь день с небольшим перерывом на обед. Иногда, чтобы не останавливать повествования, Проровнер отказывался от прогулок.

От воинской службы он был освобожден по состоянию здоровья, в белой армии он не был, он даже не собирался удирать за границу, он был для этого слишком беден и уехал, сбитый с истинного пути одной дамой, из рыцарских побуждений. Дама была по происхождению немкой, точнее, австриячка, и скоро бросила его, оставив ему двухлетнего сына. («Сколько раз мне предлагали отсюда забрать мальчика, переправить его в Союз, — сказал он в этом месте. — Как я жалею, что в свое время не настоял на этом. Ведь если б он был здесь, половина ваших подозрений отпала бы, правда?»)

Так он дошел до момента вербовки в 1922 году. Тут уже приходилось быть серьезней, он должен был вспомнить малейшие подробности свиданий с Раткевичем, размер полученных сумм, как вручались деньги, даже то, в какую газету были завернуты те «посылки», которые он оставлял в том или ином месте, и Проровнер не раз покрывался холодным потом от ужаса, что не сможет правильно отчитаться в какой-то детали, забудет день или час, когда они очередной раз встречались, забудет имя какого-нибудь участника организации, выданной им Раткевичу. Он начинал тянуть, незаметно петлять, выбирая способ, как обойти эту роковую деталь, припоминая или придумывая все новые обстоятельства, но — к его собственному величайшему изумлению — лишь только он подходил вплотную к пределу, за которым надо было уже стыдливо сказать: «Этого я не помню», как тут же мгновенно память, подстегнутая чувством опасности или просто натренированная за долгие годы, срабатывала, и, облегченно смеясь, Проровнер говорил: это произошло там-то, тогда-то, этого человека звали так-то. Он вообще вел себя с каждым днем все свободней, все уверенней: не торопился, не нервничал, курил папиросы латыша, позволяя себе порою запротестовать: «А может быть, на сегодня хватит? Давайте отдохнем».

Порою он говорил также:

— Ну, я полагаю, вы проверили все это по вашим картотекам или вашим архивам и убедились, что я говорю вам абсолютную правду?

На это латыш невозмутимо отвечал:

— Продолжайте, продолжайте.

И Проровнер вновь терзался сомнениями: существуют ли реально эти картотеки и архивы, должны ли они существовать вообще и если должны, то не уничтожила ли их преступная банда Раткевича-Деда, отчето и проистекает теперь все его, проровнеровские, несчастья.

За две недели допросов, становившихся все утомительней, они доползли до 27-го года, до деятельности Проровнера в Германии, в N, до группы Ашмарина, пророчицы Эльзы, метафизика-немца и патентного бюро. Повествование заняло три дня. Далее шел, как пошутил Проровнер, «бельгийский период», когда он работал в тесной связи с руководством бельгийской компартии.

— Кстати, по моим данным, — заметил Проровнер, — кое-кто из этих людей эмигрировал и находится здесь, в Союзе. Вы можете их пригласить к себе, и они подтвердят каждое мое слово. Я прошу вас вызвать товарищей... — Он перечислил фамилии.

— О ваших связях, — сказал латыш, не дрогнув лицом, — с затесавшимися в руководство бельгийской компартии матерыми шпионами и диверсантами... — он повторил фамилии, названные Проровнером, — вы расскажете нам попозже. Сейчас давайте уточним некоторые подробности, относящиеся к предыдущему периоду...

Проровнер стойчески принял еще один удар, уготованный ему судьбой.

Латыш продолжал:

— Вы закончили вчерашние показания словами... — Он зачитал по протоколу: «— После убийства Муравьева я уехал в Бельгию...» Так?

— Так, — пожал плечами Проровнер.

— Расскажите, как вы распорядились деньгами и другими ценностями убитого?

Проровнер недоуменно нахмурился:

— Какими деньгами и ценностями? Я что-то вас не понимаю...

— Вы же сами сказали: «После убийства я уехал...»

— Ах, все понятно! — развеселился Проровнер. — Прошу прощения, это моя неточность. Я все-таки слишком поспешно рассказывал об этом периоде как о сравнительно незначительном в моей биографии, и из-за моей торопливости вы меня не так поняли. Дело в том, что я, во-первых, не имел никакого отношения к этому убийству. Самого убийцу, кстати, установить не удалось. Полиция вела расследование, но ничего не установила. Во-вторых, насколько я могу судить, это было, так сказать, немотивированное убийство...

— Немотивированное? Если убийца не установлен, то откуда вы можете знать: мотивированное или немотивированное.

— Муравьев вызывал в людях известное раздражение. Он был «белой вороной», но особенных врагов у него не было. Политикой в то время он уже не занимался, хотя и ходили слухи, что он связан с английской разведкой. Но я искренне полагаю, что это были досужие вымыслы. Мне он скорее даже нравился, и я всегда старался в беседах с другими членами организации, — Проровнер тонко усмехнулся, выделив слово «организация», — всегда старался унять страсти вокруг его имени.

— Значит, страсти все же были?

— Я же говорю: было недовольство, были необоснованные подозрения... Люди там были, конечно, горячие, бывшие офицеры, молодежь. Они, сами понимаете, рассуждать не привыкли... А он был богатый, независимый человек, посмеивался надо всеми. Они же, по сути дела, нищенствовали...

Латыш спросил:

— Исходя из характеристики, данной вами членам организации, и из ваших слов о том, что вы старались унять страсти, можно сделать вывод, что у вас возникали опасения, что кто-то из членов организации способен пойти на крайнюю меру и прибегнуть к оружию?

Проровнер не нашел в себе смелости отрицать это.

— К кому конкретно более всего относились ваши опасения?

Проровнер назвал лейтенанта Ашмарина.

— Видите ли, — пояснил он, — этот человек в прошлом уже совершил одно убийство. В армии он застрелил подчиненного, за что и был разжалован в лейтенанты.

— А на кого пали подозрения полиции?

— На него же.

— Он был арестован?

— Нет, он скрылся.

Латыш опять надолго задумался, окутавшись синим папиросным дымом.

— Интересно у вас получается, — сказал он, твердыми пальцами давя в пепельнице окурки. — Сначала вы говорите, что убийство немотивированное, что убитый политической деятельностью не занимался, что врагов у него не было, что сами вы к убийству никакого отношения не имели. Потом вы говорите, что существовало недовольство, были страсти, — он поднял палец, — и вы эти страсти унимали. Далее вы говорите, что у вас имелись конкретные опасения...

— Да, но неопределенные, в расплывчатой форме...

— И вот совершено убийство. На человека, возбуждавшего ваши опасения, падает подозрение органов следствия. Он скрывается. И вместе с ним — обратите внимание! — скрываетесь и вы!

— Но я был связан и другой работой! — возмутился Проровнер. — Я опасался, что полиция, начав расследование, может обнаружить что-нибудь компрометирующее меня в этом плане. Заинтересуется мной, начнет копать в моем прошлом...

— Предположим... А Муравьев знал что-нибудь об этом?

— Безусловно нет!

— Знал ли он что-нибудь о деятельности вашей организации?

— Н-нет, не очень много, во всяком случае.

— Интересно, интересно, — покачал головой латыш.

Увлеченный своей идеей, он второй раз за все эти дни (после того как подымал упавшего в обморок Проровнера) встал с места и принялся ходить по комнате.

— Значит, политический мотив отпадает? — уточнил он. — Отпадает. А что остается? — Латыш остановился у окна. — Вы как юрист должны были бы знать, что наш суд всегда руководствуется принципом *quod prodat*. Кому выгодно? Вот что мы должны выяснить в первую очередь! Посмотрим на дело с этой точки зрения...

Он снова уселся, крепкий, прямой, в упор глядя на подсудимого.

— Вы говорите, что убийство было немотивированным. Но ведь убили-то кого? Убили-то миллионера! Мил-ли-оне-ра! Сколько у него было миллионов, а? Характеризуя его во вчерашних показаниях, вы говори-

ли... — Он прочел: «Миллионер и бывший кадет, историк Муравьев». Забудьте, «бывший кадет», но не «бывший» миллионер! Я понимаю, в революцию он, конечно, много потерял, но ведь не все? Кое-что у него, конечно, осталось. Этот вопрос вы с вашими в N что же, так ни разу и не обсуждали? Обсуждали. Так что же вы тут мне голову морочите? Здесь имело место убийство с целью ограбления — и ничего больше! Убил член организации, которую вы возглавляли. Это ясно. А как вы устроили это технически, вы нам сейчас расскажете.

Сверх всякой меры огорченный этой новой бессмысленной затяжкой дела, Проровнер сумрачно заявил, что ничего нового прибавить к сказанному он не может: убийство было ненужным, глупым, кто бы ни убил, Ашмарин или неизвестный маньяк со стороны, рационального мотива тут не было, но, к сожалению, так оно зачастую и бывает в жизни.

— Так оно и бывает в жизни?! — закричал латыш. — Бросьте эти мелкобуржуазные штучки! Это вам не поможет!

Допросы по «делу Муравьева» продолжались еще неделю, а то и больше: Проровнер потерял счет дням. Он упорно стоял на своем, латыш мало-помалу начинал злиться. На одном из допросов Проровнер признался, что его немного мучит совесть, что некоторыми своими неосторожными замечаниями насчет Муравьева он возбуждал, а не утихомиривал страсти, бушевавшие в организации. Латыш принял это с удовольствием. В другой раз Проровнер выдвинул версию, что мотивом убийства могла явиться ревность Ашмарина к Муравьеву из-за Катерины. Латыш презрительно отверг эту версию, сказав, что из ревности убивали в состоянии аффекта, из ревности можно было убить, пока Катерина была на месте и была с Муравьевым; поскольку же к моменту убийства она бросила Муравьева и вообще уехала, предположение об аффекте весьма сомнительно. В третий раз Проровнер сказал, что по приезде сюда, в Союз, он, едва вышел из гостиницы, встретил одного человека, которого сразу не признал и только теперь понял, что это был отец Иван Кузнецов из N.

— Вот это уже лучше, — сказал латыш. — Давно бы так! Что же вы ему передали? Инструкции? Или, может быть, деньги? Ценности?!

К концу недели латыш впервые устроил ночной допрос, за ним еще один. Проровнер держался. Вдруг допросы прекратились. Его не вызывали день, второй, третий... О нем, казалось, забыли. Прошел месяц.

Затем его вызвали снова. За столом на месте латыша в его позе сидел прежний молодой человек с кудрями, окаймлявшими раннюю лысину. Больше в комнате никого не было. Проровнер только теперь смог как следует разглядеть молодого человека: у того был череп неправильной треугольной формы, острым углом вверх, но кудри по бокам сейчас еще прикрывали эту неправильность, которая должна была сильно проявиться в будущем.

Молодой человек из-за стола взглянул ему в глаза, и Проровнер понял, что это все. Молодой человек поднялся, обошел стол, приблизился вплотную к Проровнеру и, схватив его за лицо рукой, закричал почему-то не в ухо, а в вытаращенный проровнеровский глаз:

— Куда ты девал деньги, говори, сука!

Проровнер медленно начал сползать на пол, чтобы стать пред ним на колени.

Допросы продолжались еще месяц. Теперь их постоянно вел молодой человек с треугольной головой. Протоколы он вел сам. После трехдневного перерыва в допросах за Проровнером пришли опять, но повели его не на пятый этаж, а ниже. Здесь, в комнате, как две капли воды похожей на ту, где его допрашивали, Проровнер предстал перед «тройкой». В обвинительном заключении ему вменялось пособничество британской и германской разведке. «Дело Муравьева» не упоминалось. Ни латыш, ни молодой человек на заседании не присутствовали.

Суд приговорил гражданина Проровнера к расстрелу. Приговор был окончательный и обжалованию не подлежал.

XXVII. *Вирхов*

На другое утро Вирхов позвонил ей по телефону и робко спросил: хочет ли она его видеть?

— Я так реально хочу видеть вас, что даже смешно! — воскликнула она. — Сильно я к вам привязалась и очень для меня по-новому. Рядом, совсем близко, я вижу тьму внешнюю, — продолжала она, хотя Вирхов и попытался ее остановить, считая, что по телефону все же неудобно говорить такие вещи, — ...вижу ее совсем близко, как за стеклом, но тут, с вами, и твердо, и как-то просто, не-душевно, так с детства не бывало... С тех пор, с детства, был провал, трясина... Не во всем и в разном, по-разному, конечно... И я иначе все чувствовала, так — не умела.

— Как жаль, что мы с вами не познакомились раньше, — сказал Вирхов. — А что вы сейчас делаете?

— Приходите, приходите, — позвала она. — Я все равно бездельничая, все валится из рук.

Она была одна, домашние с утра пораньше ушли куда-то в гости.

— Идемте на кухню, — сказала она. — Я еще не завтракала. Я покормлю и вас. У Михаила Михайловича есть к тому же какая-то бутылочка, ему вчера привез один провинциал из его учеников. Это самогон, Михаил Михайлович этого все равно не пьет.

Они уселись в маленькой, опрятной и уютной кухоньке.

— Вы говорите, почему мы с вами не познакомились раньше, — сказала она, накрывая на стол. — А незачем было! Я могла, я и тогда уже много могла дать, тому же Мелику, например, но они не хотели меня принять... Как странно все было... Те, кого любила я, не любили меня, а тех, кто любил меня, не любила я... Это потому, что любовь (или что-то называемое ею в «миру» и очень на нее непохожее) ко мне тех, кто был чужой, была мне страшна. И потому, что любовь не чужих я принимала как чудо, как незаслуженный дар... А была ли она?

Она села против него, откинулась к стене, сложив на коленях руки, забыв про свои хозяйственные приготовления.

— Вы не чувствовали права на любовь? Не чувствовали, что заслуживаете ее? — удивленно спросил он, потому что ему представлялась совсем другой ее психология в юности.

— Ах, у меня настолько все было иначе! — с досадой вскочила она. (Вирхов, как всегда, не понял, отчего досада: оттого ли, что он сказал что-нибудь не так, или же оттого, что она забыла подать еще что-то к столу.) — Все иначе, — повторила она, доставая из шкафчика еще какие-то ложечки и розеточки. — И дело даже не в этом. Сейчас, мало-мальски зрячей, я знаю, что любовь (амог, не caritas, конечно) совсем не положена нам тут. Как не было ее у них с а м и х. Не было, не знали по себе. Ну, и что? А вы, как молодой или «как от мира», думаете об этом «праве»!

— Но ведь вы... — Вирхов чуть было не сказал «были», — ...вы так красивы...

Чтобы скрыть свое смущение, он потянулся за бутылкой. Пробка была загнана туго, ему пришлось тащить ее зубами.

— За вас, — нежно сказал он, подымая рюмку. — За то, чтоб у вас все было хорошо.

Совсем зардевшись, она кивнула, но сказала:

— Вы забыли, наверное, что чем вы «красивее», тем больше от «мира». Не подумайте, что я ругаю вас... Но у меня, у меня было ощущение у р о д с т в а. Как раз когда мне клялись в любви, это бывало вдруг особенно сильно и ясно. — Вспомнив что-то, видно, связанное с этим, она изменилась в лице, как обычно мгновенно, будто и в самом деле падая в пропасть сейчас, а не тогда.

Вирхов через стол погладил ее по руке. Она не отдернула руку, лишь медленно убрала ее.

— Я очень хорошо помню это ощущение, — заговорила она. — За мной ухаживал тогда один человек. Мама все хотела, чтоб я вышла за него замуж. Но он мне не нравился совсем, что-то в нем было всегда оскорбленное, такое жалкое... И вот... я была у него, и он меня все уговаривал выйти за него замуж, и пытался... Ну, словом, все что полагает-

ся в таких случаях у этих людей, когда они наедине с женщиной... Я ушла. Было уже очень поздно, часов двенадцать, и никого не было дома, мои уехали под воскресенье на дачу. И вот оказалось, что я забыла ключи. Я долго ходила по улицам. Потом вернулась к дому этого человека и сидела в подъезде, на лестнице. Потом постучалась к нему. У него был какой-то его приятель. Они стали уговаривать меня остаться ночевать. Приятель сразу же ушел... И вот я помню ощущение уродства. Я была в ужасном, ужасном состоянии. Это было весной пятьдесят пятого года. В мае. И на другой день вернулся после реабилитации из лагеря Мелик. Он всегда появлялся в самые тяжелые, самые черные для меня минуты. Но не для того, чтоб помочь, а так, где-то рядом. Он и в этот раз снова пришел ко мне, но мама его не пустила. А я?... Я была тогда на краю гибели... Он еще несколько раз пытался прийти, но мама его все не пускала. Я была совсем плоха. Он обиделся и больше не приходил... С тех пор мы виделись с ним только случайно — у Ольги, у отца Владимира. Но Мелик даже не подходил ко мне, здоровался только издали. Я советовалась, как мне быть, — уже позже, не тогда, — с моим духовным отцом... Нет, это не отец Владимир, отец Владимир сам еще слишком молод. Тот уже старик. Но он тоже знал Мелика, и он мне запретил... Я не могла ослушаться...

Вирхов терялся, что ему сказать на все это.

— А вы слышали, — наконец нашелся он, — что у Мелика теперь объявился странствующий монах?

— Нет, а кто вам сказал? — быстро спросила она.

Вирхов смутился, потому что сказала ему об этом Ольга.

— Ольга, — все-таки признался он. — Но ей сказал не сам Мелик, а кто-то еще. Чертовщина какая-то, — добавил Вирхов. — То отец объявился, то странствующий монах... Главное, я никак эти дни не могу поймать Мелика. Он где-то бегает непрерывно. Вот только вчера позвонил по телефону, сказал про наших евреев, но я не успел его ни о чем спросить.

— Подождите, подождите, — прервала она. — А может быть, это и есть его отец?! Господи, конечно же, это так! Господи, какое счастье! Конечно, как же могло быть иначе! Откуда же иначе в Мелике была эта тяга в е р х? Это же должно быть заложено. Да, это было в нем заложено с самого детства. Всегда было непонятно, откуда это... И вот теперь... Как я нехорошо о нем говорила! Какая удивительная судьба! Нет, я не то говорю...

Она сложила руки на груди, шепча молитвы, глядя в пространство открытым, светлым взором.

— А может быть, это... Нет, невозможно... Я подумала, что, может быть, это другой человек, но это невозможно. Его нет в живых. И потом, если б он появился, то не пришел бы к Мелику раньше, чем ко мне. Нет, нет, невозможно.

— Вы все время упоминаете его, — сказал Вирхов. — Кто это?

— Я вам потом расскажу. Обязательно. Это был святой человек... Человек, который в полном смысле этого слова мог творить чудеса. Был наделен провидческим даром. Я как-нибудь расскажу вам о нем. Я не рассказывала об этом никогда, никому. В том числе и своему бывшему мужу. Я пробовала ему рассказать, но для него это был лишний повод поупражняться в остроумии. Я расскажу вам первому. Я чувствую, что вам можно.

Вирхов благодарно погладил ей руку опять. Затем потянул к себе, Таня поднялась и неловко села к нему на колени. Некоторое время они сидели так. Он обнимал ее за талию и целовал обнаженную руку возле локтя. Она нежно прижала его голову к груди, попыталась встать, но он не пустил ее. Дрожащей рукой он налил им еще, бутылка была уже наполовину пуста. Он выпил — «как Рембрандт с Саскией на коленях», — пошутил он. Она отвела глаза.

— Скажите, Таня, — спросил он, чтоб снять напряжение и не слишком пугать ее. — А тот субъект, помните, сумасшедший, к вам больше не навещался?

Она отмахнулась:

— Несчастный старик, что вы к нему пристали? Он просто влюбился в Наташу там, в больнице, вот и пришел. Я просила Мелика устроить его где-нибудь, но ему сейчас, конечно, не до этого. Когда он мне звонил, я спрашивала его, но он был так пьян, что ничего не мог разобрать. Он почему-то понял, что нужно устроить на работу Наташиного сына, Сергея Леторослева, и требовал у меня его телефон. Он, кажется, подыскал ему что-то. Бедный Сергей опять сидит без работы. В том, что с Наташей это случилось, он очень виноват.

Вирхов опять начал целовать ей руки, стараясь теперь отвлечь от мрачных мыслей. Сидеть на маленькой кухонной табуретке было, однако, неудобно.

— Пойдемте в комнату, — сказала Таня, кладя Вирхову руку на плечо. — Я уберу здесь потом. А это можно взять с собой.

Они снова очутились в ее комнатке, заставленной ветхой мебелью в чистых холщовых чехлах. Но Вирхов сел уже не на ту свою кушеточку, где сидел предыдущие разы, а рядом с Таней. Совсем осмелев, он обнимал ее и целовал, добираясь до губ. Она уклонялась, закрывая ему рот рукой. Он сполз на пол и стал целовать ей колени. Она тоже села рядом с ним на пол, не давая распахнуть халат совсем и цепляясь за холщовое покрывало, когда он начал опрокидывать ее.

— Господи, помоги мне! — закричала она.

Этот крик заставил Вирхова отступить. Ничего не получилось, но некая невидимая грань была все равно пройдена, и Вирхов торжествовал. Они снова сидели на кухоньке и допивали самогон.

— Не обижайтесь, — ничемно попросил Вирхов.

— Господи, уж не на «вы» хотя бы! — воскликнула она.

— Не обижайся, — сказал он.

— Как я могу на тебя обидеться! Самое большее — могу погоревать вместе с тобой. Нет, нет, я не то говорю... Ты — как все, что потом у Иова! Потому что истое и по-детски реальное чудо — это «сторицей» мне после настоящего полного конца!

— Иова? — переспросил он, как обычно не улавливая хода ее мыслей.

— Тебе кажется, что это не относится никак? Нет, относится! Ты не язычник и мытарь, и у тебя может быть что угодно, любая усталость, срыв — только не это, внешнее, как у них. И предать — ты меня не предашь... Хочешь помочь мне? Я подумаю, в чем и как. Как нам помочь друг другу? Только «быть», истинно быть, а значит, не в грехе.

— Это вы, то есть это ты можешь помочь мне, — нежно сказал он. — И уже помогаешь. С тобой я все понимаю гораздо глубже и вижу яснее.

— Да, — сказала она. — Я знаю, как тебе помочь. Я знаю, что тебе нужно!

— Одного ты не знаешь все-таки... Или знаешь? — решил уточнить Вирхов. — Я ведь пишу, — вымолвил он, застеснявшись.

Она выказала при этом сообщении совершенное равнодушие, и он был сильно разочарован.

— Вы считаете, что это ерунда? — обиженно спросил он. — Ты так считаешь?

— Ах, творчество, ах, экстаз! — иронически взмахнула она руками. — Это душевность, мой друг, это душевность. Это — «для тебя», это надо отдать, избавиться от этого. И вот ты отдал и радуешься, и вот тогда, как по странной просьбе, о н и сами дадут тебе, чтоб было что отдать. Мы ведь не можем сидеть тихо, не распинаясь, не со-распинаясь, и не хотим. Вот о н и и дают, и смотрят — ждут ответа. О н и сами разберутся, только нужно им не мешать.

Он продолжал настаивать, что это не такое простое дело — сочинительство и что он жертвует ради этого многим и готов на бедность и даже на преследования.

— Не «бедность», — наставительно сказала она, — а быть «сором для мира», не получить никогда благополучия. И всегда быть в этом положении, всегда, ты слышишь? Каждую минуту, а не конкретно пострадать! Помни, первый дар — эрот, а второй на лестнице девяти даров — дар силы, соответствующий блаженству алчущего правды!

— Нет, от этого я все же не отступлюсь, — заупрямился он. — Напишу и издам за границей.

— Ох, какой же ты еще молодой! — ласково улыбнулась она. — Как тебя еще нужно долго учить. Напишу, издам, — передразнила она. — Хочешь испортить жизнь... и себе... и мне? Дело ведь не в том, что посадят, посидеть в лагере даже бывает полезно. Плохо то, что это страдание может остаться лишь внешним, обернется душевностью.

— А я и сидеть не буду, — легкомысленно засмеялся он. — Я успею смотаться.

— Господи, что ты говоришь!

— Конечно! Теперь же евреев отпускают. Женюсь на еврейке и уеду. На «историческую родину» жены. Мне тут вчера как раз одна старая приятельница предлагала...

Он не успел рассказать, что предлагала ему его старая приятельница, и оторопело замолчал, увидев, как смертельно побледнело Танино лицо.

— Что?! Что?! — дико закричала она, вскакивая и отбегая к двери. Слезы хлынули у нее из глаз.

Вирхов ничего не мог понять и ошалело разводил руками.

— Уходите! — закричала она.

— Таня, я не понимаю, что произошло...

— Уходите немедленно!

Он попытался приблизиться, надеясь обнять ее и успокоить, но она отбежала дальше в коридорчик, к дверям своей комнаты.

— Таня, это недоразумение, — внушал он.

Она не ответила, лишь зарыдала в голос, сжимая себе лицо руками.

Это внушило ему некоторую надежду унять ее, и он направился было к ней, но в эту минуту на лестничной площадке раздались голоса, во входной двери щелкнул замок, и на пороге появилась свежая после прогулки, модно одетая, сразу же любезно улыбнувшаяся Танина мама, за нею отчим и хорошенький мальчик с кошачьей мордочкой.

Любезная улыбка сбежала с лица Таниной матушки, не без надменности она спросила:

— Таня, что здесь происходит?

— Ничего, ничего, Николай Владимирович сейчас уйдет, — сказала Таня, не пряча слез.

Боком, мимо растерянно (или сочувственно?) кивнувшего ему Михаила Михайловича Вирхов выскочил из квартиры.

XXVIII. Свершилось!

Мелик не видел названного Таниного брата, Сергея Леторослева, с сорок восьмого года и теперь, глядя на него, с болью думал о том, как потрепала того жизнь: виски у него были уже совсем седые, половины зубов недоставало, и шальные цыганские глаза окружены были сеткой морщин. Правда, он еще сохранил привычку прыгать при разговоре вокруг собеседника, ужасно топоча своими огромными ножищами, но тяжело пыхтел, и на столе, заваленном ненужными, никуда не пошедшими рукописями, Мелик заметил у него валидол.

— Я случайно узнал от Тани, — сказал ему Мелик, — что вы сидите без работы. А у нас, в Комитете стандартов, сейчас как раз есть потребность в знающем, толковом математике. Если вы хотите, я мог бы попытаться вас устроить туда. Речь идет о внедрении кибернетики, вычисли-

тельной техники. Начальник нашей лаборатории, Петровский, отличный малый. Я уверен, что вы с ним сработаетесь.

— Не думаю, — отчеканил Леторослев. — Ваш Петровский — мальчишка, если не вообще шарлатан! Купить вычислительную машину и не знать, что с ней делать, так?! Истратить деньги, надавать векселей, так?!

— Что вы, он вовсе не таков, — начал урезонивать его Мелик. — Он очень рассудительный и трезвый человек. Я его хорошо знаю. Я говорил ему о вас. Он обещал предоставить вам полную свободу действий. Вы сколотите себе какую-нибудь небольшую группку, — стал подбираться Мелик к нужному вопросу, — у Петровского есть штатные единицы... Пригласите кого захотите из ваших прежних сотрудников. Помнится, Таня рассказывала про вашего одного приятеля... забыл фамилию... бывший де-сантник, кажется...

Леторослев подскочил не меньше чем на метр, бросился в одну сторону, в другую, и, наконец выбрав позицию у двери (верно, чтоб обезопасить себе тыл), закричал оттуда:

— Ах, вот оно что! Вот оно что! Вас подослал Понсов! Так-так. Ну да, вы ведь дружите со Львом Владимировичем! Так вот. Передайте вашим друзьям, что я в их махинациях участия не принимаю! Я не специалист по девочкам! Я — математик!

— Зачем вы так? — примирительно сказал Мелик. — Они ничего ребята... Лев Владимирович по крайней мере, — поправился он.

— Да, да. Конечно, ничего, — вдруг откликнулся Леторослев. — Очень ничего. Хотите, я вам прочту стишок?

Жили-были два соседа,

— не дожидаясь согласия, увлеченно задекламировал он, —

Два соседа-людоеда...
Людоеда людоед
Приглашает на обед...

— Понятно, — сказал Мелик. — Неплохо.

— Неплохо, да? — захохотал Леторослев, опять начиная прыгать. — Но это еще не конец. Значит, приглашает на обед:

Приходи, соседи ведь мы,
Ничего, что жены ведьмы!

У меня жратва богата,
Помнишь жениного брата?

Презанятный толстячок.
Славный выйдет шашлычок!

Неплохо, а?!

— Прямо-таки здорово, — признал Мелик.

— А вот еще стишок, — не унимался Леторослев. —

Говорит сексот сексоту:
— Все я знаю про того-то...

— Ну, здесь еще немного не завершено... А вы, значит, связались теперь с ними? Что же, у них возникли затруднения? Столько клиентуры, что они уже не справляются без вычислительной техники? Говорите прямо, что им от меня надо? Имейте в виду: мои материалы надежно засекречены. Они тут уже подсылали ко мне одного! Тоже мне ловкачи! Инженер из Ростова! Нашли дурака. Им до меня не добраться!.. Хотели мою секретную тетрадь отнять, по всей Москве ловили! Но секретные тетрадочки есть не только у меня, у Льва Владимировича они тоже есть! Только что он туда записывает, вот вопрос? Поинтересуйтесь на досуге! И пусть заодно поищет, может, он одной такой тетрадочки и не досчитается! Но у меня ее нет, говорю вам сразу!.. Вы вот что вообще передайте Понсову. Мне известны все их темные делишки. И про спекуляции дачами, и про публичные дома, я знаю все! У меня достаточно развито дедуктивное мышление. Меня этому учили! И если только они попробуют мне мешать, их не спасут никакие дружки, откуда бы они ни были. Наоборот, эти же дружки и постараются их поскорей утопить!..

Мелик злился на себя, что не продумал предварительно, как нужно обращаться с Леторослевым. Он решил, что для первого раза они погово-

рили достаточно, лучше дать ему успокоиться и прийти снова через пару дней, выяснить все обстоятельней. Поэтому он и сам поспешно вскочил, сказал, что назначил свидание и не может опаздывать, и убежал, хотя Лейторослев уже сбавил тон, кажется, готов был идти на попятный и предлагал дружески попить чаю.

На час дня у него в самом деле было назначено возле Красных Ворот свидание с иностранцем Григорием Григорьевичем. Мелик пришел на условное место задолго до срока и, присевши на лавочку в скверике, постарался теперь как можно тщательней составить программу предстоящего разговора.

Однако свидание вышло скомканным. Григорий Григорьевич, подъехав в такси, даже не отпустил машину. Ему неожиданно представилась возможность совершить трехдневную экскурсию в Ленинград, где он ни разу еще не был, и он не хотел упускать такой случай. Он у бедителя не просил его извинить. Он всегда мечтал посетить этот город, а сейчас это просто ему необходимо.

— Ви знайте, — сказал он Мелику, — мой отъец родился в Санкт-Петербург. Я расскажу постле...

В утешение он подарил Мелику книгу богослова Жана Даньелю на французском, которым Мелик не владел, и укатил, обещав позвонить сразу, как только вернется.

Чертыхаясь, Мелик поплелся домой: вечером он обещал зайти к Ольге, идти сейчас, днем, к кому-то еще настроения не было.

Он вошел в свой подъезд и уже открывал дверцу лифта, когда сбюку, с лестницы, ведшей в подвал, к нему метнулась темная фигура. От неожиданности Мелик вздрогнул.

— Ах, это вы?! — узнал он сумасшедшего. — А я уж удивлялся, куда это вы пропали...

Сумасшедший был воскового цвета, едва стоял на ногах. Ему было плохо, это Мелик разглядел даже в полутьме парадного. Сумасшедший хотел что-то сказать, но не смог и лишь захрипел, пена пузырилась у него на губах.

Мелик подхватил его под руку.

— Пойдемте, подыдемся ко мне, — сказал он, прислоняя того к стенке лифта.

Они поднялись, Мелик ввел старца в комнату, усадил на кровать, сам снял с него пальто и кепку.

— Вы прилягте, прилягте, — уговаривал он. — Что с вами, сердце?

Сумасшедший покорно лег. Мелик заколебался, не стянуть ли с него кирзовые грязные сапоги, но не стал. Сумасшедший опять попытался что-то сказать, язык опять не послушался его.

— Может быть, вам какого-нибудь лекарства? — не на шутку обеспокоился Мелик. — У меня ничего нет. Подождите, я спрошу у соседей...

Сумасшедший слабо ворохнулся. Мелик выбежал в коридор, постучался к соседу-слесарю, единственному, кто был в этот час дома. У соседа, конечно, тоже не было ничего, он готов был только, если нужно, пожертвовать полстакана водки. Мелик отказался от водки, налил на кухне воды, принес сумасшедшему. Тот не мог удержать стакана, с трудом подымая правую руку. Мелик стал сам поить его, стакан стучал о желтые зубы, вода раслескивалась, текла по небритому подбородку и затекала под растянувшийся ворот старого драного свитера на грудь. Левоу рукой, которая вроде бы повиновалась ему лучше, сумасшедший с раздражением оттолкнул стакан. Он разжал губы, чтобы заговорить, и еще раз не смог. Лицо его перекосилось, коричневые пятна пигментации на лице и голоу треугольном черепе выступили еще резче.

— Может, неотложку? — наклонился к нему Мелик, тревожась все больше.

Сумасшедший сделал движение, выражавшее, очевидно, протест. Мелик все же выскочил в коридор, к телефону, дозвонился и вызвал.

— Фамилия, имя, отчество больного? — потребовала девица-диспетчер.

Мелик на секунду растерялся, сообразив, что так и не знает, кто же этот человек, хотел бежать в комнату, спросить у того, но тут же опомнился, взял себя в руки и сказал: «Мелик Валерий Александрович», — решив, что если они потом будут ругаться, что у большого вовсе не та фамилия и не то имя-отчество, он скажет, что оговорился нечаянно от волнения.

Пока он звонил, старика как будто чуточку отпустило, взгляд его был теперь меньше искажен страданием. Мелик сел рядом с ним на кровать.

— Ну как, полегче? — спросил он. — Сейчас они приедут. Сделают какой-нибудь укол или возьмут вас, отлежитесь денька два, все будет в порядке.

Сумасшедший взглянул на него с каким-то ужасом. Холодными не подчинявшимися ему пальцами он нащупал меликову руку, стараясь сжать ее.

— Кто с тобой был? — углом перекошенного рта выдохнул он. — Этого не может быть... Его нет в живых!..

— Это... так, один мой знакомый... А вы что, следили за мной?! — спохватился Мелик.

— Его нет в живых, — повторил сумасшедший. — Органы не ошибаются.

— Что, что? — переспросил Мелик.

— Я узнавал, — сказал сумасшедший. — Они обманули меня. И ты, сынок... Сынок...

В тоне сумасшедшего была неподдельная горечь. Невольно тронутый этим, Мелик намочил полотенце и обтер старику лицо и губы с запекшейся пеной.

— Вы успокойтесь, успокойтесь, — как можно мягче заговорил он. — Вы ошиблись, тут какое-то недоразумение. Зачем вы за мной следили? Вы что, следили все эти дни? Что вам вообще от меня было нужно? Я не сержусь на вас, только вы принимаете меня, наверное, за кого-то другого.

— Я хотел тебе все рассказать, сынок, — прошамкал несчастный. — Сказать тайну... Вы все сговорились против меня. Незаконно репрессировали..

Мелик встал и отошел к окну.

— Вы успокойтесь, — попросил он. — Я понимаю, вы прожили тяжелую жизнь. Страдали. Мы вам поможем. Конечно, что за вопрос? Отлежитесь, поправитесь, сделаем для вас все, что в наших силах... Долго сидели? Я ведь и сам сидел. С четырнадцати лет, сперва в детколонию, потом в лагере...

— Я сам служил в органах! — с усилием выкрикнул вдруг старик.

От этого выкрика он вновь лишился дара речи. Левый глаз его совсем закрылся, левый угол рта сполз куда-то вниз, но правой половиной лица старик еще владел, и правый глаз его, обращенный на Мелика, горел, маня нагнуться, как к смотровому окошечку, и поглядеть, что за дьявольский огонь бушует внутри этой хрупкой скудельной оболочки.

— Понятно, — сказал Мелик. — Сначала вы сажали, потом посадили вас. История известная... Но от меня-то вы чего хотите? Зачем вы меня выслеживали эти дни? И этот мой знакомый, чем он вас напугал?

— Я... допрашивал его лично, — неразборчиво выдавил из себя сумасшедший.

— Ну, вот видите, — усмехнулся Мелик. — Лично... Хм... Вы ошибаетесь, уверяю вас. Он не был в то время у нас в Союзе...

— Он был, — прохрипел старик.

Мелику стало противновато при мысли, что и в самом деле он не может знать точно: был в те времена Григорий Григорьевич в Союзе или не был. Прежние сомнения насчет Григория Григорьевича тут же всколыхнулись и полезли в голову.

— А в каком году это было? — спросил он.

«В сороковом, до войны»... — прочел он по губам старика.

— В сороковом? Сколько же тогда могло ему быть?—прикинул он вслух.— Лет двадцать, разве чуть побольше.

Старик расслышал:

— Ему было шестьдесят... пятьдесят... шесть.

— Вот видите,—почувствовал себя несколько тверже Мелик.— А этому как раз теперь под шестьдесят, даже меньше.

— Он обманывает,—нашел в себе силы старик.

— Нет, уверяю вас, нет. Тому, вашему знакомцу, теперь было бы все девяносто. Девяностолетнего за шестидесятилетнего принять невозможно, в горах только если где.

— Правда?—по-детски обрадовался старик.

— Уверяю вас. Вы ошиблись. Они скорей всего просто похожи.

— И ты не с ним?—спросил старик, пробуя даже приподняться.

— Нет, клянусь честью, что нет!—засмеялся Мелик, с удивлением замечая, что это приносит страдальцу реальное облегчение.

Сумасшедший лег покойнее, вытянулся, задышал ровнее, грудь его перестала содрогаться, на правой стороне лица обозначилось даже некое подобие улыбки. «Да, вот так ломает нас жизнь»,—подумал Мелик, вспоминая почему-то Леторослева, а затем представляя себе—себя, больного, лежащего вот на этой же постели. Это жалостливое чувство тотчас же передалось старику. Grimаса, означавшая улыбку, сошла с его лица, он прикрыл глаза, из-под синих с желтизной век у него вдруг выступили слезы, негнувшейся рукой он снова стал искать руку Мелика.

— Я умру, умру, сынок,—мученически вымолвил он.— Умру... Я всю жизнь искал... Не было следов... Теперь нашел, а ты... бойся этого человека... Не пытайся с ним сговориться. Не обманывай меня. Мой начальник пытался с ним сговориться, но я разоблачил.

— Что? Я вас не понимаю,—склонился над ним Мелик.

Сумасшедший некоторое время опять не мог произнести ни слова, обращая к Мелику взор, в котором были мольба постараться понять его и гнев—что молодой наперсник его столь глуп и понять ничего не может.

— Я его допрашивал лично,—возобновил он, набираясь терпенья.— Я узнал от него все! Он мне признался во всем. Сказал мне всю правду. Мне все говорили только правду! Мой начальник пытался с ним сговориться, но я разоблачил его. Я не успел. Они разоблачили меня. Меня преследовали всю жизнь, но я никогда не открывал никому... ничего. Они пытались мне помешать. Слушай!—повелительно прохрипел он, так как Мелик помотал головой, показывая, что все еще ничего не понимает.— Слушай, не бойся, их никого нет в живых. Они все расстреляны, все... Кроме... этого человека. Нет, он расстрелян тоже...

— Да, мы уже выяснили этот вопрос,—вставил Мелик, с напряжением вникая во весь этот бред тяжелого больного.

Сумасшедший дернулся половиной лица, вцепившись левой рукой, стал рвать на шее душивший его ворот свитера.

— Слушай, сынок,—застонал он.— Ты сейчас все узнаешь. Тайну узнаешь... Они убили... миллионщика. У него деньги были поделены между детьми. Шесть миллионов, по два миллиона на каждого... Банк в Лондоне, на Флит-стрит, запомни...

Обычный испорченный квартирный звонок теперь прогремел, как набат. Мелик рванулся к двери, потом опять к старику, неверной рукой пытавшемуся его удержать. Сосед уже промчался по коридору. Пришедшая врача из неотложки сиплым голосом бранилась, что долго не открывали. Мелик едва успел удивиться, что не услышал первых звонков. Сумасшедший последний раз сжал ему руку.

— Запомни... Наследство... Дочь миллионщика...

Вошла пожилая худая врача, в грубой черной шинели и наброшенном сверху халате. Сосед-слесарь маячил в дверях.

— Полчаса звоню,—сказала врача, проходя к постели больного привычным шагом, навидевшись, должно быть, уже и за сегодня немало всякого.— Не умер?—спросила она, неожиданно смягчаясь.— Что с ним?

— Что-то с сердцем,—сказал Мелик.

— Инсульт, — определила она через мгновение и постучала пальцем Мелику по лбу.

Она обвела взглядом меликово убогое жилище и заключила:

— Будем увозить.

Мелик с признательностью посмотрел на нее.

— Папаша? — спросила она.

— Мой?.. Он... Он здесь не прописан... — залопотал Мелик.

— Мне какая разница: прописан, не прописан, — оборвала она. — Это ты с милицией объясняйся. Если б мы одних прописанных брали, знаешь, что было бы... Иди вниз, к шоферу, бери носилки...

Старик оказался невероятно тяжел, лестница крута, на поворотах носилки застревали, нужно было по-хитрому поднимать их и заносить через перила. Старик хрипел и стонал, врачца покрикивала, чтоб несли осторожно. У Мелика, шедшего в головах, уже через два марша начали подгибаться ноги. Он бесился, слыша побряхтывание и бормотание соседа-слесаря, предназначенное врачиче, спускавшейся следом:

— Папаша это его, папаша... Вишь, разыскали друг друга. По радио искали, в телевизоре писатель объявление делал. Насилу сыскали. Только стретились, и какая неприятность! Ай-я-яй! Похожи-то как, одно лицо!

Машина, негромко урча сиреной, напоминавшей голос самой врачичи, запетляла по переулкам. Сосед остался на тротуаре. Мелик скорчился на откидном сиденье рядом с больным. Они, видно, все-таки растрясали его, пока несли, он казался без сознания, только правая, полупараличная рука его беспокойно искала что-то.

«Это ведь он мою руку ищет, — догадался сидевший по другую сторону Мелик. — Господи, а как же они будут его записывать? Ведь без паспорта могут и не принять! Отправят назад!».

Поспешно, оглядываясь на маленькое круглое окошечко в переборке, отделявшей их от шофера и врачичи, он стал шарить по карманам стариковского пальто, которое в последний момент сообразил набросить поверх носилок. Ни в пальто, ни в брюках ничего не было.

В приемном покое начать объясняться и говорить, что он не знает, кого привез, было неудобно — врачича из неотложки все еще торчала рядом. Мелик стал клясться, что максимум через час принесет им стариковские документы, и на вопрос дежурной, как записать папашу, совсем смешавшись, продиктовал:

— Пишите... Фамилия Мелик... Зовут... Александр... Гаврилович... (Это было отчество его покойного отчима.)

Мелик вернулся домой, совершенно измотанный, одуревший от острого больничного запаха. Сосед-слесарь, успевший за это время уже поднабраться, радостно встретил его в коридоре и потащил к себе — выпить. Мелик не смог отказаться. Соседка, с которой у Мелика никогда особо теплых отношений не было, изобразила скрепя сердце хлебосольную улыбку и выставила еще бутылку.

— Давай, давай, — поощрял муж. — Доставай из заглашника... Я врачиче-то не стал объяснять. Папаша, мол, и папаша. Ей-то что, дура? Эскадронная кляча. А я понимать могу, верно, Клавдия? Религиозник! Духовное лицо! На меня глянул одним глазом, так мороз по коже! Не меньше архидаккон! Ты пей. (Мелик выпил, зажмурясь, поднесенный полный на три четверти стакан.) Ты не бойсь. Я тебя завсегда выручу. Клавка у меня сама религиозная. Милиция там али что, всегда ко мне обращайся. Я тебе первый друг-помощник... Что это, никак обратно звонят? Ты сиди. Клавдия, пойдй открой.

В дверь звонили, лихорадочно, нервно. Соседка побежала открывать и вернулась, недобро ухмыляясь.

— Обратнo к тебе, — сообщила она Мелику.

В темной передней, трепещущая, прижав руки к груди, с глазами, полными слез, стояла Таня.

— Таня, Таня, что с тобой? — закричал он.

Бережно обняв за плечи, он провел ее в комнату и усадил все на

ту же кровать, поспешно стряхнув с одеяла комья засохшей грязи, нападавшие с кирзовых салог старика сумасшедшего.

— Ах, это ужасно, я не могу, я не могу-у, — зарыдала она, утыкаясь лицом в подушку, в углубление, оставленное треугольным черепом. — Я не могу, не могу... Помогите мне, спасите меня...

— Таня, Таня, — молил он.

Она оторвалась от подушки и села, глядя на него совсем круглыми, безумными глазами.

— Разве Ольга тебе еще не звонила? — спросила она.

— Нет, нет, — постарался он посмотреть ей в глаза как можно честней, чувствуя, что она ему не верит.

— Разве она тебе еще не сообщила? Не сказала: «Наша-то подружка опять не растерялась!» Она не сказала тебе еще про «б... для избранных»? Она тебе скажет, обязательно скажет!..

Она будто увидела что-то перед собой и уставилась в эту точку неподвижным, остекленевшим взглядом.

— Подожди, подожди! — Мелик схватил ее за руки в предплечьях и затряс, чтобы привести в чувство. — Объясни мне толком, что случилось? Перестань, прошу тебя. Не надо. Мало ли что скажет Ольга. Она что, сказала про тебя что-то кому-нибудь? Кому? Вирхову?

Таня прыгнула, озираясь так, словно хотела забиться куда-нибудь в угол.

— Не произноси при мне этого имени! — прошептала она. — Никогда! Я опозорена, опозорена навеки... Мама сказала, что я опозорена навеки...

Мелик вдруг все понял. Он представил себе красавца Вирхова. Сердце его оборвалось. Который раз уже, с тех самых пор как он впервые увидел ее, ему приходилось, униженному, обойденному, вот так же глупо сидеть и узнавать от нее самой или от других про это! Он ощутил приступ гневного отчаяния. Кровь бросилась ему в голову.

Таня продолжала между тем как в бреду:

— Мама говорит, что я опозорена... Это скучающий, богемный человек... Он меня изнасиловал... Ах, моя комнатка плыла у меня перед глазами... Что мне делать? У ребенка должен быть отец...

— Замолчи! — заорал Мелик.

Она вздрогнула, обида отобразилась на ее лице, она стала неуклюже слезать с кровати, чтобы уйти.

— Подожди, — закричал Мелик, принимая к ее ногам.

Злоба и гнев его мгновенно отступили. Он почувствовал прежде незнакомую и теперь непереносимую жалость к ней, нелепому, слабому существу, не умеющему приспособиться в этой страшной жизни, обреченному, беспомощному среди людей жестоких и хитрых.

— Бедная девочка, бедная девочка! — горько воскликнул он, сам заливаясь слезами. — Милая моя! Я люблю тебя! Как я тебя люблю. Бедная моя!

— Я как для опытов, нарочно сделанная тварь...

— Я люблю тебя, — повторял он. — Я всегда любил тебя одну. Всегда!

С изумлением, благодарно она взглянула в ответ.

— Я тоже любила тебя и, наверное, все еще люблю, — тихо, неуверенно, точно прислушиваясь к себе, вымолвила она.

Он стал целовать ее, жадно, захлебываясь от счастья, точно разом хотел наверстать все упущенное, видя ее перед собой такой, какой она была прежде — юной, нежной, цветущей, — девочкой, девушкой, молодой прекрасной женщиной. Как случилось, что тогда с нею был не он?! Ярость снова начала подступать к горлу.

— Зачем ты тогда? — крикнул он. — Все было бы иначе. И в твоей жизни, и в моей! Почему? Почему?! Бедная моя!

Ужас, что теперь уже поздно, что время упущено безвозвратно, окватил его. Жизнь была проиграна, ничто уже ничего не могло изменить.

Бессвязно он стал убеждать ее и, главное, себя, что у них все еще впереди.

— Мы теперь будем вместе, будем вместе, — твердил он. — Уедем. Поживем несколько лет и уйдем в монастырь, хочешь? Как будет хорошо!

— Да, да, — отвечала она. — Нет, не надо, не надо, только не сейчас...

Новый страх — что если этого не будет сейчас, та тоненькая ниточка, вновь связавшая их, порвется, как рвалась столько раз прежде, — овладел им. Он впился в ее губы, подминая ее под себя, не давая ей сказать ни слова больше. Она вырывалась из его рук, то слабая, то с неожиданной силой отталкивая его. «Нет, так ничего не выйдет, — подумал он. — Надо купить водки».

— Давай выпьем на радостях! — предложил он, отступаясь.

— Давай, — легко согласилась она.

Наскоро смыв под краном в ванной следы слез с лица, Мелик выскочил на улицу, протолкался без очереди в магазине, купил сразу две бутылки водки, благо десятка, взятая у Петровского, почти вся еще была цела, и вернулся — все на едином дыхании, словно и впрямь ему было девятнадцать лет и он после первого лагеря бежал к ней, Бог знает на что надеясь.

Сидя на постели, тесно прижавшись друг к другу, не выпуская друг друга из объятий, они пили, раз за разом, целуясь, вспоминая какие-то глупости про те, прежние свои встречи; он рассказывал ей что-то смешное об отце Алексее, о Хазине, об иностранце Григории Григорьевиче. С тайным восторгом он наблюдал за тем, как пьет она, не пропуская, не стараясь обмануть его, доверяя ему, как язык у нее тяжелеет и заплетается все больше. Почти мгновенно исчезла первая бутылка, за ней вторая вдруг уменьшилась наполовину. За окном было уже темно. Они не зажигали света, в темноте любясь сияющими глазами друг друга.

Внезапно Мелик очутился возле соседской двери. Слесарь спал, Мелик уговаривал соседку продать ему из ее «загашника» бутылку водки, потому что ближайшие магазины уже перестали торговать. Он запомнил разгоревшееся от любопытства и удовольствия лицо соседки. Веселясь, он вернулся к Тане, но Таня не дала ему больше пить и куда-то убрала бутылку, и он некоторое время бродил по комнате, делая вид, что ищет, и, валяя дурака, спотыкался и падал на пол.

Потом они уже не сидели, а лежали, целуясь взахлеб, и Мелик чувствовал, как его швыряет от одного края кровати к другому.

Когда он проснулся, его все так же швыряло из стороны в сторону и он должен был ухватиться за одеяло, чтоб не свалиться по-настоящему. Прошло несколько мгновений, прежде чем он сообразил, где он, что с ним и кто лежит с ним рядом. Он был немного подавлен и растерян: он наверняка знал, что это случилось, но не помнил, что он ощущал при этом, не помнил ни торжества, ни сладострастия — как будто ничего и не было.

Она проснулась тоже. Ее лицо чуть припухло, вид был простодушный и нежный. Она потянулась, потерлась щекой о его щеку.

— Мне надо идти. Мама будет беспокоиться.

— Не уходи, оставайся, — стал просить он. — Оставайся совсем. Что нам мама?

— Нет, нет, мама сойдет с ума. Уже час ночи, у твоих соседей только что прбило. Я все слышала. Я не спала.

— Ну тогда подожди, посидим еще, потом пойдем. Еще же рано. У них часы врут, честное слово.

Она показала ему, куда убрала водку. Он глотнул прямо из горлышка, но немного, чтоб только прийти в себя. Они зажгли свет, задернули шторы.

— О чем это я тебе болтал? — спросил он, глядя, как она стыдливо охорашивается перед маленьким кусочком зеркала, прикрепленным у него на стенке шкафа.

— Тебе почему-то все не давал покоя бедный Григорий Григорьевич.

— Да-а? Любопытно... Он меня обманул сегодня...

— Да, ты рассказывал. Ты что, не помнишь?! Боже мой, ты что, ничего не помнишь?!

— Нет, я все помню, — смущенно начал оправдываться Мелик. — Но вот про Гри-Гри почему-то забыл... Он укатил в Ленинград. Он сказал мне, что его отец родился в Питере, это правда? Ты ведь с ним встречалась эти дни. Кстати, почему он так заинтересовался тобой тогда, у отца Владимира?

— Ой, ничего не помнит! — всплеснула она руками. — Ты же меня уже спрашивал об этом. Я тебе рассказывала...

— Ну извини, расскажи еще раз. А то я подзабыл. Я ревную.

— Его отец был русский, ну не русский, а наш российский еврей, конечно. Он был знаком с Наташей еще до революции и с моей мамой — в Германии. Его фамилия, фамилия отца, а не Григория Григорьевича, — Проровнер или Проворнер, я не поняла, кажется, так. Отец его пропал где-то около сорокового года. У Григория Григорьевича есть какие-то основания предполагать, что отец, может быть, уехал сюда, в Союз. Он, правда, наводил справки, ему ответили, что такой неизвестен. Он потому так и ухватился за меня, он запомнил с детства мамину фамилию. Удивительно, да? Но чем я могу ему помочь? Я ничего не знаю. Наташа не любила рассказывать об этом времени... Мне по крайней мере.

— А мама?

— С мамой вообще нельзя об этом разговаривать. Маме очень плохо. Она всегда была истеричкой, ее давно уже надо лечить. А теперь она совсем сломалась. Истерия — ведь это болезнь. Михаил Михайлович — ужасный человек, он этого не понимает. Он столько задолжал Литературному фонду, что они подали на него в суд, и на днях приходили судебные исполнители описывать мебель.

— А что, у вас совершенно нет денег?

— Совершенно! — Глаза ее стали испуганными. — А Михаилу Михайловичу еще взбрело в голову подать заявление на путевки, чтобы поехать в круиз вокруг всей Европы. К счастью, ни его, ни маму не пустят, конечно. Они, разумеется, не выездные, это ведь так называется, да?

— Они пытались когда-нибудь?

— Несколько раз. Но им всегда отказывали, сразу же — в низших еще инстанциях. Им откажут и теперь. Уже, по-моему, отказали... Ах, надо об этом. Давай подумаем лучше, как нам помочь несчастному Гри-Гри... Он не теряет надежды отыскать какие-то следы отца. Он просил меня отвести его в больницу к Наташе, но я не решаюсь на это. Наташу это может взволновать. Она и в самом деле, бедняжка, сильно сдала. Я даже боюсь, что ее заключили туда все-таки не случайно. Правда, вот-вот должен приехать Андрей Генрихович...

— Кто это?

— Первый муж Наташи.

— Про такого как будто ничего слышно не было?

— Ах, как ты невнимателен к людям! — строго сказала она. — Неужели ты настолько ничего не помнишь?!

— Разве я о нем спрашивал уже у тебя сегодня? — тупо посмотрел Мелик.

— Не сегодня, а давно еще, когда тебе было еще девятнадцать лет, милый! — Она смягчила упрек, поцеловав Мелика в щеку. — Но вообще-то так нельзя. Мы слишком часто не интересуемся людьми, которые проходят мимо нас. Не знаем, как зовут швейцаров, сиделок, сторожей. Не замечаем их... Проходим как сквозь стену... Кстати! Как тот старик, которого я к тебе послала?

Мелик вздрогнул:

— Какой... старик?!

— Вот видишь, вот видишь, ты опять не помнишь! А ведь это была моя просьба! Неужели ты ее не услышал? Я к тебе его посылала, чтобы ты ему помог...

— Ах, этот старик! — Мелик снова хлебнул прямо из горла. — Как же, помню! Значит, это все-таки ты его послала! Я так и думал... Как же, я помог ему! Я ему дал денег. Потом, может, удастся пристроить его где-нибудь возле церкви... сторожем... Я поговорил кое с кем, мне обещали...

— Правда? — восхитилась она, целуя его. — Вот молодец! Умница. Вот за это я тебя люблю!

— А откуда он взялся у тебя? — спросил Мелик, слегка уклоняясь от очередного поцелуя.

— Бедный старичок, он лежал с Наташей в больнице. Наташа рассказывала им немного о себе. Они все там так сочувствовали ей, а старик, видно, прямо влюбился. Вот и пришел ко мне. Запомнил меня, когда я навещала ее, разузнал адрес и пришел. Трогательно, правда?..

— Очень... А скажи, Лев Владимирович не сможет нам помешать? Он не собирается к тебе вернуться?

— Да, он просил меня об этом. Он звонил вчера. Просил о встрече. Чем-то он очень обеспокоен...

(Окончание следует)



Лев ТИМОФЕЕВ

Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать

...Соком черного хлеба отравлен, на нары
запрятан,
Без свиданий, без писем — обовшивел в тоске.
На словах все известно: блаженство гонимых
за правду...
Ни блаженства, ни правды — надзиратель
в тюремном глазке.

Лев ТИМОФЕЕВ.
Декабрь 1985 года.
Пермская пересыльная тюрьма

Первый раз имя Льва Тимофеева я услышала от одного своего знакомого, попросившего спрятать на время, пока шел процесс, несколько запрещенных книг. Спустя некоторое время я увидела на соседской даче двух девчонок — Соню и Катю, детей осужденного за книгу «Крестьянское искусство голодать» Льва Тимофеева. Я прибавила к Сониным одиннадцати годам одиннадцать отцовских (шесть лет лагерей плюс пять ссылки) и тихо сказала: «Господи...». Потом я познакомилась и с самой книгой. Я читала ее как детектив, не отрываясь. Последние страницы проскакивали с таким треском, что едва успевала осмысливать их содержание. Меня несло к телефону сказать «помилowanному» к тому времени автору — «Отлично!». Досадуя на собственное нелюбопытство (ибо все понятное и наработанное мной на этом фоне выглядело простой банальностью), я получала эстетическое удовольствие от почти текстуального в некоторых местах совпадения со своими мыслями. Это был первый случай в моей жизни, когда я читала мастерски исполненную «собственную» книгу.

И сейчас все труднее поверить в то, что еще два года назад я запрятывала в тайные местечки дачного чердака экземпляр рукописи документальной повести Льва Тимофеева «Я — особо опасный уголовный преступник», которая теперь в симпатичном парижском переплете лежит у меня на столе. И всякий раз с облегчением вздыхала, услышав в трубке после выхода очередного номера издаваемого им журнала «Референдум» сдержанное — «Привет». Мне все время казалось, что теперь-то уж точно придут и посадят «на место». На то самое место, с которого освободили не за отсутствием состава преступления, как следовало бы, а помилованием...

Россия всегда любила своих героев. Но мертвых. Так было и в прошлом, и в этом веке. Пора бы помилосердней обходиться с живыми. Наше равнодушное, привыкшее к холопству общество до сих пор не замечает того, что люди, может быть, больше всего сделавшие для нынешних освобождающих реформ, по-прежнему носят клеймо преступников и отщепенцев. Ну почему мы с такой небрежной легкостью пренебрегаем тем, что имеем?

Я точно знаю, что имя Льва Тимофеева войдет в литературу. Его публицистические книги и литературоведческие статьи будут читать и перечитывать. Но как каждому жадному до событий, мне уже хочется видеть его среди политических лидеров нашего еще только нарождающегося демократического движения.

...Когда на той, подмосковной, даче я смотрела на маленьких Соню и Катю, мне его жертва казалась бессмысленной. Я не понимала тогда, что он оставил своих детей для того, чтобы выжили мои.

Лариса ПИЯШЕВА

Как это было? Лев Тимофеев буквально програлся в душу через треск глушилок, когда радиоголоса вечер за вечером читали эту книжку. Потом мы добыли и размножили тамиздатовский текст — Господи, как просто и ясно сказано о главном в нашей жизни, и все по делу. Быть может, только пишущие знают, скольких трудов стоит такая прозрачность мысли.

Сейчас вот, предваряя публикацию очерка в одном из лучших наших журналов, я с профессиональной придирчивостью перечитал текст: не устарела ли книжка, не потеряется ли она в потоке новых экономических исследований? Нет, судьбы опорных книг сходны в одном: время только раскрывает, обнажает их достоинства. Физическое и нравственное вырождение народа, проанализированное автором с добросовестностью патологоанатома, достигло той черты, когда под вопрос поставлена святая святых режима — благополучие правящей касты. В партии по сему случаю аврал, словно на пиратской бригадине, когда она по беспечности команды столкнулась носом к носу с целым королевским флотом. Сорвиголовы в руководстве КПСС дошли до того, что произвели в обществе неприличный звук: «Рынок». Лев Тимофеев куда как своевременно докладывает нам: «Или рынок, или социализм. Или стабильность экономическая, или независимая от благосостояния общества стабильная политическая система. А поэтому все разговоры о рыночном социализме — праздное занятие». При социализме возможен лишь черный рынок, причем в двух ипостасях: во-первых, как сфера подконтрольной инициативы голодающего населения, во-вторых, в качестве торжища должностями и привилегиями. В системе открытых рыночных отношений партократия заведомо проиграет, как, добавлю от себя, обречена она и в честной политической борьбе, то есть без опоры на спецназ, на политологов в штатском и на самоновейший закон об оскорблении Президента. В чем по долгу вежливости я ей и выражаю не вполне искреннее сочувствие.

Впрочем, не будем оттягивать удовольствие, которое предстоит читателю, — слово автору.

Василий СЕЛЮНИН

Я — не крестьянин. И никогда не голодал. Случайно я близко увидел жизнь крестьянской семьи и, начав — с малыми целями — записывать события и обстоятельства этой жизни, вдруг с удивлением понял, что вся советская система, начиная от нашего высокомерного правительства и кончая учеными-атомщиками и поэтами-песенниками, живет за счет сельской семьи, как пиявка присосавшись к крестьянскому хозяйству.

Если бы я так удивился в двадцатых годах, мне бы сказали, что я просто ослеп: тогда все знали и едва ли не во всех газетах писалось, что пролетарское государство не может существовать, не ограбив крестьянина, другое дело, что одни принимали это с восторгом, другие вовсе не хотели принимать, однако знали все. С тех пор знания эти несколько позатерлись временем и разговорами по поводу всенародного государства, но сама зависимость системы от крестьянина осталась.

Мы, горожане, не знаем деревни, не знаем законов, по которым живет крестьянин. Ложь и предрассудки заменяют нам знания о сельской жизни и передаются из поколения в поколение. И редкий случай, чтобы какой-нибудь потомственный или хотя бы недавний горожанин застыдиллся бы своего самодовольного незнания, своего пренебрежения к труду, к судьбе крестьянина. Само это незнание, само пренебрежение не замечается, и с течением времени не только не прозреваем мы, но, кажется, все сильнее порошит нам очи...

«Да уж теперь-то крестьянин сыт! — заявляют даже те наши интеллигенты, которые лет десять — пятнадцать назад

считали себя приверженцами деревенской темы, были озабочены судьбой сельской России и до сих пор выписывают журнал «Новый мир». — Уж теперь-то наступил сытый день крестьянина», — говорят они, полагаясь, видимо, на очерки в журнале.

Отчего же только теперь? В нашем представлении — так-то он всегда был сыт. С детства помню странный анекдот, злой, рассказанный кем-то у нас в семье, среди горожан. Будто бы в первую послевоенную денежную реформу крестьянин принес в сберкассе мешок денег — менять. Посчитали — рубля не хватает до ста тысяч. «Вот, черт возьми, не тот мешок прихватил. В том — точно сто», — подосадовал крестьянин.

Откуда у крестьянина в голодное время мешок денег? Только вместе с недоумением и запомнилась сама эта история, с ее, я бы сказал, сталинским взглядом на крестьянина: сколько ни драить, всегда есть что брать. Или нет, не столько недоумения в этом анекдоте, сколько надежды: если у крестьянина есть мешок денег, значит, в государстве все в порядке, значит, и за себя можно не беспокоиться, и страна проживет — значит, есть где брать, есть и что брать.

Пока жив человек, у него всегда есть что брать. Для нашего государства и вопроса такого нет: брать или не брать у крестьянина? Хоть и последнее — БРАТЬ! И как можно больше... Но как? И тут не один вопрос, но целая их цепочка, круг...

Как это может быть, чтобы и дорогостоящая космическая программа, и грандиозные, но малополезные хозяйствен-

ные начинания у нас в стране, и успешные военные действия в Эфиопии — все бы оплачивалось из скромного бюджета крестьянской семьи? Только ли крестьянская семья сейчас оплачивает политику партии и правительства? Каков вообще механизм эксплуатации трудящегося человека в условиях развитого социализма? В этом кругу и все крестьянские вопросы.

Марксов политэкономический анализ у нас не годится: классические законы капиталистического производства, законы открытого рынка для нас недействительны — ни того, ни другого у нас просто нет... Но вообще без рынка можно обойтись лишь в теоретических построениях советских политэкономов: человеческие потребности столь обширны и многообразны, что не могут уместиться ни в какие нормы, разрядки, ни в какие сверху спущенные планы. Вне планов и разрядок ищем мы живого экономического отклика на сам факт своего существования. И находим.

Чем дольше длится относительно спокойное время вне войн, революций и массовых репрессий, тем течее наша социально-экономическая система проявляется как чудовищных размеров и размахов черный рынок.

Черный рынок живет и развивается у всех на виду и для всех очевидный. В границах его связей и отношений можно накормить страну картошкой или построить тепловоз, определить сына в университет или купить диплом агронома, отремонтировать трактор или найти место на «лимитном» московском кладбище. Все продается и все покупается вне планов и разрядок. Ты — мне, я — тебе... Но кому достаются прибыли? Ни мне, ни тебе — мы-то никак из нищеты не выйдемся.

Иногда кажется, что черный рынок — все это искусство дышать в петле запретов и ограничений, вся эта простодушная хитрость, этот кооператив нищих — нами придуман, что мы тут обманули советскую власть: нам — колхоз, а мы — приусадебное хозяйство; нам — дефицит и распределение по карточкам и талонам, а мы — взятку и товары через заднюю дверь; нам — постную пятницу в заводской столовой, а мы — кроликов разводить в городской квартире; нам — бесплатно плохого врача в конце длинной очереди больных, а мы — с подарком и без очереди к хорошему... Словчили? Дудки!

Когда надо, власти и приусадебное хозяйство прижмут запретами и налогами (так было), и кроликов из городских квартир милиция повытрясет, и за подарки врачу сроки давать будут. Раз терпят — значит, всем выгодно. Раз терпят — значит, без этого и власти не удержаться. Нас тут отпустили слегка, чтобы вовсе не примерли, но на вожжах держат.

Черный рынок — не лазейка, не потайная дверца в стене, которую мы хитро

пробили. Черный рынок — и лазейка, и сама стена.

При беглом взгляде кажется, что черный рынок существует побочно от плановой экономики, что в экономической жизни он явление второстепенное. Но нет! Посмотрев внимательнее, увидим, что как раз черный рынок составляет основу советской экономики, стержень, на котором крутится планово-разрядочная хозяйственная постройка.

Черный рынок — это социалистический механизм власти и эксплуатации, самая суть нашей социально-экономической системы — именно так он обозначился в последнее время.

Ценности, которые здесь циркулируют, поддерживают существующий политический и социальный порядок. Как именно поддерживают? Куда движется общество? Этого мы не поймем, пока сам черный рынок не понят.

Понять технологию тем более необходимо, что это и есть реальная политэкономия социализма. Иной экономической реальности при нынешних политических условиях мы не знаем. Да и возможна ли она? Запрет на частную инициативу порождает спекуляцию, коррупцию, тайную эксплуатацию — это подтверждено всей шестидесятилетней историей нашего государства. И трудно предположить, что может быть как-то иначе, в какой бы стране ни был повторен советский эксперимент...

Но как раз понимать-то мы не вполне готовы. Советское общество по сути своей — совершенно небывалая в истории социально-экономическая система (какие бы аналогии ни приходили в голову исследователям), и для анализа здесь необходим новый инструмент, новые понятия. У нас их пока нет. Поэтому мы вынуждены начать не столько с анализа, сколько с описания. Не столько с научного мышления, сколько с образного восприятия, с изложения личного опыта, индивидуальной судьбы. Может быть, мне, журналисту, взяться за такую работу — между фельетоном и наукой — было несколько проще, чем кому-то из серьезных ученых.

С чего же начать? С чего мы можем начать? Есть лишь один сектор черного рынка, разговор о котором под угрозой всеобщего голода разрешен в последнее время и даже поощряется: приусадебное хозяйство крестьянина. Оно-то и интересует нас в первую очередь. С крестьянского двора и начнем...

1

27 марта прошлого года я приехал в деревню в слепую метель. В тот же день, но без моего участия похоронили Аксинью Егорьевну Ховрачеву. Я даже видел, как ее хоронят, а не пошел — не понял, что похороны, не спросил, кто умер. Совсем рядом со мной промелькнул ее гроб, и я еще боковым зрением увидел сосновые доски, а понять, что это за доски и кто их несет, — не понял, не разли-

чил в плотном, косом снегопаде. Торопился домой, в тепло, — торопился уйти от метели. Подумал: плотники встретились. Мало ли кто строится, дом поправляет. Или вообще ничего не подумал... А провозжатых за снегом и вовсе не увидел... Или увидел провозжатых, но не увидел гроба: толпа и толпа. Может, тихая свадьба такая, а может, селедку в магазин привезли. Метель гнала мимо чужих забот.

Только вечером пришли, рассказали, кому и какой дом построили, что за тихую свадьбу сыграли...

Я познакомился с Аксиньей Егорьевной Ховрачевой, а заодно и с мужем ее Александром Авдеечем по прозвищу Кутек много лет назад, когда купил в деревне по соседству с ними избу и впервые приехал на несколько месяцев, чтобы ловить рыбу, ходить за грибами и писать диссертацию о мелодике русского стиха.

Самое первое знакомство состоялось в дождливый осенний день — для меня на всю жизнь особенный, как непонятный, и до сих пор не понятый, вязкий кошмар, а для Аксиньи Егорьевны, может, и не единственный такой, — когда пьяный Кутек, избив ее до сумеречного сознания, за волосы выволоч во двор и свободной рукой стал шарить вокруг — топор искал, казнить собирался на виду у четырех оцепеневших дочерей.

Убил бы, если бы не помешали? Кутек-то вряд ли убил бы — очень уж он жалкий и тщедушный мужичишка был. Он и не думал убивать — так, тешился... Однако пьяного кто разберет? Сама же Аксинья Егорьевна рассказывала: за год до моего первого приезда в Гати один тоже потешился пьяный, троих детей своих сжег, ночью со всех углов избу запаливал. Жену его спасли, в огонь обратно не пустили, и тогда она, вроде еще не успев обезуметь, призналась, что сама во всем виновата: это Господь наказал ее за аборт. А на аборт она ездила из-за того, что от пьяного последний ребенок родился совсем простой, — его на третьем году жизни в больницу сдали. Он-то один и уцелел.

— Сколько ей нужно было простых родить, чтобы те трое жить остались? — спросила Аксинья Егорьевна...

Впрочем, на моей памяти это был единственный случай, чтобы она всерьез роптала.

В течение многих лет мы прожили соседями с Аксиньей Егорьевной, двор ко двору. Я видел нечастые дни ее радости, вроде того, когда вышла замуж третья дочь, глухонемая Рая, — вышла за хорошего скромного парня, работающего милиционером в Рязани...

Я слышал, как убивалась, как причитала она, когда умер ее Александр Авдееч. На кладбище вроде дочерью оберегалась, а все же у них на руках лишилась сознания от горя. А дочери пла-

кали сдержанно. Так ли они любили покойного, как мать любила? Так ли жалели его, как она жалела?

Но сколько ни была Аксинья Егорьевна щедра душой в радости и в горе, безропотна в обиде и страдании, больше этих свойств души меня поражал ее многообразный и великий хозяйственный талант, ее безграничная трудоспособность, умение годами работать без отдыха. Лет двадцать назад, когда в Гати провели электричество, кто-то из взрослых дочерей прислал ей счетчик. Счетчик приладили, и оказалось, что за все лето Аксинья Егорьевна нагнала электричества на 8 копеек. Она вставала с первым светом и ложилась, едва начинало темнеть. Усталость от чрезмерного труда не пускала празднично засиживаться вечерами, а были все труды вне дома — в колхозе, на своем приусадебном участке, на лесных полянах в сенокос... Не знаю, как зимой, но начиная с мая месяца и по октябрь вечерний свет нужен был Аксинье Егорьевне только затем, чтобы не в темноте постель разобрать да кошке налить молока в блюдце, не пролить мимо трясающимися от усталости руками.

Из года в год хозяйственные усилия Ховрачевых заставляли меня все с большим уважением относиться к тому искусству, с которым крестьянская семья избегала нищего рабства, хотя все, что ей осталось для хозяйствования, — крошечный участок приусадебной земли, и скот держать почти невозможно из-за бескормницы, и десятилетиями не было ни колхозных, никаких других заработков на стороне. Как бы то ни было, но Ховрачевы оставались семьей крестьянской, то есть такой, которая своим трудом на своей земле — какая она ни есть — и себя кормит, и весь народ. И Аксинья Егорьевна слыла главой семьи.

Двадцать лет без мужа она тянула все хозяйство и привыкла надеяться только на себя. Да и раньше, когда муж еще был жив, от него толку выходило немного — смолоду пьянствовал, а к старости все болел. Так что не двадцать, а считай, все сорок пять лет она одна всех кормила, одевала, ставила на ноги. И дети все выросли, все выучились, каждый в жизни по-своему устроился. И всех Аксинья Егорьевна кормила не с каких-то волшебных доходов и, уж конечно, не от колхозных хлебов, которых для нее просто никогда не было, а со своего огорода, с сорока соток земли — от черемухи у одного забора до яблони у другого, да вдоль восемьдесят шагов — все, что оставили власти крестьянской семье после коллективизации. Тут она работала сама и заставляла работать детей. Это было ее поле, ее надежда, а больше надеяться было не на что — только на себя и на эту землю. Что бы стала она делать без этого огорода с восемью ртами в семье? Ничего. Без этого огорода прожить было нельзя.

Пока есть своя земля и дом на земле, она самостоятельная хозяйка — как работает, так и живет... Земля-то, конечно, не ее, а считается колхозной или даже государственной, и только за обработку в колхозе полагается, но Ховрачева Аксинья и в колхозе навечно на Доске почета оставлена, всюду труженица была.

О том, как она работала в колхозе, я слышал чуть ли не легенды. Да я и сам хорошо помню те времена — лет пятнадцать назад, — когда она еще ходила на работу. Ей тогда уже было за шестьдесят... Каждое утро перед домом останавливался бригадир и, не вылезая из своей брички, кричал:

— Окся! Выходи сор рвать!

Это «сор рвать» он кричал как одно слово «сорвать», и получалось, что он зовет Аксинью Егорьевну для какой-то пустяшной работы: где-то что-то надо сорвать — цветок ли, травинку ли — и можно возвращаться. На самом же деле речь шла о прополке, об одной из самых трудных и нудных работ в полеводстве: на солнцепеке, согнувшись, постоянно на ногах, постоянно в движении, и не видишь, где остановишься, поскольку вручную прополоть все колхозные поля невозможно — пока до крайней межи дойдешь, на первой все, как прежде, выросло.

Вечером природа трудолюбия в колхозном поле становилась совершенно понятна: Аксинья Егорьевна возвращалась и везла с собой тележку, полную сорной травы. Кроме начисленных трудодней, которые неизвестно когда и как оплатятся («да и оплатятся ли нынешний год?»), трава была главным призом за работу: сорняки разрешалось брать себе, — жесткое сено годилось на корм скоту, и я думаю, что и не требовался интерес более привлекательный, — с сеном всегда было трудно.

Да и вообще главным в колхозных заработках были не деньги — на трудодень только последние лет десять стали платить хоть какими-то деньгами, — и даже не натура, хотя три-четыре мешка ржи (случавшаяся иногда годовая плата за наторжный крестьянский труд) имели для семьи большое значение, — главным было право на покупку соломы и сена для личного скота, право на сенокос и, наконец, самое главное право — право на приусадебный участок, на полгектара земли, право на приусадебное крестьянское хозяйство. Случалось, что в колхозе работали совсем задаром, без денег и без натуроплаты, но зато правами своими пользовались, ибо иначе нельзя было реализовать другое, не властями данное право — право на жизнь.

«Если у вас в артели нет еще избытка продуктов, и вы не можете дать отдельным колхозникам, их семьям все, что им нужно, то колхоз не может взять на себя, чтобы и общественные нужды удовлетворять, и личные», — учил товарищ Сталин в 1935 году.

Крестьяне составляли в те годы три четверти населения страны, но крестьянское — не общественное. Крестьянская семья как бы вне общества. Ее нужды не заслуживали внимания. «Колхоз не может взять на себя...»

Благополучие или хотя бы только сытость крестьянской семьи вообще казались властям совершенно необязательным, а может быть, даже и вредным излишком, и потому колхозник не только лишался всего, что производилось его трудом в колхозе, но и приусадебный участок, приусадебное хозяйство, кормившее семью, было жестоко обложено. Каждый крестьянский двор, независимо от состава семьи, сдавал обязательные поставки молока, мяса, яиц, шерсти, кож. Да еще и денежный налог — кто сто рублей, а кто и больше. Этот денежный налог был удивительным изобретением советского фиска: налог все на те же сданные государству продукты, налог на налог.

Спрашивали жестоко: «...по истечении срока уплаты налога опиши имущества недоимщика и дело о неуплате налога передается в народный суд, по решению которого производится изъятие имущества неплательщика в количестве, необходимом для погашения недоимок...»

Но где же взять деньги, если колхоз ничего не платит? А все там же искать их, в приусадебном хозяйстве: продавать продукты, даже если сами голодны, — на рынок!

Но как ни беспросветна жизнь Аксиньи Егорьевны и ее односельчан была в первое десятилетие после коллективизации, как ни нище было русское крестьянство к 1941 году (а среднерусским крестьянам, сидящим на скудных почвах, всегда жилось особенно тяжело), как ни лишен всякого смысла становился крестьянский труд на земле, — война добавила страданий и разорила крестьянство вконец. Первые пятнадцать послевоенных лет были такими, что если не каждый год скажешь: голод, — то все-таки и без сурового недоедания ни одного года не прожито... Но все эти годы оброчные поборы со двора колхозника продолжались, и проплывали мимо голодных детских глаз и молоко, и мясо, и яйца. Крестьянские дети — забота не общественная.

Оброк этот номинально был отменен в 1958 году. Но местным властям сразу же «довели» план по закупкам все тех же продуктов, от выполнения плана зависело служебное благополучие работников сельсоветов, и они всеми способами, вплоть до прямого физического насилия, заставляли крестьянина сдавать — номинально же продавать по самым мизерным ценам — столько, сколько было на деревню разнаражено, — и продавали, куда денешься? Ведь сунешься уехать — не пустят, паспорта не дадут. А без паспорта нигде ни жить, ни работать не примут. Крестьянин был «крепко» колхозу своему.

Даровой труд в колхозе, денежный налог, натуральный налог. Аксинья Егорьевна хорошо помнила, чем заплачено за право на приусадебное хозяйство, за право жить. Помнила, а вот рассказать никогда не могла, хоть и пыталась как-то,— плакать начинала: все-таки шестеро малых в доме было. Голодных детей и через двадцать лет, и через тридцать вспоминать страшно. Даже если, Бог дал, никто из них не умер.

Теперь Аксинье Егорьевне не надо больше подтверждать свои права: у нее пенсия — двадцать рублей от государства и десять от колхоза. Это, правда, ниже самой низкой пенсии городского жителя — что-то около того, что инвалиду с детства дается, — но зато огород остается за колхозным пенсионером, покуда тот живет в деревне и покуда вообще живет еще. И если на старости лет с огородом справишься, весь рыночный доход — твой. Много ли ей одной надо?

Младшая дочь звала Аксинью Егорьевну в город и даже настоятельно просила получить паспорт, выписаться и приехать, поскольку мужу обещали свою квартиру и приезд матери, а там, может быть, и скорая смерть ее — человек все-таки немолодой — сулили лишние метры жилплощади. Но как ни привыкла Аксинья Егорьевна в последние годы бывать в городе, как ни жалела дочь, мысль, что останется без своих сорока соток, выводила ее куда-то в сироты и казалась ей совершенно невозможной.

Поэтому я не удивился, когда в какой-то из моих приездов в деревню Аксинья Егорьевна пришла с чистым листом бумаги, с конвертом и еще одним клочком бумаги, на котором был записан адрес дочери.

— Напиши им, что летом я точно не приеду, — сказала она, — пусть не обижаются. Скажи, земля не пускает. Куда я от своей картошки поеду? Нынче, говорят, за килограмм по десяти копеек в сельпо принимать будут. Да и им самим в городе картошка нужна будет, — поди, подорожает там-то...

Она молча сидела, пока я писал, молча выслушала, когда я перечитал письмо вслух, но, принимая уже готовый, заклеенный конверт, вдруг невольно спросила:

— Кто же это нас такой жизнью каторжной наказал? — Так просто спросила, словно я и мог, и обязан был так же просто, в нескольких словах, и ответить...

Но нет, не ради ответа спросила. Да и не вопрос это был, вздохнул человек от усталости...

2

От Гатей, деревни, где жила Аксинья Егорьевна, до Посадов всего-то километров двадцать по прямой, но если Гати — с первого взгляда — деревня бедная, деревянная, под шиферной, щепной, а кое-где и под соломенной крышей, то в Посадах и бревенчатых избышек, кажется,

ни одной не осталось — все каменной кладки дома, просторные по сельским понятиям, в две-три комнаты, с большими окнами, с огромными дачными террасами и непременно под оцинкованной крышей. Весной вся эта роскошь волшебным образом исчезает, делается невидимой за бело-розовым дымом цветущих садов, а осенью наоборот: белокаменные стены и зеркальные крыши далеко видны на черных от дождя речных берегах. Откуда такое богатство на ничьих просторах?

Никакой тайны, никакого волшебства. В Посадах все доходы от приусадебных участков. В огороде здесь не сажают ни картошку, ни лук, ни капусту, а одни только ранние огурцы. В июне урожай созревает и на попутных машинах отправляется на рынки Москвы, Рязани, Пензы, а бывает, и еще дальше, благо село расположено рядом с шоссе. На те же рынки ближе к осени везут яблоки...

Имея в своем распоряжении даже самый крошечный участок земли, крестьянин всегда будет стремиться вести не натуральное хозяйство, но товарное, рыночное, поскольку потребности его семьи значительно шире потребностей в простейших продуктах питания, которые можно получить в своем хозяйстве. В хорошие годы один приусадебный участок в Посадах дает до пяти тысяч рублей.

Наша знакомая Аксинья Егорьевна всякий раз, едуци из города, где гостила у дочери, мимо Посадов, так бывала поражена разницей в доходах, что воображение доводило эту разницу и вовсе до нереальной величины:

— Как люди живут! Я как-то зашла к одним выпить, — чего у них только нету! Даже через дверь видать. Подумай, телевизор в сенях стоит — это уж значит, что они его совсем не ценят. «Этот, говорит, мы смотрим, когда большой сломается». А большой у них в горнице показывает... Откуда ж эти деньги берутся? Мы вон тоже работали, а всю жизнь в деревянном срубе прожили, словно в колоде просидели.

В другой раз где-то по дороге она увидела огород, сплошь занятый капустой, — и это поразило ее:

— Зачем столько? Или нерусские — одну капусту едят?

— Может быть, на продажу?

— Да чего уж там продавать? Капуста по тридцать копеек кочан. Ну, пусть две тысячи кочанов. Шестьсот рублей весь доход. Да мы иной год и на картошке столько-то выручали, да еще себе и скотине на всю зиму хватало. Так ведь картошка! А с капустой возись: весной поливай, летом червяков обирай... Нет, невыгодно...

Аксинья Егорьевна хоть и была неграмотна и в колхозе, конечно, никаких иных работ, кроме работы руками, ей не доверяли, но меня всегда удивляло, как точно она считает и высчитывает в своих повседневных делах.

— Постой! А может быть, они ее квашеную продают? — Эта новая идея совершенно повернула ход ее рассуждений. — Ну да, квасят! А за квашеную капусту на базаре и по пятьдесят и по восемьдесят копеек ломают. А перед праздником и по рублю кило. Да она и тяжелее, квашеная-то: в ней соль из воздуха воду берет. Вот ведь чем торгуют! Вот они где, деньги-то! Тут уж доход на тысячи считай. А велик ли труд заквасить капусту? Любая старуха справится...

Все эти открытия сильно взволновали ее, и я даже подумал, не займется ли моя соседка на старости лет производством квашеной капусты, чтобы иметь возможность купить большой телевизор.

Я давно знал за ней постоянную готовность пустить в оборот единственный наличный капитал — собственные рабочие руки. Это не раз давало ей возможность выгодно продать картошку или задаром нанести с молзавода — на поило скотине или даже на постный сыр для себя самой — обрата.

Кажется, и теперь она была близка к тому, чтобы войти в дело, такая идея приходила ей в голову, поскольку на следующий день она была несколько опечалена.

— О капусте-то говорили, — напомнила она, — так нам капуста не годится. Первое, что мы от шоссэ далеко: капусту хорошо зимой продавать, а у нас как заметет, так из сугробов не вылезешь. Если какой шофер согласится, так на него все капустные деньги и уйдут. Да хоть бы и была дорога, все равно плохо. Для этого дела свой инструмент нужен: ручную столько не нашинкуешь. Бочки нужны. Одних бочек штук девять — меньше невыгодно. Для бочек большой погреб нужен... Ну, и еще привычка нужна. Без привычки столько капусты не вырастишь — или червяк сожрет, или еще что-то случится...

Те привыкли, иные не привыкли. Объяснение не такое уж наивное, как кажется на первый взгляд. Привычка, а другие словами, традиция и опыт, долгосрочное из года в год приложение невеликого крестьянского капитала — труда и знаний — к одному и тому же делу в приусадебном хозяйстве имеют особое значение: сельский житель напрасно рисковать не станет и никаких новшеств на приусадебном участке вводить от себя не будет — слишком дорог ему урожай с своей земли.

Впрочем, я уверен, что не одной только Аксинье Егорьевне пришла в голову идея выйти на рынок с квашеной капустой или еще с каким-нибудь товаром, более доходным, чем традиционная картошка. Но под неусыпным контролем государственной власти, не раз ужесточившей свою политику по отношению к приусадебному хозяйству, нужно особо благоприятное стечение обстоятельств, особое доверие к обстоятельствам, чтобы решиться на хозяйственную инициативу. Крестьянин, хоть и цепок, когда дело отлажено, но осторожен.

Эта, казалось бы, побочная для колхоза, но основная для колхозника крестьянская жизнь требует значительно более ответственного подхода к делу, чем в отработочном колхозно-совхозном хозяйстве, где что ни прикажут сверху, какую глупость ни спустят, — все исполняется вмиг, на пользу ли, во вред ли урожаю — никого не заботит... Здесь же крестьянину принадлежат и инициатива, и капитал, и средства труда, и весь конечный продукт. Здесь он — хозяин. Здесь он — человек. Здесь он как бы микромоделем того хозяина, каким мог бы стать, если бы не отобрали у него в 30-м году скот и землю, оставив с игрушечным приусадебным хозяйством.

Крестьяне зарабатывают возможность жить хоть как-то сносно, поскольку могут часть своего рабочего времени, часть своих сил реализовать в иной хозяйственной системе — не в гласно-социалистической, разрядочной, а в рыночной.

Крестьянский рынок сужен до размеров базарной площади, исковеркан феодальными отношениями личной зависимости колхозника от административной власти, имеет вообще вид придатка к тому главному базару, где торгуют партийными должностями и демагогическими ценностями, вроде посулов всеобщего народного блага и скорого торжества идей коммунизма... И все-таки это рынок, и ничто иное. Рынок, без которого социалистическое государство обойтись не может.

При первом знакомстве цифры потрясают: на приусадебных участках, по разным подсчетам, занимающих лишь два с половиной или даже полтора процента всех посевных площадей страны, в крестьянских хозяйствах, обладающих лишь одной десятой всех производственных фондов сельского хозяйства, производится треть всего сельскохозяйственного продукта. Таковы данные официальной статистики.

Но официальная статистика молчит о том, что не менее трети сельскохозяйственной продукции, произведенной в колхозах и совхозах, ежегодно гибнет из-за потерь в поле, при транспортировке, при складировании, при первичной переработке. По некоторым данным, например, гибнет до половины всего картофеля...

Официальная статистика, исчисляя валовой продукт в стоимостном выражении, конечно же, молчит о том, что государственные закупочные цены на зерновые, которые производятся в основном колхозами и совхозами, значительно завышены, а цены на мясо, овощи, картофель, то есть на продукты, которые наиболее широко распространены в крестьянских хозяйствах, — занижены.

Официальная статистика молчит об этом, поскольку в противном случае пришлось бы признать, что в совокупном объеме потребленной сельскохозяйственной продукции доля приусадебных крестьянских хозяйств с их полудо-

ра-двумя процентами пахотной земли намного больше половины. Да что там, в прибалтийских республиках доля приусадебных хозяйств в совокупном сельскохозяйственном продукте и по официальной статистике составляет почти половину: в Литве, например, — 43,6%. В то же время «в семьях колхозников Литовской ССР в 1971 году 50,5% общих доходов было получено из личного подсобного хозяйства».

В этих цифрах — позор советской хозяйственной системы и несчастье крестьян, чья инициатива, чей талант скованы размерами приусадебного огорода и огромным количеством административных запретов... Несчастье крестьянское, но и надежда.

Продукция крестьянских хозяйств кормит всех сельских жителей — 40% населения. Но мало этого. Даже согласно официальной статистике здесь производится половина всего товарного картофеля, не менее трети товарного количества яиц, треть товарного мяса, то есть продукты, которые продаются и накормят значительную часть городского населения. Нет, без крестьянских хозяйств социалистическая экономика и дня не проживет.

Оказалось, что экономикой невозможно зарегулировать полностью. Экономика — такой механизм, где без связи с маховым колесом рыночных отношений, раскрученным всей историей человечества, скрипят и замирают шестерни планово-бюрократической хозяйственной системы. Рынок, рынок в основе экономики. Уничтожить его — значит уничтожить народное хозяйство страны. Это хорошо понимал Сталин, когда выгонял крестьянина работать в приусадебный огород: «...колхоз не может взять на себя...» Покуда живы рыночные отношения, к ним можно и социалистическую экономику пристроить.

Даже если это отношения подвластного государственной администрации черного рынка. Как раз именно черный рынок властям и нужен... Но об этом разговор впереди, пока же посмотрим, каким образом крестьянин со своего крошечного огорода кормит страну...

Крестьяне, даже и знакомые с учебником политэкономии, давно уже поняли рыночные механизмы и применяют их на практике.

Возможность самому и, как кажется, с максимальной выгодой приложить свой труд толкает людей поистине на великие земледельческие подвиги. Чего стоят одни только клубничные хозяйства в пригородных зонах больших городов, где на нескольких сотках, если вообще не тысячных долях гектара получают урожай, а значит, и доходы, которые даже нашей Аक्सинье Егорьевне не снялись при всей живости ее хозяйственного воображения.

Писатель В. Солоухин разглядел напористую силу этого явления:

«Под конец нашей цветочной экскурсии меня привели в помещение, называемое теплицей...

— Четырнадцать квадратных метров, — пояснил хозяин. — Искусственный климат. Урожай по желанию, в любое время года. Но я приурочиваю к первому январю.

— Огурцы или помидоры? Оно, конечно, к новому году столу свежий огурчик — цены нет. То же и помидор...

— Ну что вы! Огурцы — это грубо и дешево...

— Тогда о каком новогоднем урожае вы говорите?

— Цветы. Тюльпаны. Вот о каком урожае. По два, по три рубля за каждый цветок. Эти четырнадцать метров приносят мне пять тысяч рублей дохода».

Два рубля за цветок — дорого или дешево? А рубль-полтора за килограмм картофеля на рынках Средней Азии? А рубль-два за лимон на базаре Новосибирска? Дорого, очень дорого!

Но такова рыночная цена, и вряд ли найдется альтруист, который станет просить за лимоны по гривеннику. Когда действуют рыночные отношения, добрая душа и высокая нравственность не помогут, у рынка свои законы, причем законы рынка имеют объективный характер.

Поэтому наивно ругать за дороговизну какого-нибудь кавказца, продающего персики или мандарины. У рыночного торговца нет души. Он фигура чисто экономическая. За ним — весь советский хозяйственный строй.

Нет, не крестьянин возгоняет цены на рынке. Тюльпаны — или ранние огурцы, или первые майские помидоры, или всегда и всем необходимое мясо — стоят на рынке дорого лишь потому, что производятся индивидуальным способом и в малых количествах. Развернуть их производство более широко крестьянин не может, размеры его хозяйства административно ограничены, никакая кооперация не разрешена...

Может быть, идеологические условности тормозят и развитие экономики всей страны? Частная инициатива — запрет! Рыночные отношения — запрет! Стремление к прибыли — запрет! Это ничего, что хлеб везем через один океан — из Америки, а мясо — через другую, из Новой Зеландии. Зато экономика наша щедро омывается священными идеями Маркса — Энгельса — Ленина... (чуть было не сказал — Сталина, но теперь не принято, хотя, по существу, чего же стыдиться?).

Можно, конечно, предположить, что все действующие запреты — печальная ошибка, условности, недоразумение, которое само собой рассеется по мере того, как будет увеличиваться разрыв между потребностями населения в продуктах питания и низкой производительностью крестьянского труда, хилыми возможностями социалистического сельского хозяйства эти потребности удовлетворить.

Но не будем выдавать желаемое за действительное. Запреты — не случай-

ность и не условность. Они инструмент правящей структуры — инструмент охраны существующих государственных порядков. И установлены все запреты в стремлении оградить государство чиновников от посягательств, скажем, со стороны экономически окрепшего крестьянства или со стороны политической осознавшей себя технотруктуры.

Сталин понимал это лучше других. И хотя сегодняшняя партийная верхушка старается делать вид, что не замечает его тени, именно он среди прочих классиков марксизма-ленинизма ближе к нынешней политике правящего класса. «Верно ли, что центральную идею пятилетнего плана в советской стране составляет рост производительности труда? — спрашивал он в своей знаменитой речи против Бухарина. — Нет, не верно. Нам нужен не всякий рост производительности труда. Нам нужен определенный рост производительности народного труда, а именно — такой рост, который обеспечивает систематический перевес социалистического (то есть не рыночного, а напрямую подвластного партийной бюрократии, объективно работающего на укрепление ее власти. — Л. Т.) сектора народного хозяйства над сектором капиталистическим».

Именно запреты составляют суть власти, содержание ее деятельности: она обходится без хлебного изобилия в стране, ей не нужна торговая прибыль, не обязательна всесторонне и гармонично развитая экономика — ей нужна только власть, безграничное изобилие власти, прибыль в виде увеличения власти, развитая система получения все новой и новой власти по мере продвижения в партийной иерархии.

Поскольку партийная бюрократия, как некогда вырождающийся класс феодальных землевладельцев, никоим образом не участвует в общем потоке производства материальных и духовных ценностей, который и зовется прогрессом общества, у нее остается только одна возможность не быть смытой этим потоком: возможность установить строгую систему запретов, ограничений, «табу». И все «мероприятия партии и правительства в области экономики», которые объявляются каждый раз как великий дар народу, есть не что иное, как робкое лавирование партийной бюрократии среди ею же установленных плотин и барьеров — лавируют, чтобы вовсе не утонуть.

Но черныи рынок как раз ничем и не угрожает стабильности нынешнего государства. Строго говоря, он ему целиком и полностью подконтролен, а потому — выгоден. Колхозная система с самого начала и задумывалась как система черного рынка, и сфера его значительно шире базарной площади, — это мы сразу увидим, вновь обратившись к Сталину: «И если у вас в артиле нет еще избытка продуктов, и вы не можете дать отдельным колхозникам, их семьям все,

что им нужно, то колхоз не может взять на себя, чтобы и общественные нужды удовлетворять, и личные. Тогда лучше сказать прямо, что вот такая-то область работы — общественная, а такая-то — личная. Лучше допустить прямо, открыто и честно, что у колхозного двора должно быть свое личное хозяйство, небольшое, но личное. Лучше исходить из того, что есть артельное хозяйство, общественное, большое, крупное, решающее, необходимое для удовлетворения общественных нужд, и есть наряду с ним небольшое личное хозяйство, необходимое для удовлетворения личных нужд колхозника».

Добрый Сталин, который, как видим, разрешил крестьянской семье не умирать с голоду — в тридцатых годах, как, впрочем, и добрый Брежнев, который настойчиво подталкивает крестьян к интенсификации труда на приусадебных хозяйствах — в семидесятых, — не уточняют, конечно, какую часть суток крестьянин должен отдать «личному хозяйству». Ясно, что лишь ту, что остается от трудов в колхозе...

Вот где начинается черный рынок! Здесь, а не у базарных ворот.

Он начинается с того, что крестьянина вынуждают продавать обществу свой сверхурочный труд, тогда как его труд в колхозе попросту отнимается задаром или почти задаром, без удовлетворения элементарных нужд крестьянской семьи. Вот где самая главная «купля-продажа» на черном рынке: не морковь продается и не петрушка, но труд и жизнь крестьянина...

Но кто же здесь покупатель?

3

Колхозная, гармоничная система сельского хозяйства удобна правящей структуре и всемерно поддерживается ею как идеальная система эксплуатации крестьянства, поддерживается целиком, включая институт приусадебного хозяйства...

Впрочем, уместно ли, размышляя о приусадебном хозяйстве, говорить об эксплуатации? Ведь здесь крестьянин работает на себя; сколько в огороде ни вырастит, сколько в загороде ни выкормит, все ему, никто теперь не отберет. Работай, живи, пользуйся...

И все-таки я знавал человека, который по доброй воле решил отказаться от своего огорода. Да не где-нибудь, а в самих «огуречных» Посадах, которым завидуют окрестные деревни и села. В конторе тамошнего колхоза мне показали такой документ:

«В правление колхоза «Счастливая жизнь»
от механизатора Тюкина Гаврилы
Ивановича

З а я в л е н и е

Прошу отобрать у нашей семьи индивидуальный огород и предоставить нам с женой возможность зарабатывать в колхозе дополнительно еще три тысячи руб-

лей, которые мы ежегодно выручаем на базаре от продажи ранних огурцов. Моя просьба вызвана тем, что вчера, возвращаясь с работы на ферме, моя жена, Тюкина Анна (1951 г. рожд.), увидела, что перед ней по дороге катятся цветные шары, — нароботалась, значит. Когда жена остановилась, шары исчезли, но когда пошла дальше, шары опять покатились. Справку от фельдшера прилагаю.

В случае, если мою просьбу выполнить нельзя, я не разрешу моей жене ходить на ферму, где она работает дояркой и получает редко больше ста рублей в месяц. Пусть уж тогда одними огурцами занимается на приусадебном участке да за ребяташками смотрит...

Тюкин».

Хитрый Тюкин рассчитал безошибочно: приусадебный участок у него, конечно, не отобрали. Деньги, которые жена приносила с фермы, никакого серьезного значения в бюджете семьи не имели, — по крайней мере старания в «огуречном деле» дадут значительно больше доходов. Что же до участия в колхозном производстве, которое, как мы знаем, одно только и дает право иметь приусадебный огород, — то Тюкин полагал, что его собственная доля в колхозных трудах достаточно велика, чтобы не жертвовать здоровьем жены. Он и сам-то и в колхозе, и дома попевал на последнем дыхании...

Радуюсь доходам крестьянина от своего приусадебного хозяйства, подумаем: если в индустриально развитой стране здоровому человеку приходится работать на пределе физических возможностей (иначе не прокормить семью), не значит ли это, что прибавочное рабочее время растянуто за естественные, природой поставленные границы? Это ли не эксплуатация сверх всякой меры?

С самого начала сплошной коллективизации, с первых дней колхозной системы «пролетарское» государство оставило крестьянина на произвол судьбы. У крестьянина забирали все под метелку, насколько не заботясь о том, остались ли ему хотя бы самые необходимые средства существования.

Какой садистский акт — сообщить с гордостью, как достижение (не к тому ли стремились?) на XVIII съезде партии: «Средняя выдача зерна в зерновых районах (разрядка моя. — Л. Т.) на один колхозный двор поднялась с 61 пуда в 1933 году до 144 пудов в 1937 году». И где! На Кубани, на Дону, в Новороссии — на богатейших землях, о которых более чем за сто лет до того еще Сисмонди было известно, что они способны не только досыта накормить живущий на них народ, но и дать такой урожай, «что русским хлебом было бы легко снабдить все рынки, которые оставит открытыми для русских и поляков цивилизованная Европа».

Шестьдесят один пуд на большую крестьянскую семью — голод, по двух-

сотграммовой тюремной пайке на человека в день. 144 пуда — едва возможное существование. Но то в зерновых районах.

А что там, в Рязани, Смоленске, Владимире, Вологде? Об этом ни слова. Будто вымерли земли. И близко к тому было... Голод в 39-м году. Голодные военные годы. Голод в 47-м. Голод в 49-м. В остальные годы травяных лепешек не пекли, но никогда не ели досыта. И еще в 1963 году в стране были тысячи колхозов, где крестьянин получал за свой труд в течение года 6—7 пудов зерна и 10—15 рублей деньгами.

Государство отнимает продукт, произведенный крестьянином в колхозе, но делает это не напрямую, не грубо, не физическим нажимом, который мог бы вызвать нежелательное противодействие, но замаскированно, через систему закупочных цен. Создается видимость, что продукт не отнят, но куплен, а поскольку продукта произвел мало, постольку и не заработал ничего. Кого же винить?

Финансируя сельскохозяйственное производство, власти принимают позу доброго дядюшки — исключительная щедрость толкает его оплачивать хозяйство нерентабельное, себя не оправдывающее. Слушайте, слушайте! Возможно ли, чтобы люди признали нерентабельным кормить себя? Возможно ли где-нибудь еще, чтобы при нехватке мяса, молока, картофеля производство их было нерентабельным?

Весь этот голодный маскарад затеян с одной-единственной целью: скрыть очевидный факт, что значительная часть сельскохозяйственной продукции попросту отнимается бесплатно, поскольку существующие цены никоим образом не соответствуют ее реальной общественной стоимости...

Впрочем, предоставим слово специалистам, которые, решая задачи конкретной экономики, волей-неволей вынуждены если и не до конца распутывать клубок, то по крайней мере потянуть нитку дальше, чем обычно принято: «Расчеты, выполненные на базе учета затрат труда в отраслях материального производства и редукиции труда на основе различий в общественно необходимых затратах труда на подготовку рабочей силы разной квалификации, показывают, что в сельском хозяйстве в 1969 году было произведено 29,4%, а в 1970 году — 28% национального дохода страны... Вместе с тем доля сельского хозяйства в национальном доходе, рассчитанная нами, выше, чем учтенная текущими ценами по действующей методике ЦСУ СССР. Последняя составила в 1960 году 19,5% и в 1970 г. — 21,8%».

То есть по меньшей мере стоимости, оцениваемые в 30 миллиардов рублей, отнимаются у сельского хозяйства безвозмездно. Часть из них в демагогической обертке возвращается, но далеко не сполна и далеко не по тем адресам, какие назвали бы заинтересованные потре-

бители товаров, испытывающие нехватку мяса, молочных продуктов, овощей, яиц. Так, в течение многих лет животноводство получало столь мизерный возврат произведенных здесь стоимостей, что их едва хватало даже на простое воспроизводство. В результате и сегодня в стране катастрофическая нехватка мяса, от которой в первую очередь страдают рабочие промышленных предприятий, пролетариат, чьи интересы якобы положены в основу государственной политики.

Но если животноводство недополучает причитающейся ему по законам товарного производства доли продукта, то недополучают ее и крестьяне, занятые в колхозном животноводстве. Система норм и расценок так устроена, что значительная часть общественно необходимого труда остается неоплаченной.

Можно примерно подсчитать долю необходимого продукта, которая отнимается у крестьянина безвозмездно: подсчитанная разными способами, она составляет от 40 до 60 процентов стоимости воспроизводства рабочей силы со средним уровнем квалификации. А это значит, что от 60 до 40 процентов необходимого продукта крестьянин должен добирать в своем приусадебном хозяйстве.

Но оказывается, и этого сказать недостаточно. «Сравнение фактического минимального уровня доходов колхозной семьи с рассчитанным минимумом материальной обеспеченности показывает, что в 1960—1970 гг. минимальная оплата труда в колхозах с учетом всех других источников семейных доходов (разрядка моя. — Л. Т.) обеспечивала воспроизводство рабочей силы на 80—85% от уровня возмещения затрат простого труда в промышленности».

Вот и вспомним те тысячи, которые крестьянин получает, реализуя продукты приусадебного хозяйства. Где они? Их едва хватает взамен тех денег, что недоданы в колхозе, что отняты государством.

Ограбленное таким образом крестьянство, казалось бы, обречено было на деградацию и вымирание. Но инстинкт самосохранения силен. До смерти и котенка утопить непросто, а человек-то, люди будут сопротивляться до последнего. На это, впрочем, советская экономическая политика и рассчитана...

И сопротивлялись, учились жить с сорока, и с пятнадцати соток, и с пятнадцати метров земли. Выучились, живут, карабкаются. До цветных шаров в глазах. Лишенные необходимого продукта в колхозе, добывают его в приусадебном хозяйстве.

Но обратим внимание еще и на то, что, ограбив крестьянина в колхозе, выжав из него соки в своем плановом, гласно-социалистическом тоннеле, власти отпускают его на поправку в систему рыночных отношений. Отпускать-то отпускают, но «на поводке», ограничив экономический маневр целым рядом запретов и табу.

Минимальный размер земельного

участка и связь его аренды с отработкой в колхозе или совхозе, строгий регламент на фураж, отсутствие рынка сельскохозяйственного инвентаря, запреты на интенсивное использование земли, строгий запрет на частные товарищества и кооперативные — все это не дает крестьянину сделаться независимым хозяином. Этот черный мешок запретов мешает рынку развернуться в полную силу, мешает производству напрямую связаться с потребительским спросом. Черный рынок остается под рукой административной власти, которая диктует жесткие условия постоянной эксплуатации крестьянина в колхозе, совхозе и в приусадебном участке.

Но в то же время власти не могут, не хотят, бояться до конца пролетаризировать крестьянина, сделать его лишь наемным рабочим. В конце шестидесятых годов в Латвии местные партийные органы, видимо, сдвинутые несколько в европейскую сторону от центрально-русских методов хозяйствования, распорядились приплачивать колхозникам за отказ от своих участков. Немного, всего по 300—400 рублей в год, но здесь важна не сумма, а тенденция.

Вроде бы все логично: колхоз получает дополнительную землю, увеличивает свои доходы и какие-то суммы из них платит тем, кто от этой земли отказался...

Но нет, не нужны властям ни эта земля, ни эти доходы, которые, впрочем, будут не будут, еще неизвестно. Властям не нужен сельский пролетарий — власть партийной бюрократии не умеет распорядиться его трудом, не умеет создать такие условия труда, чтобы, получая необходимый продукт в виде зарплаты, он произвел достаточное для общества количество прибавочного продукта. Она не умеет ни организовать производство товаров, ни торговать, она может только отнять уже произведенное. А у пролетария что отнимешь? По крайней мере куда меньше, чем у крестьянина.

Кроме того, промышленные рабочие обладают неотъемлемыми правами, которые в приложении к крестьянству весьма проблематичны: право на труд, право на отдых, право на жилье. Права, которые гарантируются в том или ином объеме в зависимости от уровня развития производительных сил...

И еще, конечно, право на восьмичасовой рабочий день, которое хоть и нарушается сплошь и рядом, но оно все-таки провозглашено, и нужно искать оправдание, чтобы его нарушить. В деревне же таких прав просто нет и быть не может... Крестьянин во многих случаях хотел бы стать пролетарием!

«По материалам социального обследования в колхозах Нечерноземной зоны затраты времени трудоспособного колхозника в артельном производстве составили 2600 часов, а колхозницы — 2380 против 2000 часов оптимально возможного времени в промышленности». При-

бавим сюда примерно 1000 часов, которые затрачиваются каждым колхозником в приусадебном хозяйстве, и мы получим представление о реальных затратах рабочего времени в деревне.

Пролетария можно заставить работать и по десять, и по двенадцать, и по четырнадцать часов в сутки, как это и делают на советских промышленных предприятиях в дни ежемесячных, ежеквартальных авралов или в последние месяцы года. Но пролетарию нельзя вообще не дать зарплату, предлагая кормиться где-нибудь на стороне. Ему помногу добирать негде, и если бы власти рискнули регулярно оплачивать труд промышленных рабочих лишь на 40—60%, то поставили бы под угрозу само существование государства. Поэтому советская система трудового нормирования и заработной платы, система ценообразования и распределительная политика советского государства построены таким образом, чтобы рабочий во всех случаях получал свой прожиточный минимум, даже тогда, когда та или иная отрасль промышленности или строительства нерентабельны и для покрытия дефицита приходится соответствующим образом перераспределять общественный продукт.

Так это, например, происходит с жилищным строительством. Колоссальный дефицит жилья власти пытаются хоть как-то компенсировать в глазах общественного мнения низкой квартплатой, которая далеко не покрывает строительных затрат, в том числе затрат на оплату труда строителей. Правда, недобрали плату за жилище, недодадут и зарплату, снизив расценки, увеличив степень эксплуатации... Государство нам ничего не дает даром.

Равнодушие к сельскому работнику даже и запрятано не очень тщательно, настолько оно кажется властям естественным и непредсудительным. Ему можно заплатить сколько угодно мало, не считаясь ни с какими общественными нормами. Доберет в приусадебном хозяйстве и на черном рынке. И никакой угрозы для государства и партийной бюрократии от этого нет. Напротив, осуждая на словах рыночные отношения, власти на самом деле толкают крестьянина на рынок с продуктами приусадебного хозяйства, и именно за счет рыночного оборота удовлетворяется значительная часть общественных потребностей. А иначе где их взять? Как сбалансировать потребности и возможности? Как отвести интересы общества от крутого столкновения с интересами партийной бюрократии? Без рынка плановый социализм только в теоретических работах ладно катится, но на практике заклинивает.

Не знаю, успел ли кто-нибудь в Латвии получить те 300 рублей за отказ от земли, да и нашлись ли вообще желающие продать таким способом в обельное хозяйство, но инициаторы мероприятия получили по партийному выговору — и поделом! Не руби сук, на котором си-

дишь, не предавай партийных интересов: без приусадебного хозяйства, без рынка так заклинит...

Крестьянин вынужден трудиться два рабочих дня ежедневно. Большую часть того, что он зарабатывает в первый день — в колхозе, в системе гласно-социалистической, — у него отнимает государство и распределяет в интересах сохранения существующей системы, не оставляя ему ни необходимого продукта, ни права распоряжаться прибавочным...

Тогда начинается второй рабочий день — по законам чернорыночного товарного производства, по законам негласного социализма, — рабочий день, во время которого крестьянин пускает в ход весь свой наличный капитал: рабочую силу — свою, оставшуюся от колхозных трудов, и своей семьи. Он сам определяет здесь уровень эксплуатации: минимум — чтобы не голодать, максимум — чтобы не падать с ног от недосыпа, работая с трех утра до десяти вечера. Сам определяет (в рамках дозволенного) характер производства в зависимости от спроса на те или иные продукты. Здесь крестьянин сам себе работник, сам себе и «капиталист».

Весь этот чернорыночный оборот настолько мал в каждом своем индивидуальном объеме, эта рента, эта средняя прибыль на капитал, это прибавочное время так потешны кажутся серьезным экономистам, что они не берут на себя труд разобраться в них. А может быть, специально отворачиваются, чтобы не увидеть ту очевидную истину, что социализм-то наш живет за счет чернорыночного «микрокапитализма».

Но и увидев, стараются сказать помягче, поглаже: мол, «время, используемое колхозниками в подсобном хозяйстве, нельзя назвать рабочим временем или вторым рабочим днем. Это вне рабочее время, обусловленное необходимостью ведения подсобного хозяйства». Вне рабочее время, когда добывается половина всего совокупного дохода семьи колхозника. Какая глупость! А ведь между тем мы и питаемся продуктами, которые произведены крестьянином «во вне рабочее время, как бы играючи»...

Впрочем, в самое последнее время напористая реальность заставляет повнимательнее приглядеться к деревне и увидеть хотя бы клочки правдивой картины. «Мы разделяем мнение, что когда личное подсобное хозяйство становится основным источником доходов и оказывается ориентированным в основном на рынок, а работа одного из членов семьи в общественном производстве служит лишь средством получения права на ведение такого хозяйства, последнее может рассматриваться как мелкое частное хозяйство».

Признаться в существовании мелкого частного хозяйства в стране развитого социализма — уже немало. Такое признание не может не заставить рассмотреть сверху донизу (или снизу до-

верху) всю систему экономических связей. Признавшись в существовании 40 миллионов мелких частных хозяйств почти через полвека сплошной коллективизации, нужно признаться в полной экономической неэффективности колхозной системы. Но тут же нужно признаться, что колхозы весьма целесообразны политически, поскольку, сосуществуя с мелким частным хозяйством, создают идеальные условия для ограбления крестьянина при помощи черного рынка.

Частные крестьянские хозяйства будут жить в их сегодняшнем виде до тех пор, пока правящая структура осуществляет свою политику за счет черного рынка. А может ли ее политика быть обеспечена каким-либо другим способом, весьма сомнительно. По крайней мере именно это и должно рассматриваться.

Не вина крестьянина, что он обречен вести рыночное хозяйство даже на участке размером с детскую песочницу. А мы, желая понять, в какой стране живем, отворачиваясь от его судьбы не вправо. Тем более что на этих игрушечных участках разворачиваются отнюдь не детские своей жестокостью игры взрослых.

4

Ни летним вечером, ни в праздники на сельской улице не увидишь играющих в домино взрослых, вроде тех, что стучат костяшками во всех городских дворах, скверах и на бульварах. В деревне бездельничать стыдно. И даже эти самые доминошники, собираясь навестить родные сельские места, не берут с собой настольные игры, но так подгадывают отпуска, чтобы помочь родителям или родственникам в огородных работах весной, или на летней сеной страде, или в сентябрьской копке картофеля... А уж сельского-то жителя труды не отпускают круглогодично: ведь на себя работает. Если остановится, кто за него сделает? Кто возместит потери, если пропущен срок полива огурцов или окуливания картофеля? Если гонят стадо, за домино не сядешь — корми, пои, дои, ухаживай.

Механизатор Гаврила Иванович Тюкин по утрам, пока едет не в колхозе, или вечером, уже вернувшись, упорно добывает то, что не отдано ему при расчете колхозной кассой. С топором ли, с косой ли, с лопатой движется он по дням своим от дела к делу, от заботы к заботе. И не один, за ним вся семья. А Нюрка — так и впереди него

Кажется, и детям он заботливый отец — если жена болеет, сам проверит, как в школу собралась, сыты ли, нет ли прорех в одежде. И Нюрке своей любящий, ласковый муж. И родителям-старикам — внимательный сын: из-за них и колхозником после армии сделался, не поехал на стройки коммунизма, пожалел одних немощных оставлять... Но при всем том ни больных стариков, ни жену до последнего дня перед рода-

ми, ни детей — никого он не может освободить от постоянного крестьянского труда. Впрочем, пусть бы и освободил — никому из них совесть не позволит отлынивать, когда вся семья в огороде или на сенокосе. А без совестливого участия всех в семье им не свести концы с концами.

Могут ли двое взрослых, работая в колхозе или совхозе, вести приусадебное хозяйство достаточно интенсивно, чтобы прокормить семью в пять-шесть человек? Нет, не могут, двоим не хватит ни сил, ни времени. И в больших семьях те, кто зарабатывает право на приусадебное хозяйство — колхозники и рабочие совхозов, — не главные добытчики в своем огороде.

Приусадебное хозяйство — колоссальный комбинат по эксплуатации детей, стариков, инвалидов. Двенадцать миллионов сельских жителей нигде не работают, кроме как в приусадебном хозяйстве, причем из них семь с половиной миллионов — старики и подростки. Да и остальные миллионы — это главным образом люди нетрудоспособные или ограниченной трудоспособности, домохозяйки с большими семьями. Три четверти труда, затраченного в приусадебном хозяйстве, — женский труд. Прибавим еще пятнадцать миллионов сельских ребятишек — число школьников без учащихся начальных классов, — и мы получим представление о том, чьими руками создается значительная часть валовой продукции сельского хозяйства, которой в прямом и переносном смысле кормится государство развитого социализма со всем его мощным партийно-государственным и идеологическим аппаратом*.

Факт эксплуатации неработоспособного населения, который замалчивается экономистами и социологами, вдруг просвечивает сквозь писания юристов, которые обязаны точно определить правовую сторону взаимоотношений в сельской семье: «Семья колхозника, в отличие от обычной семьи рабочего или служащего, имеет определенные особенности, выражающиеся в том, что это не только родственный семейно-рабочий союз определенных лиц... но такое семейное объединение лиц, которое имеет еще и определенные трудовые связи данных лиц между собой, возникающие у них в силу совместного ведения ими личного подсобного хозяйства».

Можно и нужно бы сказать еще точнее: семья колхозника — микрокапиталистическое предприятие, где глава

* «Развитой социализм» подобного типа уходит корнями своими в далекую историю: «Факты языка показывают, что древний источник рабства находится в связи с семейным правом. Слово «семья» (по словарю Востонова) означает — рабы, домочадцы... Термины: раб (р/б/я, робенец, ребенок), холоп (в укр. хлопець — мальчик, сын) одинаково применяются как к лицам, подчиненным отеческой власти, так и к рабам». М. Ф. Владимирский-Буданов. Обзор истории русского права. Пит. по книге академика В. Д. Грекова «Крестьяне на Руси», стр. 132.

семья вынужден эксплуатировать труд своих домочадцев, чтобы получить в приусадебном хозяйстве максимум прибавочной стоимости и таким образом возместить недополученный ими в колхозе или совхозе необходимый продукт.

Ведется эта эксплуатация, как правило, совершенно варварскими методами, без какого бы то ни было облегчения труда, без механизмов, без применения современных достижений агрономии и зоотехники. Лопата, тачка, мешок, корзина — почти весь инвентарь. В лучшем случае весной за две-три бутылки водки колхозный тракторист вспашет и проборонует участок, остальное — руками.

Один велеречивый партийный болтун заявил: «Хозяйственные функции сельской семьи в советское время в корне изменились. Отпала главная забота — о средствах производства, о лошади, о сохранении плодородия...» * Ну да, забота о лошади отпала — на себе возят. Еще в тридцатые годы был выдвинут лозунг: «Лошадь — угроза социализму». Ползая по земле на карачках, по-лошадиному таская на себе грузы, сельские бабы социализму не угрожают, все верно.

Государство давным-давно закрыло глаза на то, каким способом крестьянин добывает себе пропитание, — сколь тяжело надрыается при этом. Беда ли — заводы «делают лопаты на целый килограмм тяжелее положенного. Грабли тоже слишком тяжелы... Совсем не делают инструмента для подростков, пожилых людей».

Какая страшная картина: на двух сотых всех площадей пахотной земли дети, инвалиды, старики, женщины с лопатами и граблями не по силам дают продукта чуть не столько же, сколько здоровые, крепкие люди во всеоружии современной техники получают с остальных девяноста восьми сотых! Какой тяжелый порок скрыт в этих газетных признаниях!

Правда, в последние годы в пригородных зонах увеличилось число приусадебных хозяйств, ведущих интенсивный откорм скота, умножились парники и теплицы. Возможность получить относительно высокую прибыль заставляет этих микрокапиталистов думать хотя бы о микромеханизации: переделывать домашние пылесосы в огородные опрыскиватели, миксеры приспособлять для сбора крыжовника, изобретать оборудование для выращивания тюльпанов зимой.

Но в массе своей приусадебное хозяйство остается традиционно рутинным. Да и не может быть иначе: на малых земельных площадях, при полном отсутствии техники, приспособлений для ведения столь мелкого хозяйства есть лишь один способ произвести больше продукта: увеличить количество затрачен-

ного живого труда. За счет занятых в колхозе взрослых ничего не увеличишь — упадут. Значит, побольше работать приходится многодетным женщинам, старикам, инвалидам, детям.

Конечно, никакого разделения труда, никакой кооперации, увеличивающей его производительность, здесь нет и быть не может. Приусадебный участок — не земельное и даже не свободная аренда. Право крестьянина на приусадебный участок предусматривает обработку земли лишь семьей самого крестьянина. Облегчить труд семьи можно, только прибегнув к супруге — простой взаимопомощи двух-трех колхозных дворов по принципу ты — мне, я — тебе. Так малосемейные копают картошку. Так в некоторых районах ведут простейшее индивидуальное строительство.

Но объединение тех же двух-трех крестьянских дворов для более рационального, более интенсивного рыночного хозяйства невозможно — строгий запрет! При рациональном разделении труда, при интенсивном ведении хозяйства, ориентированного на рынок, капиталистический характер такого объединения был бы ярко выражен, и можно обойтись уже без приставки «микро». Если придавленные запретами нынешние приусадебные хозяйства успешно конкурируют с колхозами и совхозами, надо ли говорить, что даже элементарное объединение независимых крестьянских хозяйств с гектаром-двумя земли и простейшими механизмами показало бы полную экономическую бессмысленность сегодняшних колхозов. Понятно, что власти на такое не пойдут. Власть партийной бюрократии никогда не признает достаточным основанием для дальнейшей капитализации приусадебного хозяйства даже увеличение продуктов питания вдвое или втрое против сегодняшнего.

Понять политический смысл запретов несложно: сохраняя полуголодный, но гарантирующий безоговорочную власть партийной бюрократии «зрелый социализм», сохраняя черный рынок, они не дают развиваться открытым рыночным отношениям, при которых нужда во всякой административной власти весьма ограничена.

Вообще всякое добровольное, независимое от существующей администрации колхозов и совхозов объединение частных лиц в советской деревне невозможно — ни на капиталистической рыночной основе, ни на основе коммунистической. В стране, провозгласившей построение первой фазы коммунистического общества, коммуны-то как раз и запрещены. Они существовали еще при царе и в первые годы Советской власти, но с началом коллективизации исчезли. Похоронил их лично Сталин: «Лишь по мере укрепления и упрочения сельскохозяйственных артелей может создаваться почва для массового движения крестьян в сторону коммуны. Но это бу-

* П. Шелест. Одна сельская семья. (Штрихи к социальному портрету сельского рабочего 70-х годов). М., «Советская Россия», 1972, стр. 79

дет не скоро. Поэтому коммуна, представляющая высшую форму, может стать главным звеном колхозного движения лишь в будущем». Ему неважно было, куда отправлять свои жертвы, в прошлое или в будущее, лишь бы в небытие, лишь бы не мешались под руками в настоящем.

Коммуны создавались людьми, религиозно преданными коммунистической идее. Такие сплоченные, убежденные коллективы могли оказывать и оказывали серьезное сопротивление советской политике крепостного закабаления крестьянства.

«В известной части коммун проявилась антигосударственная практика, выразившаяся в противопоставлении интересов коммуны интересам государства (чрезмерное увеличение потребительских нужд коммуны, уменьшение товарности и т. д.)».

Вот оно в чем дело! Коммунары не хотели становиться рабочим скотом, несущим тягло под понукание партийной бюрократии, скотом со скотским уровнем потребностей.

И тогда их перевели на Устав сельхозартели. И тогда их заставили гнать на работу своих детей и стариков..

Впрочем, эксплуатация крестьянской семьи как единого хозяйственного организма оказалась такой удобной, что в последнее время широко применяется не только опосредованно, через главу семьи, в приусадебном хозяйстве, но и непосредственно, в колхозном поле. Например, в Чувашии (это я видел в Чувашии, а знающие люди подсказывают, что едва ли не повсеместно) картофельные поля разбиваются на делянки, и каждая крестьянская семья в зависимости от числа наличных душ должна выбрать картофель с большей или меньшей площади. Только исполнение этих барщинных работ (не освобождая от иных, само собой разумеющихся) дает право на покупку в колхозе кормов для личного скота и на бесконфликтное пользование приусадебной землей.

В иных местах так убирают сахарную свеклу, кормовые культуры. И нам здесь можно заметить, что столь дикая форма отработки не может привлечь крестьян даже видимостью прямого материального интереса — это лишь форма ужесточения условий, в которых предоставляется право на приусадебное хозяйство.

При такой организации труда действуют психологические факторы, хорошо известные еще Марксу, а по его словам, и еще раньше — Фурье: «...Женщины хорошо работают только под диктатурой мужчины, но... с другой стороны, женщины и дети, раз они принялись за работу, с величайшей рьяностью расходуют свои жизненные силы... между тем как взрослый работник-мужчина настолько коварен, что старается по возможности экономить свои силы».

В республиках Средней Азии школь-

ниц двенадцати — четырнадцати лет (почему-то чаще я встречал именно школьников) заставляют тяжелым кетменем — на килограмм, на два тяжелее нормы! — рыхлить землю колхозного хлопчатника. По многу часов, на солнцепеке, вместо уроков, а иногда и после уроков.

Эта работа, пожалуй, тяжелее, чем выборка картофеля из осенней грязи, столь хорошо знакомая среднерусским школьникам.

В Гатях — среднерусской деревне, где жила и похоронена наша Аксинья Егорьевна, одна из учительниц местной восьмилетки усомнилась: надо ли включать в программу уроки сельского труда? Ей показалось, что дети и без того знают предмет очень хорошо. Она анкетами опросила школьников и анкеты отослала своему наробразовскому начальству. Все дети ответили, что на уборке урожая картофеля они работают трижды: раз — дома, два — в колхозном поле с семьей, три — в колхозном поле со школой; на сенокосе — дважды: сначала с семьей в лесхозе или в другой организации, у которой есть угодия и можно заработать копейку-другую, потом в колхозе за «десятый процент», то есть за право получить одну десятую часть убранный сена; кроме того, конечно, все иные работы — весной, летом, осенью на приусадебном участке и круглогодично — уход за скотиной (последнее — не все, главным образом девочки).

Начальство внимательно изучило анкеты, но уроки сельского труда велело начать. Не потому, что нужны, а потому, что с них, с начальства, еще начальство, повыше, спрашивает. А то, самое высокое начальство, одержимое исключительно гуманными соображениями, издавало приказы, запрещающие детский труд в поле. И теперь все в том же перманентном порыве гуманности заботится, как бы сельские ребятишки не обленились, не выросли бы белоручками.

Экономическая необходимость работать в приусадебном хозяйстве существует многие годы, формируя нравственную атмосферу сельской жизни, и, наконец, закрепляется в обычае, в нравственном императиве. А обычай уже, в свою очередь, требует от человека определенного действия, эксплуатирует его нравственную податливость. А в конечном счете все то же: эксплуатируется труд.

Уже знакомая нам учительница в Гатях как-то жаловалась, что каждую весну и осень, когда начинаются огородные работы, на нее наваливаются огромные трудности: не хватает времени, не остается сил и желания сажать и копать картошку.

В семье у них только двое — она и муж. Оба по двадцать пять лет работают в школе. Оба отдают школе всю душу и все время. Картофельный огород им совершенно не нужен — они зарабатывают достаточно, чтобы покупать продукты... Но тем не менее каждый год сажают картошку, потом ее окучивают, по-

том выкапывают. И делают это только потому, что все в деревне так делают.

Попробуй она отказаться от своего огорода, и в деревне это воспримут не иначе как чудачество, а еще хуже — как высокомерие: «Что вы, можно ли добровольно отказаться от земли?!» В деревне не принято покупать картошку, если ее можно вырастить. В деревне нельзя не жить, как все... даже если думаешь по-своему. Всеобщность экономическая создает нравственную всеобщность. Существующие порядки кажутся уже естественными и единственно возможными.

Но все-таки экономический императив пока более важен: большинство учителей не имеют возможности купить какие бы то ни было продукты в колхозе или у односельчан, которые специализируются на одной товарной культуре, остальные производят лишь для личного потребления. И вынуждены учителя вести свое хозяйство точно так же, как и крестьяне.

Обстоятельства заставляют. Обстоятельства формируют образ жизни. Образ действий. Образ мышления. Люди не рождаются рабами. Подчинение всеобщности, подчинение глухой необходимости начинается лишь в школьные годы, да и то не сразу. Пока учатся писать, у каждого свой почерк прорезывается. Но со второго класса дети начинают просить в школьной библиотеке «что-нибудь о Ленине — потому что тебе велели прочитать». Так начинается всеобщий почерк мышления. Он закрепляется всеобщей трудовой повинностью: с четвертого класса выходят в колхозное поле и в свой огород. Слово и дело взаимно дополняются, служат одно другому. Формируется человек... И над его-то собственным словом затоскуешь до крика...

Из домашнего задания ученика 5-б класса гатинской восьмилетней школы Галкина Григория:

«Письмо другу:

Дорогой друг мой Вася!

Я тебе опишу про свой выходной день. Встал я рано, умылся, оделся и помог маме прибрать постели. Потом стал завтракать, позавтракал, и пошли мы копать картошку. Я копал, а сестра выбирала картошку. Было холодно. Немножко замерзла сестра, да и я замерз. Покопались мы. И устали, отдохнули. И стали копать картошку. Мы разогрелись. Вдруг шумит мама: «Идите обедать!» И мы пошли обедать. Пообедали. Пошли рыть картошку. А с обеда время летело быстро. И вот уже подошел вечер. Мы поели. И легли спать. Вот мой прошел день. Вася, опиши ты про свой день.

Твой друг Гриня».

В детстве я скандировал вместе со своими ровесниками: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство». Кого должны благодарить сегодняшние сельские ребята?

— Спасибо Ленину, — сказала как-то Аксинья Егорьевна, разглядывая его портрет в районной газете, — лицо-то доброе, позаботился о нас...

В другой раз я уже без удивления наблюдал, как в новом здании сельсовета она в пояс поклонилась тому же портрету:

— Царство тебе небесное... Жизнь-то какую дал — и пенсия, и огород, и в магазине чай да сахар — помирять жалко...

Все хорошо знают, что сегодняшнюю жизнь дал нам Ленин. По его заветам живем. И все видят, что сегодняшняя жизнь крестьянина несравненно лучше той, что осталась в тридцатых, сороковых, пятидесятых. Работается трудно? Так ведь и тогда трудно работалось, а жилось хуже.

А теперь?.. Мы давно уже забыли, как крестьянин может, но хорошо помним, что еще недавно он жил так, как жить нельзя, как жить невозможно. Из народного сознания давно утратилась память о жизни при зпе или тем более о дореволюционных временах. Но хорошо помнится колхозная каторга в ее худшие годы. От тех мертвых точек и идет отсчет благополучия. Лишенный истории, лишенный опыта предков и знания того, как он мог жить, крестьянин оценивает нынешние дни свои, сравнивая их с худшими днями своей же жизни: «Ничего, дышим!»

Мы же, горожане, оцениваем жизнь крестьянина и вовсе исходя из представлений, навязанных нам газетами, журналами и бдительное отсытнями и тщательно смонтированными телефильмами. Да еще по базарным впечатлениям: «На Черемушкинском рынке телятину по семи рублей продают! Обнаглели колхозники. Куда же они деньги девают?»

И снова вспоминается тот послевоенный мешок денег, потрясший мое детское воображение. Уж теперь-то в этом мешке и точно сто тысяч.

Кто же не замечает: жить стало легче, ослабили петлю. Сегодня не продвунной голод, по городам крестьяне не побираются, с голоду не пухнут и даже на одной картошке не сидят подолгу...

Однако взгляды в сегодняшнюю крестьянскую сытость, в быт крестьянина, в его траты и сбережения. Зная, каковы крестьянские труды, посмотрим, велик ли запас накопился трудами этими.

Запасают деньги — не мешок, конечно, но случись что, на первый момент хватит. Запасают зерно — хлебом-то начали торговать в деревне всего лет десять назад, а возникнут трудности, кого в первую очередь прижмут? Крестьянина. А хлеб да картошка — главная еда... Запасают шифер — когда крыша прохудится, его сразу не найдешь... Наша Аксинья Егорьевна держала про запас бочонок соли. Зачем? Не знаю. Уж что-то, а соль-то всегда в продаже. Может быть, в войну насиделись без соли? Как-то не

ловко было спрашивать, да она и не стала бы рассказывать о своих запасах, отговорила бы как-нибудь. Без соли нельзя. Городская семья, если и квасит капусту, если и солит огурцы, то лишь для особого удовольствия, поскольку домашнее лучше покупного. Крестьянин ничего такого купить не может. Если не сделает дома, будет без солений, а без них и вечная картошка в горло не ползет...

Горожанин купит подушку в магазине. Крестьянин будет по пушинке собирать ее годы. И чем бережливее хозяйка, тем тяжелее ее подушки и перины... Но на все это нужно время и силы.

Домашнее хозяйство, домашняя промышленность — неотъемлемое продолжение приусадебного хозяйства. Без этих трудов не прожить, а времени они занимают — особенно у женщин — не меньше, чем огород и скотина: в среднем по три часа в день... Где же силы берутся?

Крестьянин жив постольку, поскольку ведет свое приусадебное хозяйство. Засуха — его личная беда, и тут хоть по былинке, а кормов скоту где-то набрать надо... Колорадский жук, завезенный нерадивыми чиновниками из Польши с импортным семенным картофелем, — его личная беда, ползай на карачках, собирай в банку с керосином. Болезнь скотины — его личная беда, и если гибнет годовалый бычок, готовый на продажу, по нему в голос причитают, так что встревожишься: не умер ли кто из близких?

От всех неожиданностей не застрахуешься, но хоть небольшой запас, а нужно бы иметь во всем.

Хуже всего крестьянину, когда сам заболел. В своем хозяйстве кому бюллетень предъявить? Колхозные гроши, конечно, получишь, и за них спасибо — до 1964 года вообще ничего не давали. Но если колхозного заработка и целиком мало, что там проценты по бюллетеню! Свое добирать и больному приходится.

Аксинья Егорьевна давно как-то жаловалась: так болела, так болела, что и лежать больно было, а позвали в лесхоз косить по болоту, две копейки зарабатывать — не просто пошла, побегала. Знакомому леснику бутылку купила — спасибо, что позвал. Зимой хоть и здоровая будешь, а сена-то где возьмешь?

Пенсия по старости — двадцать рублей. И, голодая, не проживешь. Но зато как милость шестидесятилетней старухе оставляют приусадебный участок: пользуйся, старая, ломай спину, авось еще заработаешь. Да и стране твоя картошка необходима, без твоих трудов не обойтись. Социалистическое отечество в голодной опасности. Если сил нет самой обрабатывать землю, зови своих детей-горожан. Они возьмут отпуска или отгулы либо так прогуляют, но картошка важна и им — приедут и помогут. Да и сама, конечно, не станешь сидеть сложа руки.

Если кому-то затмило и не видит он, что крестьянин работает два рабочих дня ежесуточно — в колхозе и в своем приусадебном участке, пусть посмотрит он на сельских стариков: им остался один рабочий день, но лишь потому, что колхозная барщина отпустила их.

Власть равнодушна к судьбе сельских стариков, и они это знают. Но сам о себе кто не подумает? В старость и в болезнь заглядывать боязно — очень уж страшные лики оттуда смотрят. Пока можно, все хотелось бы лишнюю десятку отложить, застраховаться. Так что крестьянский мешок с деньгами очень похож на нищенскую суму, и не сто тысяч в нем, а пропитание на черный день. Для того чтобы в такой мешок собрать самое необходимое, крестьянин должен сократить и без того скудное ежедневное потребление, урезать потребности семьи до первобытного уровня*.

Я понимаю: сказать «крестьянин должен сократить потребности» — неточно. На потребности волевым актом не подействуешь. И если Аксинья Егорьевна говорила, что не знает вкуса чая, то она в нем потребности не испытывала. Но здесь нам терминологические тонкости не важны... Вкус мяса, конечно, все знают, но даже по официальной статистике на душу населения приходится в день чуть более ста граммов мяса и сала. Если же учесть, что от потребления сливочного масла крестьянин дальше, чем Аксинья Егорьевна от чая, если учесть, говоря неловко, но лаконично, что сало — «основные жиры» в крестьянском рационе, на нем жарят картошку, с ним варят щи, и что во время четырех-пяти праздничных застолий мяса съедается намного более ста граммов, то от куска мяса для ежедневного потребления ничего не остается. Впрочем, был ли он, этот кусок?

Официальная статистика, кажется, существует с единственной целью: поглубже запрятать истину. Очень помогает в этом разделение крестьян на колхозников и рабочих совхозов, поскольку вторых можно учесть среди городских рабочих и служащих. Скажем, учитывается потребление мяса и сала на душу населения. Показано: в семьях рабочих и служащих — 51 кг, в семьях колхозников — 37 кг. Но в первую группу входят и рабочие совхозов, потребляющие

* «Мелкий производитель гонит на работу детей с более раннего возраста, работает большее число часов в день, живет «бережливее», урезает свои потребности до того, что в цивилизованной стране выделяется как настоящий «варвар»... Ленин (Соч., изд. 3-е, т. 2, стр. 468—469) здесь комментирует Каутского и Маркса. Многие из того, что Каутский сто лет назад писал о западноевропейском крестьянстве, особенно о мелких хозяйствах, применимо сегодня к крестьянству советскому, социалистическому, которое выше уровня вековой давности так и не поднялось. Точная мысль Каутского подсказала мне и название этой работы: «Крестьянское искусство голодать может вести к экономическому превосходству мелкого производства».

не больше колхозников, и партийные, и крупные хозяйственные чиновники, чье продовольственное потребление ограничено лишь физиологическими возможностями. Показатель по группе снижается. Разрыв между различными группами населения не так значителен. А средняя цифра по стране остается без изменений: «Что поделаешь, у нас пока нет избобилия, всем одинаково трудно...»

Но и этого оказалось мало. В последние годы даже и колхозников перестали выделять в статистике продовольственного потребления. Есть общая цифра — в 1977 году, например, показано 57 кг на душу населения мяса и субпродуктов, и предполагается, что колхозник и начальник сельхозуправления едят одинаково.

Какой изощренный негодяй дал название ресторану, поставленному среди подмосковных дач крупнейших партийных чиновников, — «Русская изба»? Да был ли он когда-нибудь в русской избе? Не в барской ли усадьбе так жрут?

По нормам, разработанным Институтом питания Академии медицинских наук, для поддержания нормальной жизнедеятельности взрослый человек должен потреблять в среднем 81 килограмм мяса и сала в год. В длинном списке продуктов этого идеального рациона лишь картофель и хлеб потребляются крестьянином сверх нормы. Хотя, впрочем, и потребление советских граждан, даже учтенное по методике ЦСУ, сильно не дотягивает до нормы...

Мяса в деревне не только не едят каждый день, но и не каждую неделю появляется оно в рационе крестьянской семьи. Крестьянин и его семья должны обходиться без мяса, должны утолять голод картошкой и хлебом. Должны, потому что поставлены в такие условия, когда иначе никак не могут удовлетворить самые элементарные потребности в одежде, жилье и т. д., как только за счет точно таких же элементарных потребностей в калорийной белковой пище.

Нехватка мяса и белков особенно сказывается на развитии детей и подростков. Школьники-подростки в сельской местности на 10—20 см ниже ростом, чем городские школьники. Исследования различия умственного развития нигде не опубликованы, да и вряд ли проводились из страха, что реальность заведомо не соответствует пропагандистской болтовне. Однако как косвенное свидетельство нарушения умственного развития можно отметить тот факт, что среди сельских юностей 15—19 лет смертность от психических расстройств в три раза чаще, чем среди их сверстников-горожан. Это психические расстройства, доводящие до такой степени, чтобы обратиться к врачу и быть взятому на позорный (в крестьянском сознании чуть не равный смерти) учет в психдиспансере*.

Содержание даже самых нормальных, настоятельных потребностей, воспитанных всей нищенской жизнью крестьянина, чрезвычайно бедно, уровень запросов низок, самый низкий по сравнению с любыми другими слоями общества.

Большинство колодцев в средне-русских деревнях построено еще в прошлом веке. И с тех пор гигиена пользования ими ничуть не улучшилась, разве лишь срубы несколько раз обновлялись. С местными властями не требуют ни снизу — крестьяне «не знают вкуса» чистой воды, ни сверху — чиновники районного масштаба, а тем более областного или столичного. Им вовсе нет нужды беспокоиться о деревенских колодцах. Они и средства выделять не торопятся...

Везет лишь тем селам, где построены большие скотоводческие фермы. Тут обычно бурится артезианская скважина. Скотина получает воду под нос, в автопоилки, — за это с руководителей спрашивают. Человек берет из уличного гидранта. И ничего, что вода не приблизилась, хорошо хоть чище стала, хоть не лезает в нее каждый со своим ведром.

Вот как удачно бывает, когда личные интересы совпадают с интересами общественными (с интересами колхозной скотины)...

Организация медицинской помощи в сельской местности заслуживает отдельного исследования. Но по крайней мере очевидно, что чем дальше от больницы, то есть чем дальше от крупного села или районного центра, тем меньше возможность получить своевременно помощь квалифицированного врача. И хотя смертность в сельской местности значительно выше, чем в городе, крестьяне обращаются к врачу в два-три раза реже, чем горожане... Однако в мелких поселках, наиболее удаленных от больницы, людей, недовольных медицинской помощью, как раз меньше, чем в крупных селах. Парадокс потребностей?

Когда Аксинья Егорьевна болела так, что ей «лежать было больно», она ведь не к врачу отправилась за пятнадцать километров да на попутной машине (если, конечно, посадит, а нет — пешком), но в противоположную сторону и тоже за пятнадцать километров — в болото, косить...

Визит к врачу занимает весь день, а если не повезет, то и с ночевой застрянешь. Когда нужны анализы или исследования, уйдет неделя. Кто из крестьян позволит себе такую «бесплатную» медицинскую помощь, особенно летом? Да она дороже обойдется, чем недельное содержание личного врача, коль такое возможно было бы.

Аксинье Егорьевне и в голову никогда не приходило, что врач может прийти

ба может вызвать любопытство, но уж никак не жалость, не сочувствие. Именно на этом и строится политика властей, когда они заключают в психушки инакомыслящих, пусть хоть и совершенно здоровых людей.

* В сознании обывателя любой пациент психиатра — не человек, нелюдь. Его судьба

на дом. Разве что ветеринарный врач — за трешницу либо за бутылку — к заболевшему пороску. А себе-то она и девчонку-фельдшера ни разу не позвала. В последнюю зиму уже помирала, а все на другой конец деревни брела, в медпункт. И только за неделю до конца, когда совсем слегла, с благодарностью, хотя уже и обессиленным шепотом, встречала фельдшерицу, приходящую колоть морфий... Ей ли, Аксинье Егорьевне нашей, было жаловаться на плохую медицинскую помощь?

Да если и доберется крестьянин до районного города, до больницы, как-то еще его там встретят? Реальное состояние медицинского обслуживания — запретная тема. Но все-таки вот нечаянное свидетельство в журнале «Работница» (1977, № 5): «ПОМОЩЬ ОКАЗАНА. Л. Неструева из г. Алги Актюбинской области написала в редакцию письмо о плохих санитарных условиях в местном родильном доме и о невнимательном отношении медицинского персонала к больным...

Как сообщила редакции заместитель министра здравоохранения СССР Е. Новикова, приведенные в письме факты о недостатках в организации родильного отделения больницы г. Алги в основном подтвердились. По результатам расследования жалобы приняты следующие меры: родильное отделение г. Алги Актюбинской области переведено в новое помещение, обеспечено горячей водой, необходимым инвентарем; установлено круглосуточное дежурство врачей — акушеров-гинекологов; усилен контроль за санитарно-эпидемиологическим режимом родильного отделения. Л. Неструевой оказана высококвалифицированная медицинская помощь».

Сколько же времени принимали они — в самой передовой стране мира — роды без горячей воды, без необходимого инвентаря, а по ночам и без акушеров? Много ли таких больниц и родильных домов? Едва ли не все. По крайней мере я сам слышал, как женщина, плача от обиды, рассказывала, как в одном из московских родильных домов ночью едва не родила ребенка в унитаза, не умея докричаться до уснувших сиделок. Так что вряд ли долго продержится в больнице г. Алги «санитарно-эпидемиологический режим» после того, как столичное внимание проскользнет мимо. Одна отчаянная пожаловалась — «на сигнал отреагировали», а многие ли знают, что можно и должно иначе — рожать, жить, умирать?

Аксинья Егорьевна вообще никогда никому НИ на что не жаловалась. Для того чтобы пожаловаться, нужно осознать себя отдельной, особенной личностью, субъектом права. Реальное право рождает потребность, так же как и настоятельная потребность вынуждает искать права. А какие права знала за собой Аксинья Егорьевна? Никаких. Разве что право на свой приусадебный

клочок земли — да и то лишь в ответ на обязанность работать в колхозе. И в старости — право на двадцать рублей пенсии. Все. Эти права незыблемы. Остальные, напротив, очень и очень зыбки. Для крестьянина весь кодекс законов заменяется сельским обычаем: «Не хуже людей живем, и ладно».

Ровесница нашей Аксиньи Егорьевны, крестьянка подмосковного села Уборы, Клавдия Васильевна Юдина, в течение многих лет работая в колхозе, подрабатывала уборщицей в клубе, получая за то десять рублей в месяц. Деньги, конечно, ничтожные, но когда без мужа растишь четырех девочек, каждому рублю рада. Когда же пришел срок рассчитывать пенсию, оказалось, что ставка уборщицы по меньшей мере на тридцать рублей больше. Значит, ежемесячно у Клавдии Васильевны воровали тридцать рублей. Председатель сельского Совета воровал... Но нет, Клавдия Васильевна не пошла жаловаться, не стала искать своих денег, заработанных из последних сил. Спасибо хоть пенсию от полной суммы начислили. А с начальством лучше не связываться, прав не будешь.

Я не стал бы рассказывать здесь эту историю, слышанную мной от самой Клавдии Васильевны, она достаточно ординарна, и если задаться целью, то подобных историй можно было бы насобирать не один том. Мало ли самого дикого средневекового бесправия на необъятных просторах нашей родины? Но село Уборы — оно отнюдь не затеряно в просторах, но находится в получасе езды от столицы и между двумя самыми привилегированными санаториями страны, между «Соснами» и «Барвихой», к которым без пропуска и подойти-то близко не пускают, чтобы не нарушил кто ненароком покой членов ЦК партии, там отдыхающих.

На том бы и закончить историю о Клавдии Васильевне, если бы не фантастический случай: в «Соснах» отдыхал как-то сам Косыгин и, гуляя, вышел за территорию, оказался в Уборах и встретился с Клавдией Васильевной, которая как раз в те дни переживала раскрывшийся обман. Разговорились. («Я-то с нашими старухами была, а с ним еще какой-то мужчина»). Думаете, жаловалась? Нет, и в голову не пришло. В сельском обычае скромность... О чем же говорили-то? Он их спрашивал, отчего это у молодежи вошло в обычай бежать из села? Он, видите ли, понять совершенно не может...

Обычай — банк крестьянских потребностей. Но банк с весьма ограниченным капиталом. Крестьянская семья может годами пить тухлую колодезную воду, и никто не пожалуется, никто не вспомнит о своих правах на элементарные бытовые услуги: все такую воду пьют. Все едят мясо лишь по праздникам. Никто

не помнит, чтобы врач посетил больного. Какие могут быть претензии? Откуда же взяться потребностям?

Современный крестьянин время от времени слушает радио, смотрит телевизор, иногда бывает в кино, читает или хотя бы просматривает ту или иную газету. Но все красивые, справедливые бытовые, нравственные и административные нормы, которые приходят к нему по этим каналам, лишь к сведению. В повседневной жизни руководствоваться ими невозможно.

Как бы сытно и разнообразно ни ели герои телеэкрана, все эти посетители «Русской избы», зрители-то больше, чем он обычно ест, больше, чем едят его соседи, а значит, больше и лучше, чем все едят, взять негде... Как бы ни были демократичны отношения между начальством и рабочими в кинофильмах, все же понимают, что это так, игра, для времяпрепровождения, а на самом деле то к председателю колхоза со своими нуждами не подступись — он тебя в упор не увидит, ему некогда, его в райкоме ждут. А возвысишь голос до протеста, он тебя размажет между ладонями: его, уверенного хозяйственника, райкомовского тгуна и ключника, дающего план, никто не тронет, разве что пожурят за неумение заткнуть рот недовольному. Сам же недовольный увидит себя врагом могущественного наместника государственной власти... Да нет, до вражды редко кто доходит, разве что самые отчаянные или отчаявшиеся. Такая вражда кончается в лучшем случае тем, что прижмут крестьянина так, что не вздохнет, пока не покается, а в худшем — придется ему проститься с родными местами: примерно пятеро в каждой сотне взрослых мигрантов из села бегут от гнева начальства... В руках у председателя и право урезать приусадебную землю, и возможность обделить кормами для скота, и много-много иных способов сделать жизнь крестьянина невозможной. Впрочем, крестьянин редко выходит за рамки обычая, а спорить с начальством, искать прав, конечно, вне обычая.

Обычай не обязательно напрямую эксплуатирует свою жертву, как он эксплуатирует нашу знакомую учительницу, заставляя ее выращивать ненужный картофель. Чаще обычай ссызывается в активизации или угнетении тех или иных потребностей. А уж настоятельные потребности заставляют крестьянина искать дополнительного заработка. Но где же его найти, как не в собственном приусадебном хозяйстве?

В огуречном селе Посады, где живет механизатор Гавря Тюкин, в обычае строить большие каменные дома: видом этого села с его сверкающими оцинкованными крышами мы уже имели возможность любоваться на страницах нашего очерка. Дома и впрямь неплохи, особенно радуют глаз приезжего неожиданные для сельской постройки огром-

ные дачные террасы. Но такая терраса не каждой семье по карману, да и совершенно бессмысленна она, по крайней мере десять месяцев в году. Но строят и долго еще будут строить именно так. Будут надрываться, искать исчезнувшее в последние годы из продажи цветное стекло, откажут себе в последнем, но построят свой дом, как все строят.

Гавря Тюкин, может быть, и мечтал бы построить что-нибудь попроще, но против обычая не пойдет. И, потратив десять лет жизни на строительство своими руками каменного дома под оцинкованной крышей, из последних сил пристроит террасу, но никак не станет благоустраивать дом внутри. И переедет, по сути дела, из старой, закисшей избы точно в такую же, разве что более прочную.

И не только потому Тюкин не станет перечить обычаю, что побойтся почувствовать себя в одиночестве холодно и неуютно, но прежде всего потому, что террасу-то он хоть и из последних сил, да все же пристроит, а ни водопровод, ни канализацию, ни центральное отопление ему пока никак не ослитить. Обычай хоть и «деспот меж людей», но все же от экономической реальности не отрывается. Не только обычай диктует, как жить, но и возможности жить так или иначе формируют обычай...

Однако ведь есть же другая жизнь! Ведь есть «маяки» — читаем же мы о них в «Правде» и «Огоньке», читаем и картинки разглядываем. Ведь есть же хозяйства, где работники получают из колхозной кассы поболее иного промышленного рабочего. Они-то хоть не так материальной нуждой зажаты?

Один «журналист», демонстрирующий нам социологический подход — мы уже знаем этого автора как умиленного наблюдателя крестьянского безлошадного счастья (см выше), — на сей раз, вдохновенно живописуя быт типичной, по его мнению, сельской семьи, семьи совхозного механизатора с ежемесячным доходом при двух работниках 484 рубля, то есть в два раза выше среднего, с восторгом замечает: «В общем, теперь семья Александровых расходует на приобретение протмоваров вдвое больше денег, чем пять-шесть лет назад...

СOLIDНУЮ статью расходов составило приобретение современных, «модерных» предметов, заменяющих старые, вышедшие из моды: вместо оттоманки, которую отправили в печь, привезли из Ленинграда диван-кровать и т. д.»

Все правильно, для семьи, еще недавно жившей в полной нищете, для семьи, которая, по свидетельству самого автора, лишь в последние годы смогла приобрести шкаф, стол, стулья, — для такой семьи и диван-кровать роскошь. Дай Бог Александровым спать мягко на этом диване...

Но к чему восторг, коллега? Вы сами-то не на оттоманке спите? Да и стол

со стульями у вас, должно быть, не первый год?

Наша Аксинья Егорьевна точнее публициста заметила прогресс в жизни деревни: «После войны бывало, да и недавно еще, идешь по деревне и видишь, как сосед вшей бьет. Ни занавесок, ни подзоров на окнах. Теперь-то куда лучше! Кой у кого и занавески тюлевые...»

Огромному большинству крестьянских семей, доход которых вдвое, а то и вчетверо меньше, чем у Александровых, и вовсе не до модной мебели. Если мы станем измерять уровень жизни и уровень потребностей крестьянина той же меркой, какой измеряется жизнь всего общества в целом, то верхняя половина шкалы нам не понадобится.

И хотя в ином крестьянском доме появились телевизор, трехстворчатый шкаф и даже диван-кровать, уровень жизни и уровень потребностей крестьянина соответствует той, по сути своей мелкобуржуазной, нищенской, до капиталистической формы хозяйствования, которая единственно возможна на приусадебном участке в условиях ограниченного рынка, в условиях административных запретов на частную инициативу в широком масштабе, в условиях крепостнических земельных отношений, столь характерных для общества «развитого, зрелого социализма».

И надо ли удивляться, что «семьи, в бюджете которых доход от личного подсобного хозяйства составляет заметную долю, не соглашаются на его сокращение даже при условии предоставления им коммунальных удобств (при переселении в казенные квартиры в многоквартирных двух-, трехэтажных домах.— Л. Т.)».

Но, приняв эту очевидную истину, исследователи потребностей тут же торопятся застраховаться: «Почти во всех селах имеются группы людей, предпочитающие жить в двухэтажных домах со всеми удобствами, не занимаясь уходом за скотом, огородом, не топя печи в течение большей части года».

Какая мысль за этой фразой? Разве при всей неразвитости крестьянских потребностей есть хоть кто-нибудь, кто предпочитает топить печи, когда при прочих равных условиях жизни есть возможность пользоваться центральным отоплением? Разве кто-нибудь находит удовольствие копаться руками в коровьем дерьме и не предпочел бы отказаться от этого занятия при достаточных средствах, при возможности приобрести механизмы, заменяющие ручной труд в крестьянском хозяйстве, при возможности купить мясо и молоко?

Крестьянин может всю жизнь пить «удовлетворительную» воду, но если хотя бы на другом конце села есть чистый колодец, он предпочтет его всякому другому.

Настойчивые опросы, проводившиеся социологами, показывают, что вроде бы 95% колхозников удовлетворены своим

материальным положением и работой в колхозе, но это совсем не значит, что они не предпочли бы иной образ жизни (и иначе поставленные вопросы интервьюеров-социологов), будь у них выбор. Но выбора-то им как раз не предоставляют...

Не «почти», а во всех селах, и не «группы людей», а все население полностью предпочитает жить по-человечески. Но возможно это лишь в двух случаях: или когда крестьянин станет наемным рабочим, сельским пролетарием в полной мере, и в виде заработной платы целиком получит причитающуюся ему часть необходимого продукта, или когда крестьянин станет фермером и сам, подчиняясь лишь законам и требованиям рынка, распорядится произведенным на ферме продуктом.

Ни первый, ни второй варианты не могут быть реализованы при нынешних социально-политических и экономических условиях.

В противоположность ученым-социологам крестьянин соразмеряет потребности с реальной жизнью. И поэтому кормит и себя, и социологов, изучающих его предпочтения.

6

В свою последнюю осень Аксинья Егорьевна вдруг решила, что нужно пригласить печника и сложить новую русскую печь, поскольку у старой давно уже обвалился свод да и по челу прошла такая трещина, что в ней поселились мыши.

И хотя лет уже пять или даже больше изба хорошо отапливалась небольшой конфорочной печуркой, неисправная печь нарушала покой и гармонию крестьянской души. И когда случилось, что какой-то проезжий шофер остановился посреди улицы и предложил, не возьмет ли кто у него за бутылку машину песка, Аксинья Егорьевна велела песок свалить возле дома и тут уж точно решила, что раздобудет тысячу кирпича и позовет мастера...

Но осенью печь так и не сложилась, зимой такие работы не делаются, да и не до них было за болезнью, а к весне и самой хозяйки не стало. Развалившаяся печь по-прежнему занимала половину избы, но теперь уже не нарушая ничье душевное равновесие.

Однако в начале апреля неисполненное намерение соседки вспомнилось: бесхозная куча песка вдруг возникла из-под снега между домом Аксиньи Егорьевны и моим. Вспомнилось и тут же забылось: песок сделался детской площадкой для ребятшек нашего края села...

Не знаю, отчего уж так получилось, но деревенские дети — эти Аленушки, Иванушки, Машеньки из русских сказок — не только теперь иначе зовутся, но и сказок-то не вспоминают в своих играх. Слушая детские разговоры и различая сюжеты игр на песочной куче, я ни разу не слышал упоминания ска-

зочных зверей или таинственных сил. Впрочем, может быть, дети всегда играли с наибольшей охотой во взрослых, оставляя взрослым сочинять сказки и играть в детей? Не знаю. В Москве трехлетняя дочь моих хороших знакомых, усаживаясь на качели, оставляет с собой свободное место, которое, оказывается, вовсе не свободно, но занято домовым. Он невидим взрослым, но хорошо различим ее воображению: мохнатенький, добрый, и еще у него зубы болят... Ребенка с детства научили воспринимать сказки.

Но на песочной куче играли не в домового. Крошечная рыжая девочка лет четырех, едва научившаяся правильно говорить, изо дня в день повторяла игру, приводившую в восторг и ее саму, и ее ровесницу-соседку. С детским бидончиком рыжая как бы шла к маме на работу за молоком. Бидончик заполнялся водой или песком. «А теперь давай молоко прятать!» — говорила рыжая...

Я не сразу понял, что дети играют в то, как они воруют молоко на ферме, или, вернее, в то, как они помогают матери воровать молоко, — мать рыжей девочки работала дояркой.

Дети не знают, что значит воровать, для них спрятать «молоко» — что-то вроде игры в «тепло — холодно»... Но взрослые не знают, что значит не воровать.

В последнее время даже в партийных кругах все чаще стали поговаривать о колоссальном размере воровства в стране. Называют даже какие-то цифры и данные, добытые органами юстиции и милицейскими ведомствами. Но все это несерьезно.

Во-первых, воровство не укладывается ни в какие цифры, а во-вторых, явление это вовсе не по части карательных органов. Воровство, особенно в сельской местности, стало промыслом, без которого не прожить. Это торговый ряд на черном рынке.

Для крестьянина воровство — продолжение его борьбы за свою долю необходимого продукта, продолжение приусадебного хозяйства. Крестьянское хозяйство невозможно вести без инвентаря, без хозяйственных построек, без тысячи мелочей: без мотка проволоки — починить на скорую руку плетень, без машинного масла — смазать колеса у тележки, с которой за сеном ходят, без самих этих колес, без гвоздей. Сколько бы мы ни тыкали пальцем, стоя посреди крестьянского двора, в различные предметы вокруг нас, окажется, что почти ни один из них не куплен. И не потому, что крестьянин — тип изначально безнравственный и украсть гвоздей на гривенник ему приятней, чем купить. Просто купить все это негде, ничто из необходимого не продается. Но раз не продается, а хозяйство-то все равно вести нужно — значит, воруется...

Нет, все-таки с цифрами в руках проще представить, о чем идет речь:

«В 1964 году в среднем на колхозный двор было выдано за работу в колхозе и продано сена и соломы на 37% меньше, чем в 1958 году. В связи с этим в ряде районов страны расхищались общественные фуражные запасы... В 1964 году в колхозах Львовской и Николаевской областей в среднем на хозяйство колхозника было похищено соответственно: сена 85 и 150 кг, соломы 110 и 140 кг».

Это единственное в своем роде печатное признание зависимости между производством необходимого продукта и воровством. И у нас есть все основания распространить найденную зависимость на приусадебное хозяйство в принципе.

Кто продаст крестьянину необходимые два-три мешка удобрений? В колхоз за ними не ходи, скажут: самим не хватает. И не без оснований скажут...

А кто украдет, тот и продаст. Впрочем, чаще сам крестьянин и украдет. Воровство пока не стало профессией для каких-то определенных лиц в деревне, как выращивание огурцов для семьи Тюкиных. Общественное разделение труда не сильно коснулось этого промысла, к которому как раз и применимо определение «подсобный и личный».

В магазинах, кроме ведер и лопат, ничего нет. Но все есть в колхозе. Нужны колеса для тележки? Пойди на машинный двор, там наверняка какие-нибудь валяются... Нужна веревка на ворота? Пойди к леснику, он получит свое и отвернется, когда ты ее из лесу потянешь... Нужна машина дрова привезти, не ходи к председателю колхоза — не даст. Договорись с шофером — тот привезет, украдет эту услугу из колхозного бюджета.

Где бы Аксинья Егорьевна или Гавря Тюкин могли бы купить машину песка, необходимого одной для ремонта печи, другому — для строительства дома? Нигде не купишь. Но можно договориться, чтобы для тебя украли. Вору заплатишь, как заплатила Аксинья Егорьевна тому шоферу.

Впрочем, шофер тоже не подбирался к песчаному карьеру тайно, аки тать в ночи, но подъехал среди бела дня, экскаватор нагрузил машину, и так же среди бела дня шофер поехал по селу, спрашивая, не нужен ли кому песок в обмен на бутылку водки.

В магазинах ничего не купишь: чего-то не привезли, а чего-то и в принципе не бывает в продаже. В колхозе не вынешь, колхозу и самому невеликие фонды выделяются. А что можно бы и уступить частному лицу, то в первую очередь получают люди, которые около председателя кучкуются... И в то же время все кругом продается и покупается...

Легального рынка товаров и услуг, необходимых в крестьянском хозяйстве, не существует, но действует и процветает колоссальный рынок краденого. И если мы говорим, что основные фонды

приусадебного хозяйства оцениваются сегодня десятками миллиардами рублей, то сумму ежегодных краж в сельской местности нужно оценивать миллиардами же рублей и не поднимать потешную возню по поводу того, что, по сведениям МВД, ежегодные хищения по всей стране отнимают-де у государства двести — триста миллионов*.

И, конечно, объект воровства не только предметы производственного назначения. Если воруют материал для строительства хлева, корма для коровы, услуги ветеринара, то почему бы сразу не украсть конечный продукт — молоко?!

И воруют. Крадут все, что производится на колхозных полях и на фермах, кроме разве живого скота. Впрочем, десятками способов изобретаются воровски забирать скотину и тащат мясо.

И сами крадут, и детей посылают.

Я знаю многодетные крестьянские семьи, где дети начинают воровать с пятилетнего возраста. Да нет, не дети же воруют! Взрослые воруют детскими руками. Скажем, в полном составе семья идет в колхоз работать на току. У каждого в руках по ведру. Нароботать — немного наработают, но перед уходом домой ведро смачивается; к влажным стенкам прилипает зерно...

Самый маленький, конечно, не работал, а так, поиграть ходил со старшими, но и его кармашки плотненько набиты зерном — старшие позаботились. Вчетвером, впятером сходили — полведра принесли.

Доярки обучают детей, и те носят молоко с фермы даже в детской посуде. А уж грелка для сельского жителя — идеальный воровской инвентарь: удобнее предмета для кражи молока не сыщешь.

В послевоенные голодные годы, было время, при входе в деревню обыскивали крестьян, возвращающихся с полей. Я узнал об этом случайно: женщина, с которой я разговаривал на сельской улице, зло плюнула вслед прошедшему мимо человеку. Оказалось, он какое-то время был тут председателем колхоза и лично ощупывал мою знакомую, нашел спрятанные ею в одежде три морковки, которые она несла детям. Нашел и отобрал... Такое не забывают и через тридцать лет.

Но если взрослые воруют, как работают, то есть получают некий продукт, который иначе не заработаешь, то дети прежде всего получают моральный урок. И сколько бы потом в школе и в обществе ни проповедовали седьмую заповедь, проповедь лишь будет расшатываться.

Вать цельное мировоззрение, усвоенное на деле во время невинных детских краж. Но, распахивая, вряд ли даст взамен что-нибудь столь же прочное, как убеждение, что не своруешь — не проживешь.

В предыдущей главе мы, пожалуй, слишком легко проскочили мимо одного очень важного свидетельства медиков, которое здесь уместно привести целиком: «В 15—19 лет в сельской местности, сравнивая с городом, становится заметной более высокая смертность от болезни нервной системы органов чувств (в 2,5 раза), психических расстройств (в 3 раза)... Характерно то, что в этом возрастном периоде нет ни одной причины смерти, которая имела бы более высокие показатели в городах, нежели в сельской местности».

Может быть, обостренная чувствительность юношеского возраста до трагических размеров усиливает в сознании разрыв между идеалом, проповедуемым ежедневно и ежечасно по всем каналам информации, и реальностью?

Может быть, хрупкое юношеское сознание со смертельной остротой осознает ложь, которая еще не понятна ребенку и к которой уже привык взрослый? Увы, на этот счет нет данных, проверенных серьезными исследованиями.

Если человеку приходится ежедневно нарушать общепринятые нравственные нормы, если проповедь, которую он слышит ежедневно, никак не согласуется да и не может согласоваться с единственно возможным способом поведения, слова или теряют свое императивное значение, или рассекают психику человека, разрушают его личность.

Это, кстати, относится ко всему черному рынку в принципе. Все знают, что взятки, спекуляция, воровство безнравственны, но никто не может прожить без взятки, спекуляции, воровства.

И крестьянин прекрасно знает, что воровать — дурно, безнравственно. И ворует.

Крестьянин постоянно слышит, что в советском обществе первая и главная честь — труд. Но его, крестьянина, труд признан общественно нерентабельным настолько, что общество как бы из милости содержит его.

Крестьянин, наконец, слышит, видит в кино и на телеэкране, читает в газетах и журналах, что кругом-то люди живут прекрасно и счастливо (вспомним семью Александровых, которые купили диван-кровать), и в душу закрадывается холодная тоска, мрачное сознание того, что он не удачник.

Нравственная ценность идеологии, противопоставляющей некое «светлое будущее» сегодняшней жизни общества, сомнительна сама по себе. «Лишение живущего поколения возможности свободно распорядиться своим имуществом и подчинение его воле давно умершего поколения или правам поколения, еще не родившегося, делают для него невоз-

* Рынок краденых товаров и услуг процветает не только в сельской местности, но и в городах. Это явление весьма характерно для плановой, зарегулированной экономики. Д. Гэлбрейт, кажется, нечто подобное определил как неприличную возню по поводу дефицита. Нам такая высокоточная позиция не пристала. Нам все прилично. Тем более что этот рынок является своего рода «приусадебным хозяйством для миллионов горожан»...

возможным участие в работе на благо своей страны, убивают в нем интерес к земле, которая в определенном смысле становится для него чуждой».

Мысль Сисмонди совершенно справедлива и в тех случаях, когда искусственно ограничивается приложение инициативы и капитала ради «планового научного ведения хозяйства». Утопические идеи умершего поколения, демагогия якобы в пользу поколений, еще не родившихся, а в результате равнодушие и нищета поколения нынешнего.

Крестьянин, конечно, не так прост, чтобы целиком и полностью поддаться пропагандистскому угару, а то бы не выжил, но и не так крепок сознанием, чтобы не чувствовать зудящего разлада между всеобщей проповедью и собственной жизнью.

И хотя в общественных явлениях причина сплошь и рядом оборачивается следствием, мы, видимо, не ошибемся, если свяжем чувство социальной неполноценности с патологией сознания (нервные и психические болезни), с патологией поведения (пьянство, грубость, хулиганство, насилие).

У нас нет гласной статистики преступности; но, как подсказывает опыт, в селе средних размеров — на 150—200 дворов — ежегодно совершается по крайней мере одно убийство или другое тяжкое преступление против жизни и здоровья человека. Население средней деревни легко расселится в небольшом городском доме на пару сотен квартир. Стали бы горожане спокойно жить в доме, где ежегодно убивают?

Теперь надо бы говорить о пьянстве... О пьянстве надо бы рассказывать много и подробно, и это был бы рассказ о животной тупости семейных отношений, о психически больных детях, рождающихся едва ли не в каждой сельской семье, это был бы рассказ о тяжелых увечьях и поломанной технике, о поджогах, убийствах и снова о детях, чьи судьбы искалечены в атмосфере всеобщего пьянства. Словом, это был бы рассказ о физическом и нравственном вырождении народа, а мы пока, слава Богу, говорим о том, как народ противостоит вырождению.

Да и подступись к теме пьянства, научных сведений никаких не сыщешь. Сколько-нибудь систематического изучения пьянства не ведется. Нет такой темы в планах социальных исследований: страна запланированно движется к коммунизму, вырождение происходит внепланово.

Впрочем, если нет пока еще прямого плана на вырождение, то жесткий план на выручку, на доход от пьянства существует и действует. Государство из всего извлекает свою выгоду, даже из деградации личности алкоголика.

А мы-то думаем, что, хоть напившись, ускользнем от социалистической реальности! Ничего подобного! Нас и здесь догонят. Деньги, которые мы отдаем за

водку, не что иное, как косвенный налог с населения. Недаром в закрытом партийном распределителе водку продают по себестоимости — с партийной бюрократии налогов не взимают.

Специалисты утверждают, не печатно, конечно, но конфиденциально, что доход от продажи водки намного превышает нынешние экономические потери от пьянства. Власти от этого дохода легко не откажутся, даже если грядущее коммунистическое общество наполовину будет состоять из идиотов и потомственных алкоголиков. Если в каком-то сельском районе не выполняется план книжной торговли, туда дают вагон дешевой водки...

Водка — первейший товар на государственном черном рынке.

7

В обстановке постоянного материального дефицита и жестких запретов на частную инициативу, когда государство не может и не хочет удовлетворить элементарные потребности человека, все мы чужой волей выброшены на черный рынок, где все покупается: народом — втридорога мясо, одежда, строительные материалы и прочие блага; у народа — втридешева рабочая сила взрослого и ребенка, старика, женщины, а вместе с рабочей силой и вся жизнь работника целиком и полностью.

Человек и сам уже ощущает себя живым знаком черного рынка и на другого смотрит как на чернорыночного партнера... Эти связи, хоть и держат сверху донизу все советское общество, вовсе не исследуются ни социологией, ни социальной психологией. Они замечены лишь в художественной литературе, которая сама по себе — инструмент более тонкий и менее зависимый от директивного руководства, чем общественные науки.

Посмотрим глазами писателя Федора Абрамова на сельское общество, собравшееся за одним столом, за столом, который вполне мог быть накрыт в любой русской деревне:

«Петр Иванович худых гостей не зовет, не такой он человек, чтобы всякого вином поить. Перво-наперво будут головки: председатель сельсовета да председатель колхоза, потом будет председатель сельпо с бухгалтером, потом начальник лесопункта — этот на особицу, сын Петра Ивановича у него служит.

Потом пойдет народ помельче: пилорама, машина грузовая. Антоха-конюх, но и без них, без шаромыг, шагу не ступишь. Надо, скажем, дом перекрыть, — походишь поклоняешься Аркашке-пилорамицу. А конюха взять. Кажись, теперь, в машинное время, и человека бесполезнее его нету. А нет, шофер — шофером, а конюх — конюхом. Придет зима да прижмет с дровами, с сеном — не Антохой, Антоном Павловичем назовешь...

Самым главным, гвоздевым гостем сегодня у Петра Ивановича был Григорий Васильевич, директор школы. Его пуще всех ласкал-почтевал хозяин. И тут голову ломать не приходилось — из-за Антонида, Антонида в школе служить будет — чтобы у нее ни камня, ни палки под ногами не валялось.

А вот зачем Петр Иванович Афоньку-ветеринара отличает, Пелагее было непонятно. Афонька теперь невелика шишка, не партийный секретарь, еще весной сняли с прописью в районной газетке, и когда теперь вновь подымется?»

Да нет, не может быть, чтобы наблюдательная и мудрая Пелагея не поняла, зачем тут Афонька-ветеринар! А ну как все-таки подымется? Если не спился, еще не все потеряно: влиятельные друзья найдутся — и пьяного к должности прислонят.

Партийными секретарями, хоть и бывшими, власти легко не разбрасываются. Афонька — человек посвященный. Вчера был на партийной должности, завтра — на любой другой руководящей работе его увидим. Он хоть и кажется, что только служит крупным хозяевам — райкомовским, обкомовским и тем, что повыше, но и сам хозяин под стать председателю колхоза или председателю сельсовета. Хоть и мельчайший, но хозяин. Власть. Правящая структура. Он на черном рынке не только товары покупает для себя и для семьи, но и дешевую рабочую силу — для нужд государства; с помощью таких афонек крестьянина своробывают в колхозе и заставляют сверхурочно вкалывать на приусадебном участке.

Что же это за общественная структура такая новая, в истории невиданная — партийная бюрократия? Что мы знаем о ней?

Афонька — государство, его мельчайшая пылинка. Государство — это люди, персонифицированная идея. Или даже один человек — вождь, фюрер, монарх. Кто же у нас в стране воплощает идею социалистического государства? Партийная бюрократия, три миллиона работников партаппарата и примыкающих к нему пропагандистских и репрессивных учреждений. Они — правящая структура, охранители стабильности сложившейся социально-политической и экономической системы. Но по мере того, как идея изживает себя, перестает пользоваться каким бы то ни было доверием народа, она теряет преданность и самой правящей структуры. Уже не идею охраняют они, но лишь собственную власть и личные привилегии. Все с большей силой правящая структура проявляет себя на черном рынке не как государственное око, но как лично заинтересованный партнер.

Кто в условиях черного рынка обладает наиболее полным комплексом преимуществ? Кому все это выгодно настолько, что все перемены, всякая инициатива к переменам видятся как

страшнейшее зло? Кто, не умея, не желая разумно организовать хозяйственную жизнь общества, может заставить крестьянина или рабочего идти на черную биржу сверхурочного труда? Кто реально распоряжается наибольшей суммой общественных благ и услуг, каждая из которых рано или поздно, но обязательно становится предметом купли-продажи на черном рынке? Кто распределяет сами доходные должности в системе, эти кормления XX века, сакая на них преданных афонек и пользуясь всеми преимуществами своего положения? Кому, наконец, мясо, обувь, книги продаются не через задние двери магазинов и с наценкой, а попросту в особом магазине и со скидкой? Кто же это? Да, конечно же, не кто иной, как профессиональные политики всех мастей и рангов, партийное руководство, никем не избранное, но имеющее всю полноту власти в стране.

Все планы, экономические и политические, все устремления нынешней государственной власти у нас в стране направлены на то, чтобы сохранить политические и материальные привилегии партийной бюрократии. Это задача номер один, все остальные задачи, включая материальное и духовное благополучие народа, общества, имеют второстепенное значение при разработке планов на будущее.

Привилегий значительно больше, чем может показаться при сопоставлении прямых денежных доходов. Их даже трудно измерить единой мерой.

Можно сопоставить мизерную цену на продукты питания в закрытом распределителе для партийных работников с базарной ценой — для рабочих, но как сопоставить затраты на все продовольствие тех и других, если рабочему часто негде купить мясо, молоко и другие жизненно важные продукты?

Можно сопоставить мизерную квартплату, которую платит партийная верхушка, с огромными затратами крестьянина на строительство собственного жилья, но как сопоставить, какими деньгами измерить пропасть между роскошной квартирой и дачей для чиновника и ночлежными койками рабочих общежитий не менее как для десяти миллионов в бездомных (впрочем, и этих-то коек не хватает всем, и ради них-то — интриги, унижения, подкуп, подлость)...

За медицинское обслуживание никто не платит наличными, но к партийному функционеру, прикрепленному к спецполиклинике, на дом придут, чтобы кровь из пальчика взять, а крестьянин и с поломанной рукой будет топтать с десяток верст до ближайшей больницы или до ближайшей автобусной остановки и ребенка большого понесет...

Уже и место на кладбище дается не мертвому, но живому: чем выше должность в партийной иерархии, тем более благоустроено будет кладбище твое и могила твоя не просядет, залитая во-

дой, в первое же весеннее половодье, как то на небрежных общих городских усыпальницах, впрочем, городских лишь по названию, поскольку брезгливо отодвинуты они от города подальше, в район свалок и овощных складов.

В замкнутом мире тайной эксплуатации и нечистых экономических махинаций, в который каждый из нас впаен вне зависимости от личной воли и желаний, партийная бюрократия занимает положение королей черного рынка, его «паханов». Сама партийная должность становится чернорыночной ценностью, и за столом у любого Петра Ивановича, где сидят уже не люди, но пилорама, машина, лошадь, — если и не парторг, мельчайшая сошка, то уж секретарь райкома сядет во главе стола.

Одно только подробное перечисление привилегий и льгот партийной бюрократии составило бы отдельную книгу. Книгу о социальной и экономической системе, где заработанные деньги перестают быть показателем общественного признания, но становятся лишь маскировкой, под прикрытием которой правящая структура отнимает блага без какого бы то ни было эквивалента.

Написать такую работу весьма интересно, но непросто, поскольку экономические границы правящей структуры сильно размыты. Разные ее слои по-разному участвуют и в присвоении, и в распределении прибавочного продукта.

Часть прибавочного продукта идет на научно-технические разработки и исследования, которые, видимо, сами должны бы результатом своим иметь создание стоимостей, создание благ для общества. Но в социалистическом государстве правящая структура, естественно, руководит и общетехнической политикой, а значит, финансирует именно и прежде всего те научные и технологические идеи, которые обеспечивают его стабильное положение: исследования и разработки, связанные с военной промышленностью, — в области точных наук и техники; исследования, помогающие обработке и оглуплению масс, — в области общественных наук.

С партийной бюрократией тесно срослись и технократы, те, кто непосредственно руководит производством, и научная интеллигенция, и интеллигенция художественная. Все они получают свою долю прибавочного продукта — тем большую, чем лучше работают на стабильность системы, чем выше их деятельность оценивается партийной бюрократией, которая является единственным заказчиком и покупателем работ.

Очень интересны льготы, которыми пользуются люди, занимающие низшие ступени партийно-государственной лестницы, там, где бюрократия почти смыкается с крестьянством (или крестьянство тянется к бюрократии). Эти льготы и привилегии касаются... ведения приусадебного хозяйства.

«Председатель Лауцесского сельсовета (Латвийская ССР. — Л. Т.) имел в колхозе приусадебный участок в размере 0,97 гектара и, кроме того, использовал 1 гектар колхозного клевера под пастбище для личного скота, у председателя Продского сельсовета в личном пользовании находилось 2,11 гектара колхозной пашни». Эти двое перебрали и были поставлены на место. Но в принципе использование специалистами и административными работниками колхозов, совхозов, сельсоветов производственных фондов тех хозяйств, где они работают, для нужд собственного приусадебного хозяйства — норма.

Если не брать полкусы — скажем, крупнейших работников партаппарата, с одной стороны, и Аксинью Егорьевну с семьей Тюкиных — с другой, то можно говорить о большей или меньшей привилегированности различных слоев общества, даже различных географических районов. Причем объем привилегий зависит от политических задач партийной бюрократии.

Москва, несомненно, самый привилегированный город страны. Московский рабочий трудится столько же, сколько, скажем, одесит или свердловчанин, но живет в условиях во всех отношениях более выгодных, чем остальное население. И не только из соображений престижа перед Западом, но как надежный оплот власти: недовольства и волнения в столице могли бы возбуждающе подействовать на всю страну.

Именно поэтому продовольствия в Москве продается на душу населения в два раза больше, чем в Одессе или в Ашхабаде (на 547 рублей в год против 286 — в Одессе и 270 — в Ашхабаде). И поскольку доподлинно известно, что у большинства одеситов нет приусадебных участков, можно смело утверждать, что питаются они хуже, чем москвичи, имея даже в виду, что Москва кормит сотни тысяч приезжих, которые стремятся сюда за продуктами, в том числе и одеситов, хотя от Москвы до Одессы 1323 километра по железной дороге.

Иными словами, если одесский рабочий (или херсонский, рязанский, архангельский и т. д.) производит то же количество продукта, что и его коллега в Москве, то потребляет он значительно меньше. Его политическая поддержка вызывает меньшую озабоченность у правящей структуры, и поэтому именно на его потребление, на потребление его семьи, его детей в первую очередь скажутся провалы хозяйственной стратегии партийной бюрократии. Именно он будет вынужден в первую очередь продавать на черном рынке свою рабочую силу; работать сверхурочно, вести подсобное хозяйство... или воровать.

Правящая структура по собственному произволу устанавливает цену на самый главный товар экономической системы — на рабочую силу. И дороже платит той части общества, у которой ищет полити-

ческой поддержки. Вот крайне важная для нас истина: чем более существенна роль той или иной общественной группы в поддержании государства партийной бюрократии, тем менее ее благосостояние зависит от провалов и успехов в экономике.

На наличие товаров в закрытом распределителе не влияет уровень их производства в целом по стране. А уж судьба самой правящей структуры и вовсе никак не зависит от экономических обстоятельств. Экономические неудачи в той или иной отрасли хозяйства редко и совсем не обязательно сказываются на карьере нескольких чиновников. Да и они-то, как правило, лишь чуть понижаются в должности или и вовсе переводятся на аналогичную должность, но по другому адресу. Их отстранение не что иное, как ритуал, видимость решительного действия в царстве полной хозяйственной безответственности.

Никто ни за что не отвечает всерьез. Никто ничего и не знает сверх цифр последнего отчета, отосланного в вышестоящую организацию. Социологи запросили у партийных и хозяйственных руководителей мнение о прошлых и будущих изменениях деревни и тут же увидели, что «из 545 высказываний только 15 содержат общую оценку происшедших и ожидаемых изменений... Малое число общих оценок изменений деревни позволяет сделать вывод, что руководители скорее склонны к анализу конкретных явлений сельской жизни, чем к обсуждению общих вопросов о масштабе социально-экономических изменений деревни, их глубине и значении».

Они даже сами не понимают, откуда берутся их привилегии, каким образом попадают продукты в партийный распределитель, кем оплачиваются их должностные льготы. Они не знают и не понимают общества, которым руководят: девять десятых из них считают, например, что через несколько лет приусадебное хозяйство колхозников уменьшится в объеме или вовсе отомрет.

Но что же они тогда есть-то будут? Они и над этим не задумываются. Знают, что, пока за ними власть, будут есть, и досыта...

Никто ни за что не отвечает. В тех рядах черного рынка, где как товар циркулирует личность партийного чиновника, наибольшим спросом пользуется не умение увидеть глубину хозяйственной и политической перспективы, не хозяйственный талант и инициатива, но дар раблепного исполнительства.

Тот, кто предлагает на продажу именно эти качества, может не опасаться банкротства и разорения, как бы ни обстояли дела на ином, главном рынке, где широко циркулируют хлеб, машины, жилище, рабочая сила. Даже бездарный хозяин, но преданный исполнитель обласкан будет начальством; ему при необходимости и место побогаче найдут. Талантливый хозяин, но нелояльный к си-

стеме и дня не продержится... Или нет, своим талантом он будет противопоставлен существующей хозяйственной системе. И смят будет, станет жить по законам бездарности, смирится.

Советская система — диктатура бездарности, диктатура страха, который бездарность испытывает перед талантом. Именно страх перед открытыми рыночными отношениями, страх проиграть на рынке, чувство хорошо знакомое, должно быть, каждому из нас, — именно этот страх питает во всем мире социалистические идеи. У нас же этот победоносный страх обрел черты государственности...

Конечно, талант с бездарностью легко не разведешь. Тут на первый-второй не считаешься. И того, и другого начала в каждом из нас предостаточно... Важно, какому из них легче выжить с каким из них легче выжить? Принадлежность к правящей структуре определяется чуть ли не с детства: по данным социологов народного образования, наиболее охотно исполняют поручения преподавателей и пионервожатых («занимаются общественной работой») как раз те школьники, которые не проявляют способностей к математике, филологии, биологии и другим специальным дисциплинам.

Но ведь из комсомольских активистов вербуются послушные комсомольские функционеры, а те — в свой срок — становятся партийными чиновниками и управляют судьбой своих бывших одноклассников, которые проявили способности к математике, биологии, хозяйствованию...

Талант вынужден служить бездарности и жить по ее законам. И если таланту, чтобы реализоваться, нужны экономический простор, свобода инициативы и демократия, то бездарности реализоваться нечего, ее устраивает черный рынок, система запретов на инициативу, диктатура партийных чиновников.

Как крестьянин, который кормится со своего приусадебного участка, может не заботиться — он и не заботится — об успехах колхозного производства, так и партийный чиновник, кормящийся на черном рынке должностей, может не заботиться об успехах всей экономики. У него есть свой «приусадебный участок» — должностные привилегии и льготы. Ему не нужно думать, чем торговать и на что обменивать, его обязанность — отнять побольше в пользу государства, а уж государство о нем позаботится. Впрочем, он и сам себя не забудет.

Кажется, никакие экономические потрясения не могут поколебать стабильность системы, а значит, и неизбежность привилегий и льгот партийной бюрократии в целом. Ей не грозит разорением экономическая разруха. Ей ничем не грозит разорение крестьян и рабочих.

Замкнутость, ограниченность общественных интересов партийной бюрократии той сферой, где льготы, связанные с пар-

тийной должностью, выдаются лишь в обмен на послушание и безропотность (а в конечном счете в обмен на умение блюсти запреты и давить все живое и талантливое) и не зависят от хозяйственной деятельности, сила правящей структуры, но серьезная слабость всей системы в целом.

Феодалные замашки правящей структуры, ее экономическая развращенность и бездарность постоянно гасят те возможности, которыми уже сегодня обладает в стране крупное машинное производство и которые в условиях хотя бы относительной свободы рыночных отношений дали бы колоссальный толчок развитию производительных сил общества, значительно увеличили бы его благосостояние.

8

Просто удивительно, насколько легко разрешимы любые хозяйственные проблемы у нас в стране. Многим кажется — и это мнение поддерживается официально, — что нужны годы и годы, чтобы «поднять» сельское хозяйство, нужны крупные капиталовложения, техника, кадры. Днепрогэз нужно было возвести, теперь КамАЗ нужно построить. БАМ проложить...

Да ничуть не похуже! Все эти сложности накручены лишь для того, чтобы скрыть правду: достаточно освободиться от жестоких административных ограничений и запретов, стесняющих хозяйственный маневр, и тогда крестьянин сам «поднимет» и сельское хозяйство страны, и свою собственную жизнь, да и все днепрогэсы, камазы и бамы и построятся скорее, и с большей отдачей заработают...

Несколько лет назад в стране исчез репчатый лук. Совхозы и колхозы не могли покрыть дефицит. И тогда в некоторых южных областях колхозам разрешили сдавать поля в сезонную аренду приезжим из Казахстана корейцам, мастерам возделывать лук. И что же? Урожая и сборы лука возросли в несколько раз в первый же сезон. Как просто!

Испытывая нехватку рабочих рук, руководители наших среднерусских хозяйств стали приглашать, с согласия начальства, конечно, сезонных рабочих из города, гарантируя им твердый и достаточно высокий процент от собранного количества картофеля, овощей или фруктов. Полученные таким образом продукты сезонники продают в городе по базарной цене. Дело настолько выгодное, что привлекает даже хорошо оплачиваемые категории горожан.

И что же? Там, где такая система прижилась, картофель больше не уходит под снег, помидоры не гниют в поле, не пропадают богатейшие урожаи яблок. Чего же проще?..

Но почему только приезжих нанимают для такой работы? Почему лишь приезжим сдают в аренду землю? Неужели корейцы настолько лучше лук возделывают,

чем русские крестьяне? Неужели какой-нибудь кандидат наук копает картошку тщательнее, чем сельский житель? Я спросил об этом одного мудрого председателя колхоза в Тульской области.

— А если мы своим колхозникам землю в аренду сдавать станем или четверть собранного картофеля отдадим за уборку, кто же из них по наградам работать пойдет? Для кого тогда нормы и расценки существуют? Нам что же, распускать колхозы? Нет, воспитательная атмосфера в хозяйстве будет невыгодная...

Да, мы же совсем забыли! Нас воспитывают.

Социализм воспитывает нового человека — так говорилось и говорится. По-прежнему, когда воспитает. Но кто же из наших знакомых к идеалу нового человека ближе? Гавря Тюкин и его жена, которые, отработав день в колхозе, последние силы оставляют на приусадебном огороде? Или Афонька-ветеринар и его товарищи, которые верой и правдой готовы служить каждому новому секретарю райкома, пусть бы он заставлял их делать совершенно противоположное тому, что вчера ими делалось? Может, идеал — Аксинья Егорьевна, всю свою жизнь безропотно кормившая чиновников, которые продуманно мешали ей нормально жить и работать? Или сам Леонид Ильич Брежнев — идеал исполнительного чиновника, чье житие подается нам в сусальной обложке?

Уж мы-то точно дальше от социалистического идеала, чем партийные функционеры. В нашей преданности социалистическим идеям начальство не уверено: нам на каждом столбе, на каждой стене висит напоминание: работай лучше... выполни план в четыре года... нынешний год работай за двоих... В цехе, в автобусе, в доме отдыха — всюду. Даже в доме призрения одиноких стариков, где каждое утро двоих-троих в морг несут, и тут прочтем при входе: «Поможем Родине ударным трудом...» Даже в психиатрической больнице.

Но нету лозунгов ни в строгих коридорах обкомов партии, ни в зданиях ЦК, ни в санаториях, где отрешаются от повседневности высшие партийные чиновники. К воротам их загородных дач не прибьют табличку «Дом образцового быта», какие лепят к стенам нищих деревенских изб. Друг другу они никакими глупостями досаждать не будут. Тут новые люди не воспитываются; кто сюда назначается, того и считают новым.

Но не надо думать, что они спокойно почивают за высокими заборами своих загородных дач, что размеренно гуляют, обстоятельно питаются удивительной едой из распределителя и в ус себе не дуют, — НЕТ!

Как они вертятся! Как они работают! Сколько совещаний, предложений, постановлений! А ради чего? Да чтобы

с земли, впрямую им подвластной, с этих девяноста восьми сотых пахотного клена, получить хотя бы две трети произведенного сельскохозяйственного продукта. Уж хоть бы не меньше!

Они крутятся, не спят ночей, ездят по плохим дорогам, стучат кулаками и ногами, кричат, приходят в отчаяние, заставляя людей трудиться сознательно (то есть бесплатно) на этих девяноста восьми сотых земли. И пока они развивают бешеную деятельность, подкрепляя ее лозунгами, знаменами и газетными статьями, прославляющими социалистический труд, на остальных двух сотых земли, на крошечных участках люди тихо и спокойно работают и кормят половину всего населения страны...

Но почему же так? Разве трудно представить себе, какого богатства достигнет страна, если снять сдавливающие запреты на хозяйственную инициативу?

Да нет, конечно же, не духовный облик народа тревожит распорядителей хозяйственной политики, когда речь заходит об экономической самостоятельности крестьянина. Тут интерес более близкий: быть или не быть государству партийной бюрократии? Самостоятельность хозяйственная грозит стать самостоятельностью политической.

В конце шестидесятых годов, в либеральные времена разговоров об экономической реформе один хозяйственный безумец, чье имя стоит запомнить, Иван Никифорович Худенко, уговорил какие-то советские инстанции пойти на «эксперимент»: вместо многочисленных банковских счетов, по которым не только финансируется, но и до каждого чиха контролируется и регламентируется деятельность совхоза, открыли ему единственный счет и предоставили самому решать, сколько на что потратить следует.

И что же? Себестоимость зерна в этом совхозе оказалась в четыре раза ниже, чем всюду, прибыль на одного работника — в семь раз, а заработки — в четыре раза выше, чем в других совхозах. Производительность сельскохозяйственного труда выросла в три раза...

Казалось бы, при наших постоянных хозяйственных трудностях Худенко должен бы стать национальным героем. Но нет. «Нам нужна не всякая производительность народного труда». Худенко вскоре умер, присужденный к трем годам заключения в лагере.

Убили...

И с точки зрения защитников системы было за что убивать: Худенко взорвал черный рынок, он пустил в него свет и воздух открытых рыночных отношений.

Смета, норма, расценки — весь этот финансовый механизм, без которого преступно обошелся Худенко, так устроен, что позволяет бесплатно отнять у работника значительную часть произ-

веденного им продукта, выталкивая его самого на черный рынок. При помощи этого механизма правящий класс отнимает у крестьянина необходимый продукт, заставляя добирать в приусадебном хозяйстве. Механизм этот строго охраняется системой запретов и ограничений, наложенных на хозяйственный маневр.

Худенко же, связав работника прямым материальным интересом с конечным результатом труда, не оставил в хозяйственной практике места для партийной бюрократии — запрещать стало нечего и отнимать стало негде.

Совхоз как бы заслонился от внешних административных властей. Хлеб — пожалуйста. Травяная мука — пожалуйста. А с вашим фискальным досмотром, с вашей полицейской опекой — пойдите прочь! «Кушать — кушайте, а к хозяйке на кухню свой нос не суйте!» — говорил Худенко.

Административные власти могли только одним способом влиять на положение дел в таком хозяйстве, буде «эксперимент» доведен до конца: снижать или повышать цену на технику, материалы, удобрения... **ТОРГОВАТЬ.**

Худенко предлагал партийной бюрократии стать торговыми партнерами. А стать торговым партнером — значит, довольствоваться лишь частью прибавочного продукта, оставляя крестьянину тот необходимый продукт, который сейчас через завышение нормы и занижение расценки попадает в руки партийной бюрократии без всяких торговых церемоний.

Стать торговым партнером — значит, выпустить из рук абсолютную привилегию власти. Стать торговым партнером и таковым же сделать крестьянина — значит дать ему свободно дышать, дать ему почувствовать себя человеком, дать ему дорасти до гражданского самосознания — а вдруг и отличного от того образа мысли, который насаждается партийной бюрократией?

Стать торговым партнером — значит допустить риск возникновения конкурента, допустить риск проиграть в конкуренции; а учитывая многолетний отбор бездарности в правящую структуру, проигрыш почти неизбежен.

Да кто же согласится на такую судьбу? Худенко был наивным мечтателем, жертвенным героем, которому наши потомки, несомненно, воздадут должное.

Но разве нет у нас колхозов и совхозов, где все банковские счета на месте, а производительность труда лишь немногим меньше, чем у Худенко была? Разве нет у нас отлаженных, производительных хозяйств, добившихся экономического успеха в границах существующих административно-хозяйственных порядков? Есть. Но правильно ли мы понимаем, где эти границы проходят?

Приглядимся — и за гласной хозяйственной жизнью, за жизнью, подставленной нашему взгляду, с подъемом

флага в честь лучшего механизатора, с вручением отрезков дояркам на 8 Марта, с трехстворчатым шкафом знакомой нам семьи Александровых, не станет ли нам различима иная хозяйственная реальность — тайная, негласная чернорыночная?

Что поможет нам добыть строительные материалы сверх мизерного лимита? Все знают: подкуп и спекуляция... Что помогает приобрести запасные части, без которых машинный парк с места не сдвинется? Подкуп и спекуляция. Что поможет приобрести бензин и солярку? Сдать мясо на мясокомбинат? Найти железнодорожные вагоны, лес, соломку, нужные породы скота, подрядчика на строительство? Подкуп, спекуляция, коррупция.

О существовании этой сферы хозяйствования все хорошо знают, всех и каждого она хоть краем, но обязательно касается. Иной раз и пошире откроется в застольных откровениях пьяного председателя или его доверенных лиц. Но охватить ее общие границы кому сегодня удастся? Кому удастся различить, как сквозь сияющий образ передового колхоза, созданный фотоочерком в «Огоньке», проступает черный задник экономической нелегалщины, тайных хозяйственных махинаций, скрытого обмена?

Впрочем, от кого скрытого? Разве что от нас, читателей центральной и местной печати, которым эти колхозы подаются как высшие достижения социалистического хозяйствования. Но не от райкома партии — отсюда все границы видны.

Партийные органы хорошо осведомлены о чернорыночных операциях — если не по частностям, то в принципе. Где надо, они разрешат обойти запрет, где надо — отвернутся, но как только уровень хозяйственной самостоятельности минует «худенковскую черту» — так и лапу наложат.

Они не боятся черного рынка. Это не страшно, что кто-то с их ведома обходит запреты, лишь бы не стремился их вовсе отменить! Лишь бы не открытый рынок, лишь бы не административно-хозяйственная самостоятельность.

В условиях открытого рынка партийной бюрократии нечем будет оплачивать свою государственную политику, неоткуда будет изъять те огромные средства, которые практически в любых количествах можно получить через систему тарифов, норм, расценок, культивируя черный рынок как сферу подконтрольной инициативы.

Чем же черный рынок отличается от рынка открытого? В конечном счете тем, что через механизм черного рынка финансируется политика партийной бюрократии, тогда как механизм открытого рынка в первую очередь подталкивает развитие экономики.

Черный рынок — механизм поддержания стабильности политической си-

стемы, ее независимости от экономических законов.

Открытый рынок — механизм поддержания стабильности экономической системы, ее независимости от законов политической жизни.

Или рынок, или социализм. Или стабильность экономическая, или независимая от благосостояния общества стабильная политическая система. А поэтому все разговоры о рыночном социализме — праздное занятие. Наиболее умные представители государства понимают это. Вот почему партийная бюрократия никогда не разрешит широкую аренду земли, вроде той, что открыта корейцам. Вот почему обречен был «эксперимент» Худенко. Вот почему много разговоров, но мало дела вокруг безарядной оплаты труда в сельском хозяйстве и бригадного подряда в строительстве, которые имеют реальный смысл лишь в том случае, если достигнут уровня хозяйственной самостоятельности худенковского совхоза.

Наиболее умные представители государства прекрасно знают, что социалистическая система не тянет, проигрывает в мировом экономическом соревновании с открытым рынком. Это было ясно уже более пятидесяти лет назад — в расцвет нэпа.

Именно этот четко наметившийся проигрыш заставил Сталина понять и изречь то, что еще непонятно было Ленину: «Нам нужна не всякая производительность труда...»

Но нет, обыденное наше сознание никак не может взять в толк, почему всякую-то использовать нельзя? Почему же увеличение производства продукции в три, пять, десять раз не радует власть имущих? Нам кажется, все можно объяснить, все понять... Ну, хорошо, сидят они над нами — и пусть сидят. Никто на их власть не посягает. Пусть только дышать дадут, узду ослабят... Ведь сами же смогут от большого продукта большую часть иметь...

Ведь не все же там наверху афони, вроде абрамовского героя, есть же умные, знающие люди. Что же они-то не поймут никак?... Что же никак не найдут разумную грань между полным отрицанием открытого рынка, написанным на знамени социализма, и его использованием для социализма?

Наше обыденное сознание никак не хочет признать, что в тупик залетели, и все ищет, все ищет и, не желая принять истинную причину, ссылается на ложные: мол, во всем воровство виновато — воров бы к стенке... Да нет, во всем виновато засилье нацменов... Ищите причину в бюрократизации, в волоките... вредительстве... твердолобая старость...

В этих суждениях — надежда найти спасительную частность. Пусть, пусть остаются... наверху, пусть только узду ослабят... Думать о переменах страшно. Перемены — с кровью!

До каких же пор в условиях социали-

стического государства можно освободить рыночные отношения? А насколько можно, настолько они и освобождены — в рамках черного рынка. Здесь вполне можно положиться на инстинкт самосохранения партийной бюрократии, вполне можно доверять ее абсолютному нюху на крамолу — экономическую и политическую.

Случай с Худенко и показывает, до каких пор можно снять запреты, «худенковская черта» есть крайняя граница экономической свободы в нынешних условиях. Дальше вроде бы никто не заходил, да и на этой черте мало кто побывал. По крайней мере нам такое неизвестно.

«Эксперимент» Худенко, продолжавшийся всего только два года, принес государству более миллиона рублей прибыли, но сам организатор дела был осужден за то, что не сумел отчитаться документально за семь тысяч, потраченных на нужды управления хозяйством.

Смехотворные обвинения! И это несмотря на то, что «соотношение обслуживающего управленческого аппарата к рабочим в экспериментальном хозяйстве составляет 1 : 40, а в соседнем хозяйстве 1 : 3,6».

В десять раз экономнее! Да разве действительная экономия интересует нашу правящую структуру? Это была та наглядная экономия, которая грозила пошатнуть существующий государственный порядок. Обещая миллионы прибыли, Худенко ставил под сомнение систему власти.

Те, кто в порыве реформенного вдохновения разрешил «эксперимент», в последний момент предали его. Все эти «умные», «широкомыслящие», «знающие» партийные работники, которых мы в своем сознании должны противопоставлять пьяному Афоне, отвернулись от него. Мы хорошо знаем, что без санкции партийных органов ни один волос не упадет с головы крупного хозяйственника. Здесь — санкционировали.

Называют и фамилию человека, который вначале поддержал, а потом предал Худенко, — член Политбюро Кунаев... Нужен был юридический прецедент, чтобы другим неповадно было. И его создали!..

Слово «эксперимент» я всюду писал в кавычках, потому что какой же это эксперимент? Это как раз естественные хозяйственные отношения, проверенные веками. Все остальное и есть исторический эксперимент, продолжающийся уже более шестидесяти лет.

9

Думалось кому-то прежде: социализм — царство светлой справедливости. От каждого по способностям, каждому по труду. Вгляделись, а перед нами грандиозный черный рынок: ты — мне, я — тебе. И способности негде реализовать, и труд остается неоплаченным,

и жизнь уходит на суету: где бы чего достать съестного, хоть за тысячу верст, да нагогу не мешком прикрыть. Видим: социалистическую страну не накормить без сорока миллионов частных хозяйств. Знаем: заводы встанут без сырья и материалов, если не помогут ловкие толкачи-снабженцы, специалисты подкупа и спекуляции. Да что там толкачи — в партийный-то аппарат работать не заговещь, не подкупая доступом в партийный распределитель, внеочередной квартирой и другими привилегиями и льготами.

О таком ли социализме мечталось? Теперь и партийные теоретики проклинают того простодушного дурачка, который ляпнул, не подумав. «Уже нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме».

Ладно, коммунизм-то объявить можно. Но жрать-то что при коммунизме будем?..

Уже сегодня потребности населения в мясе удовлетворяются лишь наполовину и распределение мяса в крупных промышленных центрах (таких, например, как Ростов-на-Дону, Одесса и многих других) происходит строго лимитированно по месту работы главы семьи, то есть являет нам, по сути, замаскированную карточную систему.

Но если у крестьянина есть приусадебное хозяйство, где он может добрать необходимый продукт, то как быть промышленному рабочему? А все так же. Все с большей настойчивостью промышленный рабочий выталкивается на черный рынок, понуждается продавать свою рабочую силу, чтобы нормально жить, нормально питаться...

Здесь нужно пожалеть читателя. Это должно быть очень утомительно, когда разговор все о питании, все о пище земной, а не о духовной, все о жратве да о жратве, все взвешивать да сравнивать, кто сколько съедает, кто сколько потребляет, — кто больше, кто меньше. Не голод же, не катастрофа, не война. Сыты ведь, с голоду никто не пухнет, и детей рахитичных не так уж много. Сколько же можно на чужой кусок зариться, в чужой рот глядеть, чужое чревоутробе исследовать?

Тут всякий читатель скажет: да хватит уж об этом! — и тот, кто от пуза живет, и тот, кто в ниточку тянется. Оба и скажут: не хлебом единым жив человек... Один заявит, указывая барствено, другой, стесняясь, оберегая свое человеческое достоинство. Ни щета унизи т е л ь н а, собственную нищету лучше не замечать, очень уж горько. «Давайте о другом!» — скажут оба.

А это и есть — о другом. Это разговор об унижении, о развращении рабочего человека, который уже сегодня мог бы сделать свою страну изобильной. И не наша вина, что разговор об экономике страны все никак не минует тему элементарного потребления. Тем и живем сегодня, таковы и заботы наши:

о куске хлеба заботимся в суете и беспорядке.

Восемь часов в день должен трудиться рабочий в наше время, чтобы создать все необходимые обществу блага. Шесть или даже пять часов на особо трудных работах. Сорок часов в неделю. Но мы знаем: в стране нет предприятий, где бы рабочие не оставались сверхурочно после двадцатого числа каждого месяца и ежедневно в последние месяцы года. Мы знаем: огромное число рабочих вынуждено искать левого заработка, халтуры вне завода или стройки.

Во внеурочное время строительный рабочий предлагает населению услуги по ремонту квартир. Во внеурочное время шофер самосвала предлагает населению рейс с грузом песка или гравия. Во внеурочное время его товарищ по цеху разводит в квартире кроликов и выходит с ними на базар, занимая место рядом с крестьянином.

При этом сплошь да рядом продаются не только товар или услуги, но и ворованные по месту основной работы материалы, инструмент, на время украденные механизмы (грузовая машина, украденная на один-два рейса). Да и время-то не всегда внеурочное. Сплошь и рядом рабочий научился обманывать начальство и в цехе в официальное рабочее время исполняет левые заказы.

А как же иначе? Если реальный — на руки — заработок промышленного рабочего 150—180 рублей, а мясо на базаре стоит по 5 рублей за килограмм, картофель — по 40—50 копеек, соленая капуста и та подорожала со времени, когда к ней приценялась Аксинья Егорьевна, и теперь стоит рубль за килограмм и в будни, — как же иначе? Купить в магазине? Но там не дешевле, поскольку с прилавка в магазине нигде, кроме Москвы, мяса не купишь — дефицит. А если продавцу на лапу давать, обойдется как раз по-рыночному.

Нет, промышленный рабочий или строитель за восемь часов ежедневного труда, оплаченного по существующим нормам и расценкам, не может заработать достаточно, чтобы кормить семью и существовать самому.

Без деятельности вне «планового» рабочего времени, без этой торговли собственным трудом на негласной черной бирже ему не прожить. Да и профессиональным политикам не сохранить стабильность системы, не покупая труд рабочего вне «плановой» системы, то есть на черном рынке экономики. (Понятие «плановый» не надо бы вообще противопоставлять черному рынку. Все эти чернорыночные отношения тоже запланированы. Только, понятно, кто же предаст гласности такие планы?)

Сколько же надо платить рабочему, чтобы он мог заработать за восемь часов труда нормальное существование себе и своей семье? Увы, у нас в стране нет сколько-нибудь реального понятия

о стоимости рабочей силы. Экономисты, которые пытались ввести это понятие и проанализировать его, проанализировать движение рабочей силы как товара, неоднократно биты защитниками официальных научных канон и стали едва ли не самыми распространенными отрицательными персонажами производственных романов и повестей.

Рабочая сила — товар. И это хорошо знают те, кто стремится взять ее подешевле. Здесь мы можем привести пример, который косвенно покажет нам отношение советского руководства к стоимости рабочей силы.

Речь идет о послевоенном восстановлении завода «Запорожсталь», с которым связана биография Л. И. Брежнева: «Многим тогда казалось, что проще и дешевле было бы подорвать уцелевшие конструкции, разобрать их полностью, а затем уже строить завод заново. Так и рекомендовали поступить специалисты из ЮНРПА — международной организации, занимающейся помощью странам, которые пострадали от фашистского нашествия.

Побывав в Запорожье, они в один голос заявили, что восстановить разрушенное вообще невозможно, а если кто и решится на подобный эксперимент, то потратит на это больше средств, чем на строительство нового завода. Однако страна остро нуждалась в гонимом холоднокатаном листе, производство которого должна была обеспечить первая очередь «Запорожстали», и советские люди опрокинули все прогнозы и предсказания иностранных специалистов».

Позвольте, да какие же прогнозы опрокинулись?! Попросту вопрос дороже или дешевле снимается. Нужно! Потратили больше средств, чем на строительство нового завода? Да каких средств-то? Рабочая сила почти бесплатная ведь.

Иностранные специалисты вообще очень часто попадали впросак, оценивая экономические возможности нашей страны. Они исходили из факта определенной стоимости рабочей силы.

Между тем стоимость рабочей силы в стране на практике оценивается весьма приблизительно и субъективно в зависимости от того, как правящий класс понимает общественную необходимость. Общественно-необходимая норма удовлетворения индивидуальных потребностей порой может понижаться до бесконечности, до лагерной пайки.

Оставим при этом в стороне тот аргумент, что, мол, «страна остро нуждалась». После войны все страны остро нуждались и восстановление хозяйства, скажем, в Западной Германии шло не менее высокими темпами, хотя там рабочая сила — товар отнюдь не самый дешевый. А может быть, как раз поэтому?

Не только в годы послевоенной разрухи, но и до сих пор, будучи полновластными распорядителями черного

рынка, хозяйственные руководители страны вынуждают рабочего продавать свой труд за бесценок, вынуждают его работать значительно больше восьми часов. Причем, приобретая сверхурочный труд рабочего, высокопоставленные покупатели так являют дело, что нам кажется, будто это сам рабочий плохо работал положенные восемь часов и теперь должен наверстывать упущенное, поскольку «страна нуждается».

Достигается это при помощи все тех же норм и расценок: за все труды ему платят столько, сколько должны бы заплатить за восьмичасовой рабочий день. Не останешься сверхурочно — не проживешь. А все попутные лозунги о нуждах страны — это чтобы суть прикрыть. Если бы действительно нужды страны в расчет брались, все хозяйство иначе организовано было бы.

Нет, производительность неоплаченного труда расти не хочет. Щедрость и многогерпение рабочего не бесконечны. И если рабочую силу регулярно использовать, не возмещая ее общественной стоимости, человек начинает работать значительно ниже своих возможностей... Эта обратная связь, пожалуй, самая важная черта сегодняшней экономической реальности.

Похоже, что рабочий и крестьянин живут сегодня почти одинаково. Но если жизнь крестьянина мы смогли хоть как-то проанализировать, используя данные и цифры открытой советской печати, то никакой серьезный анализ положения рабочих нам недоступен.

Один остроумный француз заметил: «Рабочий мир настолько утратил свою индивидуальность, что из всех слов советского населения о нем мы знаем меньше всего. Нам известны подробности жизни в лагерях, но жизнь на заводах остается почти полной тайной».

И это резон сказать не только французскому советологу, но и нам, жителям городских кварталов, вплотную примыкающих к заводским корпусам.

Нигде не найдете вы статистики сверхурочных работ в промышленности и строительстве. Сами эти сверхурочные работы тщательно скрываются. Еще бы! Ведь партийная бюрократия хоть как-то, хоть косвенно может признаться, что крестьянство принесено в жертву интересам пролетарского государства, но кому в жертву отдан сам рабочий, от имени которого правящая структура руководит страной?

Да нет, не в том беда, что социализм выглядит не так, как мечталось: может ли он вообще выглядеть иначе? Беда в том, что перед нами безрадостная хозяйственная перспектива.

Посвящая многочасовые говорения на пленумах ЦК партии тому в конечном счете, как повысить производительность плохо оплаченного труда, Брежнев никогда не забывает сказать о необходи-

мости для крестьян, а в последнее время и для рабочих вести приусадебное хозяйство. Но нет, личные хозяйства рабочих и колхозников с их техникой, переделанной из миксеров и пылесосов, с их ворованными строительными материалами не поднимут сельского хозяйства страны. Делая ставку на дальнейшую интенсификацию приусадебных хозяйств, правящая структура вновь устраняется от необходимости радикальных перемен в экономике. Страна нуждается не в «Товариществе огородников и садоводов», а в развитой аграрной индустрии, где сполна оплачивался бы весь общественно необходимый труд...

Впрочем, здесь разговор о нуждах страны заставит нас повторять то, что сказано выше.

Простимся с Аксиньей Егорьевной. Ее портрет сняли с Доски почета. Она свое отработала.

В апреле я сколько мог следил за ее домом, старался отвести весенние ручьи, чтобы не залило подвал, даже и сам в подвал слезил, посмотрел, не сочтется ли где, а как сошел снег и прошла большая вода, поставил рухнувший было плетень, ограждавший ее огород со стороны улицы. Думал все, что кто-то из ее дочерей приедет либо дом продавать, либо еще напоследок огород засадить.

Но не знаю, как это бывает, а без хозяйна дом и вправду сирота. То ли я плетень плохо поставил, то ли еще где были дыры, но на участке стали появляться чьи-то голодные овцы, бродячие свиньи и целый выводок шумливых гусей. Никто из родственников не ехал, и я уже с печалью предвидел, как на будущий год участок зарастет сорняками, амбар покосится и через огород мальчишки протопчут дорожки по всем направлениям...

Но все оказалось иначе.

В середине апреля ко мне пришел колхозный скотник. Он хоть и жил через улицу, но мы были мало знакомы. Я знал только, что у него восемь детей, и всех этих мальчиков и девочек я всегда отличал от других деревенских ребятишек, но не мог отличить друг от друга — такие они все были рыжие и веснушчатые, в отца.

— Вы на участок претендуете? — спросил он.

— На какой?

— На Оксин.

— Нет, не претендуем.

— Тогда я его займу, что ли, — как бы безразлично заметил он. Но, уходя, не выдержал безразличного тона: — Земля тут больно хороша. Раньше конный двор был — на два метра унавожена. Оксе повезло в жизни... Тут картошка пойдет. — И он вышел радостный, что ему досталась такая земля, что ему тоже повезло в жизни.

1978 г.

К а к о т о п и я

Произведения, о которых пойдет речь, требуют от критика особого жанра. Назову его условно литературно-политической критикой. Но сначала несколько отступлений.

Замечание первое. В пьесе Иосифа Бродского «Мрамор» (Анн Арбор: Ардис, 1984), спокойной и тягучей, написанной в условиях тихой американской жизни, действие происходит в утопической Империи во «втором веке после нашей эры»: два героя сидят в комфортабельной тюрьме, сидение приравнено к исполнению государственного долга, ибо необходимо для обеспечения всеобщей Гармонии. Заключение обязательно, оно результат какой-то высшей неизрестной Разрядки.

Риску разрушить тонкий философский узор пьесы И. Бродского, за двенадцать лет казалось бы, отошедшего от муторных советских реалий, но в качестве комментария к этой изысканной пьесе приведу цитату из документа, извлеченного... из планшета участкового милиционера Документ потерял на сгибах от долгого ношения и постоянного употребления:

«МИНИМУМ: 1. ЛТП — 8 чел. ...2. 202-1 — по 1 чел. в месяц, 6 — в первом полугодии, 6 — во втором полугодии... 5. 1 ружье в месяц, по 11 стволов в год... 16. Нарушение ПДД — 1 в квартал, 4 в год» (Известия, 1989, 31 марта).

Прочитанный неофициальный приказ регулирует число преступлений в будущем; «приказ» необходим для соблюдения административной гармонии. Вывод: в нашей Системе **любой**, сколь угодно абсурдный проект уже реализован, **любой** гипотетический сценарий вскоре будет подтвержден фактами. **Ничего невозможного нет!** Поэтому всякая экстраполяция на самом деле не но-

сит характера предсказания, так как сбывается все. Это совершенно своеобразные отношения между текстом и внетекстовой реальностью, и их надо иметь в виду, когда сталкиваешься с антиутопиями на темы советской жизни конца XX века: удивлению места быть не может даже в случае совпадений и точных предсказаний (например: «Сталкер» А. Тарковского — Чернобыль и зона вокруг него), ибо свойства реальности таковы, что **практически возможно все.**

Замечание второе (цитата). «Я предпочитаю называть общество, которое вообразил Оруэлл, какотопией — по аналогии с какофонией... Это звучит гораздо хуже, чем дистопия... Большая часть видений будущего какотопична» (Энтони Берджес «1985»).

Замечание третье. В «Философском энциклопедическом словаре» (М. 1989), даже его втором издании, в статье «Антиутопия» прослежена лишь «антиутопическая тенденция в общественном сознании на Западе». В статье (автор Э. Араб-Оглы) так и сказано: «АНТИ-УТОПИЯ, идейное течение совр. обществ. мысли на Западе, к-рое, в противоположность утопии, ставит под сомнение возможность достижения социальных идеалов и установления справедливого общества. строя, а также, как правило, исходит из убеждения, что произвольные попытки воплотить в жизнь справедливый обществен. строй сопровождаются катастроф. последствиями».

Философы еще не перестроились, да и литературу знают дурно: это идейное течение можно проследить и в **советской** литературе: не только «Мы» (1920) Е. Замятина, но и «Рассказ об Аке и человечестве» (1919) Е. Зозули, «Отрывок будущего романа: Написано по рецепту «Алой чумы» (1920) А. Аверченко, «Рокковые яйца» (1924) М. Булгакова, «Чевенгур» (1926—1929) А. Платонова, «Говорит Москва» (1961) Ю. Даниэля, «Остров Крым» (1979) В. Аксенова. Впрочем, В. Шестаков все-таки заметил недавно, что «русский утопический роман был на уровне мировой утопической литературы, а в жанре негативной утопии русские писатели оказывались и намного впереди» (50/50: Опыт словаря

По утверждению О. Хаксли, Н. Бердяеву принадлежит афоризм: «Утопии выглядят гораздо более осуществимыми, чем в это верили прежде. И ныне перед нами стоит вопрос терзающий нас совсем иначе: как избежать их окончательного осуществления?» Сопоставление утопических текстов и реальности убеждает, что положение отнюдь не улучшилось по сравнению с тридцатыми годами.

нового мышления. /Под ред. Ю. Афанасьева и М. Ферро. М., 1989).

После этих замечаний рассмотрим советские какотопии, появившиеся в 1989 году, когда стали заметны первые признаки кризиса перестройки и перестроечного сознания. Главные отличительные черты текстов — суровый реализм описаний катастрофы и Ното Iегус (человек дикий) в качестве персонажа — главного и второстепенных. Общих признаков: манера письма торопливая, с обилием «чужого» текста, разговорных и идеологических штампов. Сказанное не означает, что тексты совсем уж примитивны по своему литературному «устройству», но анализ их включенности в публицистический и идеологический контекст интереснее, внешние связи сложнее и богаче. С учетом реалистической установки вполне естественно, что тексты вмонтированы в нынешние междуусобицы — как реляции с места событий. Небольшая гиперболизация придает им недостающую в газетах дозу гибельной прелести... Но когда все закончится, какой-нибудь историк — завсегдатай спецхрана — по газетам и журналам нашего времени тайно попытается восстановить последовательность событий и текстов КОИЦА. Не все материалы ему уже будут доступны (на многие поставят три, а то и четыре звездочки!), а обязательная для изучения «История перестройки. Краткий курс» лишь в «предельно ясной и сжатой форме» осветит 1980-е годы. Поэтому у историка получится следующая, весьма неполная и довольно странная последовательность фактов, своего рода «дневник катастрофы», если воспользоваться названием романа неизменно остроумного А. Зиновьева.

1988, 28—29 февраля. Армянская резня в Сумгаите. Проблема Нагорного Карабаха.

1988, апрель — май. Журнал «Знамя» публикует антиутопию Е. Замятина «Мы» (1920), никогда в СССР не издававшуюся.

1988, май — август. Активизация деятельности антисемитского общества «Память» в Москве, Ленинграде... Явная поддержка «Памяти» партийными комитетами.

1988, май — июнь. Александр Кабаков создает в Москве сценарий «Невозвращенец».

1988, 28 июня — 1 июля. XIX Всесоюзная конференция КПСС.

1988, сентябрь. Журнал «Континент» (т. 57) публикует отрывок из романа эмигранта А. Зиновьева «Катастрофа».

1989, 9 апреля. Разгон митинга в Тбилиси. Человеческие жертвы. Участие армии (под командованием генерала Родионова), примененной саперные лопатки и боевые ОВ.

1989, 25 мая — 9 июня. Первый Съезд народных депутатов СССР.

1989, июнь. Сценарий А. Кабакова «Невозвращенец» опубликован в журнале «Искусство кино» («молодежный но-

мер», допускающий более смелые в эстетическом и политическом отношении материалы).

1989, июль. В сверхпопулярном еженедельнике «Аргументы и факты» (№ 29, 22—28 июля) ленинградский публицист С. Андреев помещает статью «Прогноз, который не должен сбыться», указывающую на возможность военной диктатуры и репрессий.

1989, 16 августа. «Литературная газета» дает неожиданную беседу с А. Миграняном и И. Клямкиным «Нужна «железная рука»?», в которой был дан утвердительный ответ на вопрос в заглавии.

1989, август. В «Новом мире» появляется антиутопия Л. Петрушевской «Новые Робинзоны».

1989, октябрь — ноябрь. Забастовка шахтеров Воркуты, впервые выставивших политические требования.

1989, ноябрь — декабрь. Кризис и падение режимов в странах Восточной Европы (бывшем «социалистическом лагере»). Экономическая блокада Армении Азербайджаном.

1989, 29 декабря. Президентом Чехословакии избран герой «пражской весны» 1968 года В. Гавел.

1989, декабрь. В «Неве» публикуется антиутопия Вячеслава Рыбакова «Не успеть»...

Мир, который нарисовал А. Кабаков в своей какотопии, вобрал в себя все тенденции, все зародыши политических движений и общественных настроений вчерашнего дня, которые в изображенном им мире развились до гипертрофированных, абсурдных размеров, не встретя на пути своего роста каких-либо сдерживающих ограничений, в результате чего в 1992 году произошел переворот, власть перешла к военной диктатуре, во главе которой встал секретарь-президент (т. е. Генеральный секретарь + Президент) генерал Панаев. Очевидно, Империя — единственная Империя, сохранявшаяся на планете до конца XX века, — рухнула, «Союз нерушимый» распался и образовались национальные государства: Россия, Закавказье, Туркестан, Объединенные Бухарские и Самаркандские Эмираты, Прибалтийская федерация, Сибирь, Крым¹. В России диктатура имеет националистический и воинственный характер: Революционная Российская Армия готовится к вторжению в Прибалтийскую федерацию и Трансильванию. Экономическая программа диктатуры неясна, очевидно, это равенство в нищете, «казарменный коммунизм», борьба с богатством, сопровождающаяся безудержным ростом цен, карточным распределением и переходом к натураль-

¹ Кстати, опубликована какотопия специально на национальную тему: Маргерс Заринш «Политически незрелый сон» (Родник /Рига/, 1989 № 8). Действие происходит в 2089 году, под девизом «Азия — наш общий дом» Россия была включена (в 2059 году) в Желтоговорящее Содружество Народов, в составе которого борется за права русскоговорящего меньшинства.

ному обмену «товар — товар». Диктатура то ли не препятствует, то ли не справляется со стихийными «народными» отрядами правого толка. Упоминаются: истребительный отряд угловцев, охотящийся за покупателями винных магазинов; «афганцы», в упор расстреливающие на улицах «торгашей» из пулемета; подмосковные анархисты — «люберы»; московские «металлисты» в узнаваемой униформе; «свита сатаны» в кошачьих масках, которая охраняет дом с «нехорошей квартирой», описанный М. Булгаковым; Революционный Комитет Северной Персии, захватывающий заложников из москвичей в ответ на арест своих товарищей «собаками из Святой Самообороны»; боевики из «Сталинского союза российской молодежи», которые взрывают памятник Пушкину на Страстной за то, что «над властью смеялся, аморалку развел, происхождение имел неславянское»; «витязи» в черных поддевках с аккуратно выструганными колами, устраивающие облаву на евреев около стендов с «Ведомостями» на той же Страстной; «отряды контроля» Партии Социального Распределения, отбирающие «все до рубашки»... Действуют, впрочем, и солдаты, подчиненные генералу Панаеву: они устраивают облаву на дом бывших партфункционеров, чтобы затем расстрелять их в здании МХАТа на Тверском. «По специальному поручению Московского отделения Российского Союза Демократических Партий я, начальник третьего отдела первого направления Комиссии Национальной Безопасности тайный советник Смирнов, объявляю вас, жильцов дома социальной несправедливости номер... восемьдесят три по общему плану радикального политического Выравнивания, врагами радикального Выравнивания и, в качестве таковых, несуществующими. Закон о вашем сокращении утверждён на собрании неформальных борцов за Выравнивание Пресненской части».

Клино заговорила о будущем, вооружившись кинжалом, как Мельпомена. Читатель получает порцию политологии, разбавленной до консистенции массовой культуры. Впрочем, за сценарием стоят и вещи серьезные.

Как писал Г. Федотов в статье «Россия и свобода» (1945)¹, «новый советский человек не столько вылеплен в марксистской школе, сколько вылез на свет Божий из московского царства, слегка приобретя марксистский лоск» (Знамя, 1989, № 12). Именно это и показал А. Кабаков: причудливую смесь остатков «социализма» с самовозродившейся антилиберальной реакцией Черной Сотни. Несоединимое соединяет общий всем временам миф о Справедливом Распределении, равенстве ума и имущества:

девяносто второй год еще памятен героям повести Великим Выравниванием, от которого остались танки и БМП на улицах, почерневшие развалины зданий, самопомощь граждан, оставленных государственной защитой, и таблички на домах: «Свободно от бюрократов. Заселение запрещено».

А. Кабаков собрал в своей киноповести если не все, то очень многое, что проявилось к июню 1988 года в нашей политической жизни, далекой от цивилизованных форм. Наверное, было бы интересно издание этого сценария, подготовленное по академическому типу, где «фантазмы» были бы снабжены реальным комментарием: отряд угловцев — и цитаты из выступлений профессора Ф. Углова, можно сказать, на глазах у всех идейно породнившегося с «Памятью» после декларации о вине сионизма за народный алкоголизм; Партия Социального Распределения — и программа «крестного отца» ОФТ и Российской компартии (учрежденной 21 апреля 1990 г. в Ленинграде) М. Попова; «витязи» — черноподвочники — и описание «Памяти» и ее лидеров: И. Сычева, Д. Васильева, Н. Лысенко... Сценарий А. Кабакова выполняет роль аккумулятора, он идет не вглубь, авширь, и авторская логика линейна: видя эмбрионы, Кабаков вычисляет примерные размеры взрослых звероящеров, исходя из того, увы, правильного предположения, что сил, ограничивающих рост, нет, и каждый эмбрион полностью реализует заложенную внутри него генетическую программу. В этом, кстати, нетрудно увидеть проявление так называемой «русской воли» — возможности пожить, «не стесняясь никакими социальными узами» (Г. Федотов), не думая о чужом праве и чужой свободе.

«Невозвращенец» — это социальное предостережение, но, кроме того, литературная игра. Возможно, что в мае 1988 года все изображенное еще казалось смешным видом невозможности, планировалось как комический перевертыш, как цепь уморительных гэгов¹. Во всяком случае, игру автор задал особенным приемом, заключив сюжет путешествия своего героя по Тверской (вместе с готовой на все прекрасной хищницей-добытчицей из провинции) в причудливую метасюжетную рамку. Все описанное есть плод воображения «экстраполятора» Юрия Ильича, работающего там-то и там-то, но по заданию двух сотрудников из «органов» занимающегося визионерством — сверхъестественным узнаванием будущего по своим видениям. Кстати, и сотрудники «странные»: их

¹ Сходное явление на материале древнерусской литературы описал академик Д. Лихачев: смеховой «антимир стал слишком сильно походить на реальность и не мог восприниматься как антимир». Смеховая культура в результате уничтожается (см.: Лихачев Д. С., Панченко А. М., Поньрико Н. В. Смех в Древней Руси, Л., 1984, с. 52—53).

¹ Статья крупнейшего философа и публициста — готовая рецензия не только на киноповесть А. Кабакова, но и на всю нашу эпоху.

жизнь почему-то организована 25-летними циклами, в конце которых их переводят в стажеры и они начинают свою карьеру сначала. К тому же изъясняются они в стиле Коровьева и Бегемота, хотя и не обладают их способностями пророчить будущее, а используют для этой цели Юрия Ильича. Причем, как и следовало ожидать, в этом «будущем» Юрий Ильич встречается со своими знакомцами из «органов», и они хотят его убить — тоже вполне естественное желание...

Все эта рационально выстроенная «мистика» (точнее, знак мистики) — далеко не самое лучшее обрамление апокалиптической футурологии, однако чувствуется, что автор думал не столько о вкусе, сколько о необходимости равномерно разместить по тексту киноповести (соответственно — по пространству путешествия своего героя) не только знаки политических реалий, но и знаки сопряжения с литературными первоисточниками: М. Булгаковым («Роковые яйца», «Иван Васильевич», «Мастер и Маргарита»), Е. Зозулей («Рассказ об Ане и человечестве»), Ю. Даниэлем («Говорит Москва»), В. Аксеновым («Остров Крым»; кстати, Крым упомянут именно как остров, Аксенов же назван автором бездарной книжки «Материк Сибирь», которая благословила кровавый мятеж азиатских повстанцев в Оренбурге, Алма-Ате и Владикавказе). Да и засадить своего «экстраполатора» за литературные записки А. Кабакова явно заставил Е. Замятин, герой которого («Мы») буквально не вылезал из-за письменного стола. Во внешности же «сочинителя, песни которого пела вся страна», пронесшегося в вагоне метро (куда его сунули анархисты, чтобы, «остановившись где-нибудь в Дачном под утро, вытащить на перрон и заставить петь»), нетрудно узнать Б. Окуджаву: возможно, был задуман резкий контраст Москвы, по которой «Александр Сергеевич прогуливается» и в которой «ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет», и Москвы, где танк привычен, как такси, без «калашника» по Тверской никто не ходит, а памятник Пушкину сбрасывает озверевшая молодежь постсоциализма. Аккумуляция литературных реалий — еще одно свойство киноповести.

«Воины гордо и весело расположились в здании и вокруг него, посмеиваясь, поигрывали дубинками и автоматами... Увозя пострадавших, отъезжали машины «скорой помощи». На носилках уносили журналиста Антанаса Алишкускаса, которого солдаты пинали ногами на глазах у всех, пытаясь отнять у него фотоаппарат, — им он посмел зафиксировать поведение советских войск».

Это не еще одна цитата из сценария А. Кабакова или другой какотопии. Это репортаж из Литвы, подготовленный в апреле 1989 года корреспондентами ленинградской газеты (Высочанский В.,

Урушадзе Г. Противостояние — «Смена». Ленинград, 1990, 27 апреля). Но в репортаже — то же самое какотопическое пространство, в котором «время от времени нарастал шум и проносился по самой середине мостовой легкий танк...» («Невозвращенец»).

А. Кабаков уловил «какотопичную» ментальность перестройки одним из первых, но, явись «Невозвращенец» в 1988 году, он оказался бы преждевременным: общество еще не исчерпало запаса иллюзий, еще не накопило страха, полагая, что «мы выходим из кризиса» и что противники перестройки могут быть локализованы (весьма характерно доминанты общественных настроений этого периода проявились в беседе «Перестройка: кто против?». Взгляд с двух берегов океана (Огонек, 1988, № 50). Полагаю, что и для А. Кабакова, когда он писал сценарий, психологически и идеологически дело было совсем не в исчерпании иллюзий, а в ином — в том комплексе мыслей и чувств, который чрезвычайно усилился и распространился именно к лету 1989 года. Я имею в виду забавочный, «бунташный» опыт народа, с одной стороны, и генетический страх «книжных смутьянов» еще больше «раскачать» народ и от бунта погибнуть — с другой; страх был внушен мыслью о том, что русский бунт — всегда бессмысленный и беспощадный. Именно об этом и говорит Юрию Ильичу некий засланный «оттуда» эмигранец-дворянин, кстати, предлагающий воспользоваться ходом наружу — эмигрировать.

«Почему там бастуют веками, — рассуждает дворянин, — и ничего, а у нас день бастуют, на второй — друг другу головы отрывают? Почему там демонстрации, а у нас побоища? Почему там парламентская борьба, а у нас «воронки» по ночам ездят? А вам, смутьянам книжным, все мало, все мало! Подстрекате, подталкиваете... Дождались операции? Ну, теперь крови не удивляйтесь, особенно своей».

Не на что-нибудь иное, а именно на идею страха и срезонировала практически мгновенно московская либеральная интеллектуальная среда: беседа в «ЛГ» А. Миграняна и И. Клямкина о необходимости «железной руки»¹ в стране показала, что киноповестью было сказано вслух то, о чем думали и в кулуарах говорили многие, но открыто — или боялись, или не имели возможности (А. Мигранян, как помнится, еще весной 1988 года высказывал сходные идеи в своих лекциях, но к печатному станку его не

¹ А. Мигранян: «Массы врываются в политику со своими интересами, но нет, не существует необходимого механизма, способного все это переварить и гармонизировать. Конечно, возможен и иной путь, и сразу скажу, его я боюсь меньше: консервативные силы на время прерывают процесс перестройки и вводят все в русло стагнации. Плохо, безусловно, но лучше, чем неуправляемый разгул страстей».

допускали: рано). Не случайно **идея страха** тут же пошла вширь, и уже в октябре чуткий к общественному настрою «Век XX и мир» предоставил место «экономисту Икс», который также пугал вероятностью катастрофического сценария развития СССР и предлагал сильную в полицейском смысле власть и «режим военной диктатуры в производстве»... То, что «мистер Икс» развил в законченную теорию, А. Кабакову удалось сказать первому в виде киноповести. Именно от его сценария эволюция идей страха и обуздания бунта «сильной рукой» ведет в конечном счете к учреждению поста Президента и к либеральным оправданиям той быстроты, с какой Президент был избран. Объяснение такой реакции московской либеральной среды, как и положено для циклически замкнутых хронотопов, было дано давно, задолго до всего, после совсем другой трагедии и обмана: «Мы некогда испугались хаоса, и вдруг все сразу взмолились о сильной власти, о мощной руке, чтобы она загнала в русло все взбаламученные людские потоки. Этот страх — самое, пожалуй, стойкое из наших чувств, мы не оправились от него и поныне, и он передается по наследству. Каждому — и старым, видевшим революцию, и молодым, которые еще ничего не знают, кажется, что именно он станет первой жертвой разбушевавшейся толпы. Услыхав вечно повторяющееся: «Нас первых повесят на столбе», я вспомнила слова Герцена про интеллигенцию, которая так боится народа, что готова ходить связанной, лишь бы с него не сняли пут. <...> И мы сами помогали — молчанием или одобрением — сильной власти набирать силу и защищаться от хулителей...» (Мандельштам Н. Я. Воспоминания — Юность, 1988, № 8, — стоило бы ввести эту публикацию в «дневник катастрофы»).

Контекст, в котором «Невозвращенец» существует сегодня, сложен; смысл, авторские намерения и бессознательно или сознательно проявившиеся чувства неоднозначны, они находятся в сложном зацеплении с внетекстовой реальностью. Всего этого достаточно, чтобы сценарий не слишком высокого литературного качества стал **документом эпохи**, вобравшим ментальность пятого года от начала перестройки и все сложности взаимоотношений интеллигенции, народа и власти; либерализма и консерватизма; идеи бунта и идеи «железной руки». Можно сказать, А. Кабакову «повезло», что к «спокойному лету 1989 года» у него в запасе оказался готовый сценарий социальной катастрофы.

Вячеславу Рыбакову повезло меньше: на фоне декабрьских катаклизмов «Не успеть» прошла практически незамеченной. Что-либо «литературное» тогда вообще разглядеть было трудно, тем более повесть, вставшую в затылок за «Невозвращенцем» и «Новыми Робинсонами» Л. Петрушевской. Лишь снобы отметили про себя, как симметрично о-граничила

литературный год «Нева»: начав с «Птиц» Дафны Дюморье, журнал завершил его «черной» повестью, в которой крылья вырастают у людей.

Естественно, что символ, в иные времена означавший духовность, подъем настроения, возвышенное чувство или даже ощущение превосходства, в ситуации, когда **ВСЕ ОХВАТИЛА ПОРЧА**, ассоциирован с трагедией: Культура окончательно разлагается, превращаясь — по Шпенглеру — в антигуманную Цивилизацию, смысл всех культурных символов переворачивается, метафоры реализуются буквально, а человека поражают страх и болезнь. Правда, социальная катастрофа в изображении В. Рыбакова еще не столь кровава, как в «Невозвращенце», но «ребята» уже дежурят возле лаборатории, тестирующей СПИД, и душат тех, кто выходит в слезах («Спидноску придушили! — с кретинической радостью крикнул лохматый небритый паренек...»), а женщина добавила: «Блюдемся»), а рядом ругают масонов и инородцев, обвиняя Кремль в раболепствовании перед ними. Катастрофа носит экономический характер, военного переворота еще нет, но зато есть тотальная талонная система и бешеная инфляция (цены выросли раз в сто). Впрочем, купить все равно ничего нельзя; такси вызвать невозможно; билеты на пригородный поезд выдаются по талонам, а сами талоны — за три месяца: в очереди на детскую коляску стоят более шести лет; ребенку вместо коляски клеят коробки из листов старых рукописей (ибо картона тоже нет), а колесами служат бобины от магнитофона; руки исписаны номерами разных очередей от запястий до плеч, поэтому руки нельзя мыть (мыла, кстати, тоже нет); в Крым не добраться — «ни на поезд, ни на самолет билетов нет никогда...». Однако неумолимые советские люди, стоя в очереди в продмаг («во семьсот третий так и не пришел...»), еще слушают трансляцию очередного Съезда («Черниченко, ничуть не утративший пыла, бил наотмашь...»), готовясь к новым испытаниям.

В целом все это гораздо ближе к нашим нынешним условиям жизни, чем мир «Невозвращенца», однако «какотопичность» мира в повести В. Рыбакова заключена именно в его унылой неизменности, в том, что **социальная катастрофа** уже просто невозможна: человек унижен, подавлен и «разглажен» настолько, что как существо социальное ни на какой протест уже не способен. Стабильность приобрела необратимый характер и стала катастрофой. Характерна продукция неформального сознания — надписи в телефонной будке: «Если встретишь наркомана — раздави, как таракана!» «Люби свою Родину!», «Фашистов мы разгромили, но курумпированную (в такой орфографии!) часть аппарата еще нет»... Характерно, что на площади перед райкомом стоит толпа (ее кормят райкомовскими бутербродами с «дефицитом») и

поднимает лозунги исключительно конформистского содержания: «Перестройка — да! Анархия — нет!», «Не позволим вбить клин между народом и партией, героически взявшей на себя ответственность за результаты своих действий и возглавившей процессы обновлений!» (Ирония принадлежит автору повести, митингующие этой иронии наверняка не чувствуют.)

В этих-то условиях разложения Культуры, исчезновения связанной с ней формы человека и появления Ното *ferus* возникает **биологическая** природа человека: порча, не встретив сопротивления в слоях сознания, пораженного развалом жизнеустройства, дошла до некоего уровня в организме, неизвестного медицине, и там наконец вызвала протест: у человека появляются крылья, и он, подчиняясь неведомой силе, улетает в неизвестном направлении, где-то приземляется, после чего крылья мгновенно опадают.

Это не метафора смерти, не метафора эмиграции, это символ **биологического протеста** природы человека, несовместимой с какотопией, ставшей пространством обыденности. «Эскулапы наши считают, будто заболевают те, у кого оказались исчерпанными адаптационные возможности»¹.

Заболевает адаптационным синдромом и герой повести Глеб Пойманов, доктор наук, специалист по «социоструктурной этике». Когда-то этика определяла, что следует и чего не следует делать. Неуклонно дичая, Пойманов наблюдает, как в обыденной жизни человек лишается **выбора**, этика теперь больше не нужна, ибо поведение стало безальтернативным. В этих-то условиях Пойманов вдруг и ощущает, что у него растут крылья: предел достигнут, началась защитная реакция, с дикой болью формируется стяжка через позвоночник, связывающая винг-эмбрионы... Фантастическое сопрягается с бытовым, как этому научил Кафка. Пойманов пытается до отлета успеть отоварить все талоны, отметить во всех очередях, а главное — добраться до Рошино, где на даче живет жена с сыном: ей надо передать талоны, дающие право покупки в сентябре билетов в Ленинград на электричку, — без этих талонов вдова не сможет вернуться домой. Никогда... Но возможностей приехать в Рошино экспромтом нет (а когда-то — час езды на электричке с Финляндского вокзала), Пойманов ощущает себя в капкане. Неожиданное предложение приходит от КГБ (как и у А. Кабакова, без этой вездесущей организации дело не обходится). Некогда капитан Александр Евгра-

фович вел «дело» студента Пойманова, изъав у него при обыске Оруэлла, Гроссмана и Роя Медведева, а теперь предлагает Пойманову добровольно стать подопытным кроликом: проводятся эксперименты по консервации зародышей крыльев, есть возможность остаться, **не отлететь**.

Разговоры с Александром Евграфовичем не самое сильное место в повести, но автору, судя по всему, они нужны для социально-критических пассажей в адрес службы безопасности, а также для того, чтобы Пойманов мог проявить к финалу хоть какое-то подобие протеста: несмотря на всю безвыходность своего положения, он отказывается от предложения «органов», ибо неожиданно понимает, что речь идет о спасении его не как личности, но исключительно как утилитарно полезного для государства предмета. **Крылья**, биологический протест, оказываются в этой ситуации единственной доступной Пойманову формой протеста.

И «Невозвращенца», и «Не успеть» интересно читать, довольно любопытно анализировать как документы, характеризующие современную социально-политическую ситуацию и умонастроение. Но это, конечно, **не литература** в точном смысле, не словесное творчество, ибо, во-первых, художественная образность заменена политической, а во-вторых, оба автора скорее записывают свои фантазии, чем создают произведение в **момент письма**. Так или иначе литературная «ущербоность» объяснена, а герой «Невозвращенца» даже жалеет об отсутствии у него «больших литературных способностей», и это не унижение паче гордости, а объективная самооценка. Можно говорить и о сознательной установке обоих авторов на ценности массовой культуры: скажем, описанная А. Кабаковым танцующая девушка, на годице которой «был удивительно умело вытатуирован портрет генерала Панаева» (тамошнего диктатора), — неопровержимо об этом свидетельствует¹.

Политика доминирует не только в содержании, но и как формообразующий принцип: текст аккумулирует квазифантастические реалии, но авторы не вполне знают, как им построить тот сюжет, который эти реалии позволят интересно и связно описать. Отсюда выбор в обоих случаях одной и той же простейшей разновидности — путешествия, насыщенного трудностями, которые преодолевает герой. Это влечет за собой самодовлеющую описательность, слегка окрашенную рефлексией и довольно элементарными нравственными проблемами, а также бессознательное стремление

¹ Идея витает в воздухе. В повести Н. Горлановой (Пермь) кто-то об инопланетянах в Пермской области рассказывает так: «Когда существует социальное напряжение, любое природное явление может стать спусковым крючком. Какая-то природная аномалия есть в Пермской области сейчас, это точно, она и послужит спусковым крючком» (Горланова Н. Покаянные дни, или В ожидании конца света. Даугава, 1990. № 3 с. 82).

¹ Не исключена, впрочем, историко-культурная параллель эротического пассажа с наготой и театральностью юродивого протестанта и с кабаком как местом «обнажения» и освобождения от всех условностей (см.: Смех в Древней Руси, с. 54, 92). К сожалению, нет возможности подробно рассмотреть тему древнерусских ассоциаций в «Невозвращенце».

сделать главного героя еще и положительным (в надежде на последующую идентификацию с ним зрителей) и попытку оживить в финале некое подобие надежды — как раз на том месте, где в годы застоя располагались «радость созидания на благо народа своей страны» и «уверенность в правоте коммунистических идеалов». Теперь на этом месте совсем другая уверенность: «Я толкнул ее — и рухнул на землю, уже растегнув кобурку под курткой, уже готовый. Здесь я их совсем не боялся. Здесь я привык и в случае опасности успевал лечь и прижаться к земле». Уверенность дают споровка и надежный пистолет, купленный у какого-то провинциала за тридцать «талей» (талонів).

В итоге: внешняя по отношению к персонажу политическая ситуация первична, сам же персонаж оказывается вторичным средством, с помощью которого организуется познавательная экскурсия в какоптопию. Литературный же принцип предполагал бы первичность именно персонажа, цельность характера, которая обнаруживается в предлагаемых обстоятельствах, провоцирующих героя на самораскрытие. Хотя можно рассудить и так, что такого характера уже просто нет в природе, индивидуальность распалась под напором коллективизма и многопартийности, зовущей к обезличке не хуже, чем монопартийная система, и вследствие этого нет и литературы, и Культуры в целом. Остался человек-функция, человек, политизированный настолько, что годен лишь для физического перемещения, существования и использования, и уже лишен энергии, воли и психологических сложностей. У А. Кабакова его положительный герой решает только один вопрос: убить или не убивать женщину, идущую рядом с ним? Возникает идеальная ситуация: скромные возможности повествователей точно соответствуют «антилитературности» изображенного ими мира и человека.

В «Новых Робинзонах» такого соответствия нет, потому что это все же литература. «Жестокая бытописательница» и на сей раз не изменила себе ни в чем, сочинив монолог девочки, которая вместе с палой и мамой «в начале всех дел» бежит из города в глухую деревню.

«Мы жрали салат из одуванчиков, варили щи из крапивы, но в основном щипали траву и носили, носили, носили в рюкзаках и сумках. Косить мы не умели, да и трава еще не очень поднялась. Анисья в конце концов дала нам косу (за десять рюкзаков травы, а это немало), и мы с мамой по очереди косили. Повторяю, мы жили далеко от мира, я сильно тосковала по своим подругам и друзьям, но ничто уже не доносилось до нашего дома, отец, правда, слушал радио, но редко: берег батарейки. (Так же поступает и герой «Невозвращенца», но его интересуют не события, а время, ибо у всех в Москве отобраны часы.— М. З.) По радио передавалось все очень

лживое и невыносимое, но мы косили и косили, наша козочка Рая подрастала, надо было ей подыскивать козлика, и мы пошли опять...» Из всех какоптаний лишь это «стихотворение в прозе» растревляет воображение и душу, и это естественно: идентифицировать себя можно с человеком, но не с сюжетобразующей функцией.

Что происходит в мире, оставленном Робинзонами, можно догадаться по их второму побегу — из глухой деревни в лесную глушь. «Всем было ясно, что надо бросать дом, огород, налаженное хозяйство, иначе скоро нас накроют». Так и видишь, как по деревням ездят «продотряды», выдвинутые из города голодом: идет Великое Выравнивание, наверное, действуют и те самые «отряды контроля» Партии Социального Распределения, которые отбирали «все до рубашки»... Девочка опасается, что как пищу заберут и ее.

Како-топос един: в 1920 году А. Аверченко в «Отрывке будущего романа», написанном на «острове Крым», еще занят «белой гвардией», вообразил 1950-й год, опушку огромного леса где-то на территории бывшей России, костер, сморщенную старуху и ее внука. Они разговаривали:

— Когда я была молодая — за меня один инженер сватался.

— Чего-о?

— Ты этого слова не поймешь. Жениться хотел. Руку мне свою предлагал. Я отказалась.

— Вот дура-то старая. От руки отказалась! Взьяла бы и съела. Она нежная.

— Ох, как с вами трудно разговаривать!

И потом мечтательно улыбнулась:

— Он мне записки писал...

— Что это значит «писал»?

— Брала такую палочку с железной штучкой на конце, обмакивали в черную краску и делали на бумаге знаки...

— Какое смешное слово: бумага.

Как и у А. Кабакова, умер язык, исчезли метафоры. Как и у Л. Петрушевской — лесная глухомань. За семьдесят лет литература очертила **какоптический круг**.

«Невозвращенец» вышел в июне 1989 года, «Новые Робинзоны» — в августе. А 1 сентября 1989 года парижская «Русская мысль» на первой полосе поместила статью Александра Гинзбурга «Маменька, у меня к вам серьезный финансовый вопрос». В ней — комментарий к рассказу Л. Петрушевской и к «Отрывку» А. Аверченко: объявление, написанное детскѣй рукой и воспроизведенное факсимильно:

«Меняю книгу Булганова «Мастер и Маргарита» на 200 штук тетрадей по 18 листов, цена 3 коп., или банное мыло на 50 штук тетрадей, или другой товар меняю на тетради. За тетради отдам деньги».

Какое смешное слово: бумага...

Ленинград

Термин К.

Л. Гинзбург. Человек за письменным столом. Л. Советский писатель, 1989.
Д. Лихачев. Заметки и наблюдения. Л. Советский писатель, 1989.

Книги суть реки, наполющие Вселенную, — рекли в старину. Славные в нашей культуре имена Лидии Яковлевны Гинзбург, Дмитрия Сергеевича Лихачева — это имена «ослушников времени» (Л. Чуковская), а их книги — живые ручьи, берущие начало в чистых родниках прошлого. И говорят они нам все о том же разумном, добром, вечном — о разуме, о душе, о памяти. И я бы не решился назвать свои заметки об этих книгах рецензией и даже не ставил своей задачей размышлять о них в каком-либо критическом жанре — нет, это скорее желание размышлять над словами учителя, попытка у ч и т ь с я.

Мы очень неясно представляем сегодня, что значит для человека иметь Учителя. На нашей памяти учителя — это в большинстве своем те нервные, издерганные существа, которые терпели нас в классах средней общеобразовательной и учили держать строй. Счастье, кому достались другие, редкое счастье. А уж таких, чтоб ходили и за учениками, вникали в их мысли и чувства, дружили с ними, — таких мы и по телевизору не видели. Между тем как раз это и отличает в первую голову учителя от преподавателя. Еще В. В. Розанов заметил, что «не университеты вырастили настоящего (выделено В. В. Розановым. — Е. К.) русского человека, а добрые, безграмотные няни».

Уже, впрочем, сам же В. В. Розанов на своем веку успел разглядеть и то, что «...Самая бедная в Европе просвещением страна, Россия всего беднее обставила свое просвещение. <...> Возьмем ли мы книгу и стоящего за ней ученого; журнал и стоящего за ним писателя; но прежде всего, конечно, школу и стоящего за нею учителя — мы увидим все это как-то оборванным в своем существовании и достоинстве; все это жметя куда-то в угол в нашем широком и, казалось бы, для всего привольном отечестве; ежится и как будто чувствует нужду в оправдании самого бытия своего».

Этот разговор начался не вчера и прекратится, похоже, не сегодня. Каждое но-

вое поколение ужасается ему заново. Вот и Л. Я. Гинзбург в 20-х годах нашего столетия заметила с болью: «Мы жестокие ученики. У нас есть к учителям человеческая привязанность, есть благодарность и уважение... Но нет уже веры и нет специфического пафоса ученичества».

А в учителях у нее, заметим, были гениальные люди. Мало того — прекрасные люди! Б. М. Эйхенбаум, Ю. Н. Тынянов, В. Б. Шкловский. Всю жизнь она прожила с их именами. Их книги определили, думаю, очень многое в ее судьбе.

«...С самого начала узловой проблемой Толстого была для Эйхенбаума проблема исторического поведения писателя и человека», — отмечает она, размышляя над книгой Б. М. Эйхенбаума «Молодой Толстой», где, в частности, написано применительно к Л. Н. Толстому, что «...самое его философствование основано не на стремлении к выработке той или иной научной теории, а на интересе к самому процессу мысли, к самим движениям рассудка, идущего по логическим схемам, к самому теоретизированию, как методу воспитания рассудка».

Замечательно, когда учитель способен обратить внимание своего ученика на проблемы исторического поведения, вдвойне замечательно, когда это происходит в столь беспокойную эпоху, какими были 20-е годы, так сильно переключившиеся с нашим сегодня в своем фанатизме и одновременно смятении, утрате идеалов и целей.

«Человек, вероятно, может вынести все, кроме отсутствия целей», — запишет впоследствии Л. Я. Гинзбург, а еще спустя некоторое время добавит: «Чтобы жить, необходимо то, что дороже жизни».

Мысль как метод воспитания рассудка и выбирает в качестве своей основной жизненной цели Л. Я. Гинзбург, справедливо полагая, что все последствия, истекающие от овладения процессом мышления, все достижения, в числе которых и такие немаловажные, как слава и положение, суть производные только, то есть вторичны.

Говоря об Ахматовой, она замечает прежде всего, что «функции культуры менялись в поэзии Ахматовой, но ее погруженность в культуру оставалась неизменной».

Так просто сказать: «погружен», «погруженность», но что стоит за этим? Какое должно приложить для этого усилие?

«Душевная лень... — аккуратно заносит в свои записи Л. Я. Гинзбург. — Это бесознательное отвращение перед тем край-

ним напряжением сознания, которым человек достигает своего предела. Вдохновение, вероятно, акт преодоления лени и страха. Лень и равнодушие предохраняют от слишком разрушительных усилий».

Но как преодолеть, как избавиться от этой напасти, когда она — ведь сказано же — бессознательна? Ответено и на это: «Против бессознательности есть одно только средство — додумать до конца свои мысли». Судьба самой Лидии Яковлевны в этом смысле более чем показательна.

«Смерть окрашивает прожитую жизнь, — прочтем мы в ее записках. — Но и сама она определяется изнутри жизни. Иван Ильич умирает так ужасно, потому что ужасна своей бездумностью его жизнь. Чтобы не умирать так, надо жить иначе. И делать это безотлагательно. Понимание смерти возможно, когда жизнь осознается как факт истории и культуры. Как биография. <...> Тогда жизнь не набор разорванных мгновений, но судьба человека. И каждое мгновение несет в себе бремя всего предыдущего и зачаток всего последующего».

Так наша мысль, описав последний круг, вслед за мыслями Л. Гинзбург вернулась к своим истокам, к проблемам исторического поведения. Однако на своем пути — признаюсь — она, намеренно вильнув в одном месте, обошла незначительный штрих, вовсе не характерный для рассуждений Л. Гинзбург, но важный для нас.

Говоря об Ахматовой, Л. Гинзбург заметила как бы даже в некоторой задумчивости, что для нее была «...характерна интимность, домашность культурных ассоциаций». И словно теплом пахнуло от этого замечания, словно дверь распахнулась куда-то в незапамятные дали, в другой совсем мир.

Детство — особый и удивительный мир, начало начал. Все самое чистое и замечательное, что есть в нас, все самое настоящее — оттуда. И не случайно, конечно, именно с детства начинается свои «Заметки и наблюдения» Д. С. Лихачев. Неспешно и бережно перебирает он в памяти все самое первое, возводит фундамент воспоминаний о жизни, как будто заново строит самого себя: мать, отец, няня Катеринушка, Петербург, знаменитая гимназия Карла Мая и, наконец, наиболее светлое и яркое из воспоминаний — конечно, лето, конечно, дача, Куоккала!

Неповторимая и забываемая Куоккала с ее дешевыми дачами и оттого интеллигентной, в большинстве своем артистической публикой, художниками, поэтами, среди которых в России до странности мало всегда было людей зажиточных, состоятельных. Созвездие имен — Репин, Маяковский, Горький, Пуни, Анненков, Чуковский, Андреев, Ремизов...

Разглядывая картины чужой памяти, невольно задаешься вопросом: например,

смог бы Д. С. Лихачев стать тем, кем он стал, без Куоккалы?

Одно из самых сильных детских воспоминаний, оставшихся от Куоккалы у Д. С. Лихачева, — это сам Корней Иванович Чуковский, во многом с легкой руки которого «...в этой обстановке расцвела озорная живопись, озорное сочинительство (пес и стихов), по преимуществу для детей» и которому посвящено немало страниц в книге самого Д. С. Лихачева.

Его судьба воистину удивительна и вовсе не потому, что освещена многими славными именами людей легендарных, почитавших некогда честью и удовольствием общение с Корнеем Ивановичем. Эта судьба прежде всего удивительна тем, что смогла стать судьбой; скрученная жизнью сумела выпрямиться, обрести осмысленность, опираясь только на свои силы, ведомая лишь собственной волей.

«Он все, что знал, узнал из книг, — напишет о нем Лидия Чуковская в своей книге «Памяти детства», — и притом сам, без учителей и наставников, постоянным напряжением ума и воли; он сам переступил порог, быть может, один из труднейших на свете: шагнул из мещанства в интеллигенцию. Всю жизнь владело им смирение и гордость самоучки: преувеличенное смирение перед людьми более образованными, чем он, и смиренная гордость за собственные, добытые вопреки помехам познания».

Эта судьба — укор всем нам, сирым, страдающим от невостребованности общества, любящим свои и вправду же горючие слезы над тем, что сами выпустили из рук собственную судьбу. Культура действительно, оказывается, дело чрезвычайно интимное, и, значит, никто, кроме нас самих, нам помочь не сумеет. Хорошие учителя, конечно, большое счастье и удача, однако и они способны только скоординировать наше движение, идти же нужно самостоятельно. А для этого неплохо бы еще раз взглянуть на себя: какие мы?

Живем, рассуждая о высокой политике. Одни только фразы, моды, поветрия. Читать, как водится, недосуг — время быстрое, но спроси любого — сразу отрапортует про «Историю государства Российского»: дескать, разыгрывали, да не досталась. Между тем сам ее автор вздыхал в письме к А. Тургеневу, будто предвидя нашу сегодняшнюю культурную и нравственную ситуацию: «Жить есть не писать историю, не писать трагедии или комедии, а как можно лучше мыслить, чувствовать и действовать, любить добро, возвышаться душою к его источнику; все другое, любезный мой приятель, есть шелуха: не исключая и моих восьми или девяти томов. <...> Делайте что и как можете, только любите добро, а что есть добро — спрашивайте у совести».

Вопроса о совести для него, как видим, не возникало. Но теперь славно бы

спросить себя: где же она проживает сегодня, после всего совершенного нами в стране? И что она вообще есть такое на текущий момент?

Поразмыслив над этим, думаю, мы все-таки придем к выводу, что совесть — это прежде всего память. И, думаю, отнюдь не случайно именно к памяти сводится в конечном счете абсолютно все в «Заметках и наблюдениях...» Д. С. Лихачева.

Уже Пушкин вынужден был терять современников, записывая в «Наброске статьи о русской литературе»: «Уважение к минувшему — вот черта, отличающая образованность от дикости». И в другом месте — о том же: «Дикость, подлость и невежество не уважают прошедшего, пресмыкаясь перед одним настоящим». Но и ему, знавшему о нас почти все, не привиделось даже, как увлеченно благодарные потомки будут разделяться со своим прошлым, искренне полагая, что только таким образом и следует очищаться от заблуждений истории.

«Историческое знание врачует», — замечает Д. С. Лихачев. Оно же — вторым мы ему — оживляет в нас культуру, способствует нашему восхождению, возрождая в нас чувства, созидая наш разум и в этом смысле «...культура — это по преимуществу память (хотя и не только память)».

Здесь, наверное, стоит оговорить, что историческое знание предполагает прежде всего восприимчивость к духу прошедшего, понимание того, что ничто не умерло, пока не забыто, и память о том, что пустота бесплодна. Только способность к подобному восприятию прошлого дарит человека свободой воли, действительно устремляя его к будущему, создавая безбоязненное, творческое отношение к жизни. И в этом смысле память — это культура. Именно такая способность позволяет человеку, по определению Д. С. Лихачева, «парить над эпохой», не порывая с ней связей, увидеть ее такой, какая она есть.

Увы, болезненное состояние наше предрекалось еще в 1917 году, когда В. В. Розанов писал в «Апокалипсисе нашего времени»: «Нет сомнения, что глубокий фундамент всего теперь происходящего заключается в том, что в европейском (всем — и в том числе русском) человечестве образовались колоссальные пустоты от былого христианства; и в эти пустоты проваливаются все: троны, класы, сословия, труд, богатства. Все потрясены. Все гибнут, все гибнет. Но все это проваливается в пустоту души, которая лишилась древнего содержания» (разрядка моя. — Е. К.).

К этому стоит добавить разве еще то, что с годами пустота эта стала культивироваться нами как норма. Поэтому и созерцаем мы окружающее апатично: без мыслей высоких, без чувств, без памяти, — удивляясь (хотя удивляясь ли?)

только тому, что революции и реформы на русской земле почему-то не возвышают нас, а заставляют проваливаться все глубже и глубже.

— Нужно заметить, что это очень спорное утверждение, — боюсь, охладит мой пыл читатель, тот, что поискусеннее...

Тогда воспользуемся расхожим приемом. Возьмем два словаря. У Даля прочтем: «Культура — обработка и уход, возделывание, возделка; образование умственное и нравственное». В другом — современном «Словаре иностранных слов»: «Культура — совокупность материальных и духовных ценностей, созданных человеческим обществом и характеризующих определенный уровень развития общества...»

Стоит ли комментировать разницу между былым возделыванием и теперешней совокупностью? Единственное, что, пожалуй, следует сделать, — это закончить цитату-определение из «Словаря иностранных слов», чтоб не оставить иллюзии относительно случайности нашего теперешнего состояния: «...различают материальную и духовную культуру; в более узком смысле термин К. относят к сфере духовной жизни людей». Вот так, в более узком смысле...

Как видим, все в нашей жизни закономерно и заслуженно.

И, наконец, последнее.

«В культурной жизни нельзя уйти от памяти, — читаем мы в книге Д. С. Лихачева, — как нельзя уйти от самого себя». Нам это удалось, потому что мы долгое время упорно называли ту жизнь, которую вели, культурной. Сейчас мы, кажется, сообразили, что потеряли-таки на этом пути самих себя. Теперь наконец пора понять, что обрести утерянное невозможно, относиться к духовности «в более узком смысле», иначе культура так и останется для нас «термином К.».

Евг. КАНЧУКОВ

Не изменяя, изменяться

Николай Тряпкин. Стихотворения. М., Художественная литература, 1989. Разговор по душам. М., Современник, 1989.

Вышедшие в один и тот же год две книги Николая Тряпкина очень разные, несмотря на то, что в них совпадает целый ряд стихотворений. Издание «Художественной литературы» представляет собой тип избранного, в котором компо-

зияция определяется прежде всего хронологией. В «Разговор по душам» входит лирика разных лет — сборник в самом деле напоминает живой разговор поэта с читателем, поскольку в стихах доминирует интонация разговорной речи. Объединяет же обе книги значительный пласт стихотворений, созданных в последнее десятилетие. Именно в эти годы лирика Н. Тряпкина обретает новые качества, изменяется, не изменяя себе. Я бы назвала то новое, что стало ощутимо в его стихах, внутренней сосредоточенностью, небрежением к сюжете.

Очень важно с этой точки зрения предисловие к избранному, написанное самим автором, в котором поэт объясняет необходимость обновления своей поэтики: «В последние годы я почувствовал, что если работа моя будет оставаться при тех же интересах, вокруг которых она вращалась до сих пор, то я непременно буду повторяться. То есть писать совершенно ненужные, необязательные стихи. А этого мне очень не хотелось бы. <...> И вот я решил пока остановиться...» Книга остановлена стихами 1984 года. Остановимся здесь и мы и оглянемся вместе с автором на истоки его поэзии.

Ревел огонь из-под наката.
И все свивалось под огнем.
А ты пред смертью лишь — солдатом.
А перед жизнью — плугарем.

Ощущение себя (как, впрочем, и любого человека-созидателя) плугарем — очевидная характерность стихов Н. Тряпкина. В его поздних стихотворениях «плугарь» уже не приглашает к золотому караваю. Он живет — сеет и пашет — вопреки металлическому скрежету и лязгу, что ассоциируется то с ржавым металлом вчерашних орудий, то с «железным хаем» сегодняшнего дня, то с грохотом победных фанфар, не принесших счастья.

Впечатления детских лет нашли свое отражение в «Стихах о первом совхозе». В подмосковный совхоз героя-малолетка занесло вместе с отцом и матерью из тверской деревеньки, и здесь он увидел грохочущую Русь. В этом стихотворении 1982 года есть горькое знание современника о том неправедном, что совершалось в нашей стране в тридцатых, и есть чувство судьбы, связавшее героя навсегда с землей, пахнувшей солянойкой:

А над миром вставала громадина белого
храма.
И с такой колокольной, что выла, звеня,
высота.
И летела планета сквозь ключья
всего мира.
И кровавое солнце свисало с распятия
креста...

«Кровавое солнце» из этого стихотворения не случайный сюжетный мотив. Он отзывается в «Песне о российском храме», в «Стихах о печенеггах», в стихах о «хлопцах-косарях», «с таким усердием» размахнувшихся, что «все крова-

вые цари в своих гробах перевернулись»...

В отличие от «последнего поэта деревни» С. Есенина, которому посвящена не одна строка Н. Тряпкина, он скорбит не столько по уходящей Руси, сколько по разрушающейся земле и культуре, по исчезающей гармоничной жизни природы. Конечно, было бы ложью опровергать то, что поэт тоскует по ушедшей деревне. Возвращаясь мысленно в детство, юность, он стремится вписать воспоминание в деревенский пейзаж, но Тряпкин значительно острее, чем его предшественники, ощущает при этом, что все мы — земляне — одной деревни. Потому его «Стихи о Мюнхене» не менее остры, болезненны, чем строки о первом совхозе: «А через город везут ракету. И гудит, проползая, дизель, все кругом повергая в зуд. А в глазах прозяла Вечность, не подвластная мне, поэту, и не стало в городе снегу. И ступила нога в мазут».

«Прозиявшая Вечность» в лирике Тряпкина последнего десятилетия — одна из смысловых доминант. Безусловно, внутренняя сосредоточенность, обращение к вечности обусловлены и жизненным опытом. Поэт вошел в тот возраст, когда, как говорят в народе, пора и о душе подумать. Но что существенно: его радение о душе началось все-таки лет тридцать назад. Вот стихотворение «Рождение» (датировано 1958 годом), незамысловатое по форме, но в нем так ощутимы движение души, человеческая широта, всегда привлекательная, а здесь — вкупе с простодушием, открытостью — тем более:

Душа томилась много лет.
В глухих пластах дремали воды.
И вот сверкнул желанный свет.
И сердце вскрикнуло: свобода!
Друзья мои! Да что со мной?
Гремят моря, сверкают дымы.
Гуляет космос над избой...

Один из образов этого стихотворения, по-моему, определяет всю тональность лирики Тряпкина: это «...в красный угол севший Феб...», что «...уравнял небесный цвет с простым репьем на огороде». Безусловно, постижение высокого через будничные реалии, сниженные пласты лексики — отнюдь не изобретение Тряпкина. Постсимволистская поэзия (независимо от конкретных ее направлений) отталкивалась от живой детали, одушевленная и одухотворяя тот «сор», что считался раньше непригодным для поэтического высказывания.

Но ведь лирика Тряпкина иных корней. Некрасов, Никитин, Суриков, крестьянские поэты начала века — вот те предтечи, у которых учился поэт и которые близки ему, о чем неоднократно писали критики. Это была поэзия со своими традициями, со своими правилами, устойчивыми эпитетами, метафорами, олицетворениями. Примеров такого традиционного «народного» письма немало в ранних стихах Тряпкина.

Ориентация на «крестьянскую поэ-

зию», органичная для выходца из тверской деревеньки, проявлена и в стихах последующего времени. Но она не осталась единственной. Так, уже отмечался в нашей критике (М. Поздняев) факт влияния поэзии Фета на лирику Тряпкина. Культурные пласты образности в творчестве предшественников и современников оказали бесспорное воздействие на поэтику Н. Тряпкина. В его стихах свои и чужие образы удивительно «аукаются». Вот стихотворение «Русь» с эпиграфом из Блока, содержащее открытую реминисценцию: «Узнаю тебя, Русь. И не буду в обиде. / И свой подвиг свершу, как смогу». А вот веселые стихи «Посещаю все музеи...», в которых вспоминается Рогачевское шоссе вне связи с Блоком. Но, оказываясь «по соседству» со стихотворением «Русь», строки «Ах ты, мать моя Расея, Рогачевское шоссе» воспринимаются как невольное обращение все к той же блоковской России. Даже не знающего географии мест жизни Блока потянет к его имени при упоминании Рогачевского шоссе благодаря общезвестным ахматовским строкам: «И помнит Рогачевское шоссе разбойный посвист молодого Блока».

И постепенно поэтизмы, свойственные крестьянской поэзии, отходят на второй план. Появляется слово из сегодняшнего смыслового ряда. И наконец в более поздних стихах — в отдельных, относящихся к пятидесятым — шестидесятым годам, но в большей степени в семидесятые — восьмидесятые — мы становимся свидетелями активных «культурных волн» в поэзии Н. Тряпкина, слияния дорогой ему народной низовой поэтической культуры с образами, восходящими к древнегреческим и европейским памятникам, к библейским сюжетам.

Лирика восьмидесятых буквально пронизана ассоциациями, связанными с книгами Ветхого и Нового Заветов. Названия многих стихотворений напрямую связаны с библейскими реалиями — «Стенания у развалин Сиона», «Молчи, Иеремия!..», «Подражание Екклесиасту», «Гласом царя Давида...», «Обращение неопита к народу у дверей первого христианского храма». Гласом царя Давида герой вопрошает Всевышнего, Зодчего и Отца: «Что ж ты меня оставил в этой вселенской луже / и зашвырнул в пространства грифель свой и резец?»

Размышления о Вечном и преходящем в нашей человеческой жизни, о свете «прожившей Вечности», пожалуй, и невозможны без обращения к Библии. Но «библейские» стихи Н. Тряпкина заметно отличаются от стихов на ту же тему поэтов книжной традиции. Он соединяет линии проповеднической средневековой литературы и фольклорной обработки сюжетов Священного Писания, с тем чтобы через события, изображенные в Библии, раскрыть коллизии современного бытия. Эмоциональный отклик читателя для него в той же степени

важен, что и нравственная оценка, потому он всячески приближает события Священного Писания, перемещая их в настоящее время. При этом поэзию Н. Тряпкина нельзя назвать религиозной, в его стихах нет дистанции между лирическим героем и Богом: Бог столь же реален, сколь и пишущий о нем, взывающий к нему (это продолжение апокрифической традиции). Подобным «равноправием» объясняется, например, стихотворная версия явления поэта к Вечному пределу, где Бог, знатные мужики Бернс да Есенин собрались в одной, так сказать, компании. Человеку, глубоко верующему, такие стихи могли бы показаться даже кощунственными, богохульными, не будь в лирике Тряпкина глубокого пантеистического течения.

Среди лихой всемирной склоки,
Среди пожаров и смертей
Все реки наши и потоки
Для нас все ближе и святей...

В книгах Н. Тряпкина нет слова «апокалипсис». Однако чувство напряженной тревоги за судьбу земной цивилизации и своей «малой Родины» — России (заметьте: не «деревни», не «города») определяет пульс его лирики. «Девственная осока», «кипрей высокий», «волны ржей колхозных» в поэзии шестидесятых еще относительно «благополучны», хотя полны предчувствий перемен. В лирике же семидесятых и особенно восьмидесятых природа, как и сам человек, живет уже на грани катастрофы.

Лирический герой Тряпкина — от земли, от сохи, от крестьянского корня. Но, любя свое исконное, русское, он не прощает своим близким и неблизким сородичам тяжких грехов и заблуждений.

Сейчас, в пору особой остроты проблем национальных, Н. Тряпкин не побоится сказать о болячках нашего времени, о шовинизме русского происхождения. Ему, поэту, радеющему за русскую культуру, глубоко несимпатичен тип русофоба, спекулирующего на патриотических чувствах.

Ах ты, Кузя, мой Кузя,
Из московских злодеев.
Дорогой обличитель
Этих полных евреев!
Не люблю тебя, Кузя,
Да и всех гармонистов.
Что играют присядку
Для голодных артистов,—

пишет Н. Тряпкин в стихотворении «Снова про Кузю». Эти строчки сейчас не менее актуальны, чем «Стихи о разрушенном храме», потому что на наших глазах разрушается человек — рушатся, рвутся человеческие связи. Тряпкин, как может, стремится к тому, чтобы его связи с внешним миром и, главное, с людьми, населяющими этот мир в настоящем и прошлом, не утрачивались. Выразительно посвящения и эпиграфы к стихам, свидетельствующие о том, что автор хочет объединить своей приязненностью, дружественностью разные человеческие микромиры, творческие системы.

Отсутствие смирения, своеволие судьбы, присущие русским национальным характеристикам, интересуют Тряпкина в самых разных проявлениях, в разных измерениях хроноса — от Николая Клюева до Гришки Отрепьева. С последним он разговаривает и впрямь запросто по душам: «Мы с тобой — одна посконь-рубаха. / Расскажи вот так, без дураков: / Сколько весит шапка Мономаха. / И во сколько сечен ты кнутов?...» («Стихи о Гришке Отрепьеве»).

Хочу выделить главное: Н. Тряпкин не устает изменяться. И это удивительная черта его творческой личности. Характерно, что изменяется и жанр, в котором работает поэт. Он по-прежнему любит песенную интонацию (уж, конечно, не случайно, что многие его стихотворения называются «песнями»: «Песня всемирных кастаньет», «Песня белой тундры», «Песня сборщиков посуды» и т. д.). Но с той самой художественной сосредоточенностью, о которой уже говорилось, связано возникновение иной интонации и иного лирического жанра. Поэт, освоив лирическую медитацию, от песен, от прямых разговоров «по душам» переходит к неторопливому философскому размышлению. Читатель же, знакомый с его журнальными подборками последних лет (стихи эти теперь вошли в обе книги), хотя и успел им надивиться, тем не менее ощущает непредсказуемость поэта и готов к новым его метаморфозам, при всех изменениях узнавая его особый поэтический голос.

Ольга ПАНЧЕНКО

Воспитать себя свободным

Сергей Чупринин. Критика — это критики. Проблемы и портреты. М., Советский писатель, 1988.

Из смуты. Субъективные заметки о литературной критике 1988 года. «Литературное обозрение», 1989, № 3.

Ситуация. Борьба идей в современной литературе. «Знамя», 1990, № 1.

В книге «Критика — это критики» Сергей Чупринин упоминает о том, что она писалась в течение пяти лет. В самом деле, еще до выхода книги мы уже в общем и целом были с нею знакомы — литературные портреты наших ведущих критиков, составившие ее главы, регулярно появлялись в периодике. От себя добавим: она пишется и до сего дня. В самых свежих статьях С. Чупринина те-

ма самоосознания, самоопределения литератора, критика в меняющихся историко-социальных и культурных условиях приобретает новые обертонны.

Как будто полемизируя с самим собой — автором книги, Чупринин, автор статьи «Из смуты», говорит: «Литературные портреты», еще недавно почти безраздельно господствовавшие в нашей периодике... отступили в тень... «Спокойных анализаторов»... сегодня либо вышучивают, либо подозревают в чем-нибудь нехорошем».

Но кого же, как не самого Чупринина, и называть «спокойным анализатором» — причем иронические кавычки тут будут выглядеть совершенно неуместно! О его объективности, о свойстве панорамного видения современности, которым он наделен, приходилось уже писать и мне, и далеко не мне одной. И сам он вполне отдает себе отчет в этом присущем ему качестве. Так, вспоминая о семидесятых — начале восьмидесятых, когда интеллигенция свойственно было воодушевляться мыслью об «опозиционном единстве культуры... в противостоянии бюрократии», он замечает: «О себе самом — постоянным напоминанием о той поре, о моей тогдашней воле к объективности, то есть к толерантности и плюрализму, остается книга «Крупным планом» (1983), где собраны портреты поэтов, ни в чем не схожих между собой — кроме бесспорной (она и сейчас кажется мне бесспорной) одаренности и неконъюнктурности их стихов, взглядов, литературных поступков». Добавлю, что из этого же корня, из «воли к объективности» вырос и пиетет в отношении, скажем, Ал. Михайлова, Евг. Сидорова, А. Бочарова — фигур, которым такая воля тоже присуща. Именно им посвящены те разделы «Критики...», в самих названиях которых аккумулировалась идея внутренней широты каждого из героев, а также здравомыслия, уравновешенности, выверенности литературного и общественного поведения: «Здравое благородство: во» — это о Сидорове; о Михайлове — «Дар бескорыстия»; «С трех точек зрения» — о Бочарове. Чупринину дороги самообладание и справедливость в разрешении литературных споров одного; «конкретность», «неизменная обращенность к фактам» другого; приверженность третьего «тем произведениям, где истина вырастает из диалога и умножения самых разнородных, частных правд».

Да, в литературной ситуации 70-х годов истина, казалось, вырастает именно из диалога разнородных правд. Верилось, что достаточно быть личностью, обладающей убеждениями, — и ты уже противостояшь существующему порядку. Отсюда — актуальность жанра литературного портрета: портрет фиксировал личность, следовательно, фиксировал альтернативу господствующей аморфной безликости. «Опозиционное единство» личностей в противовес существующему порядку — эта идея присутствует не

только в «Крупным планом», ее отголоски мы встречаем и в «Критике...».

Однако же заметим, что, несмотря на всегда, казалось бы, сопутствовавшее Чупринину пристрастие как к «спокойному анализу», так и к «спокойным анализаторам», он не закрывал глаза на литературные и — шире — идеологические, и — еще шире — жизненные противоречия. В первую очередь ему, конечно, были дороги и важны «одаренность и неконъюнктурность... стихов, взглядов, литературных поступков», прежде всего он стремился обнаружить художественное качество зачастую в противоположно заряженных (идеологически) явлениях литературы. Но в разности этих зарядов он всегда отдавал себе отчет — его очерк о В. Кожинове «Парадоксы волевого воздействия» («Критика — это критика»), его полемика с Вл. Бондаренко и А. Казинцевым свидетельствуют об этом.

А раз так, то, может быть, не столь уж неожиданно, что в сегодняшних острых обстоятельствах слово Чупринина становится все напряженнее, обличительнее, резче — не теряя все-таки при этом ни интонационного спокойствия, ни логической последовательности. Статья «Ситуация», напечатанная в этом году в «Знамени», как раз и является примером такого сочетания логической выстроенности и насыщенности эмоциональной энергией. Но, помимо высоких качеств, индивидуально присущих этой статье, она имеет общественное значение — и литературно-критическое, и социальное. «Ситуация» в каком-то смысле подвела черту под «эпохой литературных портретов». В статье с резкой определенностью обозначен новый этап — противостояние правых и левых, размежевание писателей (и критиков прежде всего) и, если пользоваться названиями журналов как эмблемами противоборствующих направлений, борьба «Нашего современника» и «Огонька». Чупринин четко, жестко фиксирует в «Ситуации» и социально-политическую причину борьбы литературных направлений.

«Импульс к демократическому плюрализму, к развертыванию широкого спектра мнений действительно задан, и импульс мощный, но организационные формы (будь то легальная парламентская оппозиция, независимая от государства, и опять же легальная печать; альтернативные партии или открытое взаимодействие фракций внутри правящей партии), в которых этот импульс мог бы найти свое закрепление, пока еще только складываются, плюрализм по-прежнему остается на деле плюрализмом мнений, а не организацией, так что не только в литературной, но и в собственно политической жизни страны столкновение позиций все еще чаще проявляется как столкновение амбиций, а борьба идей предстает борьбой людей». (Здесь выделено С. Чуприниным. — Е. С.)

Повторю: в условиях именно этой недооформленной, недооволощенной, но тем более бурно бродящей политической жизни нашей страны возникает и длится то, что Чупринин метко назвал «гнионохирургическим периодом» развития отечественной литературы. Периодом, когда, скажем, проблемы стиля и формы как бы подергиваются туманом неактуальности, отступают, а борьба людей (резко политизированных литераторов) представляется по-настоящему актуальным содержанием текущего момента.

Чупринин, конечно, сохраняет спокойствие объективного исследователя, но и душевная горечь, и сердечный отклик современника событий окрашивают его спокойствие и логику. Ему вовсе не безразлично, например, что в нынешней социокультурной ситуации приумолкли «многие еще совсем недавно славные авторы» — Л. Аннинский, например. Да и всякий раз, когда критик воссоздает, так сказать, общую картину событий, сдержанности тона и широте взгляда неизменно сопутствуют острота характеристик и недвусмысленность оценок: «...пафос «огрызавшейся затравленности» и связанной с ним беззапретной агрессивности в особые, апокалипсически тревожные тона окрашивает литературно-критическую публицистику «Нашего современника», «Москвы», «Молодой гвардии»... критика и остальных наших «толстых» журналов — где в большей, где в меньшей мере — не устояла перед соблазном и «массовости», и агитационной агрессивности».

Прямо скажем, нужны твердость и смелость, чтобы обличать «агитационную агрессивность» не только правых (или «не наших», как называет неославянофильствующих литераторов Чупринин в статье «Ситуация»), но и левых, своих, «наших» (критик никогда не скрывал, да и в последних статьях подчеркивает, что ему душевно близки либерально-демократические идеалы, что либеральная интеллигенция для него — именно «свои»).

Ведь после всего, что уже за последнее время происходило на наших глазах — силовое воздействие на «Октябрь», погромные выходы в ЦДЛ, — многим и многим может показаться, что Чупринин именно и стремится к «надпартийности», к положению «спокойного анализатора»... Да и — если касаться профессиональных материй — многих и многих должен задеть, оскорбить термин «поп-критика», вводимый Чуприниным для обозначения литературных явлений, имеющих место в обоих лагерях, и характеризующий наступление этапа так называемой «массовой», общедоступной, политизированной и социологизированной литературы о литературе. Этим термином, как фигурными скобками, охвачены не только «правые» и «левые» критики-публицисты, но и критики «разных весовых категорий», принадлежащие к одному и тому же лагерю.

Тут очень кстати будет упомянуть проведённый «Литературным обозрением» (1990, № 1) опрос «героев» книги «Критика — это критики». Цель его — выяснить, узнают ли портретируемые себя и культурную ситуацию в целом в чупринской интерпретации. Характерна реакция В. Кожина: «Книгу С. Чупринина я не читал и едва ли соберусь прочитать». Характерен и пространный и, в общем, раздражительный ответ А. Мальгина (по ориентации достаточно близкого С. Чупринину): «Признаюсь: меня задело замечание о том, что я «не всегда берег честь смолоду». Во-первых, а кто берег?...» Что же удивляться, что и «герои», и «негерои» Чупринина зачастую не желают выслушать сказанное им, раздражаются именно его выдержанностью и стремлением к объективности?

Боюсь, что, обличая своих оппонентов, Чупринин потерял и симпатии некоторых своих единомышленников, чье мнение для него важно и при всех различиях во взглядах к сотрудничеству с которыми он всегда готов. «...Признай мы сотрудничество, единство в споре нормой, прислушайся мы друг к другу повнимательнее — и добрая половина наших разногласий покажется, если и не плодом недоразумения, то свидетельством возможности разных подходов, разных путей к близкой в общем-то оценке тех или иных явлений», — объясняет он свою исходную позицию, отвечая на возражения и упреки, посыпавшиеся на него («Литературная газета», 1990, 5 мая). Он сам прекрасно понимает, что его «Ситуация» — «своего рода очерк идейной, мировоззренческой борьбы в современной литературе и современной литературной печати», но при этом он один из немногих, кто видит ситуацию не то чтобы «надпартийно» или «надсхваточно», а объемно. Он сознает, что для него лично — как для человека, литератора, как для интеллигента-демократа — многое в этой ситуации неприемлемо. Но одновременно ему важно описать ее такой, какая она есть. Поиск, который ведет Чупринин, — это поиск спектра, того момента, когда локальные цвета приходят в соприкосновение, где соединяясь, а где споря друг с другом. Только так возникает целостная картина. Он признает: «Что делать, критика слишком все ж так тесно связана с личным вкусом и интуицией, которые могут давать сбои». И книга «Критика — это критики» показала, что, как ни близки автору «спокойные анализаторы», он не может не сочувствовать и тем исследователям (от В. Турбина до А. Мальгина), которые привлекательны именно открытыми проявлениями «вкуса и интуиции», более чем у него самого безоглядой эмоциональностью. Но Чупринин слишком издалека видит возможные тупики этого пути. Там, где литератор относится к картине действительности волонтаристски-предвзято (и примером такого волевого подхода для Чупринина является,

похоже, его многолетний оппонент, более того — его антипод В. Кожин), «возникает опасность незаметно для себя очутиться уже не в мире реальной литературы, а в мире отчасти даже иллюзорном, параллельном подлинному, — то есть в так называемом «творческом мире» критика».

Повторю: наивысшее право, которое, ищет (и сам себе добывает) С. Чупринин, — не переделывать действительность в соответствии со своими внутренними интенциями и эмоционально-творческими устремлениями, а видеть ее истинный облик. Ее можно судить, обличать, не соглашаться с нею, но ее картина должна оставаться правдивой и неискаженной.

Именно в этом и состоит свобода Чупринина. Именно поэтому наше политическое и литературное сегодня — при всей его неприглядности — не устрашает исследователя, не заставляет его, как это то и дело случается с нашими «мессиями гостиных», говорить на каждом шагу о своих эсхатологических чаяниях и о конце всего и вся. Больше того, он признает, что «гноийно-хирургический период» развития литературы и общественной мысли закономерен после десятилетий лжи, что мы должны его пережить, перетерпеть — и стать достойными свободы. «Если нынешние расхристанность, остервенение и даже грядущая вседозволенность, признаком которой нас пугают на каждом шагу, есть действительно неизбежная плата за «ослабления» и свободу (хотя бы даже относительную, как у нас сейчас), то я и тут скажу: пусть эта плата будет внесена на счет свободы. Пусть уж лучше насмерть бьются «Огонек» с «Нашим современником»... пусть критика, соблазненная возможностью срывать маски, уклоняется от выполнения своих непосредственных профессиональных обязанностей, все пусть — лишь бы только не вернулись на нашу землю, в нашу литературу прежний «порядок» и былая «дисциплина».

Но важно помнить, что все-таки в сердцевине литературного процесса продолжает оставаться фигура литератора, и чем определеннее эта личность, тем прямее и активнее ее формирующее (или, наоборот, разрушающее) влияние на культуру. С этой точки зрения книга «Критика — это критики» как реестр личностей ничуть не потускнела и не утратила своего значения. Да и сам автор книги является примером как личной литературной активности, так и осознанной ответственности литератора.

К голосу С. Чупринина обязательно надо прислушаться — этот человек приложил все усилия, чтобы воспитать себя свободным, — отсюда и его человеческая широта, и исследовательская объективность. Нам непривычно, когда к нам так обращаются — от лица свободы, во имя защиты ее интересов. Но ведь звучат же такие голоса — вот что важно.

Елена СТЕПАНЯН

КНИГА ЮРИЯ ГЕРТА «РАСКРЕПОЩЕНИЕ», вышедшая в Алма-Ате в этом году, — книга честная. Правдивость мемуариста подкреплена правдой сегодняшнего времени, когда о прошлом наконец-то позволено говорить без утайки и вынужденных «фигур умолчания». Автор сумел превратить книгу воспоминаний в своего рода живой репортаж с места событий, он не столько рассказывает, сколько переживает заново и «хрущевскую оттепель», и скорый конец ее, и долгий холод застойных лет, и первые ростки обновления. Цепкая журналистская память сохранила многочисленные подробности — как работали, что писали, что ели-пили, лица людей, разговоры. Реальные условия, в которых бедствовали и боролись герои книги. И какие герои! Юрий Домбровский, Аркадий Белинков, Наум Коржавин, Иван Шухов; знаменитый ученый А. Л. Чижевский, названный Нобелевским комитетом «Леонардо да Винчи двадцатого века»; И. Н. Худенко, самородок, истинный радатель о земле, мечтавший о том, чтобы «все были сыты», и умерший на тюремной койке, заплатив за свою мечту свободой и жизнью... Всех их объединяет одно — они сопротивлялись, а значит, ощущали в себе свободу! Эта мысль проходит через всю книгу Юрия Герта. Простая истина? Но целые поколения добывали ее дорогой ценой. Главное теперь — не забыть.

Т. ЮРЬЕВА

«ОТКЛИК» И. ЛУНАЧАРСКОЙ («Октябрь», 1990, № 2) НА ОЧЕРК В. А. ХОДАСЕВИЧА «ГОРЬКИЙ» («Октябрь», 1989, № 12) существен уже тем, что принадлежит перу близкой родственницы одного из героев очерка, которая смогла сразу обнаружить места, нуждающиеся в уточнениях, дополнениях и комментариях. Мне тоже хочется поделиться дополнительной информацией, которая на мой взгляд, снимает категоричность обвинений в адрес Ходасевича.

И. Луначарская доказывает невозможность рассказанного Ходасевичем эпизода из жизни Луначарского на Капри. По рассказу Ходасевича, когда у того умер ребенок, то «похоронить его по христианскому обычаю Луначарский, как атеист, не мог». И. Луначарская говорит о наличии документов, что ребенок был крещен. Мне представляется не случайным отсутствие документов, что ребенок был похоронен по христианскому обычаю. Очевидно, в отношении Луначарского к религии произошли изменения. Подтверждение этому есть в мемуарах члена ЦК партии кадетов В. А. Оболенского. Вспоминая о событиях в Петрограде после разгона большевистской демонстрации 3 июля 1917 года, он пишет: «Ленин скрылся, а некоторые из видных большевиков, в том числе — Троцкий и Луначарский, попали в тюрьму. О чем думал Троцкий, сидя в тюрьме, я не знаю. Но совершенно случайно узнал один мелкий, но характерный факт, на основании которого можно судить о тюремных мыслях и настроениях Луначарского. Факт этот я записал со слов жены моего приятеля В. А. Могилевского.

<...> Жена Луначарского с маленьким восьмилетним сыном продолжала жить в Лозанне, ожидая вызова от мужа. Своего сына Луначарские, конечно, воспитывали вне религии и не крестили его, когда он появился на свет. Вдруг в июле месяце от Луначарского приходит телеграмма, в которой он просит жену срочно окрестить сына. Жена его была поражена и смущена столь странным распоряжением мужа, но просьбу его исполнила. Е. А. Могилевская, бывшая крестной матерью мальчика, мне рассказывала, как трудно ей было убедить старорежимного русского священника совершить обряд крещения над сыном известного атеиста и большевика... О мотивах, побудивших Луначарского срочно окрестить своего сына после неудачного большевистского восстания, можно лишь догадываться». (В. А. Оболенский. «Моя жизнь. Мои современники». Париж, YMCA-PRESS, 1988, стр. 533—534.) В свете выше процитированного атеизм Луначарского следует назвать не «философским», или «мещански-бытовым» (термины И. Луначарской), а скорее прагматическим.

И. Луначарская утверждает, что письма Луначарского Горькому от 22 июня 1920 года, которое Горький сразу при встрече показал Ходасевичу и за которое Ходасевич назвал Луначарского «ослом», а Горький — «сукиным сыном», не существует. Дело в том, что в текст очерка Ходасевича вкралась досадная ошибка. Ключ к отгадке находится в самом тексте очерка. Чуть дальше Ходасевич пишет: «...описанный мой визит был прощальный: я собирался в деревню. Дней через пять, в самую ночь перед моим отъездом из Петербурга были произведены многочисленные аресты по знаменитому таганцевскому делу. Был схвачен целый ряд представителей интеллигенции, в том числе Гумилев...». Но ведь Гумилева арестовали в среду 3 августа 1921 года. Значит, Ходасевич беседовал с Горьким не в конце июня, а в конце июля 1921 года. Речь идет о письме Луначарского

в ЦК от 15 июля 1921 года. Копии письма были отправлены Ленину и Горькому. Ленин получил это письмо 18 июля. Возможно, что в Петроград к Горькому это письмо пришло позднее. То есть 22 июля. Именно этим я могу объяснить происхождение числа 22 в очерке Ходасевича. К сожалению, целиком это письмо не опубликовано, что странно. Но та небольшая часть, которая цитируется в 4-м томе материалов к творческой биографии Александра Блока («Наука», 1987, стр. 303), почти точно совпадает с текстом в очерке Ходасевича. Причину возникновения ошибки я могу объяснить годом написания очерка. Годом смерти Ходасевича. Может быть, тот, кто перепечатывал рукопись Ходасевича, принял Л за Н, и июль превратился в июнь. Можно только преклоняться перед мужеством человека, который далеко от родины накануне своей смерти пишет историю русской литературы.

Мне кажется, сама причина возникновения подобных «откликов» состоит в том, что сейчас, когда настает черед драгоценным винам (кто читал Цветаеву, поймет), мы пьем эти вина наспех и в подворотне. Спеша опередить друг друга, журналы публикуют тексты без комментариев, режут по своему усмотрению. «Наше наследие» (1988, № 3) опубликовало «Белый коридор» Ходасевича с купюрами. Если «Наше наследие» так относится к нашему наследию, то чего же ждать от других. От Киргизстана до Прибалтики растасканы по кускам и изрезаны «Окаянные дни» Бунина. Набоковские «Другие берега» теперь называются «фрагменты». Лично для меня ясно, что несколько сот статей, написанных Ходасевичем, — это одна из вершин, которых достигла русская литературная критика в XX веке. Почему нельзя все это издать отдельными сборниками и большим тиражом? А почему можно издавать биографии наших классиков русской литературы, которые иначе, как глумлением над ними, не назовешь? Пожилой филолог, всю жизнь изучавший творчество Бунина, со слезами в голосе говорил, показывая мне книгу В. Лаврова «Холодная осень» (о жизни Бунина в эмиграции): «Так испоганить тему! Мне даже трудно осуждать Лаврова. Он выступил, как говорят, в свою силу. Но почему издательство («Молодая гвардия») доверилось ему? Наш крупнейший биограф Бунина А. К. Бабореко дал хорошую отповедь этому труду в «Новом мире» (1990, № 1). Но хочется, чтобы поводов для таких рецензий больше не было. Давайте как можно больше издавать, добросовестно комментировать и не «резать». Если нет своих комментариев, надо использовать зарубежные. Как минимум, они не хуже наших. Чем скорее мы прочтем, чего были лишены, тем скорее поймем, что с нами произошло.

Борис ЛИПИН

г. Ленинград.

Главный редактор А. А. АНАНЬЕВ.

Первый заместитель главного редактора Н. К. ЛОШКАРЕВА.

Редакционная коллегия: Г. В. БУДНИКОВ, В. В. ДЕМЕНТЬЕВ, Р. Т. КИРЕЕВ, Н. Д. КРЮЧКОВА, А. Н. КУРЧАТКИН, В. М. ЛИТВИНОВ, А. А. МИХАЙЛОВ, И. К. НАЗАРОВА (отв. секретарь), В. Д. ПОВОЛЯЕВ, В. Я. САВАТЕЕВ, И. Е. ФИЛОНЕНКО.

Технический редактор С. И. Суровцева.

Сдано в набор 08.06.90. Подписано к печати 29.06.90. А 06914. Формат 70×108¹/₁₆.
Высокая печать. Усл. печ. л. 18,20. Усл. кр-отт. 18,55. Учетно-изд. л. 22,24.
Тираж 335 000 экз. Заказ № 2358. Цена 90 коп.

Адрес редакции: 125872 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 11.
Телефон главного редактора — 214-62-05; заместителей гл. редактора — 214-63-64, 214-79-49, ответственного секретаря — 214-34-44, отдела прозы — 214-71-34, поэзии — 214-74-67, критики — 214-69-37, публицистики — 214-60-24.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

«ОКТЯБРЬ» до конца года и в 1991 году предполагает опубликовать:

А. АВТОРХАНОВ. От Андропова к Горбачеву. Происхождение партократии. (Главы из книг).

Марк АЛДАНОВ. Самоубийство. Роман.

Нина БЕРБЕРОВА. Курсив мой. Часть вторая.

Александр БОРЩАГОВСКИЙ. Единожды солгав. Роман. (Жизнь Мартемьяна Рютина — подвиг и трагедия.)

Борис ВАСИЛЬЕВ. Дом, который построил дед. Роман.

Игорь ВОЛГИН. Политический процесс. Достоевский и современники: жизнь в документах. Кн. 2-я. Роман-исследование.

М. ВОСЛЕНСКИЙ. Номенклатура. Главы из книги.

Дмитрий ВОЛКОГОНОВ. Лев Троцкий. Политический портрет.

Фридрих ГОРЕНШТЕЙН. Псалом. Роман.

Антон ДЕНИКИН. Очерки русской смуты (тт. 1—5).

Александр ЗИНОВЬЕВ. Зияющие высоты. Роман.

Виктор ЗОРЗА. Я умираю счастливой. Документальное повествование. (Бестселлер США 1980 года.)

Георгий ИВАНОВ. Книга о последнем царствовании. Роман.

Руслан КИРЕЕВ. Посланник. Роман.

Анатолий КУРЧАТКИН. Курочка Ряба, или Золотые яйца для перестройки. Повесть.

Дмитрий МЕРЕЖКОВСКИЙ. Иисус неизвестный. Роман-эссе.

Виктор НЕКРАСОВ. Саперлипопет. Повесть.

Еремей ПАРНОВ. Хозяин антимира. Роман.

Саша СОКОЛОВ. Палисандрия. Роман.

Владимир ТЕНДРЯКОВ. Революция! Революция! Революция!

У. ФОЛКНЕР. Старик. Повесть.

Рассказы **И. ГОФФ**, **С. ДОВЛАТОВА**, **Н. ИЛЬИНОЙ**, **С. КРЖИЖАНОВСКОГО**, **Т. НАБАТНИКОВОЙ**, **Ю. НАГИБИНА**, **Л. ПЕТРУШЕВСКОЙ**, **В. ПОПОВА**, **Е. ПОПОВА**, **В. ПЬЕЦУХА**, **Г. СЕМЕНОВА**, **Б. ЯМПОЛЬСКОГО** и др.

Для «Октября» работают: **В. БЫКОВ**, **Ф. ИСКАНДЕР**, **Ю. КАРАБЧИЕВСКИЙ**, **В. КОНДРАТЬЕВ**, **В. МАКАНИН**, **Б. МОЖАЕВ**, **М. РОЩИН**, **В. ТОКАРЕВА**, **Т. ТОЛСТАЯ**.

Поэзия будет представлена стихами как известных поэтов многонациональной России, так и молодых — самых разных направлений, включая новейший «андеграунд».

Под рубрикой «Самиздат 70-х» — «неофициальная» поэзия прошлого двадцатилетия.

В разделе «Из литературного наследия» — поэты, незаслуженно забытые или насильственно вычеркнутые из истории нашей литературы.

Продолжит «Октябрь» и знакомство читателей с современной поэзией русского зарубежья.

«ОКТЯБРЬ» до конца года и в 1991 году предполагает опубликовать:

Философия, экономика, политика.

Судьба социалистических теорий в России; идеи Маркса, Энгельса, Ленина без глянца; Февраль—Октябрь: борьба идей между двумя революциями; от мифотворчества к истории; «необольшевизм»; какое общество мы строим? — темы публицистических работ А. АВТОРХАНОВА, Л. БАТКИНА, Ф. БУРЛАЦКОГО, Ю. БУРТИНА, Г. ВОДОЛАЗОВА, М. ВОСЛЕНСКОГО, М. ГЕФТЕРА, А. НЕКРИЧА.

Рынок — что это такое? Рынок труда, интеллекта, инициативы? Что нас ждет — «бешеные» цены, карточки, безработица или здоровая экономика и изобилие? Почему не «работает» Закон о земле? Кто настоящий хозяин «черного рынка»? От чего зависит деловая активность? — над этими вопросами размышляют И. БИРМАН (США), А. ЗИНОВЬЕВ (ФРГ), Б. ПИНСКЕР, Л. ПИЯШЕВА, А. СТРЕЛЯНЫЙ, Ю. ЧЕРНИЧЕНКО.

Демократия и становление гражданского общества. Многопартийность. КПСС среди других партий. Права человека: социальная, правовая защищенность человека — и суверенность личности от государства. Среди авторов этого раздела правозащитники Л. БОГОРАЗ, П. ГРИГОРЕНКО, С. КОВАЛЕВ, Л. ТИМОФЕЕВ.

Продолжим публикацию произведений А. Д. САХАРОВА.

Современный литературный процесс в контексте мировой литературы освещают Л. АННИНСКИЙ, А. БОЧАРОВ, И. ВИНОГРАДОВ, И. ДЕДКОВ, И. ЗОЛОТУССКИЙ, Н. ИВАНОВА, Т. ИВАНОВА, А. ЛАТЫНИНА, В. НОВИКОВ, С. РАССАДИН, Л. САРАСКИНА.

Под рубрикой «Диалог» — взгляд на современную литературу наших зарубежных соотечественников — писателей, литературоведов, критиков: А. СИНЯВСКОГО и М. РОЗАНОВОЙ, С. ДОВЛАТОВА и В. СОЛОВЬЕВА, Н. ГОРБАНЕВСКОЙ и В. ВОЙНОВИЧА, П. ВАЙЛЯ и А. ГЕНИСА.

Статьи, воспоминания, дневники, письма Г. АДАМОВИЧА, М. БУЛГАКОВА, Н. ГУМИЛЕВА, Б. ЗАЙЦЕВА, Е. ЗАМЯТИНА, В. КОРОЛЕНКО, О. МАНДЕЛЬШТАМА, В. ХОДАСЕВИЧА.

Специально для «Октября» подготовлен сериал «Русская эмиграция в мемуарах и документах» — Иван БУНИН, Зинаида ГИППИУС, Георгий ИВАНОВ, Алексей ТОЛСТОЙ, Марина ЦВЕТАЕВА и др.

Новые материалы о А. ТВАРДОВСКОМ, М. ПРИШВИНЕ, А. СОЛЖЕНИЦЫНЕ, В. ШАЛАМОВЕ, Вс. ИВАНОВЕ, Вл. ВЫСОЦКОМ.

Каждые три месяца реклама будет уточняться и дополняться. Следите за рекламой!